

Временъ АСТАФЬЕВ

Временъ АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

—

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

**КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997**

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

•

Том
девятый

•

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Роман

РАССКАЗЫ

КРАСНОЯРСК

«ОФСЕТ»

1997

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Астафьев В. П.

А91

Собрание сочинений: В 15 т. Т. 9. Произведения 1980-х годов. Печальный детектив: Роман. Рассказы. — Красноярск: ПИК «Офсет», 1997. 448 стр.

В девятый том собрания сочинений В. П. Астафьева вошли произведения, написанные им в 1980-х годах на родине, в Красноярске, и прозвучавшие на всю страну как тревожный набат, с призывом остановиться, оглядеться: так ли живем? То ли творим на земле и с собою? И это прежде всего роман «Печальный детектив», рассказы «Тельняшка с Тихого океана», «Мною рожденный», «Людочка», «Светопреставление», «Слепой рыбац», «Жизнь прожить» и другие.

Как всегда, том заключают авторские комментарии.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

**ПЕЧАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ**



Роман



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Леонид Сошнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус, — пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит, и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать.

Собственно, издательства как такового в городе Вейске не было, от него осталось отделение, само же издательство перевели в город более крупный и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но «база» эта была такой же точно, как в Вейске, — дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконеч понизу и фасонно изогнутыми поверху, тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало или работал закопанный в подземелье взрывной механизм замедленного действия.

Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах, со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалось,

елозило на стуле, хваталось за телефон, сорило пеплом местное культурное светило — Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком: если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда, в газетах же, и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Эренбурга, Юрия Олеши, Трегуба и Ермилова, впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходила.

Все уже давно с книгой Сошнина решено. Рассказы из нее напечатаны пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях, он пять лет простоял «в затылок», попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу.

Назначив время делового свидания ровно в десять, Сыроквасова явилась в отделение издательства к двенадцати. Опахнув Сошнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору — лампочки кто-то «увел», хрипло бросила «Извините!» и долго хрустела ключом в неисправном замке, вполголоса рутаясь.

Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плита пустила в коридор щель серого, унылого света: на улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход — в декабре-го!

Тупо и непрерывно пыла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, давила усталость, тянуло в сон — ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая эго болезнь — графоманство», — усмехнулся Сошнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену.

— Галя! — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. — Позови ко мне этого гения!

Галя — машинистка, бухгалтер да еще и секретарша. Сошнин осмотрелся: в коридоре больше никого не было, гений, стало быть, он.

— Эй! Где ты тут? — ногой приоткрыв дверь, высуну-

ла Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди. Зовут.

Сошнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам — маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина, вот и приучился оглаживаться. «Спокойно! Спокойно!» — приказал себе Сошнин и, воспитанно кашлянув, спросил:

— Можно к вам? — Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил: старинная точеная этажерка в углу; надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой на струганом, но некрашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах.

— Раздевайтесь, — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там вешалок нет, вбиты гвозди. Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И когда Сошнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чужли не из-под подола.

Сошнин едва узнал папку со своей рукописью. Сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором опять же бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела, кто-то пролил на папку чай. Если чай? Вундеркинды Сыроквасовой — у нее трое сыновей от разных творческих производителей — нарисовали на папке голубя мира, танк со звездой и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал, название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером: «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это, и нес он в издательство папку с чувством не изведенного еще обновления в сердце, и жажду жить, творить, быть полезным людям — так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из «оттуда».

Беленькая наклейка сделалась за пять лет серенькой, кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но

праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сыроквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвытрезвителе. Сошнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-то, это усвоил. Накрепко. Навсегда.

— Ну-с, значит, дороже всего жизнь, — скривила губы Сыроквасова и затынулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензий, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности: — Дороже всего... дороже всего...

— Я так думал пять лет назад.

— Что вы сказали? — подняла голову Сыроквасова, и Сошнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же сохлой краской подведенные ресницы и брови — мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувылезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду — этакую современную бабью спецовку: черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить.

— Я думал так пять лет тому назад, Октябрина Перфильевна.

— А сейчас так не думаете? — Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных отбросах. — Разочаровались в жизни?

— Еще не совсем.

— Вот как! Интересно-интересно! Похвально-похвально! Не совсем, значит?..

«Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с нею вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? Очень любопытно!» — Сошнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.

— Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в Божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не стрясется, если не сократят план и тэ дэ, и тэ пэ. Но я вот о чем хотела бы

поговорить с вами, на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печтаетесь, хотя и нечасто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — милицейская!

— Человеческая, Октябрина Перфильевна.

— Что вы сказали? Ваше право так думать. А если откровенно — до человеческих, тем более общечеловеческих проблем вам еще ой как далеко! Как говорил Гёте: «Унеррайхбар ви дер химмель». Высоко и недоступно, как небо.

Что-то не встречал Сошнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сыроквасова в суетности жизни спутала Гёте с кем-то или неточно его процитировала.

— Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказы — мякина, мякина с обмолоченного зерна. — Понесло Сыроквасову в теорию литературы. — А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за семью печатями. Есть еще форма, вечно обновляющаяся, подвижная форма...

— Что такое форма — я знаю.

— Что вы сказали? — очнулась Сыроквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красовались рисунки ее гениальных детей, мягкая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды представившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени.

— Я сказал, что знаю форму. Носил ее.

— Я не милицейскую форму имела в виду.

— Не понял вашей тонкости. Извините. — Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство. — Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.

— Да-да, позволяйте, — чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон: — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу шестьдесят процентов. Но с деньгами у нас, как всегда, плохо.

— Спасибо. Я получаю пенсию. Мне хватает.

— Пенсию? В сорок лет?!

— Мне сорок два, Октябрина Перфильевна.

— Какой это возраст для мужчины? — Как и всякое вечно раздраженное существо женского рода, Сыроквасова спохватилась, завилала хвостом, пробовала сменить язвительность тона на полушутливую доверительность.

Но Сошнин не принял перемены в ее тоне, раскланялся, выбрал в полутемный коридор.

— Я подержу дверь открытой, чтобы вы не убились! — крикнула вслед Сыроквасова.

Сошнин ей не ответил, вышел на крыльцо, постоял под козырьком, украшенным по ободку старинными деревянными кружевами. Искрошены они скачущими ручкусами, будто ржаные пряники. Подняв воротник утепленного милицейского плаща, Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню. Он зашел в местный бар, где постоянные клиенты встретили его одобрительным гулом, взял рюмку коньяку, выпил ее махом и вышел вон, чувствуя, как черствеет во рту и теплеет в груди. Жжение в плече как бы стиралось теплотою, ну, а к боли в ноге он как будто привык, пожалуй что, просто примирился с нею.

«Может, еще выпить? Нет, не надо, — решил он, — давно не занимался этим делом, еще захмелею...»

Он шел по родному городу, из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, привычно отмечал, что делалось вокруг, что стояло, шло, ехало. Гололедица притормозила не только движение, но и самую жизнь. Люди сидели по домам, работать предпочитали под крышей, сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнажился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчаньем мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.

И мысли Сошнина под стать погоде медленно, загустело едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно вяло шевелились, и в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты, одна лишь тревога, одна забота: как дальше жить?

Ему было совершенно ясно: в милиции он отслужил, отвоевался. Навсегда! Привычная линия, накатанная, од-

ноколейная — истребляй зло, борись с преступниками, обеспечивай покой людям — разом, как железнодорожный тупик, возле которого он вырос и отыграл детство свое «в железнодорожника», оборвалась. Рельсы кончились, шпалы, их связующие, кончились, дальше никакого направления, никакого пути нет, дальше вся земля, сразу, за тупиком, — иди во все стороны, или вертись на месте, или сядь на последнюю в тупике, истрескавшуюся от времени, уже и не липкую от пропитки, выветренную шпалу и, погрузившись в раздумье, дремлишь или ори во весь голос: «Сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одинокому...»

Как на свете жить одинокому? Трудно на свете жить без привычной службы, без работы, даже без казенной амуниции и столовой, надо даже об одежке и еде хлопотать, где-то стирать, гладить, варить, посуду мыть.

Но не это, не это главное, главное — как быть да жить среди народа, который делился долгое время на преступный мир и непроступный мир. Преступный, он все же привычен и однолик, а этот? Каков он в пестроте своей, в скопище, суете и постоянном движении? Куда? Зачем? Какие у него намерения? Каков нрав? «Братцы! Возьмите меня! Пустите к себе!» — хотелось закричать Сошнину сперва вроде бы в шутку, поерничать привычно, да вот закончилась игра. И обнаружилась, подступила вплотную житуха, будни ее, ах, какие они, будни-то, у людей будничные.

Сошнин хотел зайти на рынок, купить яблок, но возле ворот рынка с перекосившимися фанерными буквами на дуге «Добро пожаловать» корячилась и привязывалась к прохожим пьяная женщина по прозвищу Урна. За беззубый, черный и грязный рот получила прозвище, уже и не женщина, какое-то обособленное существо, со слепой, полубезумной тягой к пьянству и безобразиям. Была у нее семья, муж, дети, пела она в самодеятельности железнодорожного ДК под Мордасову — все пропала, все потеряла, сделалась позорной достопримечательностью города Вейска. В милицию ее уже не брали, даже в приемнике-распределителе УВД, который в народе зовется «бичевником», а в старые грубые времена звался тюрмой для бродяг, не держали, из вытрезвителя гнали, в дом престарелых не принимали, потому что она была старой лишь

на вид. Вела она себя в общественных местах срамно, стыдно, с наглым и мстительным ко всем вызовом. С Урной невозможно и нечем бороться, она, хоть и валялась на улице, спала по чердакам и на скамейках, не умирала и не замерзала.

А-ах, мой бессе-олай смех
Всегда имел успех... —

хрипло орала Урна, и моросью, стилой пространственностью не вбирало ее голоса, природа как бы отделяла, отгалкивала от себя свое исчадьё. Сошнин прошел рынок и Урну стороной. Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске. И вдруг посреди этой беспросветной, серой планеты произошло оживление, послышались говор, смех, на перекрестке испуганно кхекнула машина.

По широкой, осенью лишь размеченной улице, точнее, по проспекту Мира, по самой его середке, по белым пунктирам разметки неспешно следовала пегая лошадь с хомутом на шее, изредка охлестываясь мокрым, форсисто подстриженным хвостом. Лошадь знала правила движения и цокала подковами, как модница импортными сапожками, по самой что ни на есть нейтральной полосе. И сама лошадь и сбруя на ней были прибраны, ухожены, животное совершенно не обращало ни на кого и ни на что внимания, неспешно топая по своим делам.

Народ единодушно провожал лошадь глазами, светлел лицами, улыбался, сыпал вслед коняге реплики: «Наладила от скупого хозяина!», «Сама пошла сдаваться на колбасу», «Не, в вытрезвитель — там теплей, нежели в конюшне», «Ничего подобного! Идет докладывать супружнице Лаври-казака насчет его местонахождения»...

Сошнин тоже заулыбался из-под воротника, проводил лошадь взглядом — она шла по направлению к пивзаводу. Там ее конюшня. Хозяин ее, коновозчик пивзавода Лавря Казаков, в народе — Лавря-казак, старый гвардеец из корпуса генерала Белова, кавалер трех орденов Славы и еще многих боевых орденов и медалей, развез по «точкам» сидро и прочие безалкогольные напитки, подзасел с мужичками на постоянной «точке» — в буфете Сазонтьевской бани — потолковать о прошлых боевых походах, о современных городских порядках, про лютость баб и бесхарактерность мужиков, лошадь же разумную свою, чтоб

не мокло и не дрогло животное под небом, пустил своим ходом на пивзавод. Вся вейская милиция, да и не только она, все коренные жители Вейска знали: где стоит пивзаводская телега, там ведет беседы и отдыхает Лавря-казак. А лошадь у него ученая, самостоятельная, все понимает и пропасть себе не даст.

Вот уж и сместилось что-то в душе, и погода дурная не так уж гнетуща, порешил Сошнин, привыкнуть пора — родился здесь, в гнилом углу России. А посещение издательства? Разговор с Сыроквасовой? Да шут с ней! Ну, дура! Ну, уберут ее когда-нибудь. Книжка ж и в самом деле не ахти — первая, наивная, шибко замученная раздражительностью, да и устарела она за пять лет. Следующую надо делать лучше, чтобы издавать помимо Сыроквасовой; может, и в самой Москве...

Сошнин купил в гастрономе батон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу, если это скорбно зажмуренное, иссиня-голое существо, прямо из шеи которого, казалось, торчало много лап, можно назвать курицей. Но цена прямо-таки гусиная! Однако и это не предмет для досады. Супу вермишельного сварит, хлебнет горяченького и, глядишь, после сытного обеда по закону Архимеда, под монотонную капель из батареи, под стук старых настенных часов — не забыть бы завести, под шлепанье дождя полтора-два часа почитает всласть, потом соснет, и на всю ночь за стол — творить. Ну, творить не творить, но все же жить в каком-то обособленном, своим воображением созданном мире.

Жил Сошнин в новом железнодорожном микрорайоне, но в старом двухэтажном деревянном доме под номером семь, который забыли снести, после забытье узаконили, подцепили дом к магистрали с теплой водой, к газу, к сточным трубам, — построенный в тридцатых годах по нехитрому архитектурному проекту, с внутренней лестницей, делящей дом надвое, с острым шалашиком над входом, где была когда-то застекленная рама, чуть желтый по наружным стенам и бурый по крыше дом скромно жмурился и покорно уходил в землю между глухими торцами двух панельных сооружений. Достопримечательность, путевая веха, память детства и добрый приют людей. Жители современного микрорайона ориентировали приезжих

людей и себя по нему, деревянному пролетарскому строению: «Как пойдешь мимо желтого домика...»

Сошнин любил родной свой дом или жалел — не понять. Наверное, и любил, и жалел, потому что в нем вырос и никаких других домов не знал, нигде, кроме общежитий, не жила. Отец его воевал в кавалерии и тоже в корпусе Белова, вместе с Лаврей-казаком, Лавря — рядовым, отец — комвзвода. С войны отец не вернулся, погиб во время рейда кавкорпуса по тылам врага. Мать работала в технической конторе станции Вейск, в большой, плоской, полутемной комнате, и жила вместе с сестрой в этом вот домике, в квартире номер четыре, на втором этаже. Квартира состояла из двух квадратных комнаток и кухни. Два окна одной комнатки выходили на железнодорожную линию, два окна другой комнатки — во двор. Квартиру когда-то дали молодой семье железнодорожников, сестра мамы его, Сошнина тетка, приехала из деревни возиться с ним, он ее помнил и знал больше матери оттого, что в войну всех конторских часто наряжали разгружать вагоны, на снегоборьбу, на уборку урожая в колхозы, дома мать бывала редко, за войну надорвалась, на исходе войны тяжело простудилась, заболела и умерла.

Они остались вдвоем с теткой Липой, которую Леня, ошибившись еще в раннем возрасте, назвал Линой, да так Линой она и закрепилась в его памяти. Тетка Лина пошла по стопам сестры и заняла ее место в технической конторе. Жили они, как и все честные люди их поселка, соседством, картофельным участком за городом, от полочки до полочки дотягивали с трудом. Иногда, если случалось справить обнову или погулять в праздник, — и не дотягивали. Тетка замуж не выходила и не пробовала выходить, повторяя: «У меня Леня». Но погулять широко, по-деревенски шумно, с песнями, переплясами, визгом любила.

Кто? Что сотворил с этой чистой, бедной женщиной? Время? Люди? Поветрие? Пожалуй, что и то, и другое, и третье. В той же конторе, на той же станции она перешла за отдельный стол, за перегородку, потом ее перевели аж «на гору», в коммерческий отдел Вейского отделения дороги. Начала тетя Лина приносить домой деньги, вино, продукты, сделалась взвизченно-веселой, запаздывала домой с работы, пробовала форсить, подкрашиваться. «Ох,

Лепька, Ленька! Пропаду я — и ты пропадешь!..» Тетке звонили кавалеры. Ленька, бывало, возьмет трубку и, не здороваясь, грубо спрашивает: «Кого надо?» — «Липу». — «Нет у нас такой!» — «Как это нет?» — «Нет, и все!» Тетя скребнет по трубке лапкой: «Мне это, мне...» — «Ах, вам тетю Лину? Так бы и сказали!.. Да, пожалуйста! Всегда пожалуйста!» И не сразу, а потиранив тетю, передаст ей трубку. Та ее в горсточку зажмет: «Зачем звонишь? Я же говорила, потом... Потом-потом! Когда-когда?..» И смех, и грех. Опыта-то никакого, возьмет и проболтается: «Когда Леня в школу уйдет».

Леня уже подросток, с гонором уже: «Я и сейчас могу уйти! На сколько, подскажи, и бу сделано...» — «Да ну тебя, Леня! — пряча глаза, зардеется тетка. — Из конторы звонят, а ты Бог весть что...»

Он ее усмешкой разил и взглядом презрительным испепелял, особо когда тетя Лина забывалась: отставит стоптанный тапочек, переплетет ногу ногой, вытянется на носочке — этакая фифа-десятиклассница в общественном автомате глазки показывает и «ди-ди-ди, ди-ди-ди...». Паренечку ж как раз пол мести надо, и он обязательно вешиком ножку тете поправит, на место ее водворит или дурашливо запоет ломким басом: «Уйми-и-и-итесь, волнения страсти».

Всю жизнь добрая женщина с ним и для него жила, как же он мог ею с кем-то делиться? Современный же мальчик! Эгоист же!

Возле здания областного управления внутренних дел, облицованного почему-то керамической плиткой, завезенной аж с Карпат, но красивей от этого не ставшего, даже как бы еще более помрачневшего, в «Волге» вишневого цвета, навалившись на дверь, дремал шофер Ванька Стригалев в кожанке и кроличьей шапке — тоже очень интересный человек: он мог в машине просидеть сутки, не читая, о чем-то медленно думая. Сошнину доводилось вместе с работниками УВД, дядей Пашей и его другом, старцем Аристархом Капустиним, ездить на рыбалку, и многие даже чувство неловкости испытывали оттого, что молодой парень с бакенбардами сидит целый день в машине и ждет рыбаков. «Ты бы хоть почитал, Ваня, журналы, газетки или книгу». — « А чё их читать-то? Чё от их толку?» — скажет Ваня, сладко зевнет и платонически передернется.

Вон и дядя Паша. Он всегда метет. И скребет. Снегу

нет, смыло, так он воду метет, за ворота увэдэвского двора ее выгоняет, на улицу. Мести и долбить — это не самоеглавнейшее для дяди Паши действие. Был он совершенно помешанным рыбаком и болельщиком хоккея, дворником пошел ради достижения своей цели: человек не пьющий, но выпивающий, на хоккей и на рыбалку дядя Паша, чтобы не разорять пенсию, не рвать ее на части, прирабатывал дворницкой метлой — на «свои расходы», пенсию же отдавал в надежные руки жены. Та каждый раз с расчетом и выговором выдавала ему «воскресные»: «Ето тебе, Паша, пятерик на рыбалку, ето тебе трояк — на коккей твой клятый».

В УВД держалось еще несколько лошадей и маленькая конюшня, которою ведал дяди Пашин друг, старец Аристарх Капустин. Вдвоем они подкопали родную милицию, дошли до горячих труб, до теплоцентрали, проложенной в здание УВД, навалили на эти трубы конского назьма, земли, перегноя, замаскировали сверху плитами шифера — и таких червей плодили круглый год в подкопе, что за наживку их брали на любой транспорт, даже начальственный. С начальством дядя Паша и старец Аристарх Капустин ездить не любили. Они уставали от начальства и от жен в повседневной жизни, хотели на природе быть совершенно свободными, отдохнуть, забыться от тех и от других.

Старики выходили в четыре часа на улицу, становились на перекрестке, опершись на пешни, и скоро машина, чаще всего кузовная, накрытая брезентом или ящиком из фанеры, притормаживала и как бы слизывала их с асфальта — чьи-то руки подхватывали стариков, совали их за спины, в гуцу народа. «А-а, Паша! А-а, Аристаша? Живы еще?» — раздавались возгласы, и с этого момента бывалые рыбаки, попав в родную стихию, распускались телом и душой, говорили о «своем» и со «своими».

У дяди Паши вся правая кисть была в белых шрамах, и к этим дяди Пашиным шрамам рыбаки, да и не одни только рыбаки, но и остальная общественность города относились, быть может, еще почтительней, чем к его боевым ранениям.

Массовый рыбак подвержен психозу, он волнами плещется по водоему, долбит, вертит, ругается, вспоминает прежние рыбалки, клянет прогресс, погубивший рыбу, сожалеет о том, что не поехал на другой водоем.

Не такой рыбак дядя Паша. Он припадет к одному

местечку и ждет милостей от природы, хотя и мастер в рыбалке не последний, худо-бедно, на ушицу всегда привозит, случалось, и полную шарманку — ящик, мешок и рубаху нижнюю, по рукавам ее завязавши, набивал рыбой дядя Паша — все тогда управление уху хлебало, особенно пизовой аппарат, — всех наделял рыбой дядя Паша. Старец Аристарх Капустин, тот поприжимистей, тот рыбку вялил меж рам в своей квартире, затем, набивши карманы сушенкой, являлся в буфет Сазонтьевской бани, стучал рыбкой по столу — и всегда находились охотники потискать зубами соленьишко и поили старца Аристарха Капустина дармовым пивом.

Про дядю Пашу рассказывали каверзную небыль, которой он и сам, однако, одобрительно посмеивался. Будто припал он к лунке, но всякий мимо проходящий рыбак пристаёт: «Как клев?» Молчит дядя Паша, не отвечает. Его тормозат и тормозат! Не выдержал дядя Паша, выплонул из-за щеки живых червячков и заругался: «Всю наживку с вами заморозишь!..»

Верного связчика его, старца Аристарха Капустина, одной весной подхватила прихоть поиска — вечером хлынула большая, втекающая в Светлое озеро река, поломала, нагоросила лед, мутной, кормной волной поднятила рыбу к середине озера. Сказывали, с вечера, почти в темноте уже, начал брать сам — матерый судак, и местные рыбаки крепко обрыбились. Но к утру граница мутной воды сместилась и куда-то, еще дальше, отпятилась рыба. А куда? Озеро Светлое в ширину пятнадцать верст, в длину — семьдесят. Шипел на связчика Аристарха Капустина дядя Паша: «Нишкни! Сиди! Тута она будет...» Но где там! Лукавый понес старца Аристарха Капустина, как метялка, по озеру.

Полдня злился на Аристарха Капустина дядя Паша, дергал удочками сорожонку, случался крепешкии окунек, два раза на ходу цеплялась за рыбешку и рвала лески щучонка. Дядя Паша спустил под лед блесну, подразнил щучонку и вывернул ее наверх — не балуй! Вон она, хищница подводного мира, плещется на внешнем льду, аж брызги летят, в пасти у нее обрывки тонких лесок с мормышками, словно вставными, блестящими зубами украшена наглая пасть. Дядя Паша не вынает мормышки, пусть помнит, фулюганка, как разорять малоимущих рыбаков!

К полудню из разверстых врат притихшего монастыря с хотя и обветшалыми, но нетленными башенками, имеющего у въезда скромную вывеску «Школа-интернат», вышли и притащились на озеро два отрока, два братца, Антон и Санька, девяти и двенадцати лет. «Сбегли они с последних уроков», — догадался дядя Паша, но не осудил мальцов — учиться им еще долго, может, всю жизнь, весенняя же рыбалка — праздничная пора, мелькнет — не заметишь. Большую в тот день драму пережили вместе с дядей Пашей отроки. Только-только уселись парни подле удочек, как у одного из них взялась и сошла уже в лунке крупная рыбина. Сошла у младшенького, он горько заплакал. «Ничего, ничего, парняга, — напряженным шепотом утешал его дядя Паша, — будет наша! Никуда не денется! На тебе конфетку и ишшо крендель городской, с маком».

Дядя Паша все предчувствовал и рассчитал: к полудню к мутной воде, где кормятся планктоном снеток и другая мелкая рыбешка, в озеро еще дальше протолкнется река, пронесет муть и подвалит на охоту крупный «хычник». Отряды рыбаков, зверски бухающие пешнями, грохающие сапогами, оглашающие окрестности матом, ее, пугливую и чуткую рыбу, не переносящую отборного мата, отгонят в «нейтральную полосу», стало быть, сюда вот, где вместе с отроками с самого раннего утра, не сказав — ни единого! — бранного слова, терпит и ждет ее дядя Паша.

И расчет его стратегический полностью подтвердился, терпение его и скромность в выражениях были вознаграждены: три судака весом по кило лежали на льду и скорбно глазели в небо оловянными зрачками. Да еще самые, конечно, крупные два судака сошли! Но кто радовал независтливое сердце дяди Паши, так это малые рыбаки — отроки Антон и Санька. Они тоже достали по два судака на свои утильные, из ружейного патрона склепанные блесны. Младшенький кричал, смеялся, снова и снова рассказывал о том, как клюнуло, как он попер!.. Дядя Паша растроганно его поощрял: «Ну вот! А ты — плакать? В жизни всегда так: то клюет, то не клюет...»

Тут и случилось такое, что в смятение ввело не только рыбаков, но почти все приозерное население, да и часть города Вейска сотрясло героическое событие.

Снедаемый сатаной, рыбацким ли дьяволом, дядя Паша, чтоб не стучать пешней, сдвинулся на ребячьи лунки, про-

сверленные ледорубом. И только опустил свою знаменитую, под снетка излаженную блесну, как ее пробным толчком щипнуло, затем долбануло, да так, что он — уж какой опытный рыбак! — едва удержал в руке удочку! Долбануло, надавило, повело в глыбы озерных вод.

Судачина на семь килограммов и пятьдесят семь граммов — это было потом с аптекарской точностью вывешано — застрял в узкой лунке. Дядя Паша, плюхнувшись на брюхо, сунул руку в лунку и зажал рыбину под жабры. «Бей!» — скомандовал он отрокам, мотая головой на пешню. Старший отрок прыгнул, схватил пешню, замахнулся и замер: как «бей»?! А рука? И тогда закаленный фронтовик, бешено вращая глазами, гаркнул: «А как на войне!» И бедовый парнишка, заранее вспотев, начал раздалбливать лунку.

Скоро лунку прошило красными ниточками крови. «Вправо! Влево! В заступ! В заступ бери! В заступ! Леску не обрежь...» — командовал дядя Паша. Полная лунка крови была, когда дядя Паша вынул из воды и бросил на лед уже вялое тело рыбины. И тут же, взбрыкнув корешеными ревматизмом ногами, заплясал, заорал дядя Паша, да скоро опомнился и, чакая зубами, отворил шарманку, сунул ребятам флягу с водкой, приказал растирать занемелую руку, обезвреживать раны.

Два дня подряд во дворе УВД шла демонстрация, в центре которой перевязанный дядя Паша разводил руками, тряс, дергал, выводил, бросал, орал, прыгал, пел. Сошнин, глядя на все это в окошко, сожалел, что не владеет камерой, — это было бы величайшее кино!

На третий день начальник хозчасти отправил дядю Пашу в санупр, где рыбаку дали бюллетень с пометкой «бытовая травма», то есть неоплачиваемый. Ну, тут уж все сотрудники поднялись в защиту героя, звонили в санупр, в облздрав — и добились справедливости: «бытовая» травма была переправлена на «боевую».

Коммерческий отдел пересудили и пересадили разом. Тетя Лина травмилась. Ее спасли и после суда отправили в исправительно-трудовую колонию. Срок ей дали короткий, но мук и позора тетка и Леня вместе с ней пережили много. Он уже учился в областной спецшколе УВД, тетка настояла: «Обмундирование бесплатное, питание, догляд и работа в защиту справедливости...» Она чувствовала, догадался он потом, что ей несдобровать, и хотела устроить дитятю попрочнее. Из спецшколы Сошнина чуть было

не помели. Конторские служащие, жители седьмого и соседних домов, на глазах которых он рос, но главное — однополчанин и друг отца Лавря-казак походатайствовали за него. Лавря-казак подстригся, переодеколонился, почистил штiblеты, обрядился в новый костюм, к борту коего прицепил ордена Славы и еще два ряда орденов, и во всем параде двинул к пачальнику областного управления внутренних дел, где имел долгую беседу.

Потом Лавря-казак запряг свою верную лошадку, и они вдвоем с Лепей ездили «на торф» — попроведать тетю Лину. Она бухнулась на колени перед боевым фронтовиком, и племянник ее, будущий страж порядка, отвернувшись, глотал слезы и клялся про себя беспощадно бороться с преступностью, особо с теми, кто совращает, сбивает с пути невинных людей, калечит им судьбы и души.

Тетю Лину освободили по амнистии. Она поступила работать в химчистку, прирабатывала дома стиркой и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди, говорила тихо, и когда умерла, то Лене казалось, и в домовине она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки, изъеденные химикалиями и мылом, под ластами кружевной черной пакидки.

Еще до кончины тети Лины Сошнин окончил спецшколу, поработал в отдаленном Хайловском районе участковым, оттуда и привез жену. Тетя Лина успела маленько порадоваться Лениному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала внучкой, и, когда стала умирать, все сожалела, что не успела дотянуть внучку до школы, не поставила ее на крепкие ноги, мало, совсем мало помогла молодым.

Ах, эти молодые — удалые!.. гривачи мои... Хорошо бы для них сделать отступление в самой гуманной конституции, отдельным указом ввести порку: молодого принародно, среди широкой площади порола бы молодая, а молодую — молодой...

После смерти тети Лины перешли Сошнины небольшой и совсем не спаянной ячейкой на руки другой, не менее надежной тетке по имени Граня, по фамилии Мезенцева, которая никакой теткой Сошниним не доводилась, а являлась родней всех угнетенных и осиротевших возле железной дороги народов, нуждающихся в догляде, участии и трудоустройстве.

Тетя Граня работала стрелочницей на маневровой горке и прилегающих к ней путях. Стрелочная будка стояла почти

на выносе со станции, на задах ее. Был тут построенный и давно покинутый тупик с двумя деревянными тумбами, заросший бурьяном. Лежало под откосом несколько ржавых колесных пар, скелет двухосного вагона, кем-то и когда-то разгруженный штабель круглого леса, который тетка Грания никому растаскивать не давала и много лет, пока лес не подгнил, ждала потребителя, да, так и не дождавшись, стала ножовкой отпиливать от бревен короткие чурбаки, и ребята, стадом обретавшиеся возле стрелочного поста, на этих чурбаках сидели, катались, строили из них паровоз.

Никогда не имевшая своих детей, тетя Грания и не обладала учеными способностями детского воспитателя. Она детей просто любила, никого не выделяла, никого не била, не ругала, обращалась с ребятами, как со взрослыми, угадывала и укрощала их нравы и характеры, не прилагая к тому никаких талантов, тонкостей педагогического характера, на которых так долго настаивает нравоучительная современная печать. Возле тети Грании просто росли мужики и бабы, набирались сил, железнодорожного опыта, смекалки, проходили трудовую закалку. Закуток со стрелочной будкой многим ребятам, в том числе и Лене Сошнину, был и дегсадом, и площадкой для игр, и школой труда, кому и дом родной заменял. Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане Советской державы с самой большой протяженностью железных дорог, не способные еще к самой ответственной на транспорте движенческой работе, заколачивали костыли, стелили шпалы, свинчивали и развинчивали в тупике гайки, гребли горстями насыпь полотна. «Движенцы» махали флажком, дудели в дудку, помогали тете Грание перебрасывать стрелочный балансир, таскать и устанавливать на путях тормозные башмаки, вели учет железнодорожного инвентаря, мели возле будки землю, летами садили и поливали цветки ноготки, красные маки и живучие маргаритки. Совсем малых, марающих пеленки и не способных еще к строгой железнодорожной дисциплине и труду, тетя Грания не принимала на работу, не было у нее в будке для них условий.

Муж тети Грании, Чича Мезенцев (откуда, почему взялось такое имя — Сошнин так никогда и не дознался), работал кочегаром при железнодорожном Доме культуры, из кочегарки вылезал на революционные праздники да еще на Рождество, Пасху и Воздвиженье, поскольку

где-то в воздвиженские сроки у Чичи был день рождения. Тетя Граня работала через сутки по двенадцать часов, с двумя выходными в конце недели, как движенец и, стало быть, ответственный на железной дороге человек. Она уносила мужу в кочегарку на сутки еду и неизменно пол-литра водки.

По городу Вейску ходил анекдот, пущенный Лаврей-казакон: будто Чича до того закочегарился, что спутал зиму с летом. К нему, в жаркое подземелье, спустилась запольханная делегация самодеятельного местного балета: «Чича! Туды-т-твою, растуды! Какой месяц на дворе?» — «Хвевраль навроде...» — «Да июнь, конец июня! А ты жаришь и жаришь! Аж партнерши из рук высклизают».

Леня, как и все парни желдорпоселка, готовился в машинисты, ел с братвой печеную картошку, «горькие яблоки», то есть лук с солью, пил дешевый малиновый чай прямо из горлышка тети Граниного медного чайника — ему нравилось пить из чайника, и до се с той привычкой — пить чай из рожка — он не расставался, что также приводило к конфликтам в семье.

Однажды остыли батареи в железнодорожном Доме культуры, и труба, коптившая небо и парк культуры и отдыха, что был по соседству с ним, резко обозначилась на фоне известкой беленной тыльной стены Дома культуры, стыдно обнажилась задняя часть помещения, будто изработанная костлявая женщина разболочкалась на сочинском курортном берегу. Что-то неладное сделалось в округе, какая-то привычная деталь выпала из пейзажа города Вейска. Дым над трубой истоньшился и наконец перестал сочиться совсем, иссяк Чича — пал на «боевом посту», как писалось в железнодорожной газете «Сталинская путевка», в заметке «Беззаветный труженик». Из заметки люди узнали, что был когда-то Чича красным партизаном, имел боевой орден и трудовой значок отличия «Ударнику труда», заработанный в кочегарке.

После похорон Чичи тетя Граня какое-то время пребывала в полусне, ходила медленно, в грязных спецодежных ботинках, глаза свои яркие, черные, в которых даже зрачков не было видно, затеняла деревенским платочком, надеваемым наперекор железнодорожным правилам даже на работе. Машинисты, составители поездов, сцепщики и

кондукторы, уважая человеческую скорбь, не указывали ей на нарушение.

Но не ходит беда одна. С катящейся по маневровой горке платформы вылетела плохо закрепленная горбылина и ударила тетю Граню по голове. Слышал бы тот разгильдяй и пьяница, что неряшливо закрутил проволоку, крепя пиломатериал на платформе, детский крик в закулке станции Вейск, видел бы, как артелька малышей детского сада пыталась стащить с рельсов окровавленную женщину, — он бы всю жизнь замаливал грехи, сам справлял бы дело как следует и другим наказал бы работать ладом.

Тетя Граня вышла из больницы, по-куричьи косо держа голову, зрение у нее «сяло и двоилось», для работы на железной дороге, тем более самой ответственной, движуческой, она сделалась негодной.

На сбережения, оставшиеся от мужа, который никуда и ни на что свою зарплату не расходовал, купила тетя Граня в железнодорожном поселке маленький домик с пристройкой во дворе. Домик стоял сразу же за тупиком, возле которого работала когда-то тетя Граня и давно уж его подсмотрела у станционного плотника, мечтавшего податься на золотые прииски аж в Магадан.

В доме тети Грани скоро появилась живность: подрезанная на пугях собака Варька, ворона с перебитым крылом — Марфа, пегух с выбитым глазом — Ундер, бесхвостая кошка Улька. Перед самой войной тетя Граня привезла в вагоне из родной вятской деревни нетель и попросила племянника, сочинявшего стишки подзаборного и походного свойства, и его приятелей придумать название симпатичной скотине. Ничего путного шпана железнодорожного поселка придумать не могла, одни только неприличные прозвища лезли ей в голову, и осталась нетель с именем родного села — Варакушкой, с ним в коровы перешла да и век свой достославный изжила.

В войну тетя Граня жила коровой. С утра до вечера она таскала с лесопилки в узлом завязанном куске холстины желтые опилки на подстилку корове, жала бурьян по обочинам дороги и траву по берегам реки Вейки. Нигде никакого покоса у нее не было, и все-таки она запасала сена на всю зиму. Варакушка ее всегда доилась отменно, была ласковой, все понимающей, можно сказать, пат-

риотической коровой. Большую часть удоя тетя Граня уносила в ближайший госпиталь — раненым, поила молоком ребятишек, теперь уж в домике ее все так же густо обретающихся. Брали у тети Грани молоко соседи — железнодорожники, а также эвакуированные. На вырученные за молоко деньги тетя Граня выкупала по карточкам хлеб и молотильный сбой или мякину в ближнем колхозе — для поила корове. Теленков от Варакушки, дорастив до того, чтоб можно было отнять их от матери, тетя Граня за веревочку уводила в госпиталь. После войны и ликвидации госпиталя она какое-то время носила молоко в железнодорожную больницу, после и корову туда отвела — начали сдавать ноги, раздуло суставы на руках, силы покидали тетю Граню, и самое ее увезли в железнодорожную больницу. Чуть там отлежавшись, тетя Граня принялась мыть туалеты и коридоры, латать и гладить больничное белье — и осталась нянькой в детском отделении больницы. Когда и кому продала она свой домик возле тупика или его сломали, расширяя маневровую площадь станции, Леонид не знал, он в ту пору работал в Хайловске, увлекся службой, спортом, женщиной да и подзабыл про тетю Граню.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил с нарядом ЛОМа — линейной милиции — за железнодорожным мостом, где шло массовое гулянье по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивняки, побагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу Вейки, во дни гуляний, или, как их тут именовали, «питников» (надо понимать — пикников), загаживали, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда, от возбуждения мысли, подпаливали стога сена и радовались большому пламени, разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена — привычные картины культурно-массового разгула на «лоне природы».

Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, держались степенней, гуляли семейно, если кто задирался из захожих, помогали его уgomонить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в выгрезвитель.

Глядь-поглядь, от ближнего озера, из кустов идет женщина в разодранном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосья у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи, да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленова-то-грязной тине.

— Тетя Граня! — бросился навстречу женщине Леонид. — Тетя Граня! Что с тобой?

Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги:

— Ой, страм! Ой, страм! Ой, страм-то какой!

— Да что такое? Что? — уже догадываясь, в чем дело, по не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин.

Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним согласием на страдание, тускло произнесла:

— Да вот... снасиловали за что-то...

— Кто? Где? — оторопело, шепотом — сломался, куда-то делся голос — переспрашивал Сошнин. — Кто? Где? — И закачался, застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобуру. — Перестр-р-реля-а-аю-у-у!

Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами.

— Ты что? Ты что-о-о?!

Четверо молодцев спали накрест в размыкающей грязи заросшей старицы, среди ломаных и растоптанных кустов смородины, на которых чернели недоосыпавшиеся в затени, спелые ягоды, так похожие на глаза тети Граня. Втоптаный в грязь, сидел каемкой носовой платок тети Граня — она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой синенькой каемочкой.

Четверо молодцов не могли потом вспомнить: где были, с кем пили, что делали? Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить, все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова — справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Белоруссии еще дитем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, — ввалила всем четверым сладострастникам по восемь лет строгого режима.

После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить.

Леонид отыскал ее в больнице.

Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески, цветок «ванька мокрый» азел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня Леонида пройти к столу, точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная, осунувшаяся, ладошки меж колен.

— Неладно мы с тобой, Леонид, сделали, — наконец подняла она свои не к месту и не к разу так ярко светящиеся глаза, и он подобрался, замер в себе — полным именем она называла его только в минуты строгого и непрощающего отчуждения, а так-то он всю жизнь для нее — Ленья.

— Чего неладно?

— Четыре молодые жизни погубили... Такие срока им не выдержать. Выдержат — уж седыми мушшнынами сделаются... А у их, у двоих-то, у Генки и у Васьки, — дети... Один-от у Генки уж после суда родился...

— Те-о-отя Граня! Те-о-отя Граня! Они надругались над тобой... Над-ру-га-лись! Над седиными над твоими...

— Ну дак чё теперь? Убыло меня? Ну, поревела бы... Обидно, конешно. Да разве мне привыкать? Чича, бывало, свалит в кочегарке... Ты извини, что про такое говорю. Ты уж большой. Милиционером служишь, всякого сраму по норки нахлебался и нанюхался небось... Чиче не дашься — физкультуру делает. Схватит лопату и ну меня во-круг кочегарки гонять... Эти поганцы... обмуслякали, в грязе изваляли... отстиралась бы...

И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри у Леонида не то чтобы все обрывалось, в нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под грудью, в тесном разложье, он еще задаль расплывался в улыбке и, чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы — она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу, словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на заду казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опу-

кала глаза и бочком, бочком проскальзывала мимо, в сером старом железнодорожном берете, с невылинявшей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Гране отдавали донашивать подружки и товарки, которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда, — туда еще не проложены рельсы.

«Доброе утро!» — хоть утром, хогь днем, хогь вечером роняла тетя Граня на ходу.

Сошнин чувствовал, что, если бы не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней и закричать, кричать на весь народ: «Тетя Граня! Прости меня! Прости всех нас!..»

«Доброе утречко! Здоровеньки булы!» — вместо этого выдавал он шужливо, работая под Тарапуньку со Штепселем, ненавидя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудов, весь юмор, всю сатиру, литературу, слова, службу, свет белый и все на этом свете...

Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и пикем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и возвышенно говоря, русскую душу... И начинать придется с самых близких людей, от которых он почему-то так незаметно отдалился, всех потерял: тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе... И надо будет прежде всего себе все досконально выяснить, доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, и в этой прозрачности предстоит обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое, догадываться начал Сошнин, и движет творчеством, оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы «мыслить и страдать» все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха! Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе: отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе,

к соседу — инвалиду войны и труда? Готовы порой последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана, коему заломили руки, и ненавидеть сокквартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату...

Вольно, куражливо, удобно живется преступнику среди такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется.

Добрый молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по Центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом в дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убежать, ни прятаться и не собирался: стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь! — догадался Сошнин. — Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал». Граждане шарахались, обходили измазавшего себя человеческой кровью «артиста». Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет — стаканчик уже внаклон, деревянной лопаточкой заскребает сладость — и по выбору или без выбора — как душа велит — зарежет еще кого-нибудь.

Спиной к улице, на пестром железном перильце сидели два корешка и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривались, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и по тому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спортивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже все нипочем, брать его надо сразу намертво, ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену: если начнешь крутить среди толпы, он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену «кенаря», шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела — поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот, сгрудились, сбились в кучу, милицию в кольцо взяли, кроют почем зря, не давая обижать «бедных мальчи-

ков». «Что делают! Что делают, гады, а?! — тряся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилости стуча инвалидной тростью по тротуару. — Н-ну, легавые! Н-ну, милиция! Эко она нас бережет!» — «И это середь бела дня, середь народа! А попади к им туда-а...» — «Такой мальчик! Кудрявый! А он его, зверюга, головой об стену...»

Сошнин «тер к носу», но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал: «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и языки и жизнь...»

В отделении как раз чинил телефоны давно уже вышедший на заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогою рыбы.

«За что ты убил людей, змееныш?» — усталым голосом спросил он «кенаря».

«А хари не понравились!» — беспечно улыбнулся тот ему в ответ.

Старый вояка не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добра молодца, который вопил на целый квартал: «Бо-о-ольно! Не имеешь права! О-о-ой! Отпусти-ы-ы!» — и потом невинно лупил глаза на следователя: «Неужели меня расстреляют? Вышка?! Я ж не хотел...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Но все, все! На сегодня хватит!» — отмахнулся Сошнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избяного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих, погладил себя по лицу рукой и прибавил шаг. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времен. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он ее подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенями сваливал с телеги у дровяника Лавря-казак. «Сейчас растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим — Бог с ней, с житухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болью в плече. Жизнь, она все-таки в общем-то ничего. В ней то клюет, то не клюет...» Сошнин

улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку Лавриказака, даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст популярной не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни: «Если что-то, где-то, почему-то, у кого-то...» — чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившуюся в их доме, под лестницей, пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. «И что они все троицами-то? Чем объяснить активность этого числа?»

Из новых жилищ, со станции — в укромный уголок, под прелую лестницу старого, доброго дома номер семь, зачастили любители побеседовать. Свинячили под лестницей, блевали, дрались, иные и спали здесь, прижавшись к ржавой батарее, сочащейся тихим паром, отчего подгнили и подоконник и пол под батареями. Одного из троих Сошнин вспомнил — бывший игрок футбольной команды «Локомотив», сперва местной, потом столичной. Когда столичный «Локомотив», потерпев крушение, ахнулся в первую лигу, земляк явился доигрывать спортивную карьеру в родном городе. Соседи, в первую голову бабка Тутышиха, ныли: «Лёш, наведи ты порядок под лестницей. Разгони кирюшников. Житья нету!»

Но ему поднадоело на службе возиться со всякой швалью, устал он от нее и психовать, нарываться на нож или на драку не хотелось — донарывался. Однако все равно придется разгонять пьянчуг — народ требует. «Но на сегодня мне хватит впечатлений», — решил Леонид, да и вспомнились к месту слова знакомого тюремного парикмахера: «Усю шпану не переброешь». И когда, приподняв изуродованную погу, опираясь на перила свободной рукой, с детства натренированно взлетел он сразу на поллестницы и услышал из-под лестницы: «Эй, ты, соловей! Хиль Эдуард! Кто здороваться будет?» — «Ничего не вижу, ничего не слышу», — продекламировал себе и, приволакивая ногу, двинулся дальше, выше, в жилье, в свой спасительный угол. Но едва сделал шаг или два, как услышал за собой погоню: старые ступени родного дома он различал по голосам, как пианист-виртуоз — свой редкостный роляль.

Ступени звучали напористо и расстроено — услышал он ушами, почувствовал спиной, а спина у настояще-

го милиционера должна быть, что у детдомовца, очень чуткая и с «глазами».

Его обогнал и заступил дорогу домой парень с роскошной смоляной шевелюрой, в распахнутом полушубке с гуцульским орнаментом по подолу, бортам и обшлагам.

— Тебя спрашивают, физкультурник: кто здороваться будет?

Кавалер в дубленке, с красными прожилками в вялых глазах — предосенняя ягода, от нехватки солнца плесневеющая в недозрелом виде, переваливал во рту жвачку, локтем навалившись на перила. Лестница в доме номер семь рассчитана не на крестный ход, на малый и нежирный народ она рассчитана. Когда хоронили тетю Лину, поднимали гроб над изрезанными складниками перильцами так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия. Леонид поморщился от боли в ноге, от душу рвущего видения, так некстати его настигающего.

— Здравствуйте, здравствуйте, орлы боевые! — согласно и даже чуть заискивающе произнес Сошнин, по практике ведая, что таким-то вот тоном как раз и не надо было разговаривать с воинственно настроенными гостями. Но так устала и ныла нога, так хотелось домой, остаться одному, поесть, полежать, подумать, может, плечо отпустит, может, душа перестанет скулить...

— Какие мы тебе орлы? — суровым взглядом уперся в него и выплюнул жвачку под лестницу парень. — Ты почему грубишь? — Он распахнул модную дубленку, сделался шире, разъемистой.

«Интересно, где он отхватил такой шабур? Вроде бы женский? Дорогой небось?» — не давая себе завестись, отвлекался Сошнин.

— А ну, сейчас же извинись, скотина! — выступил из-под лестницы футболист. — Совсем разбаловался! Людей не замечаешь!

За футболистом с блуждающей улыбкой стоял мужик — не мужик, подросток — не подросток, по лицу — старик, по фигурке — подросток. Матерью недоношенный, жизнью, детсадом и школой недоразвитый, но уже порочный, в голубом шарфике и сам весь голубенький, бескровный, внешне совсем непохожий на только что вспомнившегося «кенаря» и все же чем-то неуловимо напоминающий того убийцу, рыбьим ли прикусом губ, ощущением ли бездумной и оттого особенно страшной мсти-

тельной власти. Он, по синюшному лицу и по синюшной стриженной голове определил Сошнин, только что с «режима». Давно не вольничал, давно не пил, недоносочек, захмелел раньше и больше напарников. Барачного производства малый, плохо в детстве кормленный, слабосильный, но, судя по судачьему прикусу сморщенного широкого рта, до потери сознания психопаточный. За пазухой у него нож. Не переставая плыть в бескровной, рыбьей улыбке, он непроизвольно сунул одну руку в карман куртки, другой нервно, в предчувствии крови, теребил шарф. Самый это опасный тип среди трех вольных гуляк.

«Спокойно! — сказал себе Сошнин. — Спокойно! Дело пахнет кероси-и-ином...»

— Ну, что ж, извините, парни, если чем-то вас ненароком прогневил.

— Что это за «ну что ж»?

Кавалер с бакенбардами, в гуцульском бабьем полубубке напоминал Сошнину обильным волосом, барственой усмешечкой избалованного харчем, публикой, танцорками певца из модного варьете. Умственно и сексуально переразвитые девки бацали в том «варьете» в последней стадии одевания — одни в гультиках, другие в колготках, — да и это связывало их творческие возможности, и не будь суровых наших нравственных установок, они и это все поскидывали бы и еще выше задирали бы лосиные, длинные ноги, изображая патриотический танец под названием «Наш подарок БАМу». Певец же «мужественным» басом расслабленно завывал в лад их телодвижениям: «Ты-ы, м-мая мэл-ло-о-о-одия-а-а-а...»

С ног до головы излаженный под боготворимого среди недоумков солиста, кавалер на лестнице хотел острых ощущений, остальное все у него было для удовольствия жизни. За шикарнейшей прической — оскорбительный плагиат с гусара-героя и поэта Давыдова; в модном полубубке с грязными орнаментами, в как бы понарошке мятых вельветовых штанах с вызывающе светящейся оловянной пуговицей почти на пупе, в засаленном мохеровом шарфике, в грязновато-алой водолазке, оттеняющей шею, покрытую как бы выветренной берестой, — во всем, во всем уже была не то чтобы слишком ранняя, как говорил поэт, усталость, непромытость была, затасканность. «Вот с запущения лица все и начинается» — вспомнился начальник Хайловского РОВД Алексей Демидович Ахлюстин,

добрейшей души человек, неизвестно когда, как и почему попавший на работу в милицию.

— Извиняйся как следует: четко, отрывисто, внятно!

«Испортить эту экзотическую харю, что ли? — подумал Сошнин. — В сетке бутылка с молоком, банка с компотом... Око за око, зуб за зуб, подлость за подлость, да? Да! Да! Однако далеко мы так зайдем... И молоко жалко на этакую погань тратить. И цыпушку жалко, она, бедная, и так воли не видела, не оформилось ее молодое, инкубаторское тело до плотской жизни — и этакой-то невинной птичкой да по такой развратной рожке!..»

Сошнину удалось отвлечься, он унял в себе занимающуюся дрожь, стоя вполоборота, чтоб парня видеть, если бросится, и тех, внизу, из поля зрения не выпускать, ждал, что будет дальше. Более других его занимал футболист: во-первых, ему за тридцать, пора, как говорится, и мужчиною стать; во-вторых, он должен знать Сошнина. Но футболист и отроду-то мало памятлив, по случаю возвращения в родную команду записался и родимой матушки, видать, не узнавал, а может, видел Сошнина в форме — милицейская же форма шибко меняет человека и отношение к нему.

Лишь краткое замешательство потревожило налитый злобой взгляд футболиста, так и не простившего человечество за то, что «Локомотив» вышибли в «перволижники», на окраину Москвы, в Черкизово, где, несмотря на уютный стадиончик, бывает болельщиков от одной тысячи и до двухсот душ, прячущихся с выпивкой на просторных трибунах; отсюда тебе и навар, и наградные, и слава, и почет. Да еще это неблагодарное в футболе ремесло — «защитник»! Из лексикона лагерных языкотворцев ему скорее подходило: стопор — стопорило, кайло — рубило, секач, колун, обух, но лучше всего — пихальщик, который не пускал к воротам честных, смелых ребят — нападающих, бил их бутсой в кость, стягивал с них трусы и майки, валил наземь, получая лютое удовольствие от вопля поверженного «противника».

— Да-да! — поторопил футболист-пехальщик, косым, грузным взглядом давя «противника». — Не лезь в оф-сайд! Не то получишь гол в рыло!

— Может, его на этом модном галстуке повесить? — посоветовался с собутыльниками «кавалер» и, зацепив пальцем, брезгливо выбросил галстук Сошнина наружу, меж съезженных бортов поношенного форменного пла-

ща. На фоне дряхлой лестницы, в посерелой, исцарапанной известке стен дома с обнажившимися лучинками и гвоздями и галстук, и обладатель его выглядели нелепо, так смотрелся бы здесь, в их трудовом жилище, золотой канделябр из роскошного Петродворца.

— А может, не надо, парни? — запихивая лаковый галстук обратно под плащ пальцами, начавшими дрожать, произнес Сошнин все еще сдержанным, даже чуть просящим голосом.

— Чего не надо?

— Куражиться. — Сошнин увидел, как, отметая лохмами обивки сор, пыль и окурки, приоткрылась справа по спуску лестницы дверь, в нее высунулся круглый нос и засветился круглый глаз бабки Тутышихи. Сошнин вытаращил глаза, и бабка поспешно прикрыла дверь.

— Чего ты сказал? Чего ты сказал? — Футболист-пихальщик, распаляясь от праведного гнева, двинулся вверх по лестнице. — Пеночник! Офсайдник! Я те...

Недавний зэк все плыл в улыбке, но уже расторможенной, с поводка спущенной, сожалеюще качая головой: «Сам виноват. Чего тебе стоило попросить прощения?» Одной рукой он перебирал по барьеру, тащась за футболистом, почти его заслонившим, другой ловил язычок у нагрудного замочка, чтобы вынуть ножик.

«Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка. Из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: «С голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки...» В школе: «Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет... Счастье...» В вузе или в ПТУ: «Друг всегда уступить готов место в шляпке и круг...» Втроем на одного в общем-то в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе...»

— Стойте, парни! — властно скомандовал Сошнин.

Бабка Тутышиха опять высунулась в дверь, и он снова вытаращился на нее. Чуткий к опасностям урка мгновенно обернулся, но ничего пугающего не заметил — бабка успела притворить дверь. Тем временем Леонид повесил сетку на выступ бруса и стал спиной к нему так, чтоб видно было нападающих и внизу и вверху.

— Ах вы, добры молодцы! Трое на одного! Да еще на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, Микула Селянинович да Алеша Попович... Давайте по-былинному силу расходовать.

— Как это?

— На работе.

— На какой?

— Тротуары чистить.

— Издеваешься, гад! — взревел модник и бросился сверху на жертву лохматым зверем.

Сошнин чуть прогнулся и перебросил парня через себя с таким расчетом, чтобы он смел с лестницы собутыльников, но тот уронил лишь рахитного от рождения урку. Футболист устоял на ногах, однако был ошеломлен. Не давая гулякам опомниться, Леонид прыжком миновал футболиста, двумя ударами свалил модника на грязный пол, отбросил урку к батарее, уже не владея собой, — микстуры, уколы, антибиотики, разные всякие идиотики, изматывающие дежурства, погони, схватки, ночное литтворчество сказались, раны сказались, чужая в него влитая кровь сказала. Сыроквасова эта...

Задавленно хрипя, он вогнал кулаком футболиста под лестницу, размазывал его по стене.

— Вступайтесь за друга, подонки! Вступайтесь же за друга!

— Какой он нам друг? Какой друг? — прячась за спину урки, твердил кавалер и, что-то вспомнив, толкнул урку в спину, по-бараньи заблажив: — Геха, режь! Насмерть режь!

Геха послушно сунул руку за пазуху, но вынуть нож ему Сошнин не дал, коротким ударом в сплетение вышиб из него дых и, когда урка, охнув, согнулся, поддел его встречным, отправив к заплеванному, мутному окну. Урка ударился головой в батарею, запищал что-то, как крашенный праздничный шарик, из которого пошел воздух, и, как шарик же, смялся, усох, свернулся синим комочком на полу.

Футболист не оказывал никакого сопротивления. Бить его было неинтересно, но Сошнин так освирепел, что остановиться уже не мог и то ли притворившегося, то ли в самом деле вырубившегося футболиста кинул к батарее, в кучу с уркой, а сам шарил глазами, что-то рыча. Модник ослаб, раскинув руки и вылупив глаза, сидел на полу, вжимался в угол, в дерево, в пазы, забитые грязной, остистой паклей.

— Не буду... не буду... Дяденька! Дя-а-аденька! — визжал кавалер, закрываясь рукавом лопнувшего под мышкой полушубка. Обнажилась сиреневого цвета овчина, от

носки или для моды этак крашенная, и овчинка эта, словно бы снятая с игрушечного медвежонка, внезапно заставила Сошнина опомниться. Он продохнул раз, потом еще раз, с удивлением поглядел на кровавые слюни распустившего молодца, вынул его из угла, будто мышонка из мышеловки, за воротник полушубка, подтащил к выходу и пинком вышиб на улицу с деревянного, бороздкой протоптанного крылечка.

— Появись еще раз, поганка!

Долго потом стоял Леонид возле лестницы, не зная, куда себя девать, что делать. Бабка Тутышиха снова приоткрыла дверь:

— Давно бы так! А то ходют...

— Тебя тут только и не хватало!

Провал, затемнение — все же болен он еще и слаб. Нервами. Смятение в душе, неустройство, и срамцы эти еще на рожон лезут...

Вспомнив про сетку, Леонид вышел на лестницу. Сетка висела на месте. Перегнувшись, заглянул вниз. Под батареей темнела лужа воды, может, и крови, блесело что-то, догадался — нож. Спустился, подобрал тупой, под кинжал излаженный тесак, которым бабушка или кто еще из старших родичей урки щепали лучину, рубили проволоку, — настоящий финарь урка не успел еще выточить или тайком купить.

Возвратившись в квартиру, нашел заделье — позвонил в железнодорожное отделение милиции. Дежурил Федя Лебеда, сокурсник по училищу и напарник по работе, бывшей работе.

— Федя, я тут дрался. Одному герою башку об батарею расколол. Если чё, не искали чтоб. Злодей — я.

— Ты с ума сошел.

— Их надо было побить, Федя.

— Надо... надо... Как не надо? Да за них, за поганцев, затаскают.

Сошнин повесил трубку. Посмотрел на руки. Руки все еще дрожали. Казанки сбиты. Стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него — с ним всегда так, с детства: при обиде, несправедливости, после

вспышки ярости, душевного потрясения — не боль, не возмущение, а пронзительная, все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а, как матери и тетке, в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши — территорию мести.

А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже просто опасно для жизни, лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества и военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение и тех, что надели военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, — рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако вырождок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидательная, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечки пишет, — давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, значных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах... Есть, правда, книга с пророческим названием: «Преступление и наказание». Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не за горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев «не переброешь!». Их много, и они сила, хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи.

Говорят, понять — значит простить. Но как и кого понять? Кому и чего прощать? Настоящие преступники

не крыночные блудни, не двурушники, что лебезят перед «бугром», кусочничают, считая себя невинно осужденными, тянутся и трясутся перед конвоиром, а ночами точат нож, делают из полиэтиленового мешка насос и, выменяв за пайку старую иглу, вгоняют в себя всякую дурманящую дрянь, курят коноплю до того, чтоб помутился разум, — нет, не они, а зэк в переходном возрасте, которого видел «на торфе» Сошнин, стронул его с места своей моралью и жизненной программой. Подтянутый, с силенкой в руках и в характере — «вор в законе», «честно» достукивающий срок, что по выходе на свободу тут же приступит к своим основным обязанностям: подламывать магазины, чистить склады и квартиры, завяжется «интересное дело» — косануть выручку, ограбить инкассатора, обобрать богатого фрайера — кто-кто, а вор безработицы не ведает, так вот тот воругоа открыто издевался над журналисткой из назидательно-воспитательного журнала, которую сопровождал «на торф» Сошнин как человек, имеющий дело «с пером». Словно с луны свалившись, журналистка всему удивлялась и верила особенно восторженно в перевоспитавшихся, осознавших свою вину, устремленных к стерильночистой и честной будущей жизни. С ними она беседовала «по душам».

— Вот вы, — обратилась она к деловито спокойному, цену себе знающему зэку, — вот вы грабили людей, обворовывали квартиры... Думали ли вы о своих жертвах?

— Начальник, — усмехнулся зэк, обращаясь к Сошнину, — ты зачем меня обижаешь? Я достоин более тонкого собеседника.

— Но ты все-таки ответь, ответь. А то мы посчитаем, что виляешь.

— Я-а? Виляю! Еще раз обижаешь, начальник. — И с расстановкой, дожидаясь, чтоб журналистка успела записать объяснения, валил откровенность свою: — Если б я умел думать о жертвах, я б был врачом, агрономом, комбайнером, но не вором! Записали? Та-ак. Дарю вам еще одну ценную мысль: если б не было меня и моей работы, им, — показал он на Сошнина, — и им, им, им, — тыкал он пальцем на сторожевые будки, на здание управления колонии, на Дом культуры, на баню, гараж, на весь поселок, — всем им нечего было бы кушать. Им меня надо беречь пуще своего глаза, молиться, чтоб воровать ненароком не бросил...

С этим все ясно. Этот весь на виду. Его будут перевос-

питывать, и он сделает вид, что перевоспитался, но вот как понять пэтэушников, которые недавно разгромили в Вейске приготовленный к сдаче жилой дом? Сами на нем практику проходили, работали, и сами свой труд уничтожили. В Англии, читал Сошнин, громят уже целый город! Неподалеку от задымленного, промышленного Бирмингема был построен город-спутник, в котором легче дышать и жить. И вот его-то громят жители, и кабы только молодые! На вопрос: «Зачем они это делают?» — всюду следует один и тот же ответ: «Не знаю».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сошнин много и жадно читал, без разбора и системы, в школе, затем дошел до того, чего в школах «не проходили», до «Экклезиаста» дошел и — о, ужас! Если бы узнал замполит областного управления внутренних дел — научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться, осязаемо, доказательно. Ведь как говорил русский ученый: «Искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибов, искать, не пробуя, нельзя». А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечкишки, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будго вниз по речке плыггь.

Месяц назад, в ноябрьскую уж мокропогодь, привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко — от жалости, на кладбище добавили: сыро, холодно, горько. Пять порожних бутылок было потом обнаружено в могиле. И

две полные, с бормотухой, — новая ныне, куражливая мода среди высокооплачиваемых трудяг появилась: с форсом, богатенько не только свободное время проводить, но и хоронить — над могилой жечь денежки, желательно пачку, швырять вослед уходящему бутылку с вином — авось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылок-то скорбящие детки набросали в яму, но вот родителя опустить в земельку забыли. Зарыли, забросали скорбную щель в земле, бугорок над нею оформили, кто-то из деток даже повалялся на грязном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки, поставили временную пирамидку и поспешили на поминки.

Несколько дней, сколько — никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыло бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестало. Уж когда вороны, рассевшись на деревья вокруг домовины, начали целиться — с какого места начинать сироту, крича при этом «караул», кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил что-то неладное.

Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумение, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих давно опочивших, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, черемухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубашкой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло.

И однажды отворилась выюшка в душной трубе, вылетел из черной сажки на метле веселой бабой-ягой или юр-

ким бесом диавол в человеческом облике и принялся горами ворочать. Имай его теперь милиция, беса-го, созрел он для преступлений и борьбы с добрыми людьми, вяжи, отымай у него водку, нож и волю вольную, а он уж по небу на метле мчится, чего хочет, то и вытворяет. Ты, если даже в милиции служишь, весь правилами и параграфами опуган, на пуговицы застегнут, стянут, ограничен в действиях. Руку к козырьку: «Прошу вас! Ваши документы». Он на тебя поток блевотины или нож из-за пазухи — для него ни норм, ни морали: он сам себе подарил свободу действий, сам себе мораль соорудил и даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил: «Оп-пя-ять по пя-а-а-атницам па-айдуг свида-а-ания, тюрь-ма Таганская — р-ря-адимай до-о-о-ом...»

В Японии, читал Сошнин, полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, паручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем в другом конце Земли, в Японии солнце всходит, в Вейской стороне заходит, там сегодня плюс восемнадцать, зимние овощи на грядках зеленеют, здесь — минус два и дождище льет, вроде бы целый век не переставая.

Сошнин помочил голову под краном, тряхнул мокром во все стороны: некому запрещать мокретью брызгать — тоже полная свобода! Закрыл кран, поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто пожалел, вытянулся на диване, уставился в потолок. Тоска не отпускала. И боль терзала плечо, ногу. «Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под лестницу... Такие все могут...»

Патрулировали Сошнин с Федей Лебедой по городу, и Бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с Крайнего Севера прибывший с толстой денежной сумой «орел», нажрался с радости, подвигов захотелось — и увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, — на площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пятток ливанских елей, навалили бурых бульжин, посадили цветочки, и сколько уж из-за нее, из-за этой вейскими дизайнерами созданной эстетики, народу пострадало: не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух человек изувечил, одного об будку убил и, вконец ошалев, за-

паниковал, ослеп, помчался по центральной улице, на светофоры, в мясо разбил на перекрестке молодую мать с ребенком.

Угонщика преследовали всей милицией, общественным транспортом, «отжимали» от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что, может, врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сошнин и Федя Лебеда, загнали было дикую машину во двор, угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку — хорошо, детей не было в тот час во дворе. Но уже на самом выезде сшиб двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-боярышницы, взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре.

Сошнин — старший по патрулю — решил застрелить преступника.

Легко сказать — застрелить! Но как это трудно сделать. Стрелять-то ведь надо в живого человека! Мы за просто произносим по любому случаю: «Так бы и убил его или ее...» Поди вот и убей на деле-то. В городе так и не решились стрелять в преступника — народ кругом. Выгнали самосвал за город, все время надсадно крича в мегафон: «Граждане, опасность! Граждане! За рулем преступник! Граждане...»

Выскочили на холм, миновали последнюю городскую бензоколонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули — о, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии, и в одной процессии черно народу — какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем, в пяти километрах, — крупная строительная площадка, что мог здесь наделать угонщик — подумать страшно. А он сорсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за сто километров.

— Стреляй! Стреляй!

Федя Лебеда сидел в люльке мотоцикла, руки у него свободны, да и лучший он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя Лебеда оттянул предохранитель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась. Машина заприхрамывала, забрехала. Сошнин, закусив губу, надавил до отказа на газ мотоцикла.

Они сближались с машиной. Обошли ее. Федя Лебеда поднял пистолет, но тут же в бессилии опустил руку.

— Останови-и-и-ись! — кричал он. — Остановись, вражина!.. У новостройки загородят дорогу — там пост!

По губам угадал Сошнин почти молитву, творимую напарником в последней надежде на бескровное завершение дела.

— А кладбище? — по губам же угадал и Федя Лебеда ответ Сошнина.

Побелев и в самом деле что писчая бумага, не испорченная графоманами, будто тяжелую гирию, поднимал Федя Лебеда привычный пистолет. Губы шлепали, вытряхивали с мокром:

— Попробовать... Попробовать...

— Некогда! — Сошнин яростно пошел на обгон самосвала.

Угонщик не пустил их по ходу слева. Резким качком бросив мотоцикл в сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон:

— Остановитесь! Остановитесь! Будем стрелять...

Грохочущая колымага ринулась на них, ударила мотоцикл железной подножкой. Сошнин был водителем-ассом, но что-то произошло с ним необъяснимое — он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся звон, небо и земля начали багроветь, впереди забегали и куда-то, за какой-то край посыпались люди из похоронных процессий.

— Да стреляй же!

Двумя выстрелами Федя Лебеда убил преступника. Машина с грохотом промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сошнин успел увидеть шарикоподшипником выкатившийся из затылка, чуть обросшего упрямо-тупого затылка кругляшок, еще кругляшок, быстрее, чаще, будто с конвейера покатались, вытянулись в красную нитку, шея, плечи, новая, на Севере, с корабля, видать, купленная куртка, вся в карманах, чем-то туго набитых, быть может, письмами матери, может, и любимой девушки. Был еще значок на куртке. Яркий значок за спасение людей на пожаре. И вот куртка сделалась красной на плечах и на спине, что значок за отличие на пожаре.

Сошнина скрутило судорогой на земле, красное мокро подступило к горлу. Скорееженный, смятый, он лежал

затем в машине «скорой помощи» рядом с застреленным утонщиком и слышал, как под носилками по железному полу плещется, скоблит уши их вместе слившаяся кровь.

Опытнейший хирург железнодорожной больницы, уроженец родного железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройки при пятерочных способностях, — Гришуха Перетягин успел когда-то полностью оформиться в доктора, был сед, медлительно-спокоен и, как показалось Сошнину, несколько и поддатый.

— Нога висит на одной коже и на жиле. Ампутировать или спасти? Как прикажете, гражданин начальник?

— Попытайся, доктор, — взмолился Сошнин и заискивающе добавил: — За мной не пропадет, Гришуха. — Разрешая недоуменный взгляд доктора, еще добавил: — Я ж тоже наш брат-железнодорожник... теги Лины племяш.

— А-а! — оживился доктор. — Лёшка, что ли? А я гляжу, понимаеш... Ну, коли с железнодорожного да еще наших, вятских, кровей — и одной жилы достаточно... А я смотрю, вроде как знакомое лицо, понимаеш... — наговаривал Гришуха и делал какие-то знаки сестре и няне. — Дак не пропадет за тобой, говоришь? Заметешь и домой не отпустишь, хе-хе-хе...

Отчего-то Гришуха-хирург не дал Сошнину наркоз. Налили полный стакан чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент сделается мертвецки пьян, поболтал еще с ним о том о сем и приступил к делу. Во время операции Сошнину поднесли еще мензурочку. Он пил спирт, будто воду, очень холодную, родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, долго потом сипел горлом.

Гришуха Перетягин, довольный собой и профессиональным мастерством, свойски посмеивался на обходах:

— Я тя, как на фронте, латал. Бах-трах по горячему. И приросло! При-иро-сло-о-о, понимаеш! Еще на нас, на вятских, паркоз тратить, кровь переливать. Наркоз вредный, крови в запасе мало, нас, вятских, много. Слушай, ты чё, и правда чистый спирт не пил? Н-н-ну, понимаеш! Тоже мне, миленький, легавенький, красивый, кучерявенький! Таких хлопиков надо гнать в шею из органов.

Расхаживался Сошнин долго. От одиночества и тоски много читал, еще плотнее налег на немецкий язык, начал

марать бумагу чернилами. Сперва писал объяснительные, много и длинно, потом заготовил краткую, похожую на рапорт бумагу и отделялся ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем Антоном Пестеревым. Он шибко дорожил честью работника правосудия и, казалось ему, все и всех знал, видел насквозь.

— Как вы, милиционер, человек в годах уже и со стажем, могли стрелять в молодяжку, еще и жизни не видавшего, неужели не могли с ним справиться, задержать без выстрелов и крови? — прокалывая Сошнина узким лезвием глаз, явно подражая какому-то несокрушимому, железному кумиру, цедил сквозь зубы Пестерев.

Федя Лебеда исхитрился усмыгнуть от объяснений — старший по патрулю кто был? Сошнин. Вот и отчитывайся, майся. Леонид сперва сдерживался, пытался что-то объяснить Пестереву, потом вскипел:

— Да за одну молодую мать с ребенком!.. — Он прикрыл глаза, отвернулся: — Растерзанные... пыль, кровь, замешано... багровая грязь. Я в любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму!

— Псих! — сорвался следователь. — Ты где находишься? Как ты в милицию попал?

— Потому и псих, что ты слишком блаженно живешь! — Сохранилось, все же сохранилось мальчишество в Сошнине. Он похлопал Антона Пестерева по форменному мундиру работника правосудия: — Это тебе не мама родная! От этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься! — Да с тем и ушел, озадачив борца за справедливость до того, что он звонил Сошнину, домогаясь: что за намеки?

Родом из деревни Тугожилино, Пестерев забыл, что всего в трех верстах от его родной деревни, в сельце Полевка, жила теща Сошнина, Евстолия Сергеевна Чащина, и она-то уж воистину знала все и про всех, может, не во вселенском, даже и не в областном масштабе, но на хайловскую округу ее знания распространялись, и от нее, от тещи, Сошнину сделалось известно, что в Тугожилино чегыре года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на похороны, даже и невестки, и зятя съехались, и дальние родственники пришли-приехали, но младшенький, самый любимый, прислал переводом пятьдесят рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив, что очень занят; на самом же деле только что вернулся с курорта Белокуриха и боялся, как бы ра-

дон, который он припимал, не пропал бесполезно, не подшалили бы нервы от переживаний, да и с «черной» деревенской родней знаться не хотелось. Родня, воистину темная, взяла и вернула ему пятьдесят рублей да еще и с деревенской, грубой прямокой приписала: «Подавился, паскуда и страмец, своими деньгами».

Вернувшись из больницы на костылях в пустую квартиру, он залег на диване и пожалел, что не выучился пить, — самое бы время.

Наведывалась тетя Граня, мыла, прибирала, варила, ворчала на него, что мало двигается.

Пересилился, начал снова читать запойно, к бумаге потянуло — разошелся на объяснительных-то! В этой непонятной еще, но увлекательной работе забылся. Он и раньше, еще в школе, писчебумажным делом занимался — обыкновенный в общем-то, даже типичный путь современного молодого литератора: школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки, иногда и в «художественной» форме, — в областных газетах, милицейский, затем и другие тонкие журналы, на «толстые» пока не тянул и сам это, слава Богу, сознавал.

«Может, мне к Паше поехать? У Паши хорошо!» — вяло думал Сошнин, заранее зная, что ему никуда не уехать. Шевелиться, за почтой вниз сходить — и на то нет сил, но главное — желания...

Паша — человек, способный убагатворить, умиротворить и накормить весь мир. Это про нее Пушкин сочинил: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир...»

После первого боевого крещения и крена семейного корабля набок Сошнин от смятения, что ли, от пустопорожности ли времяпрепровождения решил пополнить образование и затесался на заочное отделение филфака местного пединститута, с уклоном в немецкую литературу, и маялся вместе с десятком местных еврейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натываясь на искомое, то есть на различия, — Михаил Юрьевич, по мнению вейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру. В пединституте Сошнин впервые услышал слово «целевик», смысл которого граждане нашей страны, исключая разумные головы из Академии педагогических наук, до конца так и не по-

стигли. Между тем «целевик» — слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета: это абитуриент, присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу. О том, сколько и как возвращается в родную местность «целевиков», особо «целевичек», — знает всезнающая статистика, да молчит в смущении.

На стадиончике, примыкающем к пединституту, пробитом там и сям зелеными прутьями кленовых поконов, Сошнин играл в городки. На месте стадиона был когда-то патриарший пруд, с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревьями вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаком и землей, вынутой из-под фундамента новостроек, но оно же, проклятое прошлое, прилипчиво, живуче, оно из-под земли, из-под притоптанных и прикатанных недр стадиона, из пней, плотно закопанных, давало о себе знать, нет-нет, пусть и украдчиво, втихомолку, посылало в ясноглазую современность вестников весны, напоминало о себе живучей ветвью тополя или клена, меж которых по шлаком присыпанной дорожке, остро выставив локти, бегали будущие гармонично развитые педагоги, тренируя гибкость тела и крепость мышц.

Поскольку Сошнин охромел, его определили соревноваться в наземных играх, и он азартно швырял струганые палки, вышибая то «бабушку в окошке», то «змею», то «домик», и однажды увидел в уголке стадиона мужицкого телосложения деваху с непритязательно рубленным, но румяным и здоровым лицом, на которое спадали коротко стриженные волосы толщины и цвета ржаной соломы. Девка собирала волосы на затылок старомодной костяной гребенкой и одновременно стягивала с себя лыжные штаны, рвала пуговицы на кофте, нетерпеливо постанывая и сопя расширенными ноздрями. На ходу подтянув трусы футбольного покроя, со свистом вобрав в себя побольше воздуха, девка вышла на беговую дорожку и замерла в ожидании старта. Сквозь мужскую майку, распертую телом до прозрачной тонкости, четко обозначался бюстгальтер, завязанный на спине морским узлом, потому как пластиковая застежка не выдержала напора скрытых сил, лопнула и болталась без нужды. Ясное дело, только крепким узлом и можно было сдерживать силы в чугунных

цилиндрах грудей с ввинченными в середку трехдюймовыми гайками. Те гайки, подика, не раз и не два отвинчивали передовые сельские механизаторы, но даже резьбу сорвать не осилились, не укротили мощь могучего, все горячее распалюющегося перед бегом механизма.

— Й-и-ех, глистогоны-интеллигенты! — рывкнула девка, когда поравнялись с ней трусцой трюхающие, подзапыхавшиеся молодые спортсмены, бледно-серые от табака, ночных свиданий и жидкой студенческой пищи. Грудь у девки закултыхалась, зад завращался тракторным маховиком, ноги, обутые в кеды сорок второго размера, делали саженные хватки, лицо ее было вдохновенно, воинственно, вся мелкота, перебирающая ногами по земле, по захороненному патриаршему пруду, разлетелась на стороны мошкой и осталась позади.

Не зная, что такое финиш, девка промчалась мимо него и Бог весть куда бы убежала, если б на пути ее не оказался забор стадиона. Вот что такое была Паша! Бог и фамилию ей определил в соответствии с материей — Силакова. Какой-то тренированный спортсмен, не иначе мастер спорта, поверженный в прах, оправдывался, протирая очки: «Да я бы обошел эту стихийную бабу, но очки запотели». Паша Силакова, снисходительно похлопав по плечу знатного спортсмена, предложила: «Может, еще попробуем?»

С того и родилась знаменитая институтская песня: «Я б и кашу сварил, я б цветы подарил, я б любил тебя смертно и верно». Припев: «Да очки запотели». «Я бы сдал сопромат, поступил на физмат. Я бы взял все высоты науки. Да очки запотели...»

Дела у «целевички» Паши Силаковой в институте шли не так бойко, как на стадионе. Она и в своей-то, починковской школе никого по наукам не обгоняла, все больше догоняла. Работать бы ей на колхозной ферме, быть ударницей труда, почитаемым человеком, многодетной матерью, да ее родная мать, молодость, жизнь, красоту и силу изработавшая на колхозной ферме, узнав про дополнительный набор в пединститут, сказала: «Поезжай, учись на ученую, много денег получать станешь, авось в люди выйдешь, не будешь, как я, веки вечные в назъме плюхаться».

Очень и очень хотела Паша Силакова стать ученой, не спала ночами, тупела от наук и городской культуры, смекнула своим деревенским многоопытным мужицким умом, как достичь цели: возила в общежитие картошку, моло-

ко, мясо из деревни, убиралась в комнате, стирала аристократкам с филфака бельишко, гладила, и те, курящие сигареты с долгими мундштуками, понимающие толк в коньяках, коктейлях и сексе, наизусть знающие названия иностранных наклеек на задку импортных джинсов, из которых самая ценная была «монтана», насмеялись над Пашей, помыкали ею. Мадам Пестерева, читающая в институте классическую русскую литературу, приспособила Пашу в домработницы.

Супруги Пестерева домашними делами не занимались, не пачкали рук, жили по правилам и запросам высокоинтеллектуальных личностей: баловались теннисом, купались в прорубях, ездили на коллективные охоты, оба лихо водили личную «Волгу», небрежно вертя руль одной рукой и выставив локоть за окошко. В «Волге» чехлы из какого-то мохнатого существа — из меха ламы, объясняли Пестерева, за задним сиденьем, как у богатого кавказца, катался пестрый мяч, перед передним стеклом, опять же, как положено состоятельным, понимающим культуру особам, подвешена экзотическая ширококоротая обезьянка в красных трусах; по стеклу ярко написано: «Эспанио — уэрто — командорос».

Женившись еще в студенческие годы на дочери директора вейского льнокомбината, Антон Пестерев имел на троих четырехкомнатную квартиру, содержал местный «салон» и собирал в нем по вечерам «высший свет» города Вейска. Одна из комнат супругами Пестеревыми была превращена в некую разновидность гостиной, игорную залу и дешевенький музей, на стенах которого висели абстрактные полотна, гравюры, несколько дорогих полужурильных чеканок с русалками, пара прялок, пара лаптей, репродукции с пикантных полотен Сальвадора Дали. Вечерами в зале чуть приглушенно, интимно звучали по японской радиозаписывающей системе модные записи «из отгудова», ну и наши, необходимые в модном салоне модные поэты: Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева; на инкрустированных полочках — Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аполлинер, Дос Пассос, Хименес, Ли Бо, далее Пикуль, Сименон и Апдайк, меж ними Библия дореволюционного издания, молитвенник с золотой застежкой, «Слово о полку Игореве» в подарочном издании и нарядный словарь Даля в четырех томах.

Мадам Пестерева развлекала своих гостей рассказами

о Паше Силаковой и устраивала потеху в студенческих аудиториях.

— Ну-с, молодой человек, — старомодно обращалась она к студентке, словно к существу мужского пола, поставив ее перед публикой по команде «Смирно!». — Что вы можете рассказать о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя?

И скорый, радостный, изготовленный по подсказкам сокурсниц следовал ответ Паши Силаковой:

— Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя. В результате этого краха он сжигает второй том «Мертвых душ», который, впрочем, был слабее первого тома оттого, что оказался пропитан растленным духом церковников, скрывавшихся в катакомбах и мрачных закоулках Оптиной Пустыни и прочих притонах воинствующих мракобесов...

— Так-так. Вы, конечно, прочли второй том и оттого так уверенно его отрицаете?

— Нет. Все это нам рассказывала еще в селе учительница литературы Эда Генриховна Шугенберг, и девочки мне помогли. Заучить.

— Ссылная учительница?

— Да. Но она потом исправилась, была восстановлена. И орденосеиц даже сделалась.

— Может быть, она даже заслуженной учительницей стала?

— Да. Я забыла сказать. И заслуженной.

— И она вас, деревенских учащихся, приучала к самостоятельности мышления?

— Упорно приучала. Настойчиво. Много сил положила на это дело.

— Ну, что ж, — едва заметной улыбкой, блуждающей по лицу, мадам Пестерева призывала в свидетели аудиторию, продолжая показательный спектакль, предлагая простодушной Паше Силаковой «исследовать эпоху Пушкина», и даже подталкивала ее кивками головы и «наводящими» репликами на нужное направление. И Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно, и заключала, что ничего другого, как «по-

гибнуть на благородном поле брани» великому поэту и не оставалось, «интриги, придворные интриги погасили свечка русской поэзии...».

— Здорово вы их! — качала головой мадам Пестерева. — Ну, что ж, давайте зачетку. Не каждый день даже в стенах нашего института так вот досконально анализируют поведение классиков.

Лерка, жена Сошнина (ныне, как и полагается по современной моде, они в разводе, судом еще не оформленном), училась с Пашей Силаковой в старших классах починковской школы. Она узнала, как потешаются в институте над добрейшим человеком, как ученая дама превратила девку в домработницу.

— Это что? Это вот как? — орала Лерка, человек малоудержанный. — Хулиганов вяжете! В вытрезвитель пьяниц тянете. А это, это что? Когда над нами, деревенскими, перестанут глумиться новоявленные аристократы?!

— Не ори ты и на Бога меня не бери! Давай думать, как девку спасти.

Придумали перевести Пашу в ПТУ сельскохозяйственного направления, учиться на механизатора широкого профиля. Паша в рев: «Хочу быть ученой! Ну, пусть хоть переведут в училище дошкольного воспитания, раз я тут осилить не могу...»

Сошнин взял Пашу Силакову за руку и отвел к ректору пединститута домой, к Николаю Михайловичу Хохлакову, известному книгочею, у которого и «пасся» в библиотеке Леонид. В свое время вернувшись из заключения и не подыскав еще работу, тетя Лина стирала и убиралась в доме профессора.

Николай Михайлович — по облику типичный профессор. Грузен, сед, сутул, носил просторную вельветовую блузу, не курил табак, не пил вина. Пыльными книгами до потолка забита четырехкомнатная квартира, и все это, как и рассчитывал Леонид, произвело на Пашу Силакову большое впечатление. Когда Николай Михайлович объяснил ей, что для современного ученого она слишком прямодушна, да еще добавил, что сельский механизатор ныне зарабатывает больше ученого-гуманитария, Паша махнула рукой:

— Не всем ученым быть. Надо кому-то и работать. Где у вас поганое ведро? — И, задрав подол, начала мыть пол.

протирают мебель, книжные шкафы в квартире недавно овдовевшего профессора, крича при этом на весь «учебный» дом: «Я! Ты! Он! Она! Вместе будет вся страна!..»

Пока не освободилось место в общежитии, Паша и жила у профессора, иногда навещала Сошнина, еще с порога хайлая возмущенно: «Ну и засвинячился ты, братец-кондратец!»

Училась Паша в ПТУ хорошо, сделалась выдающейся на всю область спортсменкой, в метании диска побила все местные рекорды, даже ездила на зональные соревнования и на Спартакиаду народов СССР, в столицу, после возвращения из которой Сошнин едва ее узнал. Перекрашенная в золотой цвет, с шапкой завитых, да и не завитых, а прямо-таки взвихренных волос, с засиненными веками, в джинсовом костюме, в сапогах «а-ля мушкетер» Боярский, явилась Паша в родные края, бурная, все сокрушающая, с сигаркой в зубах.

— Знай наших! Поминай своих! Мы, деревенские, можем вести себя похлеще лахудров с филфака!

«Э-э, — затосковал Сошнин, — этак дело пойдет — деревня лишится еще одного хорошего работника, город приобретет зазвонистую хамку». И с помощью все того же Николая Михайловича и Лерки спровадил Пашу на центральную усадьбу родного починковского колхоза «Рассвет», где она работала механизатором наравне с мужиками, вышла замуж, родила подряд трех сыновей и собиралась родить еще четверых, да не тех, которых вынают из чрева с помощью кесарева сечения и прыгают вокруг: «Ах, аллергия! Ах, дистрофия! Ах, ранний хондроз...»

— Мои мужики на земле работать будут, в моря ходить, в космос летать. — И, слабое существо, мать и женщина, со вздохом добавляла Паша: — А все ж хоть бы один, как Николай Михайлович, ученым сделался...

— И ты меня не увезешь. И я, наверно, не уеду. А тройка? Тройка — это ложь! И я давно не верю деду, — пробормотал Сошнин, все лежа на диване и радуясь, что поезд на Хайловск прошел, до завтра не будет туда okazji, кроме автобуса, на автобусе же трястись в такую погоду боевые раны не велят. Вот завтра или послезавтра укрепится духом и поедет к Паше в гости, может, и до тестя с тещей доберется — от Починка до Полёвки рукой подать. Надо бы Лерке позвонить. Давно не звонил. Да

ведь по голосу догадается, что опять что-то стряслось с человеком.

И это терпит.

Итак, на чем же мы остановились? На противоречиях жизни? Почему люди бьют друг друга? Какой простой вопрос! И ответ проще простого: «Охота, вот и бьют...»

Начальник Хайловского райотдела УВД Алексей Демидович Ахлюстин, мыслитель и боец, говаривал: «Половина людей на земном шаре нарушает или собирается нарушить, другая половина нарушать не дает. Пока равновесие. Дальше может наступить нарушение баланса...»

«А Лерке все ж надо позвонить. Что она там? Как?» — Сошнин повернул руку с часами к свету, тускло сочащемуся из давно не мытого окна, из-за пузато вспученного «гардероба», — полпятого. Лерка кончает работу в шесть. Пока за Светкой в садик зайдет, в магазин, туда-сюда, раньше восьми нечего и думать звонить. На работу разве? Но там же бабье! Изнывающее в белой аптеке от белого безделья, от запаха лекарств, дурманящего плоть и ум. «Твой!» — зашебуются возбужденные бабы умы. «Денег занять хочет», «По ласкам соскучился...», «Об ребенке родном вспомнил»...

«У-ух, бабы, бабы! Без вас прожить бы кабы. Во, стихи пошли! Сами собой! Как у Маяковского. Может, даже лучше...»

Притягивала к себе глаз, тревожила рассудок могучая туша «гардероба», в сугеми явственно напоминающая фигуру бессмертного Собакевича. Из-за него, из-за этого «гардероба», супруги Сошнины разбежались в последний раз, точнее, из-за тридцати сантиметров — ровно настолько Лерка хотела отодвинуть «гардероб» от окна, чтобы больше попадало в комнату света. Хозяин, зная, как она ненавидит старую квартиру, старый дом, старую мебель, в особенности этот добродушный «гардероб», как хочет свести его со свету, стронуть, сдвинуть, тайно веруя: при передвижке он рассыплется, историческую мебелину можно будет пустить в печь, — оказал сопротивление, а сопротивление, знал он по службе, всегда чревато «последствиями».

Мгновенный вспыхнул скандал, крик, слезы, и в такой же непогожий вечер, схватив за руку ребенка, Лерка ушла в общежитие фармацевтического института. Вторично умчалась. Как зав. аптекой, скорей всего при содействии Леонидова дружка, приятеля детства, ныне большого

начальника, Володи Горячева, бедствующая мать с ребенком перебралась в дом гостиничного типа, в девятиметровую комнату, где есть все условия для жизни: туалет, мойка, крап, метла, диванчик, стол и телевизор, а он, значит, остался «на просторах», царствует в своей квартире, наслаждается свободой, и «гардероб» стоит, что скала. «Стоит! И стоять будет!» — почти торжественно, как Петр Великий о России, сказал Сошнин про «гардероб».

Мысль о Лерке не угасала, наоборот, подступала ближе. Как на душе смута — она тут как тут, во, прилипчивый человек! Баба! Жена. Крест. Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Город Хайловск, куда направили работать Сошнина после окончания школы УВД, — типичный, в общем-то, райцентр на пятнадцать тысяч голов населения, довольно спокойного, в основном сельского. Промышленность здесь была лесная, кудельная и сельскохозяйственная. Беспокойл порой и будоражил городок, стоявший на отшибе, текстильный техникум да межзональный дом отдыха лесозаготовительной отрасли. Иногда, очень редко, Хайловск сотрясали отзвуки современного прогресса. Сотрясения катились в основном по железной дороге, подле которой ютилась небольшая, с дореволюционным деревянным вокзалом станция Хайловск, о восьми путях, в любое время года забитых вагонами, груженными круглым лесом, доской и брусом — продукцией местного леспромхоза.

Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва небольшие, сдержанные, немногословные, потом покрупней, посolidней, еще более сдержанные. Дело кончилось тем, что на восьмой путь было поставлено несколько вагонов, в которых жила трудовая солдатня с лейтенантом во главе. За три с небольшим месяца боевой военный отряд отгрохал в центре Хайловска двухэтажную гостиницу, повеселил городишко и, оставив двух-трех вдовушек в безутешном горе, отбыл в неизвестном направлении.

Гостиницу долгое время населяли отпускники и командированные. Нагрянул как-то уроженец здешних мест, видный конструктор, у него автомат был излажен в виде многозарядной автоматической зенитки, прозванной фронтовиками «дай-дай». И от той зенитки, как ты ни летай, как ни бегай, — шикуда не улетишь и не убежишь.

Словом, гостиница досталась городу. И вот в этой-то гостинице суждено было Сошнину прославиться на весь Хайловск и окружающие окрестности. Жители Хайловска существовали в своих домах, гости их и родственники, приезжая в отпуск, жили там же. Гостиничные номера заселял богатенький, разбитной уполномоченный, пацеленный на хайловскую лесопroduкцию, солнечной летней порой ревизор из Минлесхоза или из «Сельхозмеханизации», дитя Кавказских гор с дарами солнечного, плодородного юга: помидорами, цветами, фруктами, — осчастливливал здешний рынок, заросший крапивой и бодягом, куражливый журналист местной прессы сотрясал телефоны «люкса», собирая материал по передовому опыту переработки льна и использования лесотходов; поэты и художники налетали чаще всего артельно.

Вот в гостинице завертелись «химики». Началась картежная игра: «гадалки», «пулеметы», «библия», «колотушки», «альянцы», «сонники», «стирки» — как только карты не называли. Зазвенели гитары, взвизгнули в ночи женщины, заскорготали зубы, послышался лязг битого стекла и кинжальный звон. «Кабел, демон, угол, индия, бал, играть на рояле, чмок-шпок, гладенько, задок, залепить хаверу, чос, бацильный, духовой, ежик, кучер, шнифер» — слова-то, слова-то все какие! Музыка! Зарешеточная, на бессонных тюремных нарах сотворенная словесная продукция пугала тихий, за лесами, за болотами живущий хайловский люд.

Но вот явился в Хайловск Демон! В соседней области прибил ломом инкассатора, «взял на хомут» — так это называется — сорок тысяч «рваных» и пистолет. «Вооружен и очень опасен» — как раз в ту пору шла кинокартина с таким названием в Доме культуры работников леса.

Сошнин не от картины, нет, скорее от физического и душевного застоя, заранее дрожа и подобравшись, для себя решил: «Возьму! Когда еще в Хайловск пожалует Демон. Настоящий...»

По телефону из областного угрозыска приказывали не соваться не в свое дело, до приезда оперативной группы ничего не предпринимать, но с преступника глаз не сводить. Но Демон, «печальный Демон — дух изгнания», — вдруг в небеса вознесется!

Тонкую операцию замыслил Сошнин. Как раз на город Хайловск хлынула спортивная орда. Дом отдыха, общежитие техникума, гостиница забиты под завязку. Го-

родок цветет синими штанами, шапочками с иностранными буквами и знаками. Соревнования, эстафеты, шум, многолюдство — очень это важный фактор! Пригласив двух дружинников из леспромхоза, Сошнин переоделся в гражданское и во время обеда «подселился» с раскладушкой в номер грабителя. И, когда злодей пришел и, увидев постороннего человека, напрягся и начал бледнеть, не давая ему ни минуты на раздумья, молодой детектив, читавший книжку технического толка, — для маскировки такую книжку подобрал, — соскочив с раскладушки, представился:

— Инженер Зверев. — И фамилия-то, фамилия вмиг, кстати, подходящая, явилась. — Все места в гостинице заняты. Физкультура и спорт. Всегда готов. Извините. Подселили... — И, как только в протянутой руке ощутил руку Демона, зажал ее, вывернул, и... бандит и ахнуть не успел, как на него мильтон надел!..

Начальник угрозыска города Вейска, седой, подслеповатый, но весь вроде бы сложенный из мускулистых, крупногабаритных деталей, объяснил Сошнину всю его глупость: сотрудник милиции малого городишка — да его собаки и те не только в лицо, но и на нюх знают! «Самбист. Бывший чемпион спецшколы по боксу! А откуда тебе известно, что Демон — не чемпион страны по вольной борьбе? Может, по всем видам спорта чемпион, включая фигурное катание?! Ты изучал его биографию? Силу? Реакцию? Гастролер он, матерый кучер или портяночник? Баклан? Тумак? А если б матерый? Да он бы тебя разделал, как киевский мясник! И собирали бы тебя по частям в морге, чтоб прилично выглядел в гробу...»

Но как бы там ни было, народ-то узнал о «подвиге», и выходило, что не начинающего гастролера скрутил Сошнин, брал он двоих опытных убийц, и были у них не пистолеты, по автомату было, и одного бандита Сошнин известным лишь ему приемом выбросил в окошко со второго этажа, чтоб не путался под ногами, со вторым-то ему и труда не составляло управиться!..

На улицах и в общественных местах Хайловска слышал герой-детектив вослед себе: «Тот самый!» И не только из техникума, даже приезжие девчата начали глядеть на него с пристальной заинтересованностью и что-то выдающееся находили в его облике, потому как поровили спросить именно его про расписание поездов и автобусов, когда буфет откроется, какая будет завтра погода,

придавая голосу воркование, заводя глаза под зачерненные ресницы.

Сошнин просил устно и письменно свое руководство перевести его куда-нибудь, желательно подальше от Хайловска. Ему обещали «подумать», но тут нанесло на молодого героя не менее жуткую, чем вооруженный бандит, опасность...

Дожив до двадцати двух лет, Лерка ни с одним еще парнем не дружила — она отпугивала кавалеров высокормерным видом и какой-то свертехнической оснащённостью тела. Скуластенькая, вся в локтях, в коленях, в лице, в руках, в ногах, в груди, даже вроде бы и в заду у нее были коленки и локти, и все это заведено двигалось, стремительно, выразительно, даже и нахраписто, все вертелось, в таком даже месте, где у других людей вертеться нечему. Говорила Лерка резко, точно, кратко; на мир глядела так, будто все в нем уже давно не только знала, но и прошла еще в школе и ничего в этом мире никакого ее внимания не заслуживает. При всем при этом Лерка была кокетлива, ходила «на тырлах», как говорят блатняки, ручки полусогнутые, словно у заводной куколки, навьючивала немислимые прически, натягивала какие-то сверхмодные платья, косынки, пилотки, шляпки, в последнее время — тугие, узкие джинсы и гарибальдийскую пышную косынку, узлом схваченную на горле. Хайловские кавалеры прозвали Лерку «примадонной» и прохаживались по перрону в «ее стиле», вертя всем, что у кого может вертеться, но близко к Лерке не подступали — и без нее хватало «кадров».

Пристальное, практическое внимание на Лерку обратили «химики», приняв ее за халяву. Лерка училась в Вейске на фармацевта, на выходные приезжала к родителям, в деревню Полёвку — это двадцать километров от Хайловска, в девяти верстах от Починка — центральной усадьбы колхоза, и, когда дожидалась автобуса в родные края, «химики» откололи ее от публики, подпятили к забору и между киоском «Союзпечати» и филиалом леспромхозовской столовой давай снимать с нее штаны. Штаны-то джинсы, их не так-то просто и по доброй воле сдернуть, а при сопротивлении время и сноровка надобны. Сошнин, на свою беду, как раз приехал с лесоучастка, где целую ночь умирал лесорубов после полочки. Выйдя из поезда, отбил барышню, увел ее в дежурную комнату, где ее долго отпайвали водой.

— Люди на остановке! Советские, наши, здешние — и никто, никто не заступает!.. Подлые!.. Подлые!.. Все подлые! — в истерике кричала Лерка.

Конечно, подлые. Кто ж станет отрицать или спорить? И люди на остановке, и «химики» — это уж само собою, но вот автобус на Починок ушел и будет только завтра утром. Что делать?

Бессонная ночь позади. Спать охота — спасенья нет. Молодой организм отдых просит. Брюзгин, сотрудник ЛОМа, удалит барышню из дежурки сразу же, как уйдет с вокзала Сошнин, потому как жена у него сто кило весом, ревности же в ней на все двести, и проверяет она поведение сотрудника ЛОМа через каждые два часа. В вокзале по скамейкам валяются друзья «химиков» или на них похожие кореша, раздумывая насчет условий вербовки: соглашаться им в Хайловский леспромхоз или в глубь страны подаваться? Пришлось брать Лерку к себе, в холостяцкую комнату, выделенную Сошнину в леспромхозовском общежитии. Он бросил шинель на пол, в головах свернул казенный бушлат, укрылся плащом, указал барышне на казенную кровать с пружинами, звенящими, что арфа, и только донес голову до изголовья — канул в непробудное, сладкое царство.

И не возвращаться бы ему из того, все утишающего, блаженного царства в вечно жужжащее общежитие, в узенькую комнатку с казенной желтой занавеской на окне, отмеченной черной, жирной инвентаризационной печатью, с казенной кроватью, накрытой простыней, тоже с печатью, с чайником без крышки и без печати, с эмалированной кружкой, с гнутыми столовскими вилками, с чемоданчиком в углу и стопкой книжек на подоконнике.

Он продрал глаза и с удивлением увидел: на казенной койке, звучащей, как арфа, скатившись головой с плоской, отходами кудели набитой подушки, спала барышня, совсем непохожая на ту, каковую она изображала из себя на людях. Она ровно дышала чуть приоткрытым алым ртом, и что-то совсем далекое от грубой действительности снилось ей, верхнюю губу, помеченную пушком, трогала летучая, даже мечтательная улыбка, чуть вздрагивали сомкнутые ресницы, румянец облил щеки, и не суетились руки-ноги барышни, ничего не суетилось, не дрыгалось, все было подвялено, усмирено доверительно-глубоким сном. Солнце, в радостном ослеплении пляшущее сквозь занавески на спящую девушку, поигрывало, дразнилось,

щекотало ее. Форсистые джинсы Лерка сняла — кочегарили, не жалея лесоотходов, по-зимнему, хотя стояла осенняя пора, исход бабьего лета был, девушке сделалось жарко от солнца и сыро шипящих батарей отопления, она сбросила пальтишко на пол, колени ее пригодились и оказались совсем не острые, не задиристые, а круглые, чисто белеющие натянутой кожей, и пятнышко солнца ластилось, скакало котенком по коленям гостыи.

Сошнин замахнулся, чтоб прикрыть гостью одежкой, и в этот роковой момент дернуло ее проснуться. Она с виноватым испугом осмотрелась: «Где я?» — и тут же вспомнила, где, улыбнулась, утерла губы, в забытии блаженно потянулась:

— Крепко спится под защитой родной милиции! — И потрепала его русые, вчера только в леспромхозовской бане с шампунем вымытые волосы. — Шелковые! — сказала голосом, вдруг упавшим до всхлипа.

Что можно ждать от хорошо отдохнувших молодых людей! Одних только глупостей и ничего больше.

И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова. Дело дошло до погубления выходных — неинтересно сделалось Лерке проводить воскресные дни в родной полуопустевшей Полёвке, под родительским кровом. Дело кончилось тем, чем оно и должно кончаться в подобной ситуации, — явились молодые люди в Полёвку, созревшие для добровольного признания, с повинной. Как лицо служебное, милицейское, Сошнин привык знакомиться с разным народом, чаще всего тут же забывая знакомства, но в Полёвке дела обстояли иначе. Евстолия Сергеевна Чащина подкрасила губы, надела новый строгий костюм в полоску, капроновые чулки и туфли анисового цвета. Сошнин думал, в честь какого-то праздника, может, дня рождения чьего-то, выяснилось же — в честь их приезда. Улучив момент, Евстолия Сергеевна увела гостя в огород, показывать, какие у них парники, улы, какая баня, колодец, и там напрямик заявила: «Я надеюсь, мы, интеллигентные люди, пойдем друг друга...»

Сошнин заозирался, отыскивая по огороду интеллигентных людей, — их нигде не было, и начал догадываться, что это он, Леонид Викентьевич Сошнин, и Евстолия Сергеевна Чащина и есть интеллигентные люди. Очень его всегда смущало это слово. На деревенском же огороде, в полуразвалившемся селе — просто ошарашило. Он

заказал себе: медовуху, как бы его ни принуждали, больше не пить и при первом удобном моменте из Полёвки умчаться на милицейском мотоцикле.

Евстолия Сергеевна испуг гостя истолковала по-своему и уже без ласковых оттенков в голосе, безо всякой бабьей вкрадчивости поперла насчет того, что дочь у нее — человек исключительный, что уготована была ей более важная дорога и ответственная судьба, но коли так получилось — он проявил такое благородство и вообще человек, по слухам, героический, — она вверяет ему...

— Зачем же здесь-то? — залепетал «героический человек». — Я готов... При Маркеле Тихоновиче...

— А он-то туг при чем? — изумилась Евстолия Сергеевна. — Содержим его, пусть и на том спасибо говорит.

Вслушаться бы, вслушаться во все ухо в эту непреклонно выраженную мысль, внять ей, а внявши, перемахнуть бы Леониду через городьбу, ухватиться за рога казенного мотоцикла — черт с ней, с фуражкой! Сказать, что сдуло, — новую выпишут. Но это тебе не Демона валить! Там все просто: хрясь злодея об пол — и ваша не пляшет! А тут он, как бычок на веревочке, плелся с огорода за Евстолией Сергеевной, потом стоял подле жарко нагретой глинобитной печи, вертел в руках нарядный милицейский картуз: «Вот, прошю, стало быть... Ой, прошу тоись, руки...» Хотел пошутить: «И ноги тоже!» А сам все вертел и вертел картуз с горьким чувством человека, приговоренного к лишению свободы на неопределенный срок и без права на помилование... единого милицейского головного убора не успев износить. Чего доброго, еще и икону ко лбу приставят! И заступиться некому: ни отца, ни матери, даже тетки нет — круглый он сирота, и что хотят, то с ним и делают...

Властвовала в доме Чащиных Евстолия Сергеевна. Судя по карточкам, газетным вырезкам и рассказам, прожила она довольно бурную молодость: ездила в сельском агитпоезде, в красной косыночке, тревожила и будоражила земляков не только речами, за «перегиб» была брошена на хайловскую кудельную фабрику, даже фабричонку, в качестве профсоюзника, но по очередному призыву вернулась на прорыв в родное село, ведала избой-читальней, клубом, было время, когда ее бросали даже на колхоз — председателем. Но к той поре работать она совсем разу-

чилась, да и не хотела, и ее все время держали на должностях, где можно и нужно много говорить, учить, советовать, бороться, но ничего при этом не делать.

Безответный, добрейший тесть Сошнина Маркел Тихонович Чащин потянулся к зятю, как те родители, что потеряли ребенка в блокаду и, пусть в зрелом возрасте, отыскиали его. Все, что мог и хотел бы дать сыну Маркел Тихонович: любовь, тепло сердца, навыки в сельском, глазу незаметном труде, ремесла, так необходимые в хозяйстве, — все-все готов был тесть обрушить на зятя. И Леонид, не помнивший отца, возвращенный пусть и в здоровом, но в женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов. И какая же просветленная душа открылась ему, какой истовой мужской привязанностью вознаградила его судьба!

Сошнин именовал тестя папашей. Маркел Тихонович имел от этого в душе торжество, потому как тещу зять звал только по имени-отчеству. «Они», «она», «эти», «сама», «их» — это лишь краткий перечень междометий, с помощью которых Маркел Тихонович обращался со своими домашними, называть жену и дочь собственными именами он избегал, длинно получалось, тем более что у дочери было имя «не его», он желал назвать ее Евдокией в честь своей бабушки, но жена, взбесившаяся от культуры, нарекла ее Элеонорой — вот и пользуй его, такое имя, каким только корову или козу можно называть.

Евстолию Сергеевну за суету, табак и матерщину не терпели пчелы: Маркел Тихонович держал три семьи — для домашности. И стоило жене выйти в огород, в углу которого под дуплистыми липами стояли ульи, он тут же открывал леток, и пчелы загоняли хозяйку либо в нужник, либо в сенцы. В бане Маркел Тихонович мылся один, не пускал супругу на покос — истопчет, измочит сено, корова исти его не станет, пилил дрова в одиночку, не слушал жену, когда она жаловалась на хвори, смотрел по телевизору «развратные», по разумению Евстолии Сергеевны, передачи: фигурное катание и балет, и, как можно было догадаться, давно не выполнял мужских обязанностей. Уязвленная супруга следила за ним и будто уже не раз «застукала» старого блудника, который с другими бабами «делал, чё хотел».

— У меня из рук, Левонид, ничё не выпадат, меня тятя, царство ему небесное, с детства всякой работе обучил, потому как в деревне без рукомесла нельзя, рукам

махать и речи говорить — трибунов на всех не наберешься! На войне, в раздорожье, кому обутку починю, кому бритву направлю, повозку подлатаю, колеса обсоюзию, втулку там, ось, оглобли ли вытешу, сварить чё — суп, кашу, картошки, коня обиходить, сруб в землянке сделать, дзот покрыть — все мне по руке. На фронте, Левонид, слова ничё не стоят, потому как па краю ты жизни. Хоть верь, хоть нет, Левонид, меня Тихоновичем в роте звали, не из-за старости, не-эт — я в самой середке мушшинских годов был, исключительно из уважения звали, из уважительности, медаль мне первому в роте дадена была, когда медали ишшо мешком на передовую не возили... И воппе, маракую я, Левонид, нашей державе честные трудовые люди пужны, а не говоруны и баре. Пустобрехи, вроде моей бабы, проорали деревню. Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели.

Почувствовав союз двух мужчин куда прочнее женского, Евстолия Сергеевна пошла на них приступом, но зять оказался неуступчив, защищал себя и тестя:

— Евстолия Сергеевна! Все претензии, какие есть ко мне и к папаше, высказывайте не в магазине, не на заваulinke, а здесь, дома, и больше при мне не унижайте папашу, не сгоняйте его в могилу — без него вы пропадете ровно через неделю...

— Кто это — вы? Кто это — вы? — взвилась Лерка.

— Ты и твоя мама.

— А ты зачем? Ты — муж!

— И я, муж, и вы, жены, пока еще сидим на шее у папаша, да скоро и внука туда посадим...

Мужики уединялись в лесу, пилили весной долготье на дрова, вывозили его, на сенокосе управлялись, в межсезонье на реке сидели, подле удочек и закидушек, либо верши ставили на перекате и в заливах.

— Да что же это такое! Все как есть при деле, мои жеребцы сидят — реку караулят! — базлала на весь белый свет Чашиха, спускаясь вдоль ограды к реке с детским ведрком — взрослое ведро она якобы не могла уже поднимать.

Маркел Тихонович из наносного хламу выбрал палку, попримерил ее к руке, молча двинулся навстречу супруге и выгянул ее по широкой спине, да так звучно, что вся округа замерла, будто перед концом свега: коровы на луту

перестали жевать траву, овечки затопотили, давя друг дружку, бросились врассыпную; спутанный колхозный конишко с потергостями и лишаями на спине припал к воде, хотя пить ему не хотелось, — ничего не вижу, ничего не слышу — опытный конь.

Чащиха, ровно бы вслушиваясь в себя, в мир, ее окружающий, схватила ртом раз-другой воздух и спросила:

— Убил? Меня-а-а убил... — И только собралась снова заорать, как Маркел Тихонович вытянул ее палкой вторично.

— Я четырежды ранетый. Я в гвардии-пехоте фашиста бил! У меня десять наград в яшшыке! А ты меня при зяте страмотишь! — Хоп да хоп Чащиху по спине.

— Милиция!

Сошнин в это время подлещика подсек, повел его, сердечного, к берегу — милиция он на службе, а тут — зять и рыбак и тоже, как и все советские люди и граждане, имеет право не только на труд, но и на отдых — по Конституции.

Председатель поссовета, старый фронтовик, заранее и во всем солидарный со всеми фронтовиками, получив от Евстолии Сергеевны заявление-акт на своего супрута и бегло с ним ознакомившись, заявил:

— Дивно, как твой муж тебя до се не пришиб? Я бы в первую же ночь супружеской жизни прикончил такую фрукту и в тюрьму бы добровольно отправился.

Дитя, всеми любимое и единственное, Светка какое-то время соединяла семью, да худо Лерка обихаживала дитя, и себя, и мужа — деревенская девка, ничему не наученная пустобрешной мамой, не умела она сварить пустую похлебку, каша манная для ребенка у нее непременно в комках, стирает — брызги на стены, моет пол — лужи посередке, под кроватью пыль, зато травила анекдоты наисмешнейшие, подвизалась в институтской самодеятельности, Маяковского со сцены кричала.

Пока тетя Лина жила да была, от мерзостей быта Лерку избавляла, и с воспитанием ребенка дело шло вперед, хотя и дергалась эмансипированная женщина, не нравилось ей, что тетка наряжает Светку по-деревенски, в какие-то капоры, в грубые шерстяные носки собственной вязки, купает в корытте стиральном, стрижет наголо, чтоб волосики крепче были, кормит капустными щами с кар-

тошкой. Если уж ее жизнь загублена неразумной связью до брака, так пусть вырастет хоть дитя исключительной личностью, похожей на вундеркиндов Сыроковасовой, чтоб премиями награждалась за рисунки, хоть за хоровое пение, хоть за гимнастические упражнения, чтоб про дочь в газете писали и по радио говорили.

Муж толковал жене: «Медицина утверждает, что здоровье дороже всего, так давай сохраним ребенку хотя бы здоровье». — «Как мы это сделаем?» — «Это сделает тетя Лина. Гляди на меня и убеждайся, что она это умеет делать хорошо. Нет у меня ни аллергии, ни пневмонии, даже зубы не болят». — «Бугай. И жизнь твоя бугайная!..»

Жизнь разнообразна, где найдешь, где потеряешь — угадай наперед! Помылись однажды в городской бане супруги Сошнины, сомлелые, душой и телом чистые, благодушные, решили на рынок зайти, изюмчику Светке купить, себе — вятских огурчиков из дубовой бочки. Леонид локоть кренделем загнул, супруга руку в кожаной перчатке ему на согнутый локоть кинула. Идут, толкуют. Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом, на людей дружелюбно смотрят, и не видит потерявший бдительность сотрудник местной милиции, что под аркой городского базара, где написано «Добро пожаловать», пляшет, поет, ко всем липнет пьяная Урна. Губы у нее обляпаны красным, волосы — рыжим, наплывы рыжей краски видно за ушами и на лбу. Злобно-веселая, тешится Урна, развлекает народ бесплатно. У Сошнина, как только он заметил Урну, не только в груди, но и в животе все сжалось — случилось ему эту красотку вынуть из «постелей» в привокзальных заулках, возить в вытрезвитель, когда ее еще в вытрезвитель пускали, гонять с рынка, выселять из города.

Урна — тварь злопамятная, мстительная. Она-то еще задаль заметила супружескую пару.

— А-а, синеглазенький! — приветствовала Урна молодого человека, будто и не замечая рядом с ним Лерку. — Забы-ы-ыл ты про меня! Совсем забыл! На ентую вот вертихвостку променял! Ай-я-я-а-ай! Изменшьяки вы, мушшьяны, коварные изменшьяки! — И, отрывая на Лерку табак и винищем, пожаловалась: — Не помнят никакого добра, злодеи!

Лерка выдернула руку из-под мужниного локтя, уронила перчатку и побежала с рынка, закрывшись ладонью.

— Оне к Муське, на кирпичный завод повадились! —

орала Урна ей вослед. — Гляди-ы-ы-ы! Принесет он те награду...

Дома бурная сцена, закончившаяся схваткой.

— Подлец! — кричала жена. — Какой подлец! — И хрясь мужа по морде.

Он перехватил руку жены, болевым приемом посадил ее на пол.

— Еще раз... шевельни только лапкой!.. примадонна!..

— О-ой, руку вывихнул, зверина!

— Да ребятки! Да миленькие!.. Да что случилось? — топталась вокруг них тетя Лина.

После смерти тети Лины супруги Сошнины все чаще сбывали Светку в Полёвку, на бабкин худой досмотр и неумелое попечение. Хорошо, что кроме бабки был у дитяти дедка, он мучить культурой ребенка не давал, приучал внучку не бояться пчелок, дымить на пих из баночки, различать цветки и травы, подбирать щепки, скрести сено грабелями, пасти теленка, выбирать из куриных гнезд яйца, водил внучку по грибы, по ягоды, гряды полоть, с ведерком по воду на речку, зимой снежок огребать, подметать в ограде, на салазках с горы кататься, с живой собакой играть, кошку гладить, гераньки на окне поливать.

Пустота после смерти тети Лины ничем не могла заполниться, но должна же она, по законам физики, чем-то заполняться. Раздражение и темная тоска заселяли пустоту, в темноте же самое место черному злу. Все в жене раздражало Сошнина, даже такие мелочи, как кухонные дела, на которые мужчине и внимания-то обращать не надо бы или обратить их в шутку, ведь за чувство юмора и терпимость, воспитанные тетками — Линой и Граней, его ценили в школе, в спецшколе, на работе — у него иных-то добродетелей и не было.

А Лерку корежило, бесило, что такое ничтожество, выкормыш пристанционного, сажей покрытого поселка, читает дни и ночи книги, еще на немецком языке вроде бы может — брешет, конечно, да и сам чего-то тайком царапает на бумаге. «Экий Лев Толстой с семизарядным пистолетом, со ржавыми наручниками за поясом...» —

«Замолчи, примадонна!» — «Мусор! Легаш! Пёс! Падла! И как еще там, на языке ваших дорогих клиентов?»

Злой памятью, как и многих современных женщин, Бог Лерку не обидел. Литература утверждает: прекрасная женщина частицами разбросана во многих женщинах, плохая и хитрая живет постоянно во всех. Ох, уж эта литература! То соврет, то правду скажет. Подсказала бы вот людям: куда же это прекрасное, которого так много в девушках, девается в бабах?

И хорошо, и правильно, что разбежались. Нечего мять друг друга. Наслаждайся покоем, читай, пей чай из горлышка чайника, не давай «гардероп» с места двигать. Можно никуда не ходить, никого к себе не приглашать. Можно пол мыть, можно не мыть. Можно еду варить, можно не варить. Можно ходить по полу босиком и гладить себя по голове, можно бумагу ночами каракулями украшать, не озираясь, никого не стыдясь. Творческая тайна! Да какая же это зараза! Так вот и шевелится что-то в голове, процарапывает крышку черепа мыслишками, они спать не дают, тревожат. Пользуясь полной бесконтрольностью и волей, однажды Леонид поставил на бумаге слово «Рассказ». Сперва испугался: ведь вывел то же самое слово, что и Чехов, и Толстой, потом по привычке. Примадонна долго глумилась, а он совершил грех — и сладко-сладко его сердцу стало. И боязно, и тревожно. Почти так же боязно, как тогда, когда Лавря-казак бросил его, десятилетнего, в речку Вейку и сказал: «Хочешь жить — выплывешь...»

В муках, в тайной творческой работе отвык бы он от Лерки, она от него, в мире прибавилось бы одной несложившейся семьей и одним ребенком-безотцовщиной больше. Но тогда-то вот, после первого разбега, и подстерегло его несчастье.

В Лерке не все было от мамы. Где-то, пусть и сбоку, пусть снаружи, к ребрам пусть, прилепились гены отца, а гены Сошнину всегда воображались разваренной лапшой из леспромхозовской столовки. В лапше той, опять же как мясо в столовском супе, жилка говяжья с воробьиный помет величиной, оставленная борющимися со злоупотреблениями работниками пищеблока, путалось веками на Руси крепленое, всеми способами насаждаемое правило: не бросать человека в беде; и пока есть на свете Маркелы

Тихоновичи Чащины, правилу тому быть и нацию нашу крепить — Лерка выявила ошеломляющую самоотверженность: сперва потрясенно паялилась на мужа, потом хлопотала, роняя и разбивая что-то. Когда Гришуха Перегягин пришел ему ногу и Леонид проблевался, очухался настолько, чтоб хоть маленько что-то соображать, Лерка, прежде чем напоить его водой и бульоном, ультиматум ему: из милиции на творческую работу! «А кормить кто нас будет?» — «Я! — без промедления гаркнула самоотверженная Лерка. — Я! Родители наши! Сиди возле своего любимого папаши и твори. Картошки от пуза, мясо, молоко есть, что еще писателю нужно?»

Он оценил ее жертву и в себе обнаружил ответную способность прощать — неужто и впрямь несчастье сделалось лучшим средством самовоспитания? Он и она простили друг друга, помирились, но из милиции Леонид не ушел, отшутился, как всегда: мол, если все уйдут на другую работу, пусть даже и на творческую, «химики» и за киоски не станут прятаться, на свету, принародно станут с людей штаны снимать.

И вот снова крыша седьмого дома в железнодорожном поселке, назначенного к сносу, но, слава Богу, забытого среди великомасштабных строек, укрыла молодого художника слова от дождей и бурь. В таких вот домах только и прятаться от бурь и от жен, эгоистично надеясь: не так скоро наступит пора, когда старую квартиру надо будет менять на новую и переселять в нее Лерку с дочерью, аннулируя хотя бы часть задолженности перед семьей.

В часы и дни, особенно смутные, читал он одну и ту же книжку, подаренную ему профессором Хохлаковым Николаем Михайловичем, читал, как Библию, с любого места: протянул руку, достал с полки книгу, открыл и...

«Увы! Мои глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь, у них остались одни лишь слезы, и я пользовалась ими для той единой цели, чтобы плакать не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы решились, наконец, на разлуку, столь для меня непереносимую, что она в недолгий срок приведет меня к могиле».

«Во люди жили, а?!» — почесал затылок Сошнин, когда первый раз читал эту книгу.

«Я противилась возвращению к жизни, которую дол-

жна потерять ради вас, раз я не могу сохранить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви...»

Тут уж он перестал чесать затылок в задумчивости, и от озадаченности погладил сам себя по голове, и почувствовал, что письма монашки к своему возлюбленному втягивают его в какую-то уж чересчур непривычную, но в то же время чем-то мапящую, томительно-сладкую муку. Он передернул плечами, стряхивая с себя наваждение вкрадливой сказочки, настраиваясь внутренне сопротивляться ахинее, на которую так легко покушался он в детстве... Но ныне-то... Оп человек современный, грубошерстный, крепленный костью и жилами, работой в органах, отнюдь не смиренные, монашеские требы справляющих ночью и денно, он Урну в кутузку волочил, Демона обезвредил; пусть и неопытного, его писчебумажными штучками-дрючками не проймешь, он, пусть изначально, пусть чуть-чуть, но все же и секреты слова познал, соприкоснулся, так сказать, с...

«...Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я не увижу вас. Что же? Не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я люблю вас так нежно. Но, будь что будет, я решила обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видаться, и я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите... Прощайте. Любите меня всегда и заставьте меня выстрадать еще больше мук».

Сдаваясь все покоряющей воле или произволу слова, наслаждаясь, вот именно наслаждаясь музыкой, созданной с помощью слова, такого наивного, такого беззащитного, он полностью доверился этой детской болтовне и впервые, быть может, пусть и отдаленно, осознал, что словотворчество есть тайна.

Книжка состояла из пяти писем, дальше шли чьи-то дополнения, ответы на письма, подражания, стихотворные переложения, обширные комментарии. У него хватило ума не заглядывать в «зады» книги, не гасить в душе той музыки, которая не то чтобы ошеломила или обрадовала его, она подняла его над землею, над этим слишком грохочущим, слишком ревушим современным миром. Ему было не то чтобы стыдно, ему было неловко в себе, неудобно, тесно, что-то сдвинулось в нем с места, выперло вроде «гардероба», и куда ни сунься, непременно мыслью или штанами за него зацепишься. Одна фраза трепетала, пульсировала, билась и билась жилкой на слабом детском

виске: «Но как можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце?»

Бывшего «опера» порой охватывало подобие боязни или чего-то такого, что заставляло обмирать спиной, испуганно озираться, и во сне или наяву зрело твердое решение: пойти, отыскать французика, покинувшего самую в мире замечательную женщину, по-милицейски, грубо взять его за шкирку, приволочь в монастырскую тихую келью и ткнуть носом в теплые колени женщины — цени, душа ветреная, то, по сравнению с чем все остальное в мире — пыль, хлам, дешевка...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Светка — хлипкое современное дитя, подверженное простудам и аллергиям, — заболела с приходом холодов. В деревне, на дикой воле, не утесненное детсадовскими тетями и распорядками дня, укреплялось дитя физически и забывало застольные церемонии, рисунки, стишки, танцы. Дитя резвилось на улице, играло с собачонками, дралось с ребятишками, делалось толстомордое, пело бравую бабушкину песню: «Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батарею, чтобы было веселее...»

И вот снова, к тихой радости деда, к бурному и бестолковому восторгу бабки, прибыла болезная внучка в село Полёвка. Молодой папуля устал за дорогу от вопросов дитяти, от дум и печалей земных, да еще ногу натрудил крепко: автобус далее Починка не пошел — механизаторы во время уборочной совсем испортили дорогу в глухие деревни, никто туда не ездил да и не шел, по правде-то сказать. Когда Сошнин со Светкой шлепал по грязи меж редких домов, просевших хребтом крыш, по Полевке, к рамам липли старушечьи лица, похожие на завядшие капустные листья: кто идет? Уж не космонавт ли с неба упал?

Поевши картошек с молоком, Сошнин, прежде чем забраться на печку — поспать и подаваться пехом в Починок, а из него в незабвенный Хайловск и потом на электричке домой, был вынужден выслушать все здешние новости и прочесть поданную тещей бумагу под названием «Заявление-акт»: «Товарищ милиционер, Сошнин Леонид Викентьевич! Как все нас — сирот спокинули и нет нам ни от кого никакой защиты, то прошу помощи. Вениамин

Фомин вернулся из заключения в село Тугожилино и обложил пять деревень налогом, а меня, Арину Тимофеевну Тырыничеву, застрашал топором, ножом и всем вострым, заставил с им спать, по-научному — сожительствовав. Мне 50 (пятьдесят) годов, ему 27 (двадцать семь). Вот и посудите, каково мне, изработанной, в колхозе надсаженной, да у меня еще две козы и четыре овечки, да кошка и собака Рекс — всех напои, накорми. Он меня вынуждает написать об ём, что, как пришел он ко мне в дом, никакого дохода нет от него, одни расходы, живет на моем иждивенье, на работу не стремится, мало, что пьет сам, на дороге чепляет товаришшев и поит. Со мной устраивает скандалы, страшает всяко и даже удавить. Я обряжаю колхозных телят, надо отдых, а он не дает покой, все пьянствует. Убирайте ево от меня, надоел хуже горькой редьки, везите куда угодно, хоть в ЛТПу, хоть обратно в колонию — он туда только и принадлежит. Раньше, до меня, так же дикасился, засудили ево за фулоганство, мать померла, жена скрылася, но все ли я еще скрывала — доскрывалася, хватит! Все кости и жилы больные, и сама с им больная, от греха недосуг пить-есть, а он ревнует, все преследует и презирает. А чево ревновать, когда кожа да кости и пятьдесят годов вдобавок. В колхозе роблю с пятнадцати годов. Всю ночь дикасится, лежит на кровати, бубнит чево-то, зубами скоргочет, тюремские песни поет, свет зазря жгет. По четыре рубля с копейками за месяц за свет плачу. Государственную энергию не бережет, среди ночи вскочит, заорет нестатным голосом и за мной! По три-четыре раза за ночь бегу из дому, болтаюсь по деревне. Все спят. Куда притулиться. Захожу в квартиру и стою наготове, не раздевшись, готовлюсь на побег. И об этом никто, даже суседи не знают, что у нас все ночи напролет такая распутная жизнь идет. И вас прошу меня не выдавать — еще зарубит. И примите меры, потихоньку увезите его подальше. Людоед он и кровопивец! Деревни грабит, жэншын забижает.

Надоумила к вам обратиться ваша мамаша, Евстолия Сергеевна Чашина, дай ей Бог здоровья, и писала под мою диктовку она — у меня руки трясутся и грамота мала».

Это был не первый и не единственный случай в обезлюдевших деревнях. Забравшийся в полупустые бабьи деревни бандюга обирал и терроризировал беспомощных селян. Принимались меры, забулдыг выселяли или снова садили в тюрьму, но на месте «павшего» являлся новый

«герой», а пока-то дойдет до милиции такое вот «заявление-акт» или будет услышан бабий вопль, глядишь, убийство, пожар или грабеж.

Евстолия Сергеевна дополнительно к «акту» сообщила, что за рекой, в деревне Грибково, оставались еще две старушки и деревня светилась окошком, дышала живым дымом. В одной избе жила упрямая старуха, не желающая ехать к детям в город. В соседней избе доживала век одинокая с войны вдова. На зиму старушки сбегались в одну избу, чтобы меньше жечь дров и веселее коротать время. По заказу местной хайловской промартели старушки плели кружева, и возьми да и скажи в починковском магазине, прилюдно, та старуха, которая в войну овдовела: теперь, мол, у нее душа на месте, на кружевах заработала копейку — на смертный день и отойдет когда, так не в тягость людям и казне будет.

Прослышал Венька Фомин про старухины капиталы, переплыл в лодке через реку, затемно вломился в избушку, нож к горлу старухи приставил: «Гроши! Запорю!» Старуха не дает деньги. Грабитель ей полотенце на голову завязал и давай его палкой закручивать, голову сдавливать, научился уму-разуму в колонии-то. У старухи носом кровь, но она тайны не выдает. Да Венька-то — местный вражина, трудно ли ему догадаться, где может храниться капитал. Сунулся за божницу, там, за иконами, и есть он, капитал-то, сто шестьдесят рубликов.

Неделю Венька Фомин пировал и диковал с друзьями-приятелями. Старушка-вдова собрала узелок, взяла батожок и подалась добровольно в хайловский дом престарелых — доживать век на казенном месте, где и быть ей похороненной на казенный счет, под казенной сиротской пирамидкой.

По пути на Хайловск стояло село Тугожилино, на холме, за ольховым ручьем, летом часто пересыхающим. Много изб в Тугожилино обвалилось, стояло заколочеными, и лишь возле телятника еще копошилась жизнь, матерился пастух, рычал трактор, суетились две-три до сухой плоти выветренные бабенки, неотличимые друг от друга. Сошнин думал заскочить в Тугожилино накоротке, найти наглого разбойника, припугнуть его или забрать с собой и сдать в хайловское отделение. Но пришлось ему

встретиться с Вениамином Фоминым в совсем не запланированные сроки.

Только Леонид разоспался, как тесть, Маркел Тихонович, бережно подергал его за рукав и, дождавшись, когда зять очнется от сна, сказал, что в Тугожилино Венька Фомин загнал в телятник баб, запер их на заворину и грозится сжечь вместе с телятами, если они немедленно не выдадут ему десять рублей на опохмелю.

— А, ч-черт! — ругнулся Сошнин. — Нигде покоя нету. — Надел изношенную, на ветрах, дождях и рыбалках кореженную шапчонку, старое демисезонное пальто — в свободное от работы время он всегда «залазил» в гражданское, — и на пробористом ветру, в мозглой стыни и сыри почувствовал себя так одиноко, заброшенно, что и приостановился словно бы в нерешительности или в раздумье, но тряхнул головой и глубже, почти на уши, натянул шапчонку. Маркел Тихонович, провожавший его из Полёвки со Светкой до грейдера по грязному, разжуканному выезду, угадав подавленное состояние зятя, предложил «мушшынскую помощь» — Сошнин отмахнулся от Маркела Тихоновича, приподнял дочку, ткнулся губами в ее мокрую щеку. — Возвращайтесь в тепло. — И пошлепал по жидкой грязи, закрываясь куцым воротником пальто от секущего дождя, в котором нет-нет и просекалась искра снега.

Дремля на ходу, он свернул на короткую дорогу, через поля и перелесок, спугивая с неряшливого и лохматого жнивья, по которому россыпью и ворохами разбросано зерно, отяжелевших ворон, диких голубей, стремительными стаями врезающихся в голые перелески. Прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по больному телу пашни, разбросанные комбайнами гнили кучи соломы, по рыжим глинистым склонам речки, ожившей от осенней мокрети, маячили неубранные бабки льна, местами уже уроненные ветром и снесенные речкой в перекаты, и там, перемешанные с подмытыми ольхами, лесным хламьем и ломом, превращались в запруды.

Воронье, тяжело громоздящееся на гнущихся вершинах елей, на жердях остожий, черно рассыпавшееся на речном хламе и камешниках, провожало человека досадливым сытым ворчанием: «И чего шляются? Чего не спится? Мешают жить...» Голые, зябкие ольховники, ивняк по обочинам плешивых полей, по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев на

чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотину, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей, кусты мокрого вереса на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей, — все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной покорности долготу непогоды и холодной, пустой поре.

Возле тугожилинского телятника в заветрии, под стеной, под низко сползшей крышей, бабенки, большей частью старухи, жались спинами к щелястым, прелым, но все еще теплым бревнам. Завидев Сошнина, они встрепенулись, загалдели все разом: «Злодей! Злодей! Нет на него управы. Вечный лагерник и бродяга... Мать со свету свел... Он с детства экий...»

Сошнин заметил на крыше телятника сорванный лист шифера, сбросил с себя пальтишко, пиджак и, оставшись в фиолетовой водолазке, пижонски обтянувшей его от безделицы полнеющую фигуру, подпрыгнул, ухватился за низкую слегу телятника, взобрался на крышу, перебираясь рукой по решетиннику, спустился на потолок из круглого жердя, отодвинул пяток отесанных и загнанных в паз прогнутой матицы жердин, спрыгнул в помещение с едва теплящимися в проходе под потолком желтыми электролампочками, спрыгнул неловко, ударился больной ногой о выбоину в половице, присел на скользкую жижу, запачкал брюки.

На темном полу, искрошенном в труху на стыках, в выдавленной из щелей никотинно светящейся жижке стояли и тупо глядели на пришельца несколько больных телят, не мычали, корма не просили, лишь утробно кашляли, и казалось, само глухое, полутемное пространство скотника выкашливало из себя в сырую пустоту пустой же вздох без стопа, без муки. Ни к чему и ни к кому эти старчески хрипящие животные не проявляли никакого интереса, лишь вдали, где-то в заглушье, подал вялый голос теленок и тут же смолк в безнадежности, послышался едва слышный хруст, будто короед начал работать в бревне, под заболонью: теленок, догадался Сошнин по изгрызаным жердям перегородок, кормушек и стен, грыз прелое дерево скотника. Еще один теленок, сронив жердочку из размичканного в грязь загончика, лежал на склизкой тесине, а другой теленок, свесившись через перегородку, сосал или жевал его ухо, пустив густую длинную слюну.

По скользкому коридору, с боков которого, словно на бруствере окопа, нагребен был навоз, Сошнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там, насмерть перепуганных женщин. Они завyli в голос и, обгоняя друг дружку, бросились из телятника в противоположную, приоткрытую дверь, возле которой на стоге свежешающего сена, утром привезенного на березовых волокушах с лесной деляны, безмятежно спал Венька Фомин.

Сошнин стянул его с сена, грубо потряс за отвороты телогрейки. Венька Фомин долго на него пялился, моргая, утирал рот рукой, не понимая, где он, что с ним.

— Ты ково?

— Я чево. Вот ты ково?

— Я тя спрашиваю: ты ково?

— Пойдем за ворота, там женщины тебе объяснят, ково и чево.

— Турист, пала! — взревел Фомин Венька и выхватил из сена вилы с ломаным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных навозом, и среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболелших, стариковских зубьев.

«Ох, уж эта обезмужичевшая деревня! Все в ней не живет, а доживает...»

— Запорю, пала! — Венька пошел на Сошнина, держа вилы наперевес, словно пехотинец с винтовкой в бою.

— Брось вилы, мерзавец! — Сошнин двинулся навстречу Веньке Фомину, чем весьма его озадачил.

— Не подходи, пала, запорю! Не подходи! — заполошно визжал Венька Фомин, птясь к задним полуоткрытым воротам телятника, чтоб, бросив вилы, ушмыгнуть в притвор, скрыться в родных полях и перелесках.

Сошнин отсек злодею путь к отступлению, прижимая его в угол. Венька Фомин был телом и лицом испитой, в ранних глубоких морщинах, подглазья — что голые мышата с лапками, пена хинным порошком насохла в углах растрескавшихся губ. Больной, в общем-то уже пропащий и жалкий человек. Но пакостный, зло пакостный, и от него можно ждать чего угодно.

— Брось вилы! — рявкнул Сошнин и подпрыгнул к Веньке Фомину, держа руку наперехват.

Венька Фомин, прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загородившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал по шее разок — за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок,

на автобус, да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сеной трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви — яловым сапогам, к двум твердым, пружинистым ногам, Сошнин в узконосых ботинках поскользнулся хромой ногой, неловко упал на руку — и сработала, сработала подлая натура лагерника, — бить лежачего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сошнин мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок как бы нехотя, с хрустом вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька Фомин, по-шакальи окалившись, надавил на вилы, приколол Сошнина к коричневой гнилой плахе.

Рывком вскочив, Сошнин цепко схватился за обломыш черенка вил, пытаясь их выдернуть. Боль пронзила его, овязала.

— Говорил, не лезь, пала! Говорил, не лезь... — вжимался в угол вконец перепуганный Венька Фомин, вытирая разом вспотевшее лицо и губы запястьем руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью с треснувших губ, застревала в реденькой, беспородной щетине Веньки Фомина.

— Вытащи вилы, гад! — с глухим отчаянием закричал Сошнин.

Дальше все свершалось в заторможенном удалении. Венька Фомин несколькими малосильными рывками, молниями рассекавшими голову Сошнина, выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце сгустки крови, нечистые сгустки на нечистом, словно пластилином облепленном, зубце, пошатнулся, зажал рукой брызнувшую кровь, уперся лбом в стену, пахнущую мочой и тошнотворным силовом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок, сунул его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся кровью платок скользко понесло с плеча на живот.

— Давай платок! — не глядя, вытянул Сошнин руку. Венька Фомин сунул ему затасканный, серый комочек. — Что ж ты наделал, скотина! — простонал Сошнин, бросая грязную тряпицу в плаксиво-угодливую морду Веньки Фомина, и кинулся на свет, зажимая рану.

Бабы-скотницы увидели уже далеко за телятником бегущих друг за другом по грязи Сошнина и Веньку Фомина, подумали, что бандюга гонится за человеком, чтобы

его зарезать, завыли в голос. Надо было вернуться к телятнику, надеть пиджак, пальто, надо было бежать в Полёвку, просить Маркела Тихоновича запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на силосных ямах, а то и на жнивье пасется, начнут всем полёвским народом причитать, ловить, запрягать, потеряется дуга или хомут, у телеги вывалится ступица, колесо спадет среди грязи с оси, завязнут на выезде или среди проселка. У Маркела Тихоновича к «груде подопрет», сама Чащиха, как всегда, выступать примется, отыскивая врагов, Светку перепугают и, чего доброго, с собой возьмут...

Не только носовой платок, но и майка кисельным, липким сгустком сползла к поясу. Кровь пропитала водолазку, ожгла бедро, зачавкала в левом ботинке. У раненого начали обсыхать губы, во рту появился привкус железа. «Так быстро! Худо мое дело...»

— Помогай! — сорванно прохрипел Сошнин.

Венька Фомин суетливо подставился, захлестнул руку Сошнина на своей тощей шее — видел в кино или на фотографиях недоумок, как выносят раненых с поля боя.

— О-о-ой, пала, попался-а... Опять попался! — выл он. — Так от тюряги, видно, мне никуда и не уйтить! Доля моя, пала, пропащая... — С Веньки Фомина катился слабосильный пот. В немощных грязных струях пота дрожала сенная труха, и, когда касалась губ, он слизывал грязную смесь и, забыв ее сплюнуть, глотал, продолжая выть и причитать.

Ноги Сошнина слабели, свет серел, шевелился, плыл рыбьей слизью перед глазами. Его мутило от запаха Венькиного грязного пота, от дури назьма, от горькости сена, душило скипидарной остротой телячьей мочи или человеческой — разбойник Венька Фомин, жравший всякую всячину, вплоть до разведенного гуталина и пудры, давно сжег почки и ходил в прелых портках. Запахи не слабели, не рассасывались на холодном ветру, а, наоборот, все плотнее окружали Леонида, клубились над ним и в нем, поднимая из разложья груди поток рвоты.

...На дверях починковского медпункта висел древний амбарный замок. Воскресенье. Злодей и пострадавший постояли в обнимку перед дверью, прерывисто дыша, обреченно глядя на замок. Венька усадил Сошнина на крылечко, прислонил к стене, заботливо набросил на него свою псиной пропахшую телогрейку.

— Я чичас... чичас, чичас... Я ее, палу, с-под земли до-

стану! С-под егеря вытащшу, коли он на ей охотничат... Чичас, чичас...

Никто на фельдшерицу не охотился, она ни на кого не охотилась, в годах уже была и, как положено равноправной женщине, в усладу использовала воскресный день — стирала, мыла, прибиралась. И в медпункте у нее был полный порядок, и лекарства необходимые были: йод, бинты, вата, даже спирта пузыречек не выпит. И сама фельдшерица чиста, обиходна, хоть заметку про нее пиши в газету. Хвалебную. Вот выздоровеет и напишет! — этот вялый проблеск юмора последний раз посетил в тот день всегда склонную к иронии, последнее время — самоиронии, творчески настроенную голову иль душу Сошнина.

Фельдшерица, сноровисто и ловко перевязывавшая Сошнина, мигом сняла с него склонность к легкому настроению, которым пострадавший пытался подавить в себе страх, слабо надеясь, что положение его не столь уж и опасно, чтоб впасть в панику.

— Ой, какая грязная рана! Пузырится... кровь пузырится... Плевра задета. Кто это вас? Неужто это ты, недоносок?! — воззрилась фельдшерица на Веньку Фомина, измученно отдыхивающегося на пороге медпункта и «вприпырку» — лагерник же! Штатный уже! — покуривающего в рукав. — Милиционера! При исполнении!.. Будет тебе, будет! — И помогла лечь Сошнину на топчан, прикрыла его, ознобно дрожащего, простынею, половичком и сверху еще и своим давно из моды вышедшим болоньевым плащиком.

— Он чё, милиционер?!

— А ты не знал! — держа руку поверх одежонок, чуть прихлопывая раненого, точно ребенка, со злой неприязнью сказала фельдшерица.

— Да откуль?

— Зять Чащиных, с Полёвки.

— Ой, пала! — взвыл Венька. — Чё его в Тугожилино-то принесло? Дуба даст... К стенке ж...

— Такому давно к стенке поря. Выдь на улку курить, часотошный.

Из хайловской больницы ответили — нет бензина, да и воскресенье, да и вообще в сельскую местность они не обязаны посылать машины «скорой помощи». «Надо, так везите больного на своем транспорте».

Хайловск говорил с сельским фельдшером надменным голосом столицы. Сошнин подтянул к себе телефон, позвонил на квартиру начальника райотдела Алексея Демидовича Ахлюстина, попросил помочь бензином и приказать «скорой» доставить его в областную больницу.

— Рана опасная, Лёня?

— Кажется, опасная, Алексей Демидович.

— Всех на ноги подыму!

Ахлюстин примчался на машине «скорой помощи» и, увидев Веньку Фомина, затрясся от гнева:

— Сморчок ты, сморчок! Пакость ты, пакость! Зачем же ты на свет-то явился! Изводишь полноценный народ! Ах, алкаши вы, алкаши, погубите вы державу...

Сошнина поместили в салоне машины на носилках. Фельдшерица накрыла раненого одеялом, принесенным из дома, села в голову его. В эту же машину намерились было втолкнуть и Веньку Фомина, чтоб сразу его сдать в СИЗО — областной следственный изолятор.

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — взмолился Венька Фомин, упираясь руками в раскрытую машину. — Додушит дорогой! Он может... Он почти без памяти...

— Говорю — мразь! Эко дрожит, пашенок, за свою жизненку. Ну, Лёня! — отечески погладил по груди Сошнина Алексей Демидович. — Крепись, Лёня. — И развел руками по-стариковски несуразно и картинно. Понял это, набычился, отвернулся, избегая обычных философских изречений, — так они тут были неуместны.

Совсем уж было тронулись, как вдруг, разбрызгивая грязь, примчался на мотоцикле всадник в очках, в горбатом комбинезоне, на ходу, считай что, спрыгнул с мотоцикла, заскочил в машину «скорой помощи», причитая голосом Паши Силаковой:

— Лёня! Леонид Викентьевич! Да что же это такое?! А-ах, ты, паскуда! А-ах, ты, вонявка!.. Да я тя! — бросилась она на Веньку Фомина, свалила злодея в грязь, села на него верхом и принялась волтузить.

Алексей Демидович едва отнял Веньку Фомина и, волоча его, смятого, грязью обляпанного, к сельсовету, махнул рукой: поезжайте, мол, поезжайте. Паша Силакова все налетала сзади и отвечивала Веньке Фомишу пинкарей здоровенными сапогами. И с сапог или от зада воло-

чимого злодея, будто в замедленном кино, летели ошметки грязи и наъёма. Венька Фомин, как дитя от родительского ремешка, пытался прикрыть зад ладонями.

— Да поезжайте же!.. — простонал Леонид.

Паша Силакова, пинающая Веньку Фомина, собственный стон и слова: «Да поезжайте же!..» — было последним, что въяве слышал и помнил Леонид. На грейдере и по склонам логов, размытых осенними дождями, лужи, лужи, в выбоинах под грязью склизкий лед. Било, подбрасывало, трепало машину на пустынной всеми забытой дороге. Раненый погрузился в тяжелое забытье. Виднелась ему раздавленная крыса. В Вейске во время дежурства он часто ходил в блинную, расположенную в самом центре города, но в тихом переулке, и оттого малолюдную. Здесь работали веселые румяные девки в пышных капорах из марли. Они не жалели для Сошнина масла, подсушивали блины на сковороде до хруста — как тетя Лина.

Едут однажды милиционеры на дежурной машине по зеленому переулку и зрят: из старого, подгнившего дома через переулок в блинную шествует огромная, пузатая крыса с гусарскими усами. Шофер прибавил скорость, крыса смертно взвизгнула. К вечеру на земле остался клочок шкурки: городские санитары — вороны склевали падаль. С тех пор Сошнин не заходил в блинную, и стоило ему ее вспомнить — являлась дородная, брюхатая крыса, и его начинало выворачивать. В пути от Починка выворачивало так, что начались спазмы в сердце. От приступов рвоты пузырилась из раны кровь. Раненый ослаб за дорогу до того, что весь до горла погрузился в желтую навозную жижу и каким-то ему уже не принадлежащим усилием вздымал голову, не давал захлестнуть жарко распахнутый рот вонючим потоком, но с крысой ничего поделать не мог — она все визжала и визжала под ним, особенно громко на разворотах, почему-то рожая и рожая мокрых, голых крысят.

Выехали на асфальт, крыса смолкла, но отделилась от туловища голова, загремела по железному полу, катаясь из угла в угол. Вот и голова хрустнула под колесами, правда, без визга, и осталась на растрескавшемся асфальте, бескровная, с открытыми живыми глазами. Возле дороги на вершинах черных елей сидели черные вороны, чисти-

ли кловы о ветки, собираясь расклевывать голову. Начнут они ее с глаз, с живых, серо-голубоватых, с детства ведомых Леониду глаз русского северянина.

— Голову!.. Забыли мою голову! Голова-а-а-а! Подбери-и-ите-э!

Ему казалось, он кричал так громко, что его слышно даже воронам, и, спугнутые криком, они разлетятся, не тронут голову. Но он лишь слабо шевелил губами, истерзанными до мяса. Что-то прикасалось к ним, обжигало рот, пронзало ноздри, ударяло в то место, где должна быть голова, и он хотя бы на короткое время получал передышку, осознавая, что жив, что голова с ним, на месте.

Но вот на месте головы замелькал свет милицейской мигалки-вертушки, не синим и не красным светом моргала вертушка, а почему-то навозно-желтым, и снова задирали раненый лицо, не давал жижке залить рот, ноздри, но желтые валы наплывали неумолимо, медленно, будто сера из подрубленного дерева. Слепляло рот Леонида, склеивало нутро, душило и душило горло, судороги от нехватки воздуха скрючивали его, вязали в узел, рвали жилы.

Навалившись негрузным телом на Сошнина, не в силах успокоить, удержать конвульсии раненого тела, деревенская фельдшерица заливалась слезами:

— Миленький... Миленький... — умоляла, просила, криком кричала фельдшерица. — Не мечись! Не мечись! Успокойся! Кровь... шибче кровотоечение. Миленький... миленький... Скоро. Город скоро. Миленький... миленький!.. Сколько в тебе силы-то! Ты выживешь. Выживешь...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Очнулся Леонид через сутки после операции, которую делал все тот же незаменимый Гришуха Перетягин, но уже вместе с бригадой помощников, в той же хирургической палате, в которую попадал Сошнин с поломанной ногой. Лежал на той же койке, возле окна. За окном, знал Леонид, есть сохлая ветвь старого тополя, и к ней прикреплен, точнее, ввинчен в нее «стакан» радиопроводки. От «стакана», от ржавой резьбы кованого крюка, радостными проводчиками всаженного сюда, должно быть, еще в первой пятилетке, и засохла ветка дерева. Опутанный проводами, обставленный склянками, Сошнин хотел и не мог пошевелиться, чтоб увидеть знакомый тополь, знако-

мую на нем хрупкую, как кость, ветку и на ней белый-белый «стакан», вросший в плоть дерева.

По прикосновениям рук и по запаху волос, которые касались его лица, порой залепляя рот, затем и глазами через колеблющийся, туманом наплывающий свет он узнал Лерку. Она попоила его из ложечки. Издалека донесло до него голос. Сообщалось: больной открывал глаза. Чтобы доказать себе, что он их действительно открывал и может их открывать, Леонид произвел в себе огромную работу, с большим напряжением сосредоточился, стянул в одно место все, что в нем слышало, ощущало и жило, — увидел тополь за окном, и одинокую сухую ветку, и на ней белый-белый «стакан». Будто рука в драной перчатке протянула ему большой кусок сахара, ни с какого бока не обколотого, снежного, зимне-праздничного, сладкого. Осенним ветром шевелило, снимало остатки коры с отжившей ветки, по выше ее еще билась россыпь примерзлых листьев, не успевших отцвести и опасть на землю. Малая птаха, сипица или щегол, — но тот ведь на репьях осенями жирует, — выбирала козявок, на зиму упрятавшихся в коре и в листьях, неторопливо обшаривая ствол, ветви, и, когда клевала стерженек листа, он, потрепетав, отваливался, мерзлый, тяжелый, без парения, с пугающим птицу жестяным звоном падал вниз, и птаха отпархивала в сторону или вверх, провожая зорким глазом лист. Успокаивалась и снова начинала кормиться.

«И так вот всю жизнь! В поисках корма, в хлопотах, в ожидании весны. Прелесть-то какая!..»

Почувствовав взгляд человека, птаха прекратила поиск, кокетливо склонив головку с детски сытенькими, лимонно-желтыми щеками, глянула на него через стекло и тут же успокоенно продолжила работу, поняв, что от мощного человека нет ей никакой опасности.

— Пы... пы... пти-чка! — прошелестел едва слышно Леонид и заплакал, поняв, что видит живую птичку, и она его видит. Живого.

Еще через сутки он спросил, не открывая глаз:

— Иде я?

— Идея все та же: побеждать зло, утверждать добро. — Сквозь заложенные уши, через туго и плотно натянутые перепонки, все еще издалека пробился к нему голос Лерки.

Он проморгался, осмотрелся. Прямо от жены, от Лерки, к нему, к мужику, протянуты толстые провода! Они навеки крепко связаны!

К нему начал возвращаться юмор. Об семье! Самая это юморная нынче тема. По трубочкам сочилось что-то светлое, каталось бусами круглых пузырьков. Провода выглядели вынутыми из мертвого тела жилами, но шарики в стеклянных трубочках катились весело и живо. Тоже хорошо. Просто так хорошо. Без юмора. Это что же получается: как ему пришили ногу, так он отсюда и не уходил, что ли? Или его вновь изуродовали?

А-а, Тугожилино. Телятник. Женщины. Венька Фомин... «Да что же это такое? Быют и быют. Калечат и калечат... Когда же этому конец будет?» Жалко себя сделалось Леониду, вновь его на слезу повело. Он хотел отвернуться, да невозможно, — проводами опутан, держат они его, и сил нету. Лерка, не спавшая две ночи, увидев слезы на лице мужа, тоже закрылась рукой, но слезы просочились сквозь ее пальцы.

— Ты когда-то сложишь удалую голову! — ругалась Лерка, хорошо ругалась. Слушал бы и слушал. Вообще все и всех слушал бы, на все и на всех глядел бы и глядел — такое это счастье! — В деревне, Богом, начальством и людьми забытом углу, обезвредил преступника! У нас везде есть место подвигу, да? Чуть не подох!

Он с трудом поднял руку, опустил ее на Леркино колено, вспомнил его, крепенькое, круглое, высвеченное солнцем, там, в леспромхозовском общежитии, давно-давно, в какой-то жизни, в каком-то веке. Передохнув, нащупал ее пальцы, попробовал сжать их.

— Там, в том углу, тебя... дуру...

— Встренул, — подсказала она.

— Аха!

— И что же? Я встретил вас, и все бывшее в отжившем сердце ожило?

— Аха, ожило!

— Ну, ты даешь! На ласки повело жестокого опера. В лирику бросило! — Лерка отвернулась к окну, смаргивая слезы. — И правда, птичка! — удивилась она. — Ну, зорек, орел! Ну, приметлив! Ума бы еще маленько, и был бы мужик хоть куда!

— Я и так умный чересчур, и от ума жить мне как-то неловко, ум большой, одежда тесная, рукава короткие, штаны до колен...

— Ври больше! Умных на ржавые вилы не сажают. Умных, да и еще писателей — из пистолетов бьют.

— Будь я в форме... Он за туриста-интеллигента меня принял... иконы да прялки которые вышаривают.... — Подышал: некуда торопиться-то, а поболтать так охота, давно с женой не болтал. — Интеллигенты что? Их должно резать или стричь...

— Нельзя тебе много шутить. На шутки умственность и сила тратятся. У тебя ни того, ни другого...

— Как я хочу жрать, старуха!

— О-о! Вот это другой разговор.

Выкарабкался! И на этот раз выкарабкался! На третий или на четвертый день пришла «подывытиться» на родственника румяная, только еще начинающая полнеть повариха — от нее перелили Сошнину кровь: оказалась нужная ему группа.

Остановившись в отдалении, дивчина поздоровалась:

— Здоровеньки булы? Ну, як, воно, здоровячко, товарищу лейтенант?

Сошнин сделал невероятное над собой усилие, чтобы не расплакаться снова, поманил дивчину к себе:

— Подойдите, подойдите поближе! — Сердце Сошнина сорвалось с места: «Да ради таких вот...» — Здоровье мое... налаживается. — Он взял руку поварихи и поцеловал до жил измытые, выеденные крахмалом и уксусом пальцы, пахнувшие луком и еще чем-то родным, тети Лениным, тети Граниным. Подкопив силенок, он и в щеку поцеловал дивчину, в тугую, румяную, чуть изветренную щеку, чем окончательно смутил ее, и, чтобы развеять смущение, указал на улыбающуюся сквозь слезы Лерку. — Это моя жена! Без пережитков жена. Не ревнивая, потому как современная...

Полтора месяца в больнице, еще месяц по больничному — и инвалидная группа. Пока на год. Что дальше? Конечно, горотдел большой, да и областное управление внутренних дел — предприятие разнообразное, в каком-нибудь закутке найдут ему тихую, неопасную работу, на доживание до пенсии по старости. Но зачем она ему? Кто побыл на фронте разведчиком, сказывал Лавря-казак, плохо приживался в другом месте, в других частях. Тот, кто поработал в угрозыске на оперативной работе, туго воспринимал тишину и оседлость.

Показательный суд над Венькой Фоминым наметили было провести в деревне Тугожилино. Отперли давно не действующий тугожилинский клуб, но он так промерз и такие в нем были полуразвалившиеся печи, что решено было переехать на центральную усадьбу, в починковский поссовет. Дом культуры закрыт — его еще летом начали ремонтировать наезжие с Карпат шабашники и затанули работу.

Пока подсудимого возили да водили туда-сюда, успели шустрые бабенки «незаметно» переодеть Веньку Фомина в чистое, покушать ему спроворили и даже выпить. Подруга Веньки Фомина, Арина Тимофеевна, Тырыничева, все обиды простила ему, норовила быть поближе к «сердечному зазнобе», незаметно совала в карман сигареты, спички, конфеточки в замусоленных обертках.

Народу на суд навалило видимо-невидимо! Со всех окрестных деревень, одевшись в праздничное, селяне ехали на велосипедах, мотоциклах, гармошки зазвучали, выпивохи объявились. Скучно и монотонно живущий по полуопустевшим деревушкам люд был рад любому случаю собраться вместе, посудачить, расспросить друг друга о житье-бытье. Понимая, что причиной людского возбуждения является он, подсудимый держался гоголем, шибко жестикулируя, рассказывал что-то бабенкам, уловив момент, подошел к пострадавшему, хлопнул его по плечу по раненому и поинтересовался здоровьем. Венька Фомин знал от Арины — человек чуть не умер, на пенсию угодил — и, царапая затылок, хохотнул: лучше б, мол, было, если б Сошнин ткнул вилами его, — получал бы пенсию товарищ Фомин, гужевался в свое удовольствие, а Сошнин имай преступников да имай.

— Воппше, извини! — посерьезнев, заключил Венька Фомин. — Не знал, што ты здешный. Здешних мужиков я берегу. Их мало.

Во время суда Венька Фомин был деловит, ревниво следил за тем, чтоб процесс шел по всем правилам, поправляя судью, заседателей, обвинителя и адвоката, если они что-то процессуальное нарушали или говорили не по уложению и кодексу. Уяснив, что Венька Фомин на практике постиг сложное дело судопроизводства, народ уважительно его слушал — голова умная у человека, раз такую сложную науку превзошла, рассуждали бабы, да только вот дураку досталась.

Суд шел долго, канительно. Бабы-свидетельницы пу-

тали показания, которые от бестолковости, которые по наущению Арины Тырыничевой, чтоб Веньке Фомину меньше дали. И разнесся уже слух, что присудят ему три года, пошлют «на химию», потому как трудовых кадров нигде не хватает.

Но Сошнин знал: Веньку Фомина засудят на большой срок — третья судимость, и поднахватал он статей, одна хлестче другой, и отвалили подсудимому десять лет строгого режима. Он сразу протрезвел, заутирался рукавом, мелко затряслась рубаха на его спине. Бабы завыли в голос. Когда подсудимому предоставили последнее слово, он слабо махнул рукой. Арина Тырыничева, оттолкнув конвоира, с ревом бросилась на шею Веньке Фомину. Какой-то нездешний громила пьяно гудел: «Н-ниправильный экзамин! Фик-са! Чалиться в академии червонец? За что? Пришмотил лягавого? Их на наш век хватит. Н-ниправильный экзамин! Я не один задок имел, знаю, что за мокрятник полагается. Кассацию пиши, кореш. Не поможет — брызни!..»

Леонид вылез из духотищи поссовета, ушел на берег реки, в редкий соснячок, и оттуда видел, как увозили Веньку Фомина. На ходу, в суতোлке подконвойного успели «освежить» сердобольные бабенки, он обнимал зареванную покорную Арину Тырыничеву.

— Жди меня, и я вер-р-нусь всем чертям назло! — грозя своим костлявым кулаком, кричал в сельские пространства Венька Фомин. — Все ждите! Я, пала, покажу кой-кому, как рога сшибают! Я, пала, научу кой-кого свободу любить...

Леонид пообедал у Паши Силаковой и, не побывав у тестя с тещей, уехал в Хайловск на попутной, оттуда в полупустой, дремной электричке катил по родным болотистым местам, смотрел в окно на давно привычные, такие мирные, так прибранно зимой глядящиеся поля, деревушки, полустанки, путевые будки, на редко и черно торчащие в белых болотах деревца, на голотелье осинники, на пестрые березы, глядел, полностью отдавшись глубокой и уже постоянной печали. Нет, ему не жалко было Веньку Фомина, но и торжества он тоже никакого не испытывал, тем паче злого. Работа в милиции вытравивала из него жалость к преступникам, эту вселенскую, никем непонятую до конца и необъяснимую русскую жалость, ко-

торая веки вечные сохраняет в живой плоти российского человека неугасимую жажду сострадания, стремления к добру, и в той же плоти, в «болезной» российской душе, в каком-то затемненном ее закоулке, таилось легко возбудимое, слепо вспыхивающее, разномысленное, необъяснимое зло...

...Молодой парень, недавно кончивший ПТУ, пьяный полез в женское общежитие льнокомбината, бывшие там в гостях кавалеры-«химики» не пускали молокососа. Завязалась драка. Парню набили морду и отправили домой, баиньки. Он же решил за это убить первого встречного. Первым встречным оказалась молодая женщина-красавица, на шестом месяце беременности, с успехом заканчивающая университет в Москве и на каникулы приехавшая в Вейск, к мужу. Пэтэушник бросил ее под насыпь железной дороги, долго, упорно разбивал ей голову камнем. Еще когда он бросил женщину под насыпь и прыгнул следом, она поняла, что он убьет ее, просила: «Не убивайте меня! Я еще молода, и у меня скоро будет ребенок...» Это только разъярило убийцу.

Из тюрьмы молодчик послал одну-единственную весть — письмо в областную прокуратуру — с жалобой на плохое питание. На суде в последнем слове бубнил: «Я все равно кого-нибудь убил бы. Что ли я виноват, что попалась такая хорошая женщина?..»

...Мама и папа — книголюбы, не деточки, не молодяжки, обоим за тридцать, заимели трех детей, плохо их кормили, плохо за ними следили, и вдруг четвертый появился. Очень они пылко любили друг друга, им и трое-то детей мешали, четвертый же и вовсе ни к чему. И стали они оставлять ребенка одного, а мальчик родился живучий, кричит дни и ноченьки, потом и кричать перестал, только пищал и клёкал. Соседка по бараку не выдержала, решила покормить ребенка кашей, залезла в окно, но кормить уже было некого — ребенка доедали черви. Родители ребенка не где-нибудь, не па темном чердаке, а в читальном зале областной библиотеки имени Ф. М. Достоевского скрывались, имени того самого величайшего гуманиста, который на весь мир провозгласил, вернее, прокричал неистовым словом, что не приемлет никакой революции, если в ней пострадает хоть один ребенок...

...Еще. Папа с мамой поругались, подрались, мама убежала от папы, папа ушел из дома и загулял. И гуляй бы он, захлебнись вином, проклятый, да забыли родители дома

ребенка, которому не было и трех лет. Когда через неделю взломали дверь, то застали ребенка, приевшего даже грязь из щелей пола, научившегося ловить тараканов, — он питался ими. В Доме ребенка мальчика выходили — победили дистрофию, рахит, умственную отсталость, но до сих пор не могут отучить ребенка от хватательных движений — он все еще кого-то ловит...

Жить можно по-разному, хорошо и плохо, ладно и неладно, справно и несправно. Вот его напарник по училищу и многим дежурствам, Федя Лебеда, жил справно и ни разу не то что ранен, но даже не поцарапан. На участке у него дача почти в три этажа, да вся в резьбе, каминчик даже есть, в керамическом ободке, и керамика цветом, формой и колером напоминает ту же, какую безвкусно, зато дорого облицовано здание областного управления внутренних дел. На даче Феде Лебеде много музыки, цветной телевизор, машинешка, хоть и «Запорожец», но все же своя — все, как у добрых людей, и все как будто не уворовано, не унесено, все на бедную милицмейскую зарплату приобретено. «Жить надо уметь!» — заявляет пьяненькая Тамарка, жена Феде Лебеде, работающая официанткой в ресторане «Север». Хорошо хоть, увлеченная собой, искусством и чтением Маяковского, а может, из-за «надежных тылов» в деревне Полёвка Лерка не внимала этому лозунгу. Ну, не то чтоб не внимала, не придавала того первостепенного значения ему, как та бедная женщина, которую Сошнин видел года три назад в электричке тоже. Она сидела против него и почти всю дорогу плакала, навалившись на стенку вагона головой, утираясь сперва носовым платком, затем, когда платок намок и просолил, суконой косынкой, постепенно стягивая ее с беловолосой головы, не лохматой, а как бы свалывшейся в шерсть и неряшливой от давней завивки.

«Простите, — сказала женщина, перехватив взгляд Сошнина, и, немножко поправив волосы и себя, добавила: — Мужа я погубила. Хорошего человека...» И снова захлебнулась слезами. Но ей хотелось выговориться, и она рассказала в общем-то очень простую историю, до того простую, хоть вой в голос от ее простоты.

Жили да были муж с женой. Скромные советские служащие, со скромной зарплатой, скромными возможностями. Много работали, любили друг друга. Пока не народились дети, дочка с сыном, бегали в киношку, хаживали в театр, по воскресеньям — на реку, зимой — на лыжах

за город. Читали не очень чтобы много и не очень чтобы «настоящее», но читали, телевизор смотрели, за хоккей болели. Хорошо было им: росли дети, время катилось незаметно в трудах да в заботах. Но вот она стала замечать во дворе машины, за городом дачи, в квартирах друзей и знакомых ковры, хрусталь, магнитофоны, модную одежду, красивую мебель...

И ей тоже захотелось этого, и стала она подбивать мужа перейти на другую, более добычливую должность. Он уперся. Она его разводом стращать, разлукой с детьми. Перешел муж на добычливое место, и хоп — приносит домой денег сверх зарплаты аж на цветной телевизор! Во второй раз принес денег на целый ковер, а в третий раз... домой не вернулся. И ждать его теперь придется пять лет...

Вот была она у него в колонии, на первом свидании, привезла первую передачу. «Смотри, смотри на мужа-преступника! Любуйся! Ты этого хотела!..»

«Я на колени перед ним, руки и ноги его целовала, а он от меня отвернулся, ни на что не реагирует, не плачет. Передачу не взял. Велел год хотя бы не показываться на глаза. Напоследок только и сказал, что детей своих ему жалко...»

Да-а, жизнь разнообразна, и жить в ней можно разнообразно. Вот совсем недавно, Сошнин уже был на пенсии, ночью сработала сигнализация в новом районе, в новой сберкассе, где и денег-то почти не было. Федя Лебеда потихоньку, полегоньку из оперативников перебрался в ГАИ, затем во вневедомственную охрану, поехал на сигнал с молодым, только что окончившим училище сотрудником. У Феде Лебеде оружие, и все же к кассе пошел молодой безоружный сотрудник милиции. Подходит, видит: в дверях ковыряется человек. Ну и как водится: «Ваши документы, гражданин...» Тот отвечает: «Шшас!» Лезет за пазуху, вынает пистолет и в упор тремя выстрелами валит милиционера.

Федя Лебеда, значит, живой, здоровый. В объяснительных объясняет, что объект-то совсем неопасный и кто ж его знал, что у обормота безмозглого есть оружие. Федя Лебеда был капитаном и работал на спокойном участке, стал старшим лейтенантом и сегодня дежурит по отделению, со спокойной, охранной работы его перевели на «неспокойную», но он и здесь будет жить и работать по принципу: «Нас не трогай, мы не тронем...» И до майора,

а то и до полковника дослужится. Молодой же парень сразу получил вечное звание — покойничек, потому как глупый был, по тайному, твердому определению Федей Лебеде. Сошнин с Федей учился, долгое время работал, и мысли и дела его нехитрые, уверенность в их неизбежной правильности знал он наперед. Хорошо хоть, родился Федя Лебеда в годы, не подходящие для войны, он бы, попади на фронт, не одного молодого дурака подставил под пули вместо себя и потом даже не вспомнил бы о них.

«Такая вот картина жизни», — заключил Леонид словами Алексея Демидовича Ахлюстина. «Се ля ви, трудно поддающаяся теоретическому анализу», — глаголет интеллектуалка Сыроквасова. «Эх, жизнь кубекова, обнял бы, да некого!» — вздыхает Лавря-казак. «В ей, в жизни, всегда как на рыбалке: то клюет, то не клюет...» Эта философия дяди Паши, пожалуй что, самая близкая к действительности и, главное, доходчивая, понятная.

Намотавший сто двадцать лет сроку тип, начавший молиться Богу и учиться грамоте в вечерней школе родной колонии очень строго режима, находящейся во-он за тем лесом, в торфяных болотах; Паша Силакова, гонящая на мотоцикле по сельским просторам пуще юноши; тесть Маркел Тихонович, не пришедший на суд, чтобы «не разостраиваться»; теща, явившаяся в Починок в парадном костюме, в капроновых чулках, всем своим видом показывающая, что судят не того и не так, как надо; народ, воспринимавший судебское действие словно переживательный спектакль, — все-все это жизнь, в которой «то клюет, то не клюет», веселая, беспечная, немысленно суровая, непостижимо сложная и простая, как те вон, пролетающие мимо окон электрички тихие деревушки, леса, болота, медленно удаляющиеся сонные унырки в лес, собака, рвущая цепь у путевой будки, готовая укусить электричку.

Между тем Веня Фомин, измотанный судом, сморенный усталостью в пути и вином, спит за загородкой городской тюремной машины и ни о чем не думает, папы и мамы несчастных детей, пэтэушник, сгубивший юную мать, длиннее своей жизни мотающий срок знаменитый зэк с отстреленной в побеге рукой, в богоискательство ударившийся, — все-все это было до них и будет после них, — все это жизнь, товарищ Сошнин. Вот и осмысли

ее, поднимись до понимания всей правды жизни, иначе зачем и для чего, не умея в руках держать топор, лезть в плотники?

Реальность, бытие всего сущего на земле, правда — сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех, ты сам с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда — самое естественное состояние человека, ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хотя в любом крике, в любом стоне, песне, плаче она стонет, плачет, смеется, умирает и рождается, и даже когда ты привычно лжешь себе или другим — это тоже правда, и самый страшный убийца, вор, мордоворот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда завистник с рассудительностью вечного страдальца со стоном воскликнул: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!» — он не притворялся, он говорил не о своей, а о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди и в попытке достичь высоты ее срываются, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов, но, как альпинисты, лезут и лезут по гибельно отвесному камню. Постижение правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму.

Но ээк, набегавший за полжизни срок на две жизни, молящийся о спасении души, — все же нехорошая правда, бессмысленная правда, и страшнее она лжи.

Сошнин-таки осилился, заставил себя подняться с постели, помял перед зеркалом ладонями лицо — отчего-то оно так быстро заросло. Да нет, темно возле умывальника, или потемнело лицо от воспоминаний. Скорее всего так оно и есть. Ведь перед самым походом в издательство, утром не ранним, выскоблился, намарафетился. Помочил расческу Сошнин, разодрал свалаявшиеся волосы, погладил себя по голове и пошел за почтой. Под лестницей как было насвинячено, так все и оставалось: окурки, железные пробки, коробки от спичек и сигарет, рванье бумаги и фольги, растоптанные селедочные головы, куски хлеба. Здесь же, на газете, постеленной на пол, со всеми удобствами расположился посетитель: стакан, унесенный из автомата, в расковырянной фольге мертвое свечение плавленого сыра, надкушенное яблоко и темная, мрачная бутылка бормотухи с подтеками на наклейке.

— Дру-у-ут, — раздалось из-под лестницы, — какое сейчас время?

— Утро.

— Утро? Вот еще одно утро наступило. Бегит время, бегит... Так и жизнь пробежит...

Леонид поднимался по лестнице с газетами, сопровождаемый романсом: «Утр-ра туманна-а-ая, утра-ра се-эда-а-аеэ, даали лазуррныя, мрракам покрытыи...» Гость седьмого дома оказался меланхоликом. Певцом-меланхоликом.

В газету вложено письмо от Маркела Тихоновича. Сошнин его нетерпеливо разорвал.

«Добрый день! Веселый час! Дорогой мой сынок Леня.

Изболелось мое сердце об вашем здоровье. Были бы у меня крылушки, прилетел бы к вам. А не улетишь. Корова на дворе, что якорь на корабле, — держит. И хозяйство всякое кругом, да старуха одна боится ночью. Раньше никого не боялась: хоть ей черт, хоть ей поп, хоть муж, но нерва ее здала в боях с врагами социализма и со мной...»

Леонид улыбнулся и пошел скакать по письму, чтобы основательно перечитать его перед сном.

«Дошел до нас слух, вы опять с женою в разделе. Это нам большая досада. Как тут быть — ничё не придумаеш. Токо одно скажу: нам, мужикам, надо и жалеть их, дур. Куда оне без нас-то? Говорил я тебе или нет, как в сорок девятом году уходил из дому — не стало мочи. Пристал я к одной хорошей жэншине, из соседней деревни Тугожилино, вдове, — еще смолоду мы с ней знались. Починил ей домишко, скарб весь уладил, колодец почистил, скотину обиходил, живем, друг дружке не нарадуемся. А моя-то, Толька-то, совсем запурхалась, ниче ведь не умеет, токо лаяться и выступать. Приходила страмотить, окна била, блядевошила. Я забеспокоился: Толька в нормальном состоянии за домом не следит, что тогда в ём деется, когда она в нервном приступе. Приковылял, как подневольный. Все у их запущено, не сварено, корова не продоена, на всю деревню орет, пчелы с дому их не выпускают. Лерка золотухой обросла. И что мне свою судьбу тешить? Эти ж пусть пропадут? Так и остался. Старуха блудней меня кличет, на месте действия, говорит, захватила...

Может, тебе ее, дочь мою бодливую, побить? Не до самой смерти — чтоб прочувствовала. Да как побьешь? Жалко. Баба. Мать дитя малого.

Жду ответа, как соловей лета! Приезжайте со Светланкой хоть после Нового года, хоть когда. Мы завсегда вам рады. Корова отелится, молочко свежее будет — это хорошо для здоровья. В жись вашу я не хочу встречать и старухе не даю, но так жалко всех вас — изувеченный на охране опшэствениного порядка, залег ты в квартире, как в берлоге, — ни сварено, ни топлено, так вот и слезы у меня на бороду...»

В Новый год Маркел Тихонович наденет синий костюм с давно и прочно к нему прицепленными наградами, выпьет медовушки, дружелюбно и блаженненько улыбаясь, станет угощать соседей, потом подопрется рукой и запоет: «Разбедным-то я бедна, плохо я одета, никто за муж не берет деушку за это...» Евстолия Сергеевна высокомерно махнет на него рукой: «Ну, была у волка одна песня, и ту перенял!» И ударит вперешиб, звонко, сорванно, непримиримо: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы к счастью ключи!» И старушонки радостно и слаженно вторят: «Ключи! Ключи! Ключи!» Взгляд Чащихи посуровеет, сталью засверкает, лоб от висков бледностью прошибет. Воинственно глядя на растяпу мужа, на убогих старушонок, звякнет хозяйка по столу кулаком: «И вся-то наша жизнь есть борьба, борь-ба!»

Старушонки в привычный подхалимаж: «Да уж не зря, конечно, эстолько благодарствий и грамот тебе дадено, Толя, не зря! Борьба — есть лизурьтат».

Чтобы не поргить праздника, не вязываться в ор со старухой, которая искренне верит, что она для Родины и для родных полей сделала куда больше, чем все эти землеройки, в том числе и ее муж-тугодум, сунется Маркел Тихонович в угол, где вместо икон стоит телевизор «Рекорд», — по нему катаются фигуристки в одних трусиках да в тоненьких чулках, юбчонки до пупа задираются.

«Страм-то, страм экий! Куда токо родители смотрят? Да и власти тоже. Худородшые ж от простуды девки сделаются, станут робят рожать, в солдаты негодных, хто Родину защищать будет?» — тревожится у телевизора добрый Маркел Тихонович. Евстолия Сергеевна с визгом катит срамное: «Это он, девки, ждет, ковды с фигуристок трусики спадут! Да не спадут, не спадут. Нонче знаешь, кака резинка? Синтетическа! Это у нас ране — веревоч-

ка лопнет... альбо ухажеры порвут — пляшешь со штанам в беремя...»

«Так-так, Толя! — поддакивают подружки. — Худа жись была. Теперь што не жить? Бело стряпам. Здоровье бы токо было...»

Курица давно сварилась. По квартире плавал запах водорослей или тот неотступный запах тугожилинского телятника, который не покидал Сошнина с тех пор, как он без сознания барахтался в навозной жиже. И крыса, как он переутомится или перенервничает, мучает его во сне, бьется, ползет по угреватому асфальту, а ее с криком добивают, клюют в голову вороны.

Вяло, безо всякого аппетита ободрал Леонид зубами лапу склизкой, словно в мыле сваренной курицы. Попил чаю. Попробовал пристроиться к столу, стол шатался, скрипел, вечерами отчего-то крикал даже, и вечерами, в непогоду сильнее болела нога, жгло плечо. Сегодня болят они совсем невыносимо — сшевелил суставы, потревожил раны, лущуя изо всей дурацкой силы подонков, которые и без его помощи сопыются и подохнут.

Из отделения не звонили, значит, битые им молодцы никуда не заявляли, перевязались, отсморкались, выпили «микстуры» и спят где-нибудь сном провальным, пьяным, и ничто-то их не мучает, не тревожит, и сердце у них ни о чем и ни об ком не болит.

Лежа на диване, Сошнин протянул руку к телефону и, не зажигая света, на ощупь набрал номер. Ответили вопросом: «Кого надо?» Он сказал кого. Слышно было, как стучали из коридора в стену.

— Привет медицине! У вас телефон сегодня, как часы.

— Не успели трубку оторвать. Как жизнь?

— Восхитительна.

— Что-то случилось?

— Почему ты так решила?

— Иначе бы ты не позвонил. Тебе снова нужно мое утешение? Защита от врагов?

— Да нет. Врагов я уже сокрушил.

— А-а. Вот это уже серьезно. Где? Кого? Сколько?

— Дома. Под лестницей. Трех.

— Медицинскую помощь оказали?

— Не потребовалась.

— Дождешься, мент удалой! Достукаешься! Всадят тебе нож в спину...

В ответ на «мента» он хотел было сказать «примадонна», но сдержался и похвалил сам себя: «Во, молодец! Вымуштгровали!..»

— Чего жрешь-то?

— Курицу варил. Отец письмо мне прислал.

— Мне тоже. И еще мяса. Свинью они закололи... к Новому году.

Сошнин почувствовал, как она споткнулась, чуть не сказав: «к нашему приезду». Ему бы поддержать «зазвучавшую струну», навстречу человеку двинуться, но он же остряк-самоучка, гордый, современный, ловкий на слово человек.

— Тебе лучше, — сказал и добавил: — Между прочим, отец советует тебя побить.

— Это он вычитал в любимой газете «Сельская жизнь», в серии «Полезные советы». Только подожди, стирку закончу, приберусь, приготовлюсь. Да вот еще остановка — бить-то сделалось нечего. — Лерка перебарывала слезы.

Оба замолкли.

— Если у тебя ничего срочного... Я правда, стираю. Светка возле машины.

— Да-да, — спохватился он.

— Чтобы разогнать мерехлюндию, возьми на выходные Светку. Она тебя развлечет. Первоклассница смышленная и современная. Услышала о диких заработках на БАМе и собирается по окончании школы туда. Ее интересует также, где учатся на артисток? С какого класса разрешают носить золотую цепочку и сережки? Сколько раз в жизни случается любовь? Откуда берутся дети? И многое другое, что бесплатно преподается в нашем веселом доме. Боюсь, твоих гонораров не хватит на ее сряду. Ой, я побежала!

— Постой-постой! Светка ко мне, а ты куда?

— Как куда? На свиданье. Сватает меня сосед-бульдозерист. Сердце его ласки просит... он себе подружку жизни ищет. Четыреста в месяц заколачивает...

— Бульдозерист в мазуте, а у тебя должен быть стерильно чистый халат.

— Отмоюсь. Сейчас такая химия... Ой, я, правда, как на иголках. Светка не сунулась бы в машину. Чрезмерно девица любознательная.

— Тогда до свидания!

— До свиданья! Звони, когда будет настроение. Точнее, когда не будет.

— Лады.

— Н-ну, я пошла.

— Н-ну, ты, если что...

— Что «если что»?

— Ладно. Я все понял. Спокойной ночи!

— А тебе наоборот!

— Да, попробую поработать.

— Всякий труд благослови, удача!

— Благодарим. Постой!

— Чего еще?

— Ты тетю Граню давно видела?

— А-а, вон ты о чем? Нет, недавно. Чешет по улице Мира, корóбок беремья прет. Она теперь в Доме ребенка работает. Вещички дегские собирает.

— Как она туда попала?

— Очень просто. В больнице лежала известная всем Алевтина Ивановна Горячева — заведующая Домом ребенка. Не могла же она не уманить за собой такой кадр.

— М-да-а. Это, значит, тетя Граня барахлишко — по боку, детям в помощь, родители которых пируют на просторах родины чудесной, закаляясь в битвах и труде.

— Всегда так было: кто-то бросает, кто-то подбирает... Ой, побежала я! Надо успеть Светку выкупать и уложить. Должна тебе заметить: изо всех твоих потерь тетя Граня — самая непростительная. И утешений на этот счет не жди.

— Что делать? Значит, жизнь в самом деле серьезнее, чем я думал.

— Ты становишься интеллигентом! Самая это первая отговорка современного интеллигента, чтоб мусорное ведро не выносить... Ой, отпусти, ради Бога! — С этими словами Лерка убежала.

Сошнин долго не клал трубку. И слышался в потемках телефонный зуммер, звук из того, другого, многолюдного, делом, словом и весельем занятого мира.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

К нему, к тому, к другому, миру и потянуло Сошнина. Он запер дверь, спустился вниз. Под лестницей мирно спал, уронив пустую бутылку набок, чужой человек.

«О Господи! До чего ж надоело!»

На улице подмораживало. Уже не капало, лишь сочились с крыш, удлинились четко по желобам шифера прочерченные сосульки, и на конце каждой из них звездочкой мерцала остывающая капля. В небе тоже процарапывались сквозь муть и хмарь кособокие звезды. Яснее светились огни на железнодорожной станции, теснее и дружнее сдвинулись многоэтажные дома города, и лишь по берегу реки фонари все еще плавали желтками в яично-белесом испарении. Холмы, все отчетливее проступавшие за станцией, как всегда, полны были тайной задумчивости и значения, и гуще всюду светились фонари и окна окраинных деревянных поселков.

Со станции слышались объявления — как раз принимали поезд на Ленинград, и Сошнину до крику захотелось уехать на край света, уехать тихо, тайком ото всех, прежде всего от себя. Он еще раз позавидовал тем, кто куда-то и зачем-то ехал, были у людей какие-то цели, занятия, думы, что-то или кто-то тянул их или толкал вдаль, в дорогу и, может быть, где-то даже ждал..

В половине двенадцатого со станции Вейск отправлялся напوماженный, фирменный поезд на Москву — «Заря Севера», и возле раскрытых ворот задом к перрону почтительной чередой стояли разных марок машины, среди них черная «Волга», по номеру давно известная Сошнину, — на этой машине возили важного ныне человека в городе — Володю Горячева.

Дядя Володи Горячева был начальником Вейского отделения железной дороги, кругой, видный местный руководитель и общественный деятель, много полезного делавший для транспорта, города и народа. Жена его, Алевтина Ивановна, добрейшей души человек, отчего-то не могла рожать, и, когда в родной деревне Горячевке умерла многодетная сестра Горячева, решено было взять из деревни младшенького, Володю. И взяли. И полюбили. И растили, балуя. Парнишка рос дерзкий, настырный, рано устремленный к самостоятельности, и, конечно же, такой «кадр» не мог не спуститься с «горы» — так назывались насыпи, на которых стояли дома железнодорожных управленцев и само управление отделения дороги, — и не примкнуть к трудовому народу в тети Гранином тупике.

Работал, пластал одежонку Володя Горячев. Спуска-

лась Алевтина Ивановна в «пиз», пробовала воздействовать на Володю и изъять его из трудового коллектива, да где ей в одиночку-то совладать с обществом.

Однажды Володя заболел, лежал с температурой, ничего не ел, криком выживал из дому Алевтину Ивановну, требуя печенок и горьких яблоч. «Испортитла ребенка, изуродовала! Со шпаной разной связала! Отвечай!» — наступала на тетю Граню Алевтина Ивановна.

Задумалась тети Граня: никакими яблоками она ребятишек не кормила — нет у нее на яблоки средств. Но просияла, о чем-то догадавшись, завязала в узелок две печеные картошки, горстку луковичек, щепотку серой соли и отправила гостинец дорогому работничку. И сожрал ведь, сожрал, барчонок, все дотла, нарочно выпачкав печенками белоснежную скатерть, и пошел ведь, пошел на поправку; поправившись, неслух опять спустился с «горы» на железную дорогу — работать.

Володя Горячев окончил школу, конечно же, с золотой медалью, потом технологический институт, конечно же, с отличием, потом еще в академии какой-то пообретался — и пошел чесать в гору, только уж не железнодорожную, в строительную гору. Быстро освоился с большой должностью и достойно, насколько это возможно в наши дни, хозяйевал в самой крупной строительной организации города Вейска — «Вейскгражданстрое», где насчитывалось более десяти тысяч трудящихся, сколько там бездельников — не ведал даже сам руководитель треста.

Сошнин встречался с Горячевым чаще всего в обласполкоме, где дежурил на тихом месте после того, как выписался из больницы с хромой ногой.

— Здравия желаю, гражданин начальник! — всегда одинаково приветствовал давнего соратника по труду на желдортранспорте Володя Горячев, и, подержав у виска руку, совал ее, будто лопату в землю, и нарочно стискивал чужую руку, проверяя силу.

— Добро пожаловать, будущий «химик»! — охотно откликнулся Сошнин и так сжимал руку Володи Горячева, что тот приседал.

— Сразу и «химик»! — тряся холеной уже кистью в воздухе, бурчал Володя Горячев. — С такой-то силушкой в инвалиды затесался!

— Нам без этого нельзя, — ухмылялся Сошнин. — Без силы с вашим братом не управиться. Вот ты, я отчетливо

это вижу, непременно попадешь в руки правосудия и прямым путем на «химию». Воруете потому что.

— Мы не ворует, мы экономим.

— Слышал, слышал по местному радио. — Сошнин постукал ногтем по ящику радиоприемника. — «Вейскгражданстрой» сэкономил тысячи тонн бетона, кирпича, железа, стройматериалов. Вам, видать, лишнее дают?

— Ага. Жди. Догонят да еще дадут! Когда от многого берут немножко, это не воровство, это дележка! Помнишь золотое наше детство, «Путевку в жизнь»? Помнишь?

— Я помню все, что ты не позабыл...

— Мы что? Детсадовцы. В Сибири вон шустряги ребята решили миллиард сэкономить. Вот это масштаб!

— Миллиард? Стырить?!

— Ну и поднабрался ж ты у своих клиентов! Ничего не надо тырить. Если сибиряки подберут брошенный на реках и в тайге лес, достроят незавершенку и наведут порядок в сельском хозяйстве, они не миллиард, пять миллиардов, может, и десять народу вернут. Да еще и с извинением: вот, мол, наши предшественники разбазаривали, пропивали, а мы хорошие, мы собрали!

— Эко место лисапед!

— Вот тебе и место! Вот тебе и лисапед! Так, значит, говоришь, «химии» мне не миновать?

— Вполне возможно.

— Новая эра жизни надвигается! Прямо оглянуться некогда, все эры, эры...

Провожали какое-то столичное «сиятельство», и оно, обласканное дружески настроенным народом, пьяненько куражилось, никак не могло попасть в широко распахнутую дверь вагона, вываливалось оттуда на готовно подставленные заботливые руки. И «сиятельство»-то, судя по одеянию и непородистому, вбок скатившемуся пузцу, не очень уж и большое, из главка или из министерства, с этажа не выше, чем со второго, но, поди ж ты, вейская «общественность» привалила на станцию, высыпала на перрон. Главный инженер «Вейскгражданстроя» Ведерников тут был, юркий пугозвон — профсоюзник Хаюсов: как же без него-то? Две дамочки-общественницы, числящиеся за отделом техники безопасности. Добчинский и Бобчинский из конструкторского отдела, недавние

еще студенты политеха, и другие, более сдержанно державшиеся, подвыпившие личности.

В стороне ото всех томился, весь в красных пятнах на хмуром лице, Володя Горячев. Он тоже делал «сиятельство» ручкой, вымученно ему улыбался, пил возле вагона с гостем, когда его подозвали, из одного фужера коньяк, и общественницы, хлопая в ладоши, разгоряченно кричали: «Пить до дна! Пить до дна!» Им вторили Добчинский и Бобчинский, характеристику коим Николай Васильевич Гоголь составил так, что лучше уж составить невозможно, и поэтому напомним ее с извинительным поклоном в сторону нашего гениального классика: «Петр Иванович Добчинский, Петр Иванович Бобчинский — городские помещики... оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского».

Вейские Добчинский и Бобчинский имели в именах разницу с гоголевскими персонажами: одного звали Эдиком, другого — Вадиком. Кроме того, одеты они были не в сюртуки тонкого сукна, в современные парадные костюмы заграничного покроя одеты были технические чиновники. На отворотах пиджаков, из-под распахнутых югославских дубленок цвета топленого молока то и дело выныривали голубые «поплавки», имеющие смысл показать, что эти люди с очень высшим образованием. Вместо коков Добчинский и Бобчинский имели гривы, вставных зубов, несмотря на молодость, у них был полон рот, печатки на пальчиках, запоночки золотые, галстуки тонные, не иначе как с арабских или персидских земель завезенные. Добчинский и Бобчинский с умелой готовностью поддерживали под круглую попочку «сиятельство», а оно все норовило ускользнуть, вывалиться и то и дело, к восторгу Добчинского и Бобчинского, вываливалось. Дамочки-общественницы с визгом гонялись по перрону за шапкой, с умилением ее пялили на высокоумную плешь дорогого гостя.

Тем временем в вагон подавались сосуды и банки с маринованными белыми грибами, ивовые корзины с мороженой клюквой, местное монастырское сусло, в берестяных плетенках, на шею «сиятельству» надеты были три пары липовых игрушечных лаптей, в узорчатом пестере

позвякивали бутылки, в пергаментной бумаге, перевязанной церковной клетчатой ленточкой, уезжала из Вейска еще одна старинная, в свое время недогубленная, деревянная иконка.

В хороводе бегал, гакал и ослеплял всех блицами расстегнутый до пояса, распоясанный, вызывающе показной и пьяный, местный «боец пера» Костя Шаймарданов, которого Сошнин недавно в больнице, куда тот пришел «отражать» его героический поступок, уговаривал проехать по деревням Хайловского района и выступить в печати серьезно и принципиально в защиту деревни. «Зачем ему, лизоблюду, деревня? Зачем?»

Поезд «Заря Севера» уважительно тронулся; почтиительно отстранив гостя, одетый в парадную форму, величавый проводник вагона поднял железный фартук. «Сиятельство» меж тем все махало собольей шапкой, посыла-ло воздушные поцелуи народу. Дамочки-общественницы рыдали: «Приезжайте! Приезжайте! Милости просим! Всегда пожалуйста!..» Добчинский и Бобчинский, спотыкаясь, бежали за поездом, норовили дотронуться до «ручки», и, будь у поезда скорость гоголевских времен, они б и до Москвы добежали, не заметив того. Но на дворе двадцатый век! Поезд бахнул буферами, хрустнул железом, взвыл моторами электровоза — и умчался, оставив сиротски одинокие фигурки Добчинского и Бобчинского на замусоренных и унылых желдорпутях, аж почти за станицей, возле пункта технического осмотра вагонов.

Сошнин хотел пройти мимо Володи Горячева, но тот, видать, давно его заметил, кивнул и пошел рядом, глядя вдаль, в пустые небесные высоты. Пятна с его лица не сходили, он, как ему казалось, про себя матерно ругался.

— Вставь! Вставь в комедию! — цедил Горячев сквозь зубы. — Да не забудь в финале помянуть, что в главке теперь удовлетворят все наши заявки. Этот сиятельный штымп всех нужных людей известит, что в Вейске принимают лучше, чем, скажем, в Чебоксарах. Лавочки своей у него нету. «Пограничник стоит на пастуху!» — поет мой Юрка, значит, у буржуев ничего не упрешь, у своего народа, в родном отечестве будет красть, химичить, отдаст нам предназначенные в Чебоксары скреперы, машины, дорожные вагончики, обеспечит технику запчастями. Мы выполним план по строительству жилья, досрочно сдадим

птицефабрику, пустим свинокомплекс, достроим наконец театр юного зрителя! Всем будет хорошо: рабочим, крестьянам, интеллигенции. В Чебоксары же выговора за невыполнение плана полетят, кой-кого с работы сымут... Тьфу, распро... — плюнул под ноги Володя Горячев — Когда это кончится и кончится ли? — С отроческих лет, не глядя на настойчивые потуги Алевтины Ивановны, Володя Горячев так и не обрел солидности в поведении. Алевтина Ивановна, доживающая век у Володечки, при крутых его выражениях хватается за сердце и всем втолковывает, что он, как и дядя его родимый, распустился на руководящей работе, после академии с ним вовсе никакого сладу не стало, и изо всех сил пыгается оградить от дурного влияния отца душу невинную и чистую — внука Юрочку.

Володя Горячев открыл дверцу «Волги», кивнул:

— Садись, гражданин начальник, подвезу. Глядишь, потом передачу в тюрьму без очереди пропустишь.

— Спасибо, Володя, я пройдуся.

— Нога-то болит?

— Что нога! — Увидел, как от машины к машине метется с фотоаппаратом Костя Шаймарданов и взывает: «Поехали, мужики, поехали! В трапезной на столах всего еще навалом! Не пропадать добру...» — Что нога...

— Пройда! — поморщился Володя Горячев, услышав Шаймарданова, и, держась за дверцу машины, похвалился: — Мы теперь не в ресторане гостей принимаем. В бывшей трапезной монастыря! Квасом хмельным поим, преснушками кормим, бочковой капустой, грибами, ухой из сушеного снетка... Во, на каком уровне бьемся за прогресс и план! — Сердито хлопнув дверцей, усталый начальник умчался на машине доругиваться, достраиваться, изворачиваться, сдавая объекты к сроку и досрочно, — словом, работать и соображать, работая.

Возле Сазонтьевской бани, уже закрытой, Сошнин наткнулся на пегую лошадь Лаври-казака — тот никак не мог расстаться с дружками — дядей Пашей, старцем Аристархом Капустиным и еще каким-то устойчивым выводком бывших вояк, на глазах Леонида состарившихся. Леонид перехватил вожжи, развернул телегу, велел гулякам садиться, развез их по ближним домам, последнего потартал к жене — Лаврю-казака.

— Это ж он, сопляк, чуть тебя на тот свет не спроводил, а? Я, понимаешь, собирался к тебе в больницу, но конь же на руках, жена преследует. Ходу мне не дает никакого, особо по вечерам. Показаковал я по Вейску после фронта, ох, показаковал! Вышел из доверия. Лёш, а выпить тебе ни-ни? У меня есть. Во! — Лавря-казак вынул из-за пазухи бутылку темного стекла с наклейкой: «Дёготь колесный».

— Нельзя, дядя Лавря, ни граммулечки!

— Вот, собака, как испортил человека! Лёш, а ты, можа, моего рысака?.. Я, кажись, отяжелел..

— С удовольствием, дядя Лавря! Только я тебя домой сперва, ладно?

— Лады, Лёша, лады. А раненье заживет до свадьбы. Заживе-от! Я эвон как израненный — и ничаво! Ни-ча-а-во-оо! И выпью. И к старушонке еще ковды наведуясь, хе-хе-хе. Прости меня, старого дурака, Лёш! Вино хвастается. А баба час мне такова бою даст, что фронт игрушкой покажется!..

Доставив Лаврю-казака до дверей квартиры, Сошнин поскорее скатился вниз и погнал лошадь, потому как жена фронтowego казака, словно по сигналу боевой трубы, всегда набрасывается на того, кто является с мужем. И кабы дело кончалось одними обвинениями. Можно даже и веника отвезать.

Толсто обитая старыми спецодежными штанами дверь в нижней квартире была приоткрыта, и, как только двухпудовая гиря, еще до войны унесенная с товарного двора во вновь тогда построенный дом номер семь, бацкнула за спиной Леонида в почти напололам уже перетертый косяк, на привычный удар, сотрясший деревянное строение, выглянула бабка Тутышиха, поманила его пальцем:

— Лёш! Лёш! Подь суды! Полюбуйся! Чё у нас есть-то. — И закатилась счастливым мелким смехом.

В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышихи, Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта Юлькина исполнилась: на ней был бархатный костюмчик темного, неуловимо синего или черно-фиолетового цвета, с золотой полоской по карманчику и бортам. Но главное в туалете — штаники: с боков в ряд медные кнопочки, и здесь же — о чудо! о восторг! — колокольцы, по три штуки на гаче, — но как они перезваниваются — симфония! Джаз! Рок! Поп! — все-все вместе в них, в этих крутленьких колокольчиках-

шаркунцах, вся музыка мира, все искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее! Плюс к тонному-го костюмчику белоснежная водолазка итальянского происхождения, туфельки на дробном каблучке, выкрашенные золотом, пусть и сусальным, паричок шелковисто-седой, как бы нечаянно растрепанный.

— Ой, дядь Лёша! — бросилась на шею Леониду Юлька. — Я такая счастливая! Такая счастливая! Это папа с мамой мне привезли. В Риге у моряков купили. Дорого, конечно, но зато уж!..

«Откупились! Опять откупились от родного дитяти», — сморщился Сошнин, разжимая костлявенькие руки Юльки и снимая их с шеи.

— Задавишь еще от восторга чувств!

— И задавлю! И задавлю! — почти в беспамятстве взвизгивала Юлька.

На столе бутылка рижского «бальзама», чекенчик беляшкой, горсть копченой ряпушки, второпях, неумело открытая банка шпротов, яблоки насыпью, обломок рижского ржаного хлеба в бумажной обертке и еще что-то, крошеное, мягкое, впопыхах на стол набросанное. «И от бабки откупились!» — отрешенно вздохнул Сошнин, изо всех сил изображая на лице счастливое сопереживание.

— Поздравляю, Юлька, поздравляю! Тебе очень идет! — как можно радостней говорил Леонид. — Женихи железнодорожного поселка, да что там железнодорожного, всех поселков! Всех улиц и районов города Вейска считай что на шампур надеты! Шашлыки!

— Да ну тебя, дядь Лёш! Всегда ты меня высмеиваешь. Нет, правда, идет, дядь Лёш? Правда? — отступая от него, как бы в шутку кокетничая, подергивала Юлька штанишки так, чтоб звенели колокольцы.

Бабка Тутышиха от восторга приплясывала и била в ладоши.

— Выпей, Лёш, со мною! Такая у нас радость! — предложила бабка Тутышиха от щедрот своих, налила в рюмочку одного только «бальзама». — Пользительный напиток. Тебе не дам! — вытаращилась она на внучку.

— А мне и не надо. Я пробовала — он горький. Шампанское — вот это да!

Леонид отлил из рюмочки, разбавил «бальзам» водкой и, наказав бабке не пить больше, собрался домой.

— Тебе, можа, Лёш, сварить чё надо? Пол вымыгть?

Мы придем. Цыгь ты, мокрошшелка! — прикрикнуда бабка Тутышиха на внучку. — Скидавай кустюм!

— Ой, баб! Я только в общежитие к девчонкам сбегаю, ладно?

— Ну, мотри! Одна нога здесь, друга там, — разрешила бабка.

Леонид, подавив вздох, поднялся к себе — времени без малого два часа ночи. Юная модница побежит показывать наряд, бабка тем временем добавит, уснет. Юлька явится на утра, может, и совсем не явится. Бабка заругается, зашумит на внучку, полотенцем помашется...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В железнодорожном доме номер семь, у сына своего, Игоря Адамыча, бабка Тутышиха появилась лет восемнадцать, может, двадцать назад, но казалось, что она тут жила вечно, никуда не уезжала и ниоткуда не возникала. А между тем у бабки Тутышихи была очень разнообразная биография и довольно-таки содержательная жизнь. Бабка Тутышиха говорила про себя, махая рукой за окошко, что она родом «отгэль, с западу». Была она буфетчицей при железнодорожной станции, рано пристрастилась к вину и мужскому полу — от увлечений такого рода до преступления путь близкий: сделала растрату и угодила перевоспитываться в женскую колонию, аж за Байкал. Там строили железную дорогу. Длинную. Работы было много. В основном земляной. Зойке-буфетчице дали большую лопату и поставили на отсыпку полотна. А она к тяжелой работе непривычна, с детства непривычна. Мать ее, повариха станционного ресторана, дочь никакой работой не неволила, известно издавна: у ямщика лошадь надсажена, у вдовы дочь изважена.

Покидала Зойка лопатой землю день, другой, неделю — не нравится ей эта работа. И тогда мимоходом, совсем нечаянно, она стала «зацепляться» плечом за конвойного начальника и взвизгивать: «У-у, кареглазенький, чуть не свалил на землю...» И как ни туп был начальник конвоя, все же тонкий намек понял, пригласил Зойку к огоньку, дал закурить — не прошло и месяца, как Зойка-буфетчица с общих работ перевелась в столовую посудомойкой, ну, а оттуда рукой подать до заветной должности, до комсоставского буфета, где Зойка блюла себя, ста-

ло быть, помногу на глазах у пачальства не запивала, с женатыми мужиками не гуляла.

Белокурая, востроглазая, телом кругленькая, беспре-
станно улыбающаяся, когда кого надо подсахарить, рас-
сыпающая звонкий беззаботный смех, она безбедно от-
была положенные три года и отправилась со справкою в
кармане в направлении запада. Но ехать туда далеко, а
долгожданная свобода манила соблазнами жизни. Ехала
Зойка, ехала, видит, станция какая-то, возле станции сквер
со скамейкой, на скамейке, обсыпанной желтым листом,
сидят два мужика, меж ними поллитровка, огурец боль-
шущий на газете и кирпич хлеба.

Зойка сошла с поезда и говорит мужикам:

— Налили бы.

Те налили. Разговорились. Хватилась Зойка — поезд-
то ушел! Но она помнила, что он шел на запад, торопиться
же ей было некуда и не к кому. И пошла она по линии,
на закат солнца, где солнце закатывается — там запад,
помнила она со школы. Шла-шла — притомилась. Видит
впереди: будка стоит, желтым крашенная. Вокруг будки
строения всякие, ограда, колодец сбоку будки, с ведром,
собака на цепи сидит, на железнодорожную линию смотрит,
кого-то ждет.

Зойка свернула с линии. Собака на проволоке как
попрет, как оскалится и ры-ры-ры на Зойку. «Ну, съешь
ты меня, пес. А народу в Эсэсэре двести миллион. Еще
сколько останется? То-то? Всех не переешь!» Через ка-
кие-то минуты, все осознав, все поняв, пес, как тот кон-
войный начальник, лежал у Зойки головой на груди, це-
ловал ее в губы, облизывался сладостно, вилял хвостом,
преданно взвизгивая.

В ограде, за постройками, курицы порхались, на за-
дах, за дверью пизкой постройки грузное тело завозилось
и свинячьим голосом пожаловалось на одиночество: «Ах-
ах, ах-ах». На огороде, меж еще не срубленных вилок
капусты, ходила корова, жевала что-то. Завидев Зойку,
замычала: «Му-ы-ы-ы!»

— Мы, мы, — откликнулась Зойка, подошла, обняла
корову за шею, слезой горемычных женщин прошибло.
Ласковая, добрая корова была под цвет пожухлого листа,
на лбу белая пролысина, и один у нее рог, как положено,
над головой, бледным месяцем светится, другой почему-
то вперед, почти на глаз упал, не иначе как хозяин поже-
вал его с похмелья.

Будка была не замкнута. Зойка вошла, осмотрелась. О две половины будка, с русской печью и подтопком. В первой половине, что потеснее, кухня со всеми принадлежностями; за перегородкой, сбитой из вагонки и обклеенной газетой «Гудок», горенка с казенной кроватью, со столом изо всего дерева. На окошке цветы, в простенке — рамы с карточками, справа буфет с посудой, слева шкаф и вдоль стены деревянный вокзальный диван. На всех изделиях по дереву вырезано строгое «МПС», «МПС»...

Ничего помещение, обставленное, только на всем обиходе лежит отпечаток мужской грубой руки и почему-то пахнет керосином.

Однако поверх керосинного духу козырем все крыл запах наваристых мясных щей. Зойка заглянула в печь — так и есть! В загнете стоит чугунок со щами, рядом, в сковородке, до корки запекающаяся драчена из картошек. Зойка проголодалась и все это приготовление из печи достала, найдя еще в сенцах кадку с огурцами и на печи в корзине крупные помидоры, иные уже с гнилью. Накрыла на стол гостя и остановилась середь помещения, соображая. В углу икона какой-то святой девы с угасшей синей рюмкой — лампадой. Зойка открыла сундук, придвинутый к заборке. Нет в нем искомого. Еще посоображала Зойка и с гиком бросилась в сенцы, там ларь, возле ларя корытто с песком, в ларе керосин в бидонах, фонари, лопаты, путевые башмаки, фляги, банки, петарды и всякий железнодорожный инвентарь. Над ларем аптечка, и, конечно, в аптечке — где же и быть-то ему больше? — спиртик в баклажке, в алюминиевой, тоже с буквами «МПС». Зойка развела спиртик в стакане, дождалась, когда, возмущенный водою, химический продукт поуспокоится, выпила его досуха и с большим аппетитом пообедала. Во щах был хороший кус свинины, она его братски разделила пополам, спиртику тоже еще развела и оставила на столе, закрыв бумажкой, чтоб не выдохлось питье. Подумав еще маленько, Зойка отнесла остатки еды кобелю, называя его Полканом. У пса было другое имя, но с этого дня кобель презрел его и забыл навсегда, приняв, будто награду, то званье, которым его нарекла гостя, как оказалось, долгая.

Прибрала Зойка на столе, спать захотелось. Открыла она постель — мужиком пахнет, наволочка давно не стирана и накидка тоже. Зойка достала из сундука простыню, наволочку, полотенце, сходила к колодцу, вымыла ноги,

озырнувшись на лес, и повыше чего помыла, содрогаясь от холодной воды, личико свое сытенькое, от воды заалевшее, руками погладила, по волосам гребешком прошла, заглянув в настенное зеркало, и подмигнула себе левым глазом, — уж что-что, подмигивать она умела!

Адам Артемович Зудин — путеобходчик, как и положено Адаму, был еще холост, Еву еще не приобрел. Наведывались иногда в будку Евы со станции либо из путевой казармы, что за двенадцать верст от его поста, но, быстро заглухнув в таежной местности от однообразной жизни, сбегали. И вот возвратился Адам с линии, с железнодорожного обхода — мамочки мои! В его будке, в определенном ему железной дорогой казенном помещении, на его кровати спит Ева, белокуренькая, лицом посвежелая. Святая женщина, не иначе! Вошла в жилище, все, что требовалось, нашла, покушала, выпила — и с половины все, с половины! Так и положено Еве: Адаму-работнику оставлять половину всего, потому что она и зовется половиной, — по-божески, по справедливости людям жить полагается, хоть на том, хоть на этом свете. Так рассуждал Адам, торопливо хлебая щи. На грудь из ложки лилось — не сводил с Евы глаз Адам и чем дальше хлебал, тем большая торопливость и нетерпение охватывали его. Бог! Бог это ему, мужчине, одичалому от одиночества, женщину послал. Он, Он, Радетель! От управления дистанции пути не больно какого товару дождешься, керосину, фитилей для фонаря — и то в обрез дают, инструменту не допросишься, велят самому промышлять инструмент, и корм, и бабу! А они, бабы, по железным дорогам не валяются. От гнегущей истомы отправится когда Адам в путевую казарму, в дождь, в мороз, в пургу — всякое бывало, но отломится ли чего, еще неизвестно, смотря по обстоятельствам.

Адам нервничал, ерзал за столом. Старый мужик, известное дело, и трехдневной каше рад, а тут?! «Да черт с ними, со щами с этими и с обедом!» Адам бросил ложку, путаясь в одежде, разболочся до исподнего, чистоплотно вытер ноги о половичок, приподнял одеяльце и осторожно вкатился в уютную, хорошо нагретую постельную глушь. Полежал, смиренно вытянувшись, Адам — не прогоняют. Тогда он придвинулся к Еве потеснее и услышал: «Ну,

эти мужики! Ну звери и звери! Со стужи, с ветру... и холодными лапами сразу к живой теле!..»

Так вот Адам женился и сам себе удивился. Жили Адам с Евой весело и даже бурно. Гонялся, и не раз, Адам за Евой с ломом и путевым молотком, подняв инструмент над головой. Но догнать не мог. Шустра! Палил Адам в Еву из ружья дробью — промахнулся. Вешался Адам на турнике перед окнами путевой будки — веревка оборвалась, и все через роковую, ослепляющую разум Адама страсть: любила Ева народ, и народ ее тоже любил.

Под расписку Зойка не шла до тех пор, пока не родился сынок, которого она нарекла модным именем Игорь. Рос сынок на приволье хорошо, быстро, и Зойка возле него унялась, заботливой матерью сделалась, уж не метила улизнуть на станцию в буфет. Адам наметил план: смастерить еще двух детей, дочку и сына, чтоб закрепить за собой Еву. Да не дала она себя закабалить земными заботами и многодетностью. Когда Игорь вырос и был определен в железнодорожное училище получать профессию машиниста электровоза, запировала Ева с прежней силой.

Игорь Адамович уже определился с работой, женился, когда мать его объявилась в Вейске, в железнодорожном поселке, в доме номер семь, заявив, что мужик у ей был уже преклонных лет, когда она с ним сошлась, сносился до смерти и теперь она станет жить с сыном, потому как больше жить ей негде и не с кем.

И жила. Долго. Давно жила. И привычно совали за нижнюю дверь детишек жители восьмиквартирного дома, побежавши по делам, в кино, срочно куда-либо вытребованные, и привычное слышалось из квартиры Зудиных: «А-ту-ты-ту-ты-ту-ты, а-ту-ты-ту-ты-ту-ты...» Это бабка Зоя колебала и подбрасывала на коленях чье-либо дитя, иногда по несколько штук сразу.

Была бабка Зоя страшная сквернословка и любила выпить. Подвыпивши, пела частушки, чуть их подделывая «под приличность». Например: «Тятка с мамкой на полу гонят деготь и смолу, а я, бедный, за трубой изгибаюся дугой». Будучи во зле, бабка бралась за воспоминания, как в колонии «ливер давили» рассказывала, по-челове-

чески это значит — ухаживали за женщинами «своего мира» урки, бандиты, всякое отребье.

Ребятишки — народ творческий: бабкины частушки восстанавливали в подлинном тексте и горланили их на весь поселок. Володя Горячев специально ходил к седьмому дому — заучивать фольклор бабки Зои, которая постепенно утратила свое подлинное имя, потому как народ плодился, — бабкино «ту-ты, ту-ты, ту-ты» уже не смолкало ни днем, ни ночью. Долго бабка Тутышиха билась с приладом к «ту-ты, ту-ты», уж и так, и этак вертела она его: «А, туты, туты, туты, потерял мужик путы, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел». Но ребятишки в доме номер семь и окрестностях его не знали слова «путы». Бабка попробовала приставлять «уды», однако и тут что-то ее в тексте не устраивало, и тогда ум бабки, уже вплотную сблизившийся с детским, ступил на новаторскую линию, обогатил русский фольклор дерзким новшеством: «А, туты, туты, тутыл, потерял мужик бутыл, шарил, шарил — не нашел, сам заплакал и пошел».

Всех эта последняя редакция устроила потому, как в тексте содержался прямой намек на воздаяния и благодарствия. Все расчеты за помощь отныне осуществлялись с помощью «бутыла» — небольшого и неразорительного. Бабка Тутышиха, когда у нее появилась внучка Юлька, и сыну приказала: пенсию не зорить и в неделю раз выдавать ей четушку. Пенсия у бабки была небольшая: как сторожу, помощнику путеобходчика ей определили рублей двести пятьдесят старыми деньгами.

С появлением внучки бабка смягчилась нравом, черные ее воспоминания погасило чувство светлой, пусть и бестолковой любви к Юльке, или потускнели сами собой они, и когда внучка была во здравии, а росла она хилая, плаксивая, в соплях всегда, бабка, прикрыв глаза, оживляла в себе совсем-совсем почти погребенное жизнью и годами. «Я на том берегу черемуху ломала, а на этот перешла — с миленьким гуляла». «Не стой на мосту — не маши хвурашкой, я теперь не твоя, не зови милашкой!» И с тихой, бесслезною печалью воскресила однажды: «Милая, красивая, свеча неугасимая! Горела, да растаяла, любила, да оставила...» Спела, вскинулась и, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, наморщенным лбом уперлась в стекло окошка того, которое было рублено туда, на запад, на родину, давным-давно ею покинутую.

Юлькина мать, женщина конторская, часто болела, рожать ей было нельзя, но она надеялась с помощью родов оздороветь и оздоровела настолько, что стала ежегодно кататься по бесплатному железнодорожному билету на курорты, с мужем и без мужа, и однажды с курорта не вернулась, говорили, утонула в Черном море.

Игорь Адамович, все еще молодой, но уже посолидневший, с хорошей профессией и большим заработком, долго не вдовствовал, учительница школы рабочей молодежи, где он добывал среднее образование, Викторина Мироновна Царицына, с самой ранней молодости, с пединститута еще, имеющая двух девочек, Клару и Лару, быстро помогла ученику с образованием семьи и по части всякой иной грамоты.

У Викторины Мироновны была квартира в управленческом доме. Игорь Адамович скоро позабыл номер старого дома, и осталась Юлька при родителях считай что сиротой, на руках великого педагога — бабки Тутышихи, которая материла внучку за отставание в учебе, гонялась за ней с полотенцем, если та не слушалась ее.

На шестнадцатом году, видя, что Юлька начала охорашиваться, подглядывать за мальчишками и спать беспокойно, бабка Тутышиха сгавила внучку какому-то пьющему проходимцу, и синюшная лицом, тонконогая, недоразвитая Юлька, из-за умственной отсталости не удержавшаяся в пединституте, пригнута была Викториной Мироновной в училище дошкольного воспитания и маялась там который год, мучая себя и воспитательные науки. Родители Юльки, подрастив двух дочерей в управленческом доме, возлюбили путешествия и отдых в санаториях, жили в свое удовольствие, катались вокруг Европы и по ближним странам, завели дачный участок, увлеклись цветоводством. Юлька тем временем добывала себя с кавалерами, среди которых, вспомнил Леонид, случался и тот модник в дубленке с гуцульским орнаментом. Он, подика, Юльку и поджидал с гоп-компанией под лестницей, да тут и нанесло Юлькиного верхнего соседа.

Бабка Тутышиха жить без Юльки не могла, учила ее уму-разуму, будто фельдфебель в пехотной роте, не подбывая выражений:

— Ты перед каждым-то встречным-поперечным не расшаперивайся. Ты строк отшпытывай или какую анпулу проглоти.

— Капсулу, бабушка. Амбула в стекле.

— Ну и што, што в стекле? Раз атмаесси, потом зато те свобода. А это что же за моду взяла — кажин раз пятьдесят рубликов! Где отцу на вас полсотских набраться? Вас у ево три халды, и все развитые, похотливые. И в ково токо удались? Я вот удала была, но ум имела! У тэйта, у царицы-та, дочки учительши, а кунки у их тоже, гляди-ко, веселы...

Спит бабка, поднабравшись вкусного «бальзама» и прикончив чекенчик. Юлька переполошила своим нарядом подружек из общежития училища дошкольного воспитания, примерно такого же уровня ума и духовных запасов, как у нее. Все еще зудит и пытается поставить на путь праведный дядя Паша потерявшего «облик совести» старца Аристарха Капустина, рыбака-стервятника, черпающего веснами рыбу в заморных прудах и озерах, балующегося «телевизором», «косынками», — так недолго до взрывчатки докатиться и угодить в тюрьму. Лавря-казак, выдержав извержение вулкана, дожидается часа, когда расплавленные породы остынут и осядут в нутро kloкочущего кратера, на цыпочках прокрадется в туалет, где за журчливым унитазом, среди бутылок с красками и пакетов с порошками, стоит сосуд с деловой наклейкой «Деготь колесный» — клятая капелюшечка никак не дает ему сонно расслабиться. В Доме ребенка спит — не спит тегя Граня, чутко сторожа сон малых людей, осиротевших в несчастье, брошенных или пропитых мамами и папами.

Запираются на ночь клубы, стадионы, рестораны, библиотеки, Дворцы культуры, но летят самолеты, идут поезда, стоят на посту часовые и сторожа. Где-то в тюремном вагоне тесно спит с такими же, как он, хануриками Венька Фомин из Тугожилина и не знает, куда его везут. А везут его далеко и падолго — остатков уже шибко траченной жизни может ему не хватить на возврат.

Крепко запершись на деревянный засов и на железные крючья, врозь улеглись в жарко натопленной избе супруги Чащины, вздыхает украдкой, чтоб не потревожить «самое», перемогает бессонницу Маркел Тихонович, тоскуя по внучке, думая о зяте и дочери, может, и фронт вспоминает — вслух, прилюдно он отчего-то вспоминает войну редко, вздыхает лишь иногда: «Не приведи, Господи, еще раз такое...»

Уторкав своих вундеркиндов, сонно перелистывает за-

тасканную рукопись некоего Сошнина мыслительница и толкач местной культуры Октябрина Перфильевна Сырковасова.

Большой начальник Володя Горячев правится спать и, как ему кажется, про себя выражается по адресу гостя и всех порядков, не им заведенных, но в невесомость орбиты его втянувших. Алевтина Ивановна, путающая зычные голоса покойного мужа и богоданного сыночка, наглухо накрывает внука Юрочку, отворачивает от его лица голубой огонек ночника, смотрит на законный уличный свет, думая о детях вверенного ей Дома ребенка, где она, ровно бы искупая вину за нерожалость свою, пытается стереть из жизни и памяти детишек немилосердность беспутных и преступных женщин, выправить их дальнейший жизненный путь.

Лерка и Светка, уработавшись, спят обнявшись на тесном диванчике в тесной и душной комнатухе, в многолюдном каменном бараке, согласно новой эре ловко переименованном в жилище гостиничного типа. «Все эры, эры...» — вспомнилось Сошнину.

Кто-то на дежурстве по отделению сменил Федю Лебеду? Кого-то побьют, изувечат ночью три добрых молодца, уязвленные в доме номер семь и от уязвленности жажущие мщения?

Качается за окном фонарь, крошатся от ветра сосульки. Пробуравил лобовым прожектором, успокоил басом ночных пассажиров электровоз, на котором после отдыха в модном прибалтийском санатории, быть может, в первый рейс ушел щедрый отец Юльки. Все реже на улице прохожие, все медленней кружение Земли, и Лерка со Светкой все спят, спят... «Я знаю, вы лукавите со мной. Уж сколько раз давал себе я обещанья уйти, порвать с обманщицею злой. Но лишь у нас доходит до прощанья — как мне уйти? Смогу ли быть с другой?..» «О Мати Божья, и что за способность у человека запоминать глупости, видеть то, чего не надо видеть, жить не так, как добрые люди живут, без затей, надломов, просто жить...» — успел еще подумать о себе отстраненно Леонид и, кажется, поспал всего несколько минут, как вдруг его сбросил с дивана тонкий вопль — кто-то кого-то терзал или поздно и тайно возвращающуюся домой Юльку сгреб какой-нибудь забулдыга и поволол под лестницу.

Натягивая штаны, Сошнин с удивлением смотрел в окно, за пузатый «гардероб», откуда льдиной напирал холод рассвета, как дверь, которую он забыл закрыть, громынула, через порог упала и поползла, протягивая к нему руку, Юлька:

— Дядя Лёш!.. Дядь Лёш!.. Бабушка...

Сошнин перепрыгнул через Юльку, махом долетел до нижней двери, распахнул ее.

Бабушка Тутышиха, сложив маленькие, иссохшие ручки на груди, с доверчивой и приветной полуулыбкой лежала на кровати поверх одеяла, в верхней одежде, в стоптанных тапочках, полуоткрытым глазом глядя на него. Леонид защипнул холодные веки бабушки Тутышихи, поболтал керамическую бутылку из-под «бальзама» рижского — бабушка не послушалась наставлений его, прикончила «пользительное» питье.

Ему бы ночью изъять «бутыл» у бабки, так нет, у него свои дела и заботы. У всех свои дела. Скоро никому никакого дела друг до дружки не будет.

— Перестань! — прикрикнул он на скулящую в дверях Юльку. — Дуй за отцом, за Викториной Мироновной, гуляка сопливая! Что вот теперь без бабушки делать будешь? Как жить?

— О-ой, дядя Лёша! Не уходи. Я бою-уся-а... Не уходи... — набрасывая шубенку, не попадая в петли пуговицами, чистила Юлька. — Я счас. Я мигом.

Провожали бабку Тутышиху в мир иной богато, почти пышно и многолюдно — сынок, Игорь Адамович, уж постарался напоследок для родной мамочки. Хоронили бабку на новом, недавно подсоединенном к старому кладбищу, на холме, да и старое-то началось лишь в сорок пятом году, тоже на голом, каменисто-глинистом холме, но там уж плотно стоял лес, частью посаженный, частью выросший из семян, прилетевших из заречья и с охранной лесной зоны города Вейска, с железнодорожных посадок и просто притащенных с землею на обуви, на колесах телег, грузовиков и катафалков, — жизнь на земле продолжалась, удобрения в земле прибавлялось. Все шло своим чередом.

Бросив горсть земли на обтянутый атласом гроб бабушки Тутышихи, Леонид напрямик, по снегу, валившему после оттепели обрადованно и неудержимо, пошел к ста-

рому кладбищу, отыскивая взглядом толстую осину-самосевку — ориентир на пути к могиле матери и тети Лины.

Возле свежепокрашенной, ухоженной оградки увидел качающуюся по глубокому снегу косошеюю тень в железнородожной шинеленке, в беретике и не стал мешать молиться тете Гране, прошел мимо, удивившись лишь тому, что тетя Граня, женщина крупная, сделалась со школьницу ростом. Фотография Чичи на пирамидке выгорела или обмылась дождями и снегом до серого пятнышка, но тетя Граня все еще, видать, узнавала в том пятнышке мужа, молилась Господу, чтоб Он простил его и в свой черед не забыл о ней, грешнице, прибрал бы тихо, без мучений; горсовет в порядке исключения, за все ее труды и жертвования в пользу общества разрешил бы похоронить ее на закрытом кладбище, рядом со спутником жизни, какого уж ей Бог послал.

В оградке матери и тети Лины толсто лежал снег в крапинках копоты, долетавшей сюда из городских труб. Леонид не стал отматывать проволоку на дверце оградки, не вошел в нее. Взвзвись за острозубые пики, приваренные электросваркой к поперечным угольникам, стоял и смотрел на это тихое место, пытался и не мог вообразить, как они там, дорогие его женщины, под снегом, в земле, в таком холоде существуют. И ничего нельзя для них сделать, ничем невозможно помочь, отогреть, приласкать. Что же такое вот этот день, небо высокое, яркое от снега и вдруг прорвавшегося с высоты солнца, и это вот густонаселенное кладбище, в утеснении которого лежат под снегом и не подают голоса двое никому, кроме него, Сошина, не известных людей? Где они? Ведь были же они! Были! И люди, все люди, что вокруг лежат, тоже были. Работали, думали, хлопотали, плодились, добро копили, пели, дрались, мирились, куда-то ездили или думали поехать, кого-то любили, кого-то ненавидели, страдали, чему-то радовались..

И вот ничего и никого им не надо, все для них остановилось, и сколько бы ни ломали головы живые, чтобы понять и объяснить себе смысл смерти, — ничего у них не выходит. Сколько бы ни винулись, все не кончается гнетущая вина живых перед покинувшими земные пределы людьми.

Весной на кладбище сжигали мусор, и поднимись же ветер на ту пору — и пошла палы по могилам и крестам. Все, что было деревянное, сторело, на железном сожгло

краску. Многие могилы на кладбище разоренными ушли в зиму, под снег, ржавели оградки и памятники, пустовали могилы — снег упрягал головешки под собой, накрыл белым саваном — к месту слово пришлось, — совсем уж скорбным саваном приют человеческой юдоли и печали.

Пламя побывало и на могиле Сошниных, оплавало краску на ограде, выжгло фотокарточки в полукруглых отверстиях. Леонид летом наново покрасил голубой краской оградку и немудрящие надгробия, вбил в землю скамейку, но фотографии новые не вставил. Зачем они? На прежних фотографиях женщины молодые, мало похожие на тех, которых помнил Сошнин. В войну маме некогда было фотографироваться. Тетя Лина после колонии не в фотографию привалась, а, тайно от него, от Леонида, в церковь. Незачем тешить фотографиями чужих и равнодушных к ним людей — показухи и без кладбищ хоть отбавляй. Он помнит маму, по больше тетю Лину, любит их, скорбит по ним, мучается, как и все люди, в груди которых еще есть сердце, за то, что жив, а они лежат так близко — рукой можно достать — и в то же время столь далеко, что уж никогда и никто их не достанет, не увидит, не обидит, не развеселит, не толкнет, не обругает. И небо, так ярко засиявшее от беззаботного, никого не греющего солнца, к ним отношения не имеет — они в земле лежат, снизу у них земля, и над ними земля, давно уж, наверное, раздавившая их, вобравшая их тлен в себя, как вбирала она и до этого миллионы и миллионы людей, простых и гениальных, черных и белых, желтых и красных, животных и растения, деревья и цветы, целые нации и материки, — земля и должна быть такая: бездушная, немая, темная и тяжелая. Если б она умела чувствовать и страдать, она бы давно рассыпалась и прах ее развеялся бы в пространстве. Вбирая в себя то, что она родила, вбирает она и горе человеческое, и боль, сохраняя людям способность жить дальше и помнить тех, кто жил до них.

— Ну, простите меня, мама, тетя Лина, — сняв шапку, низко поклонился Леонид и отчего-то не смог сразу распрямиться, отчего-то так отяжелело его горе, скопившееся в нем, что сил не было поднять голову к яркому зимнему солнцу, сдвинуться с места.

Наконец он почувствовал головой холод, обеими руками нахлобучил шапку и, уже не оглядываясь, длинно прокашливая слезы в сдавленном горле, двинулся к выходу с кладбища, боясь выплюнуть откашлянную мокроту в кладбищенский снег.

У входа со старого кладбища он заметил две фигурки: одна в приталенном пальтишке, в песцовой шапке, пританцовывает, бьет сапогом о модный сапог, другая фигурка малая, с большой круглой головой-одуванчиком, — слава Богу, догадались закутать ребенка в тети Линину пуховую шаль, в валенках с галошами, в деревенских рукавичках из овечьей шерсти, в неповоротливой шубе, стоит, смешно оттопырив руки. Чтобы не дать ход пустому разговору: «Опоздали на автобус, все машины ушли, мы с нового кладбища сюда, на всякий случай...» — Сошнин с ходу поднял Светку, прижал ее к себе. Она молча и крепко обняла отца за шею, приникла к его уху ртом, осторожным теплом в него дышала.

Почему-то он шел сердито, или так казалось Лерке, больше обычного хромал, и ботинки, полные снега, мерзло чирикали на стеклянистой полознице дороги. Не зная, что сказать и сделать, Лерка внезапно стала дразнить его про себя жестокой детской дразнилкой: «Рупь — пять, где взять? Надо за-ра-бо-тать! Рупь — пять, где взять...» «Что это я? Совсем уж рехнулась? Вовсе одичала? — остепенила она себя. — У него ж с ногой, видать, совсем неладно, не может грубые милицейские сапоги носить...» Лерка покорно зачастила ногами позади мужчины, и у нее тоже начали почиркивать сапоги.

«Куда ты?» — хотела она запротестовать, запоперешничать, когда Сошнин свернул от кладбища к спуску, ведущему в железнодорожный поселок, но он же заорет, непременно заорет: «Домой! Нечего шляться по чужим углам!» И потом у них там, в седьмом доме, — поминки, может, помочь надо тете Граце и Викторине Мироновне. Да мало ли что — дни у него трудные, хлопотные были последние, и работа с Сыроквасовой, и какие-то хулиганы на него нападали — все-то на него кто-нибудь нападает, и вообще живет он все время какой-то напряженной жизнью. Зачем так? Сколько свежих могил на новом кладбище? Черно. А кладбище-то осенью лишь прибавлено и открыто. Зачем люди укорачивают себе жизнь? Зачем торопят друг дружку туда? Надо наоборот. Надо бы как-то совместно преодолевать трудности, надо мириться с недостатками...

— Тебя где носит? — зашипела на Леонида тетя Грания, как только брякнула за ним гиря в седьмом доме. —

Второй черед надо садить за стол, какие-то ветераны затесались, пробуют песняка драть...

— Я-то тут при чем, тетя Граня?

— Забирай их! Выметай! Чтобы людям не мешали...

— Я не служу в милиции, тетя Граня.

— Ну дак чё? Кому-то надо все одно наводить порядок! Хозяин-то наелся, никого видеть и слышать не хочет, по мамочке горюет.

Тетя Граня отчего-то была непривычно сердита, почти зла. Скорей всего от работы в Доме ребенка. Судьбы и жизни детей, исковерканные еще при рождении дорогами мамулями и папулями, наверное, не очень-то расширяют сердце, они ожесточают даже таких святотерпцев, как тетя Граня. Одна мамуля совсем уж хитро решила избавиться от сосунка — засунула его в автоматическую камеру хранения на железнодорожном вокзале. Растерялись вейские ломовцы, — хорошо, что всегда и всюду у нас найдется куча специалистов по замкам, и один матерый домушник, живший по соседству с вокзалом, быстро открыл сундучок камеры, выхватил оттуда сверток с розовым бантиком, поднял его перед негодующей толпой: «Девочка! Крошка-дитя! Жись посвящаю! Жись! Ей, — возвестил домушник. — Потому как... А-а, с-суки! Крошку-дитя!..» Дальше говорить этот многожды судимый, ловимый, садимый сградалец не смог. Его душили рыдания. И самое занятное — он действительно посвятил жизнь этой самой девочке, обучился мебельному делу, трудился в фирме «Прогресс», где и отыскал себе сердобольную жену, и так они оба трясутся над девочкой, так ее лелеют и украшают, так ли ей и себе радуются, что хоть тоже в газету о них пиши заметку под названием «Благородный поступок».

Сошнин раскутал Светку, поставил кастрюльку с супом на плиту, зажег бумагу, начал толкать в печку дрова. Светка посидела возле дверцы плиты на ее давней низенькой табуретке, взяла веник и стала подметать пол.

Лерка стояла, опершись спиной на косяк, и глядела в дверь средней комнатухи, из которой виден был угол зловещего «гардероба». Хозяин не приглашал ее раздеваться, проходить. Пошвыривал дрова. Она, его «примадонна», так ни разу, ни с одним мужчиной больше и не была, боится раздеться, «одомашниться». Ей нужно будет время заново привыкать к нему и к дому, перебарывать

свою застенчивость или еще что-то там такое, не всякому дураку понятное.

— Ну, я пойду туда, — кивнул Леонид на дверь головой. — Надо. Ты, Свет, похлебай горячего супу, хочешь — почитай, хочешь — поиграй, хочешь — телевизор включи. Не знаю, работает ли? Я его давно не включал...

Светка перестала водить веником по полу, исподлобья поглядела на него, перевела глаза на мать. Лерка молча отстранилась от косяка, пропуская Сошнина в дверь.

Под лестницей серой, пепельной кучкой лежало что-то в расплывшейся луже. «Урна!» — догадался Сошнин. На свадьбы и торжественные гулянки ее уже давно не пускали, но с поминок прогонять не полагается — такой обычай. Наш тоже. Русский.

«Эй! — вскипело вдруг в груди Сошнина. — Эй, жена! Иди полюбуйся на мою полюбовицу!..» — хотел он уязвить Лерку напоминанием о давнем их скапдале и тут же «осаврасил» себя — словцо Лаври-казака пришлось к разу: «Со-овсем ты, Леонид Викентыч, с глузду съехал, как говорят на Украине, совсем! Скоро весь злом изойдешь, катсатик!..»

А-ар-р-рдина лнда-аррам да нам стр-рана вручила,
Ето знает каждый наш боец...
Мы готовы к бою, товарищ Ворошилов,
Мы готовы к бою, Сталин — наш отец...

Подпершись рукою, вполголоса вел за столом Лавря-казак, дядя Паша, старец Аристарх Капустин, соседи, многочисленные «воспитанники» бабки Тутышихи и просто знакомые люди подвывали в лад ветеранам, промокая глаза комочками платков.

Игорь Адамович лежал лиц на материной кровати, в пиджаке, в начищенных ботинках, не шевелясь, не подавая голоса. Викторина Мироновна вопросительно и тревожно взглядывала в его сторону, вежливо потчужа гостей. У торца стола, в выдающийся костюм, в заморскую водолазку и шелковистый парик наряженная, торчала нелепая и всем тут чужая Юлька. Она поймала взглядом вошедшего Леонида, потерянно ему улыбнулась:

— Сюда, дядь Лёша, сюда, пожалуйста!

Певцы примолкли было при появлении Леонида, но он, присев к столу, без ожидаемой строгости молвил:

— Пойте, пойте. Ничего. Баба Зоя легкого характера была, любила попеть...

— Ой, бабушка, бабушка! — диким голосом закричала Юлька и упала на плечо Леониду.

Он ее погладил по съехавшему на ухо, не по ее малой глупой голове сделанному парикю и со скрипом прокашлял чем-то вдруг передавленное горло.

Пришла Лерка. Сошнин подвинулся, освобождая место подле себя на плахе, положенной на стулья вместо скамьи и покрытой облысевшим ковриком, принесенным Викториной Мироновной из дому.

— Царство Небесное милой бабушке, — потупясь, произнесла Лерка, зачерпнула ложечкой кутьи из широкой вазы, подставив ладонь, пронесла ее до рта и долго жевала, не поднимая глаз.

Тетья Граня закрестилась, заплакала; зашмыгали носами, заплакали, заутирались жепщины соседки, кто-то сказал привычное, к которому никогда и никому не привыкнуть: «Вот она, жизнь-то, была — и нету». Никто не продолжил, не поддержал скорбный разговор, и петь больше не пробовали, не получалось ни долгой, душеочистительной беседы, ни песен расслабляюще-грустных, располагающих людей к дружеству и сочувствию.

Ночью Сошнин лежал не шевелясь на свежезаправленной постели. Близко, за тонкой перегородкой посвистывала носом Светка, простудившаяся на кладбище. Нестемело прижавшись к нему, спала Лерка. Четко работали стучали старые часы на стене в деревянном ящике — их любила заводить ключом Светка. Леонид все забывал их заводить, и уже через сутки после разрушения семейного союза часы, упершись гирей в деревянный пол, замолкали, делалось тихо, время останавливалось в четвертой квартире. Он стал думать, откуда и каким образом попали в пролетарскую квартиру такие старинные, снова сделавшиеся модными и цепными часы, — опять пошла мода на старину. Но ничего ни вспомнить, ни придумать не смог и вообще думать ему ни о чем не хотелось — редкий, пусть и настороженный покой был в его жилище и в сердце. Он понимал, что надо как-то налаживать свою жизнь, разбираться в ней и, прежде чем вплотную засесть за письменный стол, по-новому, вдумчивей и шире, что ли, осмыслить все, что произошло и происходит с ним и вокруг него, научиться смотреть на людей и понимать их не так, как прежде, глазами зоркого и беспощадного «опера», а

человека иного предназначения. На работе, там просто было «сортировать» алкашей, бабников-разведенцев, жуликов, мелких и больших воров — «паханов» и «цариц», сутенеров и рвачей, вокзальных и чердачных обитателей, бичей, перекасти-поле вербованных. Но ведь это лишь верхний слой... Или нижний? Пыль па подоконнике, а за окном, по-за стеклами идет, бредет, «бегит», живет, пляшет, веселится, плачет, ворует, жертвует семейными ценностями и собой, рождается и умирает всякий разный народ, много народу, много земли, много лесу...

«Много лесу, много лесу, много вересиночек...» Он так и уснул, не успев до конца вспомнить частушку, слышанную в деревне Полёвке. Хорошая, складная частушка — народное творчество.

Спал он сперва спокойно и крепко, но потом привязался и начал мучить его кошмарный сон: по весеннему, рассосанному льду, замусоренному рыбаками, испятнанному сверлами, приплясывая, ходила девочка в красной шапочке. Лед от того и другого берега отсоединен заберегами, вот-вот тронется река, и никого на льду, ни одной души, кроме девочки. Леонид смотрел, смотрел на девочку и узнал Светку, хотел заорать, но в это время река тронулась, начало ломать, разводить льдины. Сошин бежал вдоль берега, точнее, пробовал бежать, да не бежалось. Звал Светку — воздуху на громкий крик в груди не хватало. И тогда он бросился в реку, стал разбивать лед кулаками. Лед не разбивался. «Ты его доской, доской», — послышался голос Феи Лебеде, и откуда-то взялась доска. Леонид крушил лед доской, рвался к Светке, больно натываясь грудью на острие льдин, все глубже забредая в кипящую мутную воду. «Хорошо, хоть не холодная. Сток. Горячий сток с шинного завода, вот и не холодная». Он пробился-таки к девочке, протянул руку, но в это время льдина лопнула на несколько частей, беспечно смеющуюся девочку закружило, понесло уже не на льдине, а на тетрадном листе, в углу которого стояла крупная красная двойка, понесло в небо, во тьму, проколотую звездами. «Да это же тот свет! — догадался Леонид и, как ему казалось, во все горло заорал: — А-а-а!» На самом же деле лишь замычал и, подпрыгнув в постели, проснулся.

— Ты чё? — прошептала невнятно Лерка.

— Спи. Спи. Ничего, — с облегчением перевел он дух и прижал ладонью Лерку к постели и не отпускал до тех пор, пока не занемела от неподвижности рука. Затем под-

пился попроведать дочку. Слягав одеяло, уронив подушку, руки и ноги вразброс, девчушка доверчиво обняла бабы Линин старинный сундучок, сотворенный вятскими умельцами и с малолетства обогретый ее телишком, а до нее сундучок этот обживали, грели, хранили в нем подвенечные платья, нехитрое деревенское приданое, клубки, платки, узелки с серебрушками и леденчиками, половички, скатерки, кружевца дальние родственницы Светки, которых она никогда не видела, не знала и уж не увидит и ничего о них не узнает... «Что уж тут болтать о связи времен! Порвалась она, воистину порвалась, изречение перестало быть поэтической метафорой, обрело такой зловещий смысл, значение и глубину которого дано будет постичь нам лишь со временем и, может быть, уже не нам, а Светке, ее поколению, наверное, самому трагическому за все земные сроки...»

Бережно подсунув Светке под голову подушку, прикрыв ее одеялишком, Сошнин опустился на колени возле сундука, осторожно прижался щекой к голове дочки и забылся в каком-то сладком горе, в воскрешающей, животворящей печали, и, когда очнулся, почувствовал на лице мокро, и не устыдился слез, не презирал себя за слабость, даже на обычное ерничество над своей чувствительностью его не повело.

Он вернулся в постель, закинув руки за голову, лежал, искоса поглядывая на Лерку, закатившую голову ему под мышку.

Муж и жена. Мужчина и женщина. Сошлись. Живут. Хлеб жуют. Нужду и болезни превозмогают. Детей, а нынче вот дитя растят. Одного, но с большой натугой, пока вырастят, себя и его замают. Плутавшие по земле, среди множества себе подобных, он и она объединились по случаю судьбы или всемогущему закону жизни. Муж с женою. Женщина с мужчиной, совершенно не знавшие друг друга, не подозревавшие даже о существовании живых пылинок, вращающихся вместе с Землею вокруг своей оси в непостижимо-громадном пространстве мироздания, соединились, вот чтоб стать родней родни, пережив родителей, самым испытать родительскую долю, продолжая себя и их.

Не самец и самка, по велению природы совокупающиеся, чтобы продлиться в природе, а человек с человеком, соединенные для того, чтобы помочь друг другу и обществу, в котором они живут, усовершенствоваться, из

сердца в сердце перелить кровь свою и вместе с кровью все, что в них есть хорошее. Ведь от родителей они были переданы друг дружке всяк со своей жизнью, привычками и характерами — и вот из разнородного сырья нужно создать строительный материал, слепить ячейку во многовековом здании под названием Семья, как бы вновь народиться на свет и, вместе дойдя до могилы, оторвать себя друг от дружки с неповторимым, никому не ведомым страданием и болью.

Экая великая загадка! На постижение ее убуханы тысячелетия, но так же, как и смерть, загадка семьи не понята, не разрешена. Династии, общества, империи обращались в прах, если в них начинала рушиться семья, если он и она блуждали, не находя друг друга. Династии, общества, империи, не создавшие семьи или порушившие ее устои, начинали хвалиться достигнутым прогрессом, бряцать оружием; в династиях, империях, обществах вместе с развалом семьи разваливалось согласие, зло начинало одолевать добро, земля разверзалась под ногами, чтобы поглотить сброд, уже безо всяких на то оснований именуемый себя людьми.

Но в современном, торопливом мире муж хочет получить жену в готовом виде, жена опять же — хорошего, лучше бы — очень хорошего, идеального мужа. Современные остряки, сделавшие предметом осмеяния самое святое на земле — семейные узы, измерзавившие древнюю мудрость зубоскальством о плохой женщине, растворенной во всех хороших женах, надо полагать, ведают, что и хороший муж распространен во всех плохих мужчинах. Плохого мужика и плохую женщину зашить бы в мешок и утопить. Просто! Вот как бы до нее, до простоты той, доскрестись на углу семейном корабле, не менявшемся со дня сотворения мира, шибко рассохшемся, побитом житейскими бурями, потерявшем надежную плавучесть.

«Муж и жена — одна сатана», вот и вся мудрость, которую ведал Леонид об этом сложном предмете.

«А ну-ка, что у товарища Даля?» Он осторожно начал перелезать через Лерку. Привыкшая спать со Светкой, караулящая ее каждое движение и шевеление, слышащая даже дыхание своего единственного дитяти, Лерка, не просыпаясь, захлопала рукой рядом.

— Ты чё? — снова спросила сонно и глухо.

— Спи. Спи. Ничего, — снова негромко отозвался

Леонид, прикрывая ее простыней. — Я печку подтоплю. Светке холодно.

И он затопил печку, хотя в квартире было нехолодно, посидел возле открытой дверцы, подышал сухим теплом, посмотрел на красиво, па бодро танцующее пламя и отправился к столу, косясь на вольно раскинувшуюся, в волосах себя запутавшую Лерку.

Над письменным столом, когда-то забракованным по дряхлости в технической конторе станции Вейск и безвозмездно отданном тете Лине, прибита полочка для учебников, тетрадей и школьных принадлежностей. Ныне на полочке, шатнувшись к окну, стоят словарь, справочники, любимые книги, сборник стихов и песен. Среди них зеленым, светофорным светом горит обложка книги «Пословицы русского народа». «Молодой литератор» и уже испытанный в семейных делах муж открыл толстую книгу на середине. Раздел «Муж — жена» занимал двенадцать широченных книжных страниц — молодая русская нация к прошлому веку накопила уже изрядный опыт по семейным устоям и отразила его в устном творчестве.

«Добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи». «Разумно, очень разумно и дельно!» — ухмыльнулся мыслитель из железнодорожного поселка. Но скоро такие откровения пошли, что у него пропала охота просмешничать: «Смерть да жена — Богом суждена», «Женитьба есть, а разженитьбы нет», «С кем венчаться, с тем и кончаться», «Птица крыльями сильна, жена мужем красна», «За мужа завалюсь — никого не боюсь».

«Ага! Как же! — не согласился на сей раз с народной мудростью Леонид. — Познакомить бы вас с современной женщиной!» Он непроизвольно покосился на Лерку. «Жена не сапог, с ноги не скинешь». «Что верно, то верно», — длинно выдохнул Сошнин и водворил книгу на место.

И без словаря одних наставлений бабки-покойницы для разумной жизни хватит, порешил он. «Семьи рушатся и бабы с мужиками расходятся отчего? — вопрошала бабка Тутышиха и сама себе давала ответ: — А оттого, что сплят врозь. Дитев и друг дружку не видют неделями — чем им скрепляться? Мы, бывало, с Адамом поцапаемся, когда и подеремся, но муж с женою хотя и бранятся, да под одну шубу ложатся! Ночью-то, бывало, Адамка на меня ручку нечаянно положит, я на ево ножку от жары закину, и, глядишь, замиренье, спокой да согласие в дому...»

«И то правда, — вздохнул Сошнин. — Бабка решала сложные задачи без всяких там дробей, простым, но точным способом».

Леонид постоял среди комнаты, погладил себя по голове. Из-за «гардероба» пачинал просачиваться слабый свет. «Однако гробину эту все же придется рубить на дрова, — погладил он облезлое сооружение. Оно, будто старый пес, шершавым языком цеплялось за пальцы, приятно покалывало ладонь. — Ничего не поделаешь, друг. Современный быт требует жертв! Ничто новое без жертв у нас не создается и не излагивается», — виновато усмехнулся хозяин четвертой квартиры.

Рассвет сырым, снежным комом вкатывался уже и в кухонное окно, когда насладившийся покоем, среди тихо спящей семьи, с чувством давно ему неведомой уверенности в своих возможностях и силах, без раздражения и тоски в сердце Сошнин прилепился к столу, придерживая его расхлябанное тело руками, чтоб не скрипел и не кричал, потянулся к давней и тоже конторской лампе, шибко изогнул ее шею с железной чашечкой на конце, поместил в пятно света чистый лист бумаги и надолго замер над ним.

РАССКАЗЫ

•

МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ

В конце прошлого года довелось мне с попутчиками пробраться в верховья реки Малый Абакан. Дивные его красоты описывать не стану, потому что местам абаканским миллионы, а может, и миллиарды лет, слову же нашему — всего тыщи, и, как ни вертись, как ни изощрайся, слабо оно и зачастую бессильно отразить могущество и дух природы. Кроме того, отразишь увиденное диво, как и чем тебя Бог сподобил, и туда, к диву-то, и попрут любители экзотики со спичками, с ружьями, с пилами, с топорами, острогами, взрывчаткой, да и порушат все вокруг весело и безумно. Я уже не один справедливый упрек получил от земляков за то, что стравливаю родную природу оглоедам-потрошителям да искателям приключений, «расписывая» ее, но против красоты устоять очень трудно, так вот и тянет, так и подмывает поделиться радостью приобщения к ней, прикосновения взглядом и сердцем к прекрасному.

Ввысь уходят громады гор, одна накатывает на другую, широким плечом, скалою голой иль утесом держатся кручи над рекой. В небо вздымаются увалы, над увалами синеют аккуратно сметанными стогами сопки, очесанные с боков вешними потоками, грозowymi ливнями. А дальше дальние, верхние сопки похожи на праздничные куличи, облитые белым и сладким. Там, в вышине, в позапрошлом непогожее лето не растаяли, пролежали до новых холодов снега. Утрами плотно залегали над ними густые туманы и облака, отгораживая собою крутые дали

и вовсе уж холодные выси, запредельные для глаза и ума, доступные лишь дикому зверю да вертолету. Душу леденит недоступностью и неподвластностью этих далей и кровь замирает, когда пытаешься представить, что там, за ними, за этими задумчиво-надменными громадами. Наверное, другой свет.

Берега и склоны гор над Абаканом и по Абакану беспрерывно меняются, вода задирает нос лодки, упирается в нее, хлещет волной и брызгами в перекатах и на порогах — не пускает вверх река, не дает ходу лодке. Но ревет мотор, грызет воду, хлопает носом по волне — разве железо удержишь и осилишь?!

По склонам кедрачи, кедрачи. Старых мало, все больше молодые. Редко взойдется сопка островерхим ельником и пихтачом, сверкнет распадок или пологая покать белоствольем берез, к ручьям и буйно вырывающимся, одичалым от завалов и каменного удушья речкам жметя чернолесье с там и сям вознесенными над ним вдовыми раскидистыми осинами. И обязательно на отбитой от леса, отчужденно растущей ели или пихте чернеет птица, чаще всего это ворон или канюк. Сидит окаменело, дремлет или о чем-то думает неторопливую вечную думу. Слугнутый звуком мотора, вдруг раскинет старый хищник широкие крылья и властно закружит с недовольным ворчаньем иль криком над тайгой, забираясь с каждым кругом все выше, все дальше, в доступные лишь ему глубины неба.

Лес по склонам гор смотрится как бы стоящим в грязи, загустелой, повитой жилами и жгутами белой и рыжей пене. Но это не грязь и не пена, это крошево древних вулканических лав. Когда-то давно, но для природы совсем недавно, выгорел таежный слой земли. Слой тот на крутых обвалах и склонах удерживали, сцепившись друг с дружкой, кусты, подлесок, мхи и травы, по ним черничник, брусничник, колдовской бадан, праздничный багульник, неприхотливая акация, пенистый горный таволожник и шипица, марьин корень и богородский корешок — лесной ландыш, даже двулистная заячья капуста держала в корешках комочек землицы и сохранила его, а он ее.

Все съел огонь, все испек, обратил в пепел. Однако воспрянули ростки, из земных глубин, из корней, глубоко и крепко впившихся в землю, по камень держать некому, и он сыплется, сыплется по склонам, ползет темными потоками, издали похожими на грязь, и его пытаются остановить, закрепить все те же слабошерстные рыжие мхи,

упрямые травки, стойкие цветки, зацепистые кустарники. Где-то там, в завалах камней, растет загадочная ягода кызырган, похожая на красную смородину, но двух она цветов — красная и черная, и, когда ешь ее, по пальцам сочится красная влага, которая даже мылу не дается, от рубах и совсем не отстирывается, влага эта резкая, кислая, вселяющая в тело силу и уверенность в здоровье.

Ах, кызырган, кызырган, надежда наша! Уповать приходится уж на такие дива, как ты, может, всем кустам, всем ягодникам и деревьям дано будет укрепиться на каменной земле, да так, что не выдернуть, не свести живучие корни никакими техническими и химическими силами, а соку и силы в них прибудет от сопротивления прогрессу, и будет он такой крепости, что даже чахнувшее человечество взбодрится, отведав его, а может, даже поумнеет, образумится и перестанет пилить тупой пилой недоумия сук, на котором сидит.

Местами камень укрепился: где до колен, а где и до пояса стоящие в нем кедрачи начали организовывать вокруг себя полянки, уже и зеленые продухи там и сям видны. Но в камнях, в осыпях под камнями сочатся вешние или ливневые воды, подтачивают корни, смывают слабую крепь, и тогда с долго не умолкающим гулом, губельным треском, набирая стремительную силу, каменная лавина обрушивается, низвергая все на своем пути. С последним стоном гибнут в лавине звери и птенцы в гнездах, кричат и по-птичь плачут взмывшие в воздух из засидок или от выводков пернатые матери, скорбно хрустит ломаемый лес, соря обломками, щепой и корьем, рушится он вниз, в реку.

Лежат в Абакане глыбы и плиты, будто после взрыва, торчат из завала вершины деревьев, скомканные кусты, обглоданными костями белеют переломанные, искореженные стволы лесин, и, упершись в завал, ревет, пенится, бьет новую дорогу иль с шумом валится на другой берег и без того неистовый, без того обвальный, извилистый и яростный Абакан.

Но вот галечная коса пестрым, остро загнутым куличинным крылышком раздвоила Абакан — на Большой и Малый. Большой, как ему и положено, мощнее Малого, но Малый норовистей Большого, и наша лодка еще выше задралась носом, еще громче и натужней захрапел мотор, одолевая кручи взбешенной, к брату своему рвущейся реки. Здесь, при слиянии двух рек, в уремной, густолесой

пойме, стойбище старообрядцев Лыковых, вдруг сделавшихся знаменитыми на всю страну. Помимо журналистов, ринулись в тихое, потаенное становище разные люди, жаждущие зрелищ и развлечений. Привела сюда изможденный, изъеденный комарами отряд беззаветно преданная своему делу пионервожатая — чтоб дети разом и навсегда усвоили: ученье — свет, а неученье — тьма.

«Зайдем!» — показывают рукой в глубь густолесья спутники, изо всех сил старающиеся развлечь меня чем позанимательней.

«Только меня там и не хватало!» — перекрывая гул воды и рев мотора, ору я. И хотя голос относит и глушит, спутники поняли меня и успокоились. Один из них, местный журналист крепкого и несуетного пера, был у Лыковых не раз и не два. Останавливался у Лыковых еще в пятидесятые годы один из организаторов здешнего заповедника, умный лесной ученый и писатель Алексей Александрович Мальшев, ныне проживающий в Теберде. Но ни журналист, ни писатель не сотворили сенсаций из деликатного материала, писали о жите-бытье Лыковых без «страстей и ужастей», писали осторожно, не засвечивали их, как кротов, которые, будучи вынутыми из земли, на свету просто-напросто погибают.

Свежие могилы возле лыковского стана да будут наглядным уроком и укором всем, кто любит блудить ногами по лесу, пером на бумаге; помнить об этом надо для того, чтобы трагедия семьи старообрядцев не повторялась нигде более, а если уж так хочется новоявленным филантропам помочь людям, берусь указать деревни поблизости от Москвы или хотя бы в той же современной России, где многие семейства, в особенности старые люди, нуждаются в неотложной помощи, внимании, порой даже и в защите.

Наша лодка прошла еще один перекаат и устремилась в узенькую протоку, где попрыгивала мелкая вода по скользким камням, и, скребнув раз-другой по дну винтом, ткнулась в камни носом, ткнулась и замерла.

И такая тишина окружила и овевала нас, что все мы какое-то время сидели не двигаясь и как бы не веря, что кончился встречный шум воды, что не движется мимо земля с берегами, скалами и лесами, оборвался звон мотора, к которому уже привыкло, притерпелось не только

ухо, но и весь ты попал в его власть, все твое, книжно выражаясь, существо слилось и даже примирилось с ним.

— Ра-а-азгружа-айсь! — весело возгласил кормовой и подрыгал затекшими ногами и руками.

Протока оказалась вовсе и не протокой, а устьем речки, запутавшейся в чернолесье с местами уже свалившимся пыреем, обнажившим в середине сохранившиеся кусты смородины с рясной ягодой, от инеев, ее прихвативших, сморщенной и сладкой, что виноград.

В устье речки, в исходе ее, на плешине, очищенной от больших деревьев, стояла, нет, не стояла — жалась прелым задом в бузину, крапиву и мелкий осинник охотничья избушка, открытая для всякой живой души, жаждущей отдыха и приюта.

Одним окном на восход и на реку гляделась эта давно беленная изнутри избушка, пол в которой лежал уже на земле, половицы прогнили по стыкам и в щелях, да еще и мыши поработали под плахами. Печь с плитой, сложенная из кирпича, исцелилась, глина над плитой выгорела, известка осыпалась. На полках, прибитых к стене, лежали оставленные ночевальщиками хлеб, соль, сахар в пачках, газеты и журналы «Охота и охотничье хозяйство», «Здоровье», «Крестьянка», «Огонек» и другие разрозненные издания прошлогодней давности, доступные подписчику отдаленной глухомани. К матице избушки были подвешены два холщовых мешка с сухарями. За печкой теплая лежанка, вдоль стены нары, на них, прикрытый стеганым одеялом, с исподу лохматящимся грязной ватой, матрац, пуховая подушка в заношенной наволочке — все вышедшее из пользования, моды и хозяйственного обихода сплавлено расчетливыми хозяйками в тайгу — для пользы дела.

Две керосиновые лампы без стекла, три-четыре стеклянные банки с крошеным, сорным рисом, банка из-под минтая для окурков, удочки в пристрое, растрескавшийся шест над печкой для просушки одежды, гвозди, вбитые в стены. Вот и весь обиход промыслового охотника. И как я представил себе длинную зимнюю ночь, отшельное житье в этом вот промхозом возведенном строении, тоскливо мне сделалось. Но ведь были когда-то избушки и убоже этой, топились по-черному, согревалась изба каменкой, стало быть, собранными по берегу некрупными бульжниками, выложенными очагом, и дым выходил в отверстие в стене или в потолке. И это отверстие — лаз — за-

частую использовалось как дверь для входа и выхода. Низкие, топором рубленные избушки почти до крыши закапывались в землю — для тепла; нары из жердей, постель из травы, топливо по норме — все из-под топора, топором же много не натюкаешь, железа почти никакого, всюду дерево, и освещение от таганка или от лучины, да если еще в каменку попадет дресвяный камень, и получится очаг угарным?

Ох, модники и модницы всех времен! Если бы вы знали, как достаются охотнику пышные, роскошные, в цариц и неприступных красавцев вас обращающие меха, так может, шкуры зверья и не палили бы на себя и приветствовали бы науку и прогресс, одевающие нас в искусственные, муками, смертью и кровью невинных зверушек не оплаченные, наряды, тем паче, что зверушек тех в лесу, да и самого леса на земле остается все меньше и меньше.

Хозяин этой избушки поднимется сюда на лодке или будет заброшен вертолетом через полтора-два месяца, с собаками и грузом. Ему все же легче жить и работать, чем его предку. Перед избушкой толстенный, коренастый пень, две плахи, вытесанные из кряжа, положи их на пень — и стол готов. Есть и сиденье, есть и дрова — где-то в бурьяне ухоронены бензопила, канистра с горючим, топор, сети и все ценное, так необходимое охотнику для работы и жизни в лесу.

Кормовой знает хозяина избушки, промышляющего здесь, толковый, говорит, мужик, но очень любит полежать в тепле, пусть и в угарной избушке, неохота ему подмазать печь и побелить избушку, горазд порассуждать о мировых проблемах и большой политике, но не жаден, в лесу не сорит, к людям приветлив, потому и избушка почти на виду. Многие промысловики так уж прячут свои избушки от шатучего народа, особо от неорганизованного туриста, что, случалось, затемняя зимою, сами не могут ее найти.

Пока мужики кололи чурки, пока варили еду и кипятили чай, я с напарником торопливо сложил удочки и попробовали мы закинуть. Зиму и пол-лета мечтал я о такой вот безлюдной реке, во сне и наяву слышал всплеск на воде и следом толчок или удар по леске — где ж тут выдержишь-то?!

Но во сне клюет лучше и верней, чем наяву. Пробую одну мушку, другую, третью — никаких отзвук. Кормо-

вой, спустившись от костра к воде с задельем, советует привязать темную мушку — день-то солнечный! На первом же забросе поклевка и... сход. Меня начинает трясти, я лезу дальше, в перекаг, сапоги короткие, их почти заливают, а я лезу и лезу — и вот она, рыбацья радость! Всплеск! Хлопок! Подсечка! — и через голову на косу я выбрасываю темноспинного, по бокам рябого хариуса, если уж точнее, то, пожалуй, харюзка. Но я знаю, там, в перекаге, есть, не могут не быть, черноспинные удалыцы с ухарски поднятым «святым пером», боевые, способные оборвать леску, разогнуть, а то и сломать крючок! Вот бы обзарился такой на мою мушку, уж я бы!..

Меня кличут к столу. Ах, как не хочется уходить с косы, от перекага, звенящего по дну несомым камешником, подмывшего каменный бычок ниже по берегу, стащившего в реку кедрушку, которая, однако, и упавши зеленеет да еще и держит бережно в зеленых лапах две-три молодые, еще сиреневые цветом шишки. Хочется добыть харюза, хоть одного крупного, и вот он, второй, прыгает по зернистому песку, извалялся, будто пьяный мужик, обляпался супесью и наносной глиной.

Я обмыл рыбин и, счастливый, принес их к костру. Меня сдержанно похвалили. Этих молодцов, моих спутников, не удивишь двумя харюзками, они тут весной, при заходе хариуса, ленка и тайменя в речки, не поднимают удочку даром — как заброс, так и рыба, как заброс, так и рыба! Любая наживка, любая мушка иль мормышка уловисты — рыба непривередлива, берет безотказно.

Ну что ж, где-то и кто-то должен же еще ловить большую рыбу, кормить семью и реденько, по случаю угощать нашего брата горожанина, понимая, какой это для нас редкостный, уже и праздничный продукт — речная свежая и светлая рыбка. Среди нашей большой земли, в диких сибирских местах не перечесть еще рек и речек, и люди без рыбы, без добычи что же будут тут делать, чего есть и зачем жить?

Вечор, когда мы приехали на лесоучасток, гуляли привальную, и наш кормовой, не просто крепко рублен, вроде бы как даже тесан из камня или слеплен из хорошей глины и обожжен до керамического цвета и прочности, быстро что-то сваривший, без суеты и чисто накрывший стол, принимал зелье стаканом. Граненым. Меня этим уже не удивишь, и я давно уже не горжусь по этой части земляками, не лобуюсь их лихостью и не хвалю их и себя за

это. Дело дошло до песен. Возник из-за печки баян, и хватанули мы про бродягу, что утек с Сахалина, так, что уж и в лампе свет заколебался, рама в окне задребезжала, могла распахнуться и дверь, да от сырости разбухла, печка могла развалиться, но что-то мясное всплыло на ней, зачало.

Мне еще памятно было, как в недавние годы на очень опасной, безлюдной реке кормовой, вдруг захмелевший с полстакана водки, чуть было не опрокинул в гремучую воду мою жену и приехавшего издали друга — откуда нам было знать, что кормовой три дня гулял в поселке, последнюю ночь почти не спал и теперь его кренило вывалиться за борт узкой, длинной, похожей на индейскую пирогу лодки. Жена у меня уже тонула. Два раза в жизни. Страшно тонула, последний раз среди льдин на Камском водохранилище, и более эту процедуру ей не выдерживать. Друг мой с благообразной бородой, человек по облику божецкий, характеру задумчиво-меланхолического, и топить его тоже ни к чему, хоть он и критиком работает.

Почерпнувши такой ценный опыт, я вел тонкую политику, чтоб все разом было выпито и прикончено. Кроме того, я сказал кормовому, что с пьяным никуда не поеду. Он заявил, что и сам, будучи пьяным, никогда к мотору не садится.

Все же я утаил одну бутылку в рюкзаке, и, когда вынул ее уже на стане, у костра, такое ликование возникло в нашем обществе, такое умиление всех охватило! Досталось на душу граммов по пятьдесят, под хорошую еду. Хлебали суп с тушенкой и вермишелью, ели холодное дикое мясо, припахивающее хвоей, пряным листом, хрустели тугими луковицами, малосольным хариусом, свежими огурцами да помидорами и рассуждали на самую злободневную и жгучую тему, что хорошо ведь пить-то к душе да помаленьку. Всегда бы вот так! Для аппетита бы да для настроения ее пить, а еще лучше бы и вовсе не употреблять. Какой пример детям подаем? А здоровье? А дисциплина труда? А падение нравов?

Нисколько мои спутники, приабаканские мужики, в умственных рассуждениях своих не отстают от современной интеллигенции. Ведь она, наша интеллигенция, какие рассуждения имеет: без горячительного народ общаться разучился, спивается, порядок на производстве и в обществе качнулся. Сколько алкашей! Сколько человеческих трагедий! А как на семье и на детях пьянство отража-

ется? Но в заключение томный такой, полуленивый, как бы против воли следующий зов: «Мамочка! Что у нас там? А-а, на рябинке? На лимоне? На березовой почке? Х-х-хэ, по науке пьем! Подай, мамочка, тую, что на рябинке,— она помягче и лето напоминает. Мы по ма-ахонькой. Как без нее, без заразы!» И глядишь, жалея народ, углубляясь в дебри тревожной действительности, обсуждая наболевшие вопросы международной политики, высказывая недовольство родной культурой, прикончат, как всегда, много и серьезно страдающие русские интеллигенты настоящую на рябинке, на редкой травке, на внешней почке водочку, доберутся и до просто белой, нагой.

— Ничего больше нету? — как бы мимоходом недоворчиво поинтересовался кормовой, с момента отправления вверх по реке взявший на себя старшинство и руководство над нашим здоровым коллективом. — Вот и хорошо. Стало быть, ложитесь спать. Рыбачить станете вечером. Мы тем временем кой-чего сообразим по хозяйству.

Комара на стане и в избушке почти не было. Спал я провально, можно сказать, убито, но где-то в подсознании, на задворках моей усгалою башки жила недремная мысль о том, что хариусы-то стоят там, под каменным бычком, под упавшею кедрушкой, к вечеру выйдут они из глубины в пережат — кормиться. И мысль эта подняла меня с топчана часа через два, полного бодрости, с просветленной головой, с телом, вдруг сделавшимся легким, куда-то устремленным.

Я вышел из полутемной избушки на свет высоко еще стоявшего солнца, на предвечернее осеннее тепло, как бы запаренное стомленным и местами, на ветру, уже попадавшим листом, сникшей мелкой травкой, приморенным бурьяном,— это вот и есть тот напоенный сладостью, здоровый воздух, которым надо лечить и лечиться.

— Здорово, мужики! — сказал я блаженно и потянулся, хрустя костями. Перещелк пошел по моим суставам, траченным давним ревматизмом, будто ночная перестрелка на, слава те Богу, далеком уже и на давнем переднем крае.

— А чё, жэнщина щцас, да вертозаденькая, не помещала бы, а? — подморгнул мне кормовой, большой, судя по его воспоминаниям у костра, спец по этой части.

Все мои спутники хохотнули, как бы поддакнув тем самым таежному сладострастнику, продолжая какую-го

давно начавшуюся беседу. Я вприпрыжку, молодо сбежал к реке, умылся и, утираясь полотенцем, пошел к стану, изумляясь тому, как много могут и умеют бывалые, деловые мужики-таежники, если перестанут пить да возьмутся за дело горячо и хватко, как бы искупая застарелую вину перед всем белым светом и добрыми людьми.

Вокруг стана подметено, белеет клетка колотых дров, почти полная корзина с черемухой, будто угольями расцвеченная поздними, в жалице сохранившимися ягодами малины стоит на пне; в глубоком противне до хруста зажаренная свежая рыба, чай со смородиной клопочет в ведре; из углей молодые кедровые шишки выкатаны, будто печеные картохи. В лодке, в сенях, в избушке угоено, лампы заправлены, сети для ночной рыбалки набраны, одежда высушена и портянки, сапоги проветрены, шесты подбиты, мотор отлажен и чист, сами мужики умыты и всем довольны. Сидят у огонька, орешки пощелкивают, и видно по их лицам, как им отрадно привечать гостей на своей любимой реке, в обжитой ими тайге, привечать опрятно, в трезвости и потчевать по-таежному — щедро, широко, с лесной самобраной скатерти.

Наевшись до отвала рыбы, я горстями беру из корзины ягоды, ем любимую сибиряками черемуху, и они опять же радостно удивляются, что человек хоть и в городе живет, а лопает ягоду по-нашенски, с костями, не изнежился, значит, вконец грузноват, конечно, и простудный шибко, но, мол, приезжай почаще, мы тебе быстро пузу спустим и простужаться отучим.

А рыба-то, хариус, ловился неважнецки. Терял мушки, баловался белячок, коренной же, темный, с сиреневым хвостом и роскошными плавниками, все где-то стоял и все чего-то ждал, высылая вперед своих младших родичей с парнишечьими ухватками и склонностями к баловству, которое нет-нет да и заканчивалось для них нежданною бедою, реденько, но удавалось подсечь и выбросить на берег харюзка, и, на смышленной обгоченной мордочке молодого красавца, какое-то время лежащего неподвижно, в растерянности на косе, угадывались недоумение и обида.

Солнце склонилось на закат и как бы в нерешительной задумчивости зависло над дальними заснеженными перевалами и вдруг пошло, покатилося золотой полтиной за островерхие ели, за разом осинившиеся хребты. Ненадолго зажегся лес ярким огнем, вспыхнуло от него по краям

и зашаяло небо, заиграла река в пересветах, в бликах, в текучих пятнах, ярче обозначились беляки в нагорьях, ближе к реке сдвинулись деревья, теснее сделалось в глубинах тайги. Первые, еще не грузные тени заколебались у подножья гор; одна за другой начали умолкать редкие лесные птицы. Все вокруг не то чтобы замерло, а как-то благостно, уважительно и свято приглушило бег, голоса, дыхание.

И в это время, в минуты торжественного угасания дня, вдруг ожила река. Только еще, вот только что пустынный и вроде бы никем и ничем не обжитый, одинокий, заброшенный и как бы даже зябко шумевший Малый Абакан, изредка тревожимый легким всплеском малой рыбки, тронуло легкими и частыми кружками.

Дождь! Откуда?

Нет, не дождь. То рыба молодь вышла кормиться на отмели, за нею двинулась и отстойная, в этом перекате летующая рыба. Закипел, заплескался Малый Абакан, ожили его гремучие перекаты и покатые плесы. За каждым камешком, на каждой струе хлестало, кружилось, плескалось живое население реки, и Малый Абакан, поиспытав и подразнив пас, как бы подмигивал и смеялся яркими проблесками заката, падающего сквозь вершины деревьев, с высоты, как это любят делать таежные отшельники, после долгого пригляда доверившиеся гостю и показывающие только лишь им ведомые в лесу свои богатства и секреты.

Хариус хватался азартно, бойко, но все-таки играючи — набрался он сил и росту за лето, набитое брюхо его пучилось от предосеннего обильного корма: оглушенным иньями поденком, комаром, мухами, бабочками, жучками-короедами, но больше всего окуклившимися иль по-вылазившими из домиков лакомыми ручейниками.

Много их, речных ухарей, сходило с крючка, но и зацеплялись они довольно часто. Поначалу я орал: «Е-эсь!» — и напарник мой на берегу вторил: «Е-эсь!» или бормотал раздосадованно: «Сошел, зараза!»

Меж тем время не текло — бежало, мчалось. Сгустились тени у берегов реки, и сами берега сомкнулись в отдалении, тьмою заслоняло воду, сужало пространство реки, перестало реять настоявшееся в лесах тепло, потянуло с гор холодом и поприжало к чуть нагретым за день косам, заостровкам и бечевкам травянистых бережков легкое его, быстро истаивающее дыхание. Начало холо-

дить спину, и только что гулявшая и кипевшая от рыбьего хоровода, плескавшаяся, подбрасывавшая над собой кольцом загнутых рыб река сама утишила себя, поприжала валы в перекатах, смягчила шлепанье их о камень и шум потоков, отдаленный грохот порога — все это слила, объединила она, и ее ночной уже, широкий, миротворный шум слаживал мир на покой и отдых. Вот перед глазами лишь клочок переката, и на нем реденько, словно бы украдкой проблеснет желтое пятнышко, серебришкой скатится вниз отблеск горного беляка, отзвук небесного света и с тонким, едва слышным звуком прокатится по каменному срезу.

Но вот и они, последние проблески ушедшего дня, угасли и смолкли. Земля и небо успокоились. И кончился клев рыбы. В почти полной темноте, как бы обнадеживая на завтрашний день, теребило раз-другой мушку, и на этом дело удильщиков тоже кончилось. И снова это обманчивое свойство горных рек. Малый Абакан вроде бы обездушел, сделался отчужден, недружелюбен и неприветлив, и в водах его, черно прыгающих в черном перекате, вроде бы опять никто не жил, не ночевал, не отстаивался в ямах, в затишьи уловов и за камнями.

Ярко вспарывал темноту ночи огонь за прибрежными кустами, подле избушки слышался треск горящих поленьев, смех и говор, на ночную рыбалку собирались выпавшиеся, заранее возбужденные азартным и рискованным делом наши спутники. Кормовой имел прямое отношение к рыбнадзору, и у него было разрешение на рыбалку двумя плавными мережками.

Ах, как я любил когда-то ночную рыбалку плавными сетками на стремительных горных реках, когда в рычащий, полого под уклон несущийся перекат с занявшимся дыханием выбрасываешь деревянный крест и следом выметываешь узкую, грузилами побрякивающую мережку-сеть и, видя лишь ближние наплавки да изредка в проблеске, пробившемся меж туч или облаков, упавшем с неба на воду, черненький крестик, стараешься держать плывущую, а то и несущуюся мережку чуть наискось, чуть на пониз и чтоб не зацепиться за камень, топляк, а нынче и за железину какую-либо, оборвыш стального троса. Ловчись тогда, рыбак, опасись опрокинуться с лодкой, чтоб не наплаваться в студеной ночной воде, старайся не повесить на зацепе и не оставить сеть реке на память.

И лучше всего, уловистой «мережить» предосенней и

осенней порой, в глухую ночь и непогоду, когда ожирелая, спокойная рыба скапливается на кормных плесах и стаями стоит под перекатами, лениво подбирая несомый водами корм. И купались и тонули рыбаки с плавными сетками ночной порой, и последний их крик о помощи глушила собой река, не пускала далеко в леса и горы, не повторялось ни голоса, ни эха гибнущего, но все еще жива эта лихая, рискованная рыбалка, требующая ловкости, сноровки, чутья не только на рыбу, но и на зацепы, чтоб вовремя приподнять сеть, к моменту ее сбросить, все еще жив в немногих уже сердцах азарт добытчика, все еще слышен им зов ночной реки и ожидание удачи.

А мне уж не бывать в ночи на реке с наплавушками-мережками, не дрогнуть от мокряди, не клацать зубами от холода, не дрожать от азарта и на утре успокоенно и без всякого уж интереса к добыче не лежать устало возле благостного костра, греясь и подсушивая одежду, чтобы с рассветом двинуться вверх по реке, к стану, на шестах, медленно, через силу, словно свинцовые, перебрасывая их, и, звякая наконечниками о камень, толкаться и толкаться навстречу бурной воде.

Заслышав шесты еще за версту, высыпят на берег малые ребятишки и женщины в нетерпеливом ожидании и подхватят долбленку за нос, вынесут ее на берег, начнут ахать и восхищаться, пороть, солить и готовить рыбу, сами добытчики, еле переставляя от усталости ноги, доберутся до теплой избы, до постели, с трудом стащат мокрые сапоги и рухнут в омут сна, в теплый омут, в глубокий сон без сновидений.

Нет, не бывать уже мне на ночной рыбалке, потеряна еще одна редкая радость в жизни. Рыбачат нынче не с вертких и ловких долбленок, а с гулко бухающих в ночи, неповоротливых, железных или дощаных, моторных лодок. На них и силы и ловкости надо еще больше, чем в прежние годы с прежней снастью: брякать, стучать и пугать рыбу, без того уже пуганую, не следует, но поворачиваться надо все так же проворно, как и прежде, зацепов стало больше, рыбы меньше, ловкости же во мне поубавилось, потому что годов, весу и хворей прибавилось.

Смотав удочку, я постоял на косе, послушал ночь и реку, зная, что не скоро выпадет мне счастье быть в тайге, на реке, да еще на такой вот пустынной и дикой, — свободный художник ведь только в воображении обывателя выглядит этаким баловнем судьбы и бездельником,

которому только и есть занятие, что развлекать себя и разнообразить жизнь всевозможными удовольствиями и меж ними, опять же для отрады души, творить что-нито.

Три десятка хариусов, среди которых пяток похож был на хариусов-становиков, выдернул я на закате солнца, вернее, уже после заката, и был утихомирено счастлив. Спутники мои нарочито громко и понарошку, понял я, хвалили меня — они-то и за рыбу не считали такой улов.

Звякая коваными шестами о камни, трое мужиков спустились в лодке из мелкой речки, и скоро за перекастом сердито взревел мотор, но тут же приглох, и через минуту рык его совсем прекратился, только долго еще доносило из лесов, из-за речных поворотов и мысов комариный вроде бы звон. Он кружился по реке, летел над тайгой и горами, все отдаляясь, отдаляясь, и не тревожил вроде бы слух, но держал его в напряжении до тех пор, пока не утих вовсе.

Напарник мой уже спал на нарах и, проскорготав зубами, внятно сказал: «Ушел, зараза!..»

Похлебав ухи и попив чаю, я долго сидел у притухающего костра, ни о чем не думая, ничем не тревожась. Ну, не думать-то совсем, конечно, было невозможно, иначе зачем башка к шее приставлена, да еще набитая современной, учено говоря, информацией. Однако здесь, в ночи, у костра, после рыбалки, думы были легкие, отлетчивые, обо всем сразу и как бы вовсе ни о чем, лишь надежда на утренний, совсем удачливый, может и невиданный, клев будоражила мое воображение и волновала сердце.

Я и проснулся, томимый этой надеждой. Костер еще не угас. Собрав в кучу головни, бросил щепок в шаящие уголья, и скоро занялся вялый огонь, зашипел, защелкал, разгораясь.

Все вокруг было в тумане и в сырости, и где-то за рекою, ровно бы в другом месте, в другом свете и на другой земле, противно проревел козел. В горах ему откликнулся марал еще не накаленным, не яростным голосом, но в нежных переливах его уже угадывалось приближение страстного гона, свадебной поры и вековечных сражений за продление рода и обладание самкой.

Туман, медленно и неохотно поднявшись в полгоры, распеленал реку, но сгустил облака. Как бы подровняв и принизив землю, сделав ее положе и меньше, густые гро-

мады белопенных облаков непроглядно и неподвижно легли на горы, и лишь к полудню кое-где продырявило их темными вершинами.

Пришли к стану рыбаки, усталые, мокрые, с осунувшимися от бессонницы лицами, похвалили меня за то, что я подживил огонь и разогрел чай, жадно погрелись чаем и вчерашней ухой, подсушились и упали на нары. Кормовой глухо молвил уже из полусна, чтоб и я ложился — на реке до обеда делать нечего.

В лодке разбросанная по отсекам белела рыба. Бензобак из лодки рыбаки убрали, мотор приподняли, пороть рыбу станут после обеда.

Я снова вошел в избушку, наполненную храпом и откуда-то густо возникшим, не очень уж лютым, но все еще кусачим комаром, прилег подремать, подумать и тоже уснул и долго потом не мог выйти из вязкого сна, слыша, как ходят и разговаривают мужики. Наконец поднялся и почувствовал, как трудно дышится, как заныли умолкшие было суставы и раны, вяло вышел на люди, к огню, и встретил меня хмурый полудень осевшим серым небом, непросохшей травой и волглою хвоею, морочным безмолвием тайги, приглушенным говором переката на реке, выше которого, на косе, маячила фигура моего напарника с удочкой.

Рыба в лодке была прибрана и подсолена в полиэтиленовых мешках. Сброшенные в воду, краснели рыбы потроха, и в них уже всосались черными головками и в черные же трубочки спрятавшиеся ручейники; намоленный песок на берегу и возле лодки был испечатан следами птиц и какого-то зверька.

Я умылся, пришел к костру и позвал напарника с реки. Он пришел и угрюмо известил: рыба не берет. У огня сидели кругом, я оказался лицом к реке, видел протоптанный в кустах коридорчик и тропку с примятой травой и мохом, упирающуюся в темные камни и в темный бок лодки; вдруг что-то тихо, украдкой проскользнуло вдоль лодки и мгновенно исчезло за ее бортом — черное, с белой мордочкой. Оно плыло, скользило по камням и, шевельнув травой, исчезло в кустах.

Я замер с кружкой чая, полагая, что это какое-то наваждение, но скоро увидел гибко переваливающегося через борт лодки мокрого зверька, который уходил в лодку темноордым, а являлся белорудым или белорылым.

— Мужики, не шевелитесь, — сказал я, — какой-то зверек! Наверное, выдра, плавает по воде и шарится в лодке.

У костра перестали говорить, есть, шевелиться. Прошло короткое время — и вот он, зверек, возник в воде, скользнул по камням, уверенно перевалился через борт лодки и тут же сделался белорылым.

— А-а, — разогнулся кормовой. — Это норка. Она рыбу из лодки ворует. Я ей сейчас покажу, как тырить чужое!

Кормовой схватил шест, прислоненный к избушке. Я попросил его не трогать зверушку, дать насмотреться на нее, и кормовой, сдержав свой мстительный порыв, сказал, что, если это дело оставить так, норка часа за два перегаскает всю рыбу, попрячет ее по кустам, под камнями и пнями, потом будет безбедно жить и питаться. Случалось, она за ночь оставляла полоротых охотников или рыбаков без харчей и добычи — очень смышленная и очень ходовая, проворная и хищная зверушка. Выедает в гнездах яйца, птенцов, птиц, шарится по объедям хищников, но и подле нее много всякой твари кормится: вороны, мыши, колонки; вонять начнет спрятанная рыба или мясо — явится медведь и все подберет подчистую. Жизнь тут нешуточная. Кто кого...

Меж тем норка раза четыре сбегала в лодку, и кормовой наш не выдержал.

— Н-ну уж не-эт! — заблажил он и ринулся с шестом к лодке. — Ты что, курвинский твой род, делаешь, а?! — И захопал, забил шестом по камням, по кустам. Норка сиганула в чащу, выронив в воду хариуса. — Мотри у меня! — сказал кормовой в заключение, грозя пальцем в лес. — Осенью приплыву, имать тебя буду.

Короткое это происшествие всех взбудоражило, подвессило, и мы вышли на косу в боевом настроении, где и обнаружили след козла, перешедшего речку, затем переплывшего реку и зачем-то сердито оравшего в лесу. Кормовой сожалел, что не был тут, приговорил бы он этого козла — у кормового было ружье для обороны, как говорил он. Однако оборона-то обороной, но дичь, да еще ревушая, по его мнению, тоже не очень должна шляться возле стана и мешать людям думать и спать.

Рыба клевала лишь на одну удочку, брала на крупную тусклую мормышку с привязанными к крючку желтоватыми волосками. Из глубин, со стрежи переката, брал разом и сильно крупный, темный хариус. Упираясь в струю, бунтарски хлопаясь, изгибаясь в воде и вертясь,

он не давал себя вытащить на песок, и один удалец оторвал-таки мормышку, а более ничего рыба не трогала, ни на что даже и не смотрела, и кормовой спросил, что будем делать.

Он еще дорогой говорил, что главная рыба, самый крупный хариус, ленок и таймешата ушли в притоки Абакана — там способней жить в студеной воде, почти не донимает рыбий клещ, больше корма, меньше опасности.

Я сказал, что, может, схожу на речку, что я привычен рыбачить именно на малых речках, где рыба осторожна, но бесхитростна и всегда почти клюет безотказно.

— Так-то оно так, — отвел глаза в сторону кормовой. — Да лето какое? Клеща — гибель, а у тебя противознцефалигной прививки, конечно, нету. Клещ же из-за непогожего лета продержится в тайге, видать, до больших холодов. Кроме того, надо брать мне ружье и охранять тебя.

— От кого?

— Да мало ли...

А, знаю, знаю, рассказывали мне, как обнаглел и расшалился в этих местах медведь. В прошлом году не было в тайге кедровой шишки, мало было ягод, потому и приплод зверьков был пегуст, жидки выводки боровой птицы — медведь с Кузнецкого Алатау, с Телецкого озера, по перевалам и из-за перевалов ринулся на Абакан, надежные, видать, здесь отвеку места в смысле корма. Но и во впадинах Абакана, куда спустился зверь, была бескормица. Медведи не накопили жира на зиму, не залегли в берлоги, стали добывать корм диким разбоем, даже нападали на людей, что случается редко. Один медведь неподалеку отсюда съел охотника, отправившегося напилить в лесу дров, да так съел, паразит и бродяга, что хоронили от человека одну ногу в резиновом сапоге. Лесозаготовителям наказывали не ходить на деляны без ружей и в одиночку — не слушались, похохатывали, и убили медведи трех человек с участка.

Рассказам подобного рода я всегда верю наполовину, но если даже и половина правдива — нечего искушать судьбу. Тем более что своими глазами видел множество следов и порух на берегу, наделанных медведями; в тайге — развороченные коряжины и муравейники, раскопанные бурундучьи норки с запасами, сломанные вершины и ветки кедрочей — медведь ел шишки. По наблюдениям таежных знатоков, зверь, гонимый голодом из-за перевалов и хребтов, тот, что явился сюда в прошлом

году.— дожив до кормного лета, с кормных мест даже домой не собирается.

Густо матерого зверя стало по Абакану, а охотник какой нынче? Больше по пташке — вон выводки крохалей без мам и пап мечутся по реке,— да с шестом на норку иль с капканишком на соболя, с малопулькой на белку тоже не дрейфят. Орлы! Богатыри! А зверь умен. Видит: нет ему преград, возле станов шарится, по избушкам лазит. У одного охотника хлеб и зимние запасы съел, весь лес целлофаном загадил — харчи были в целлофановых мешочках.

Вот такие вот дела.

Воздух загустел, сделался тяжелым, дышалось трудно, спина моя и лоб в испарине, если ударит непогода, а она скоро ударит, чуял я, в избушке мне несдобровать, с моей хронической пневмонией плыть по реке, мчаться встречь дождю и снегу — это значит, угодить прямо из тайги да в больницу.

— А что, если двинуть домой, мужики?

— Конечно, домой! — загалдели мои спутники.— Кое-что на первый раз увидели да изловили. Вот осенью приезжай,— приглашали опи, проворно таская багаж в лодку.— Когда рыба из речек покатится, когда шишка поспеет, глухарь клевать камешки на берег выйдет, рябчик запищит, козел заблеет, марал заорет...

Я знал: не выпадет мне времени в этом году побывать еще раз на Абакане, по горячо сулился и надеялся приехать и верил: вдруг и в самом деле чудо какое занесет меня сюда.

Дорогой сорвали мы шпонку у винта в перекате, и, пока кормовой возился с мотором, спутники мои вышли из лодки — пособирать шишек, сроненных ветром или птицей. И пока они бродили по прибрежному лесу, лакомилась спелой шипицей, мелкой брусничкой, глухариной красной бровью украсившей мшистый навес бережка, я, оглядевшись, увидел под красной-го бровкой, в наносном хламе крепкую спелую ягоду и узнал землянику. Принесло льдом, притолкало сюда полоску земли величиной с полотенецко, с корешками цепкой ягоды, и она долго укреплялась на новом каменном месте, поздно зацвела и вот все-таки вырастила, вызорила в конце августа ягоду с тем неповторимым, ранполетним запахом, который ведом деревенским людям. С детства, с рождения самого помнится он, не глохнет в памяти, не гаснет в глазах. Ягодки

качались на поникло-жидких стебельках, и среди серых камней они были так ярки, так неожиданны, что невольная умиленность или нежность входила от них в душу, надежда на скорую будущую весну, на нечаянные радости. Легко отделились самые спелые ягоды от звездочек, белые вдавыши сочилились теплой, сладкой слюной, кожа ладони чувствовала и колкую тяжесть, и шершавость ярких-ярких золотинок по округлым ярким бокам. Смоет весной, утащит льдом этот зоревой лоскуток, все еще застенчиво белеющий двумя-тремя звездочками, и укрепит ли он в другом месте, на каменистом берегу? А может, останется здесь, меж камней, корешок-другой всеми любимой ягоды и усам прокрадется меж камней вверх, поймается за осыпь, вылезет в лесную прель и выгнет за собой ягодный веселый хоровод, и закружится он красной полянкой вместе с костяникой, брусникой и робким майничком?

А над всем этим спелым ягодным местом, мохнатою толпою на берег выскочив, будут шуметь кедрачи, густо усеянные крупной шишкой с уже налитым орехом в крепнущей, белой пока скорлупке, и в голых камнях ершисто и упрямо, с крепким, как бы ножницами резанным листом будет спеть и ядреным соком наливаться кызырган.

Но скоро поспеет орех, и начнут шишкарки трясти кедрач, ломать, бить колотами, валить пилами. Кедрачу, растущему большей частью на глазу, под рукой, достанется от налетчиков прежде всего, и вытопчут те шишкобои земляничную полянку, выдернут с корнем кызырган, спалют костром мшистый берег с красной бровью. «А мы просо вытопчем, вытопчем...» — когда-то в шутливой хороводной песне пели мы, да уж не сеют просо в этих местах, и дети наших детей уже не поют про просо песен, а весело и порой бездумно уродуют тайгу под рев транзисторов и магнитофонов.

Вот один, другой, третий десяток километров идем на узкой, длинной, вместительной лодке по Абакану, а по бокам-то все косточки голые, лесные. Это работа здешних заготовителей — они рубят и возят на берег в основном кедр, пустоствольный, мохнатый, ошетиненный ломаными сучьями, и вместо волоков и дорог часто используют горные речки — прет тяжелая машина или трактор ломаные, обезображенные деревья, прет напропалую по дну, спрямляет повороты, сминает островки, мыски, шиверы и заостровки, сметает на пути всякую речную ро-

скошную растительность и всякую живность по берегам и в воде.

Кромки берегов сплошь в нагромождениях горелых хлыстов и лесного хлама. Мало, очень мало удастся выпилить путевых бревен из перестойного, огнем, смывами и оползнями порченного и битого леса. Все остальное в огонь, в дикопламенные, огромные костры.

«Да кабы горело!» — жалуется мои спутники.

Выгорает хвоя, сучки и сучья, лесная ломь и мелочь, деревья же, не пошедшие в штабеля, черными, обугленными стволами целят в небо, что пушки дулами, опаленными пороховым дымом. Местами ледоходом натащило земли, натолкало камешника меж порушенных и обгорелых останков леса; нанесло и кореньев и кустов, накрошило семян дудочника — новый культурный слой из кустов смородинника, вербача, краснотала, дудочника и разнотравного бурьяна вырос на горелых кручах. Остерегись, пугник, влезать на лохматый бугор за ягодой — провалишься меж кустов, сквозь еще жидкие сплетения травы и кореньев, в современную преисподнюю из черно-синих, все еще угарно воняющих головешек, поломаешь ноги или руки и без посторонней помощи не выберешься из этого месива, бывшего когда-то тайгой.

Когда мы подплывали к поселку, в лицо нам ударили первые капли дождя и вытянуло с перевалов первые белые нити липкого снега. Вовремя мы убрались с Абакана, вовремя! Название реки, слышал я, в переводе с хакасского на русский язык означает Медвежья Кровь. Спасибо спутникам, спасибо реке, погоде, времени еще и за то, что никого мы не обидели, нигде не напакостили, ничьей крови, в том числе и медвежьей, не пролили. Кормовой спрятал ружье до случая где-то в тайге, в известной ему ухоронке при слиянии Большого и Малого Абакана. И оттого так прозрачны, так легки мои воспоминания о летней поездке в дальний край, в незнакомое место. А если и проскальзывает в них налет грусти, то это уже от возраста, от непрестанных дум о будущем нашем житье.

После того как рассказ этот был опубликован в журнале «Новый мир» в 1984 году, ко мне приходили письма, и одна половина авторов негодовала по поводу того, что никак мы не научимся не то что деликатности, но просто не избавимся от нахрапистого желания лезть «со своим

уставом» в чужой дом. Вторая половина авторов, тоже негодуя, обвинила меня в отсутствии милосердия, мол, не в характере и не в обычае советских людей оставлять без помощи и внимания соотечественников своих, пусть и по-таенных старообрядцев.

Один крупный лесовод, путешественник и организатор заповедников в нашей стране, выразил опасение, что вмешательство в жизнь Лыковых может кончиться для них плохо, привел примеры, как оторванные от прогресса народности, племена и семьи вымирали и вымирают от непонимания их образа жизни и от «щедрой» помощи братьев по планете. Так, любители спортивных охот и легких, добычливых промыслов, выбив на северном побережье Америки и на Аляске тюленей, моржей и медведей, подорвав основной источник питания и жизни эскимосов, тут же прониклись к ним «жалостью» и двинули на помощь и спасение малых народов караваны и самолеты с доброкачественными продуктами, изготовленными в городе. Но эскимосы продолжали погибать от голодной смерти с полными животами — их желудок не принимал и не переваривал цивилизованную продукцию. А в пространствах Австралийского материка было обнаружено племя аборигенов, никогда не видевшее цивилизованных людей и никогда не общавшееся с ними. Премьер-министр Австралии, из истории своей страны знающий, как трагично для аборигенов кончается порой подобное общение, запретил сообщать местонахождение новооткрытого племени. Сообщение об этом обошло все газеты мира.

ТЕЛЬНЯШКА С ТИХОГО ОКЕАНА

Александрю Михайлову

Молодой мой друг!

Ты, наверное, выбираешь сейчас трал с рыбой, стиснутой, зажатой в его неумолимо-тугом кошеле, которая так и не поняла и никогда уж не поймет: зачем и за что ее так-то? Гуляла по вольному океану вольно, резвилась, плодилась, спасалась от хищников, питалась водяной пылью под названием планктон, и вот на тебе, загребли, смяли, рассыпали по ящикам, и еще живую, трепещущую посыпали солью...

Я все чаще и чаще на старости лет думаю о назначении нашем, иначе и проще говоря — о житухе нашей на земле, которую мы со всеми на то основаниями, для себя, назвали грешной. Грешники иначе и не могут! Сажай и дерьмом вымазанный человек непременно захочет испачкать все вокруг — таков не закон, таков его, человека, нор и неизлечимый недуг, название которому — зло.

И вот думал я думал, и о тебе тоже, губящем самое неразумное, самое доверчивое из всего, что есть живого на земле и в воде, и пришел к такому простому и, подика, только по моим мозгам шарахнувшему выводу: а ведь неразумные-то, с нашей точки зрения, существа, как жили тысячи лет назад, так и живут, едят траву, листья, собирают нектар с цветов и планктон в воде, дерутся и совокупляются для продления рода, в большинстве своем только раз в году. Та же рыбка прошла миллионнолетний путь, чтоб выжить, выявить вид свой, и те, кому, как говорится, не сулил Бог жизни, умирали от неизвестных нам болез-

ней или, употребляя любимые тобой «ученые» выражения, — от катаклизмов. Они пришли к нам по суше и по воде уже вполне здоровыми, приспособленными к той среде, какую выбрали себе для своего существования.

И не нам, самодовольным гражданам земли, жующим мясо, пьющим кровь, пожирающим красивые растения, подкапывающим корни, из ружей сбивающим на лету и во время свадебного токования вольных птиц, невинных животных, да еще и младенцев ихних, да хотя бы и ту же рыбу, не нам, губящим самих себя и свое существование поставивших под сомнение, высокомерно судить «окружение» наше за примитивную, как нам кажется, жизнь и отсутствие мысли. Одно я знаю теперь твердо: они, животные, рыбы и растения, кого мы жрем и губим с презрением за их «неразумность», — без нас просуществовали бы на земле без страха за свое будущее, а вот мы без них не сможем.

Но, быть может, ты уже со своей бригадой вытряхнул из трала добычу, равнодушно присолил ее, стаскал в трюмы и лежишь на своей коечке-качалочке, убитый сном иль перемогая нитье в пояснице и натруженных руках, думаешь о своей повести и проклинаешь меня: была ведь повесть-то одобрена в журнале «Дальний Восток», ее давно бы напечатали в Хабаровске и, знаю я, похвалили бы за «достоверность материала», за «суровое, неприукрашенное изображение труда рыбаков», даже и прототипа одного или двух, глядишь, угадали, и в Москве переиздали бы книжку...

Эвон как хорошо все началось-то! Дуй смело вторую повесть, протаривай путь к третьей, вступай в члены союза, высаживайся на берег и живи себе спокойно, пописывай, плоди и плодись. Отчего-то ваш брат с беспокойного-то места, под названием МОРЕ, мечтает о покое, а наш брат, сидящий на безмятежном берегу, все «ищет бури, как будто в бурях есть покой»?!

Значит, ты уж совсем было достиг желанного, покойного берега, и тут меня черти подсунули. Они, они, клятые. Они и горами качают, они и судьбами нашими играют, мухлюя нагло, как Ноздрев при сражении в шашки. Бог себе такого позволить не может, Бог — он добрый, степенный, ходит босиком по облакам, Он высоко и далеко, Его не видно и не слышно. А враг-искуситель всегда рядом. Я вот пошевелил босой ногой под столом, он за пятку меня хват! «Пиши, — похихикивает, — пиши! По-

сеял парню смуту в сердце, расшевелил в нем творческий зуд, теперь вот еще и посоли, живого, как он только что селедку или хилую рыбешку, под названием килька, присолил...» Впрочем, килька — это не у вас, это вроде уж на Каспийском море, да и той, говорят, скоро не станет, гоняются за нею всем касрыбкилькахолодфлотом, дочерпывают — много за той махонькой рыбкой народу спасается и кормится, есть которые с отдельными катерами — для прогулок, с дачами в гирле Волги, где лотосы цветут, с дежурной машиной у подъезда.

Да-а, а рыбка-то плавает по дну...

Ты клянeshь меня или нет? По последнему письму видно — сдерживаешься изо всех сил, чтоб печатно не облаять. А мне хоб что! Я вот за письменным столом, в тепле сижу, за окном морозное солнце светит, крошатся в стеклах лучи его, на тополе ворона от мороза нахохлилась, смотрит на меня, как древний монах, с мрачной мудростью: «Все пишешь?! Людей смущаешь? Читал бы лучше. Книг вон сколько хороших написано, да «не сделали пользы пером, дураков не убавим в России, а на умных тоску наведем». Накрошил бы лучше хлеба в кормушку синичкам, я бы его у них отняла и съела. Вот тебе и матерьял для размышлений о противоречиях мироздания...»

А пишу-то я тебе не с бухты-баракты, не для того, чтобы развеять твою скучную жизнь в пустынном океане. Ты хоть помнишь, как мы познакомились? Непременно надо вспомнить, иначе все мое письмо к тебе будет непонятным, да и ненужным.

Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло! Погода, точнее, отсутствие таковой заклинила движение в отдаленном восточном порту. Народу, как всегда, скопище, еда и вода кончились, нужники работают с перегрузкой и один уже вышел из строя; всякое начальство и даже милиция с глаз исчезли — такое уж свойство у нашей obsługi: как все ладно и хорошо — делать хорошее еще лучше, как плохо — улизнуть от греха подальше, все одно не поправить...

Я стоял средь унылого, истомившегося народа, опершись на «предмет симуляции» — так я называю палку с набалдашником, выданную мне еще в сорок четвертом году в арзамасском госпитале и суверенно мною берегомую, — износил уже, истерзал, разбил девять протезов,

но палка все та же. От времени, от моей руки, моего тепла и пота она почернела. Вспомнился мне вот, в связи с палкой, чиновничек-международник. В Дом творчества писателей он затесался «для разнообразия», решил выдать миру книгу на международную тему. Этаким типичный пижон современности, изнывающий в нашем бедном Доме с порванным на бильярде сукном, со скользким от растоптанной селедки полом в комнате, с убогой библиотекой и по-иностранному хрипящей кинопередвижкой. Пожаловал он в писательское сообщество со своим кием в чехольчике из змеиной кожи, со «своей» девочкой из института иностранных языков, со своим коньяком и рюмкой, надетой вроде колпака на черную бутылку. Ясновельможная личность отчего-то обратила внимание на мою инвалидную палку и заключила, что она из экзотического заморского дерева. «Да-да, из дерева, арзамасского», — подтвердил я, и поскольку дитя, выросшее на ниве рабоче-крестьянского государства, не знало и не знает, где находится Арзамас, оно, красиво вскинув модно стриженную голову и многоумно закатив глаза, начало мыслить: «Постойте, постойте! Это не из Бисау ли?» — «Да-да, Арзамас как раз на правом берегу Тешы, супротив этого самого Бисау располагается».

Давно собирался написать я рассказ о своей палке, да вот не о ней, о тельняшке, которую ты мне подарил, приехала пора поведать миру. «О чем писать, на то не наша воля», — сказал один хороший поэт. Для нас, много литературной каши исхлебавших, сказал, но не для графоманов. Те пишут запросто, хоть про Демона-искусителя, хоть про Делона-артиста, хоть про жизнь Распутина (не Валентина, слава Богу, а Григория), хоть про дореволюционную политическую ссылку, хоть про современных мещан, морально разлагающихся на дачах.

Итак, значит, я стоял, налегши на здоровую, но уже опемелую, горящую от натуги ногу, в то время когда ты мирно спал, доверчиво навалившись на плечо, как позднее выяснилось, совершенно незнакомой девушке, сронившей шапку-финку к ногам, во сне растрепанной, некрасиво открывшей рот от духоты. От моего ли взгляда, но скорее по другой причине ты проснулся, обвел мутным взглядом публику и вокзал с отпотевшими от дыхания и спертого воздуха стеклами, с волдырями капель на

потолке, под которым деловито чирикали и роняли вниз серый помет ко всем и везде одинаково дружелюбные воробы.

Ты уже хотел передернуть плечами, потянуться, молодецки расправиться, как обнаружил, что к тебе родственно приникла девушка, довольно-таки стильно одетая, осторожно отстранился, прислонил ее к стене, поднял шапку-фишку, хлопнул о колено, насунул соседке почти на нос, поискал что-то глазами и сразу увидел искомое, меня стало быть. «Посиди, дяхан, — буркнул, — на моем месте, я в уборную схожу». Назвав тебя в благодарность племянничком, я со стоном облегчения опустил на низкую отопительную батарею, сверху прикрытую отполированной доской. Для красоты, надо понимать.

Ты вернулся, остановился против меня и долго ничего не говорил.

— Ну как же нам быть? — буркнул наконец, глядя в сторону.

— Ведь ты моряк, братишка, я — бывший пехотинец, все мы простые советские люди, и жить, стало быть, нам надобно по-братски: ты посидел и поспал, теперь я посижу и посплю.

— Тебе ж ногу оттопчут.

— О ноге не беспокойся, новую выдадут, в казенном месте и за счет казны. У этой нонче как раз срок выходит... Ширинку бы застегнул, братишка! Не ровен час, скворец улетит, або девки у него с чириканьем крылья оторвут...

— Ой! — прихлопнул ты «скворечню» и, отвернувшись, задергал застужку, цедея сквозь зубы: — Напридумывали эти «молнии».

В этом вот смущенном «ой!» и в том, что ты клял цивилизацию, заменившую пуговицы на механизм, было много родственного. Не раз и не два шествовал я в новомодных брюках в общественных местах с раздернутой «молнией», не один позор нравственного порядка пережил, поминая добрым тихим словом старушку-пуговицу. Бывало, пройдешься, как по баяну, — музыка, лад, и все на месте. Цивилизация, стремительно овладевая нами, не отпускает времени на привыкание к ней.

Проснулась и девица, пощупала шапку, вбила под нее волосы, еще чего-то поправила и уставилась на тебя: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал?» — «Слишком». — «Значит, знаешь, где тут туалет?» — «Знаю. Но работает лишь

мужской. Дамы бегают по клумбам и в кусты...» — «Хорошо, хоть кустарники не погибли при таком обильном увлажнении», — зевнула девушка и приказала тебе караулить место. Под задом соседки, на доске обнаружился во всю ширь раскрытый последний выпуск «Роман-газеты» с моим произведением. Ты сел на место девушки и начал неохотно листать «Роман-газету». У меня не было сил даже на ужас, что охватывает меня всякий раз, когда я вижу при мне читаемые мои шедевры. Случалось это всего раза четыре за жизнь.

Еще «в начале моего творческого пути» увидел я однажды, как читали мою книжку в электричке, и сразу со страху меня прошиб пот, объяло меня чувство казнимого старым способом еретика, под задом вроде бы затлели угли, и, чтоб их не раздуло в пламень, перешел я, от греха подальше, в другой вагон. И потом при встречах со своими творениями бывали у меня возможности вовремя смыться. Но однажды попал так попал! В самолете сидит сбоку тетка и, как ни в чем не бывало, почитывает мою книжку. Я их, свои книжки, узнаю сразу оттого, что на обложке каждой рисуют мне художники лесину, чаще всего ель, поскольку родился я в таежном краю. По ели, значит, и ориентируюсь в книжной тайге. Из самолета не выпрыгнешь! Свободных мест нигде нету, тетка, как на грех, глазастая да интеллектуальная оказалась: шасть ко мне с французским изящным карандашиком: «Ой, простите, пожалуйста, автографик...» Я чего-то пытался сказать и написать шутовское, народ ближний начал озираться, перешептываться. Какие уж тут шутки! А, Боже милостивый! Недаром же до слез, до рыданий люблю я романс Гурилева «Вам не понять моей печали...», как и этого моего душевного смятения не понять никому. Моя книга в чужих руках, «на свету», кажется мне до жути глупой, неумелой, постыдной. Читали бы Толстого, Пушкина, Достоевского, Бунина... За что же меня-то?!

Но тогда, на аэровокзале, повторяю, у меня уже не было сил ни на какие эмоции. Поспал я недолго и тяжело. В вокзале еще больше скопилось народу, еще гуще сделался в нем воздух, он превратился в клей, в вазелин, в солидол или во что-то еще такое, чем смазывают железные части и механизмы, защищая их от ржавчины, от излишнего трения. И я был весь в клейком мазуте, сердце мое дергалось в горле, руки дрожали, один лишь протез, защищенный с двух сторон — портфелем и чемоданом,

лежал на полу недвижно и отчужденно. Задравшиеся штаны оголили на нем две пластинки из нержавеющей стали. Я достал штанину палкой и натренированно накрыл гачей протез.

Вы оба с настороженным любопытством смотрели на меня. Я догадался, в чем дело, и, когда девушка сунула мне «Роман-газету» под нос, показывая на мою давнюю, огалстученную фотографию, спросила: «Это — вы?!» — я отстранил руку с книжкой.

— Я! Я! Не похож? Старею!

— Ну вот, а ты спорила!.. — подавленно, почти разбито выдохнул ты и вдруг резко, с одного поворота: — Сейчас я пойду! Сейчас я им скажу! Над писателем... Над инвалидом войны глумиться!..

— Да кто глумится-то? — поднимаясь, сказал я буднично. — Господь Бог? Это Он нелетную погоду сотворил. И при чем тут писатель, инвалид? Все люди, все человеки, и инвалидов на вокзале небось десятки собралось... Раз моряк, покажи-ка лучше где-нибудь воду какую-нибудь.

— Как вы так можете? Вам же тяжело...

— А кому, братишка, легко? Бывало и тяжелее... Не бери в голову, как говорят нынче.

Когда мы попили из горного ручья сладкой, голубой в пузырьках воды, умылись, отдышались и я, посмотрев на полыхающие осенним, ярким пожарищем клены, на красной лавой облитые хребты, на засиневшее за ними дальше и выше безгрешно-чистое небо в кружевной прошиве по краям, выдохнул: «Хорошо-то как! — и, обернувшись к тебе, сказал: — Вот как мало надо человеку для счастья!..» — ты все это тоже обвел взглядом: склоны, горы, небо и угрюмо предложил: «Я позову ту мадаму и перенесу манатки, ладно?»

Ах, какой это был день! Упоительный, правда? И хорошо, что не сразу, не вдруг ты мне признался, что пытаешься заниматься этим проклятым и самым, в моем рассуждении, захватывающим делом — литературой. Хорошо, что была девушка по имени Люда, такая потом умытая, свеженькая, рыженькая, глаза в солдатскую ложку, и как закатит их в бок — яркая, аж слепит, фарфоровая бель с блеском. Лицо вытянутое, недозавершенное вроде бы, но вот в этой-то недозавершенности вся и прелесть, полюбишь — и завершай, воображай, дописывай, лепи — есть

место для работы и уму, и сердцу. Признаюсь тебе: мне всегда такие вот, вроде бы неладные и нескладные, не вовсе, не до конца сложенные лица нравились нестандартностью своей. Круглолицые красотки со вздернутыми носиками и аленьким, пухлым ртом — мечта и вожде-ние советского офицера да директора трикотажной фабрики — не по мне. Быть может, воображение сделало мой вкус изощренней, точнее — испорченной. Но может стать-ся, и оттого, что до офицера я так и не дорос, остался на веки вечные чину неблагодарного и во все времена презренного — рядовым.

Потому и «красотки» не по чину мне, потому и выдумываю, доделываю лица, отгадываю души смятенные, тайные, порой, и чаще всего, тайные только для меня. Любовь — это творчество. Всегда творчество. Мы любим в других то, чего нет в нас, если нет этого и в других — выдумываем, внедряем, делаем людей лучше, чем они есть на самом деле. Увы, женщинам, сотворенным нами и с помощью нашей, начинает казаться, и не так уж редко, что они и были всегда такими, совершенными, и не понимают, что любящая душа отдала ей все, что имела, опустошившись при этом, не обогатившись ответно. Обогащение души одной другою, переливание крови из сердца в сердце — редкое явление, и потому так часто и быстро истощается, иссякает энергия великого и пресветлого чувства. Говорят, хотя и старомодно, но точно: сердце ее (или его) сгорело от любви.

И вот, значит, я тогда маленько, чуть-чуть подзаял тепла у молодого девичьего сердца, но оно так горячо и сильно, что девушка не заметила «утечки», она просто чувствовала, что нравится, и ей нравилось нравиться. Ты почему-то не влюбился в Людочку? Видно, женщины идут у тебя по морской классификации.

И я, знающий уж вроде бы пишущую братию, не вдруг догадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней.

Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержатель-

ными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на «этом уровне» сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая видать интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала.

Ах ты, Боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытии тела — закаленная, свободная, смелая! — в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, — как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и, поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув руку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с дрожью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание — сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, — скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!»

Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудренна и какой восторг жизни раздирает ее грудь...

Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей, инвалидной молодости я каким-то образом вселял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня навергывались слезы на глаза от жалости к себе, они думали — к ним, словом, какое-то во мне «демонское стреляние» угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, «тайна его», высокопарно говоря.

Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его

понимание равносильно убийственному: «Музыку я разъял, как труп», но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая.

Полагаю, что как раз вот этого — тайны или предчувствия ее — и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике. Вы часто пишете по поводу любовных дел, раздеваете ее, любовь-то, уподобляясь современным киношникам, которые простодушно объясняют, что убивают в кино не насовсем, страдают и любят понарошке, дома и подсолнухи нарисованы на картоне. Результат такой работы уже есть — они потеряли зрителя. Любовь, в особенности таинство ее, надо пытаться отгадывать с читателем вместе, и страдать, и болеть вместе с ним, и мучиться, но вот мучиться-то по отдельности вечной мукой, до конца не отгадавши, опять не отгадавши вечную тайну. Огравно-сладкая мука любви — самая высокая награда человеку, всегда нуждающемуся в наряде, в празднике, в украшении его жизни, деяний, мыслей, чувств, бытия его. «Нет мгновений кратких и напрасных — доверяйся сердцу и глазам. В этот час там тихо светит праздник, слава Богу, неподвластный нам» — это стонет и восторгается наш современник. А вот послушай-ка древнего поэта: «И мира нет — и нет нигде врагов; страшусь — надеюсь, стышу — и пылаю, в пыли влачусь — и в небесах витаю, всем в мире чужд — и мир обнять готов. У пей в плену, цеволи я не знаю; мной не хотят владеть, а гнет суров; амур не губит и не рвет оков; а жизни нет конца, и мукам — краю. Я зряч — без глаз; пем — вопли испускаю; я жажду гибели — спасти молю; себе постыл — и всех других люблю; страдашем жив, со смехом я — рыдаю; и смерть, и жизнь — с тоскою прокляты; и этому виной — о Донна, ты!» — а это исторгнуто из могучего сердца, по-могучему и страдавшего великим чувством более шестисот лет назад. Крестьянский сын, окопный солдат, вернувшись с фронта, я рыдал над этими строчками, ничего в них не понимая, но за что-то боясь, чем вбивал в панику любимую сестру, которая думала, что я натер протезом ногу и ноге больно.

Мне сдается, не от любви, не от жажды прекрасного: «О, Господи! Дай жгучего страданья!» — а от натертостей, от трудовых мозолей на теле в ваших сочинениях вам больнее, чем от сердечных мук, и вы их, мозоли, телесную боль чуετε, не чувствуете, а вот именно чуετε и

цените выше каких-то там глупостей вроде: «Бей меня, режь меня...» или: «Мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю...»

А ведь все это живому сердцу нужно, как электроэнергия в квартире, как солярка дизелю, как крылья самолету. Самому тонкому, самому ранимому, самому капризному органу из всех, какие поместил в нас Господь Бог, всегда нужна движущая сила. Оно, сердце, помучит, но и научит нас понимать, что пока еще не все продается, что покупается, что счастье нищего поэта и по сей день дороже всего «злата» завмага «универсама». Не я так думаю, время так думает — самый непреклонный диктатор, и, если вы не посчитаетесь с ним, время сотрет, смоев вас, и вы поодиночке остынете в коробках панельных домов, на куче злободневных книг про БАМ, тюменскую нефть и тихоокеанскую селедку. Вас никто не только не оплачет, но даже бесплатно на кладбище не свезет, родичи воспользуются вашим имуществом, юркие книголюбы разворуют вашу личную библиотеку...

Ах, как мне тогда хотелось, чтоб ты полюбовался Людочкой, порадовался ее порыву к головокружительному полету, когда женщина на все готова и никогда не сожалеет потом о свершенных глупостях. Но ты отчего-то сердито пластал ножом консервные банки, резал хлеб, полоскал в ручье помидоры, огурцы, остужал поставленную в воду «злодейку», и я помню, как отмочило с бутылки наклейку, завертело, понесло куда-то слово «водка» и успел еще подумать: «Унесло бы ее, заразу, от нас куда-нибудь навсегда» — это было задолго до постановления о борьбе с алкоголизмом, поэтому не подумай, что я подлаживаюсь под злободневность.

Гуще залетали самолеты. Мы задирали головы и согласно утверждали: «Не на-а-аш!..» Как хорошо было там, возле голубого, пенистого, холодного ручья, вырывающегося из раскаленных высоких гор. Как хорошо! И водочки маленько — не помешало, и горный воздух пьянящ был от горечи увядания, и некая сомелость рассудка. Даже я напряг свою память, и мне, старому грешнику, тоже захотелось кого-нибудь порадовать и даже очаровать, я забыл про свой протез, про седины, и посейчас мне отчего-то не стыдно того глупого забвенья. «Зачем ты чаек приручаешь над белой отмелью тужить. Уйдешь, хоть в них души не чаешь, а птицам дальше надо жить. Кому

оставишь на поруки, под чью заботу или власть?.. Еще так просто в злые руки им где-то за морем попасть».

Ну ладно, довольно.

Сейчас я тебе напомню, как мы прощались. Людочка вдруг присмирела, ужалась, несчастненькая сделалась и сразу подурнела, а я все повторял и повторял, как остроумный дундук на деревенской вечерке: «Людочка! Держи хвост пистолетом!» О Боже! До чего же близко лежат глупости! И много их! Берешь, берешь, потребляешь, потребляешь, они все не убывают. «Ладно, буду», — трясла головой Людочка, тайно засунув в карман моего плаща маленькую руку, «тайно», с каким-то ей лишь понятным смыслом потискивающую мои пальцы. У выхода она обняла меня совсем некрепкими, совсем немускулистыми, слабыми женскими руками и по-женски же, беззащитно, с неизбывной бабьей печалью, молвила: «Спасибо вам, Вячеслав Степанович! Это был самый лучший день в моей жизни! Самый-самый!...» С трудом сдерживаясь, потупившись, я привычно съерничал: не мне, мол, министерству гражданской авиации надо говорить спасибо. «Не надо, Вячеслав Степанович!» — попросила Людочка жалобно и ушла на свое место, туда, на батарею, прикрытую полированной доской, па которой лежала моя жалкая повесть, печальнее которой в ту минуту и в самом деле для меня не было на свете. Я презирал, ненавидел и себя, и книгу свою. И когда Людочка закрыла лицо широкими серыми, что солдатская поргянка, страницами «Роман-газеты», мне захотелось броситься, выхватить, изорвать в клочья бумажное изделие.

Но ты удержал меня, указав кивком головы на последних пассажиров, выходящих из «накопителя» (слово-то, слово какое! Ей-богу, правда, что слово есть лицо своего времени, но слова могут быть мордой своего времени, это слово — мурло его), — и тут ты мне сунул полиэтиленовый кулек с нарисованными на нем окунями, зелеными, полосатыми, дородными окунями, какие в наших внутренних водоемах давно вывелись. Вместо них шныряют и на все клоют «вшивии», «хунвейбины», «бичи» — как их именуют нынешние рыбаки, уже в школьном возрасте «половозрелые», икряные, — сунул, значит, кулек и, отвернувшись, пробубнил: «Вячеслав Степанович, дайте слово, что не заглянете в пакет до дома».

Я дал слово. Чего ж не дать-то? Я тоже сын своего времени. Дал и тут же забыл — эго диво! И не только

забыл — нарушил его. Уселся в самолет, устроился поудобней — и нарушил. Вот если б ты не брал с меня слова, мне бы и соблазна не было нарушать его. Я бы и не заглянул в тот куль до дома, возможно, и дома, сдавши его на руки жене, не заглянул бы.

Мы долго сидели в Чите. И вот там, в Чите, я и решил отослать твой куль обратно, со злой припиской: «В следующий раз присылай одну икру».

Идея не моя. Я упер ее. В одно парижское издательство какой-то кондитер повадился присылать свои толстые рукописи и к ним обязательно прилагал коробку дорогих конфет. Находчивые парижские издатели написали автору, чтоб в следующий раз он присылал только конфеты.

У тебя нету конфет дорогих, и ты приложил к рукописи три баночки икры — «сами не едим, зато дарим», — говорил один дальневосточник про эту злосчастную икру, которую, когда ее было много, не покупали даже по дешевке. У меня есть любимая племянница, и я подумал, что, может быть, ей, всесторонне одаренной не только аллергией, головокружением, течью крови из носа, но и художественными способностями, захочется соленьячко, наладится у нее аппетит, и здоровье ее пойдет на поправку, да еще к рукописи была приложена тельняшка, она отчего-то меня умилила, что-то во мне струнула, расстрожила, по что — я долго не мог понять.

Ты, наверное, обратил внимание на якорь, наколотый на моей левой руке — это дань поветрию тридцатых — мы все тогда в детстве мечтали сделаться моряками, пограничниками, командирами. Чуть повыше якоря досе белеют пятна — это меня заживо жгли накаленным гвоздем, чтоб привыкал к боли и, если на войне меня, раненого, в бессознательном состоянии, возьмут в плен фашисты, терпел бы и «никого не выдал». Мы по битому стеклу ходили босиком, волосья друг у дружки выдирали, пальцы меж досок плющили, иголки патефонные ели, в ледяной воде, еще в заберегах, купались, сутками хлеба не потребляли, воду не пили, чтоб «закалиться», чтоб на случай битв с врагами стойкость и непреклонность у себя выработать.

Смешно? Забавно? Не очень. После того как, улучшая позиции, мы на половину России выпрямили линию фрон-

та, потеряли технику — нашим главным и неизменным оружием была стойкость. И ей, прежде всего ей, мы обязаны Победой.

Вот так, мой молодой друг — моряк, который слишком долго плавал, а мне, несмотря на якорь, любая лужа в диковину, я и море-то увидел совсем недавно, в круизе, вокруг Европы оборачиваясь в качестве туриста. Может, встречал у Ковицько, «шо з Полтавы?»: «Одно дурнэ поеало в турнэ, вернулось из турнэ все тэ ж дурнэ!»

И вот приели мы всей родней икру, — племяннице ее есть не рекомендуется; прочел я твою рукопись вместе с десятком таких же, чисто, даже хлестко, писанных, и тельняшку к себе «приносил» — я прочно прирастаю к вещам, и они ко мне тоже, но все что-то не отстаёт, тревожит меня. В длинном письме, отосланном вместе с рукописью, благодаря тебя, не за рукопись, за икру и за тельняшку, я тебе писал, что это первая тельняшка в моей жизни, но я впал в непростительную забывчивость и в черную неблагодарность — «маразм крепчал!» — как верно переиначили наши современники юмориста, «шо з Таганрога» — Антона Павловича Чехова.

Чтобы рассказывать дальше, мне придется припомнить свою биографию, совсем необременительную, а то ведь ваш брат пынче наших «биографиев» не читает, сразу заглядывает в конец книги, подсчитывает количество листов, тираж и сколько автор отхватил гонорару.

Так вот. Детство мое прошло в заполярной ссылке. Не я был в ссылке, мои деревенские родители, ну и коль у них не было моды оставлять детей в роддомах, Домах ребенка и детдомах, то они прихватили нас, пятерых детей, с собою — в качестве обременительного багажа — более у них никакого имущества не было. Отец мой был физически здоровым, крепким мужиком, и его за все за это поставили на выкатку леса с зимней реки, проще говоря: с бригадой таких же здоровенных мужиков он выдалбливал вмерзшие в лед плоты и вывозил их на берег, к заводшкку с железной трубой, где одышливая машина, соря опилками, превращала лес в доски, в брусья и шпалы. Отец не раз падал в воду, простудился, заболел цингой и умер. Мать у нас была деревенская, белая ликом и выдающая статью, красавица. Бог поступил с нею так же, как и со многими красивыми людьми, — наделяя их кра-

согою, он больше ничего к этому не добавил, считая, что для человеческого счастья и безбедного существования и этого вполне достаточно, ум пригодится и некрасивым, Бог — это вам не заведующий закрытого ларька, он все делит меж чад своих по справедливости, но не по занимаемой ими должности.

Безвольная, на ногу не скорая, умом вялая и, хотя и деревенская, по дому почти ничего не умеющая, привыкшая жить за спиной родителей и мужа своего, без ума ее любившего, мама моя растерялась, упала духом, стала опускаться, гулять и даже попивать. Нас троих, младшеньких, весной усадили на пароход и отвезли в областной город, в детдом. Двое старших парней уже работали и скоро, один за другим, поступили учиться на военные курсы, затем снизошла на них милость, разрешено им было служить в армии, откуда они уже не вернулись, сделавшись кадровыми военными. Войну они встретили в чинах, правда, небольших, и погибли на фронте в первых же боях.

Нас троих в детдоме почему-то разделили, наверное, не хватало мест, и я потерял из виду своих двух сестренок. Навсегда. Мать наша тем временем не раз сходилась с мужчинами, наконец «вышла замуж» и, винась перед нами, что ли, стала искать своих детей, и нашла меня, самого младшего, и у нее всё же хватило ума вытянуть меня из детдома. У меня хватило того же, мамино, недлинного ума — оставить детдом и податься на зов родителей. Новых!

Устроена была моя мама в станке Карасино хорошо, в хорошем доме, точнее, в половине его, к магазину пристроенном. Муж ее, пан Стас, по происхождению поляк, работал продавцом в магазине, но именовал себя завмагом и завскладом, потому как летней порой принимал от рыболовецких бригад рыбу, карасинцы под его руководством обрабатывали ее и отправляли на городской рыбозавод. Пан Стас был сухопар, строг, подчеркнуто честен, картинно, как и все поляки, патриотичен, ничего не присваивал, не воровал, да ему и воровать ничего не надо было — все находилось «под рукой», все почти «свое», даже и ребенок свой появился — моя новая и, как оказалось после, вечная сестренка Зоська. Ей шел седьмой годик. Девчонка, разодетая будто куколка, росла резвая, сытенькая, общительная, и я сразу привязался к ней, а она ко мне. Так и до сих пор. Нет уже мамы, да и пан

Стас далече. Зоська же — самая родная душа — осталась со мной навсегда. Спасибо маме и папе Стасу хоть за нее.

Почему-то меня поместили спать на чердаке, среди магазинного хлама и ломи ящиков. Дали потник, подушку в серой наволочке, старое, еще в отцовской деревне стезенное одеяло, пропахшее мочой и потом. Мне, привыкшему к казенной койке, к полосатому матрацу, к постели с двумя простынями, с чистой подушкой, пусть и стружками набитой, показалось это не то чтоб обидным, но как-то вот задело меня, вроде как я скотина какая и стойло мне отдельное определено. Среди лета на чердаке начали жучить меня комары, я расчесал тело, и пан Стас запретил мне общаться с Зоськой, помогать ему на складе и в работе на рыбоделе, потому как я «есть чесоточный», и, пока не вылечусь, мажась дегтем, «до общественного труда и дзєцка пущен быть не могу». Тогда я и познал, что такое быть шелудивым, усвоил смысл жестокой пословицы: «Паршивую птицу и в стае клюют».

А я ведь уже беспризорной воли хватил, детдомовщины, строптив, зол и упрям был. Чувство бросовости моей и одиночество толкнули меня на неблагоприятные «поступки» — я закурил, попробовал вина с разделочницами рыбы, расстегнул до пупа рубаху, плевал через губу, говорил поблатному, пришепетывая, стал называть пана Стаса пренебрежительно — Стасыч, ругал его словами, у него же перенятыми: «пся крєв, сакраментска потвора». Мать вообще в «упор не видел», презирал ее открыто, на всех сельдючат смотрел с вызовом, и, когда карасинские парнишки неизвестно за что и почему решили меня отлупить, я, сузив глаза до беспощадности кинжального лезвия, показал им кончик палочки из кармана, будто ручку ножа, вынутого из патронташа пана Стаса, и заявил, что если хоть одно шалавое карасинское быдло тронет меня пальцем — припорю пару сельдюков и сожгу их вшивые хавиры.

Нагнал я страху на мирное карасинское население. Ребятишки, идущие встречу мне, перебежали на другую сторону улицы, прятались за углы стаяк, меня даже за молоком для Зоськи не посылали. При моем появлении матери-сельдючихи хватали своих неразумных сельдючат и по-капалушы, героически прикрывая их юбками и телами, поскорее уносили в жилище.

Ни единой живой души в станке Карасино, кроме малой Зоськи, «за меня» не было. Особенно лото меня ненавидел, дразнил, высмеивал Мишка Еремеев. Мой неожиданный папуля — пан Стас был тому виной; тетка Мишки Еремеева, у которой воспитывался и жил Мишка, где-то и как-то потерявший родителей, «служила» в магазине уборщицей и прирабатывала на прокорм себе и детям на разделке рыбы. Рожденная от русского отца и карасинской сельдючихи, родословная которой в совсем близком колесе упиралась в местных инородцев: косолапая, почти безбровая, с узенькими щелками глаз на круглом и желтом лице, с провисшим животом и жидкой грудью — где могла устоять она против пышнотелой моей мамы?! Пан Стас был разборчивый сладкоежка и, как «мобилизовал» мою маму из города «до Карасино», Еремееху с должности согнал, перестал ее замечать, а у Еремеехи-то четверо своих да пятый Мишка — в придачу. Муж — обыкновенный местный рыбак в колхозной бригаде, весом килограммов сорока и росту около полутора метров. Пил, конечно, как и все здешние трудяги «до упору» — ребятишки, случалось, неделями питались одной только рыбой. Что такое есть одну рыбу, которая уж через неделю становится безвкусна, как трава, — не мне тебе, половину земного сроку проболтавшегося «на рыбе», объяснить.

Мама моя хоть и была «на должности», однако никаким делом не занималась, убирала в магазине за нее сельдюшки из рыботдела, когда она ходила на сносях — обихаживали и дом, да так это в «паньстве великовельможном» и закрепилось: мама жила панной, ничего не делала, занималась лишь собой и ребенком, которого, впрочем, тоже часто смекала сбить мне. Ходила моя мама по серому станку, среди серого народа разряженная, помолодевшая, какая-то совсем нездешняя, даже и мне незнакомая, играла на патефоне пластинки, выучила с них несколько городских песен «изячного» содержания: «Наш уголок нам никогда не те-е-есе-ен, когда ты в не-ом, то в нем цветет весна, не ух-хо-о-оди-и-и...», — стала говорить: «знайци-понимаици», «по это ж же смешно-о!» или, наоборот, «божественно», «бесподобно», и все домогалась: «Слав! Слав! Скажи, какую книжку про культуру почитать?..»

Культурное ее развитие набирало стремительный разбег. Пан Стас научил жену пользоваться ножом и вилкой,

отдельными тарелками для всех, по праздничным, торжественным дням — салфетками. Мама пыжилась и сражала наповал карасинское население культурой. Водилось «панство» только с местной интеллигенцией: председателем и бухгалтером сельсовета, учителем и учительницей, агрономом совхоза и радистом метеостанции. Среди этой своры оказался-таки человек, которого, с натяжкой правда, можно было причислить к «интеллигенции», пусть и технической, — это радист. Человек среднего возраста и для города — средних возможностей, здесь он слыл личностью почти выдающейся — владел электроприборами, радио, кинопередвижкой, кое-что почитывал, баловался музыкой — играл на мандолине, заводил патефон, не гробя пружины. Такой ошеломляющей культуры человек не мог не пользоваться восхищением и тайным расположением моей мамы. Пан Стас, в общем-то ничего, кроме шляхетского гонора и выгодной должности не имеющий, дошел в тайной ревности до того, что однажды, во время попойки, встал из-за стола, руки по швам, вытаращил и без того круглые, выпуклые глаза и грянул, сжав кулаки: «Еще Польшка не сгинела!..» — аж у всех волосы поднялись, и я думал, что пан Стас когда-нибудь порешит радиста, маму мою и себя вместе с ними.

«Повсюду сграсти роковые...» — даже в станке Карасино! От них никуда не деться. Народишко, обитавший в сем поселении, мелкий, ничтожный, затурканный «интеллигенцией», лебезил перед моей мамой и паном Стасом, боялся радиста, как древние греки громовержца Зевеса боялись, и выбрал для отмщения посильную жертву — меня. Мишка Еремеев, сухой телом, с тяжелым, как у взрослого мужика, лицом, скулы с кулак величиной, кисти рук жилистые. Скулы, занимавшие основное место, придавали лицу подростка уродливое, каторжное выражение. Там, на лице, было еще что-то: и глаза, голубые вроде бы, и брови, пусть и северные, почти бесцветные, и нос, да вроде бы с горбинкой, еще рот, широкий, всегда мокрый, с обкусанными до болячек губами, но помнились, резали глаз, подавляли все остальное выпуклые кости скул.

Я не то чтобы боялся Мишки, но отчего-то виноватым себя перед ним чувствовал и первым пошел с ним на сближение: скараулил возле школы, где он пас на поляне бычка и еще двух голозадых сельдючат — детишек Еремеевых, — я с детдомовским прямодушием протянул ему руку: «Держи лапу, кореш! Будем пасти скотину вместе...»

Мишка словно ждал моего этого шага, словно готовился к нему и заранее копил гнев: вскочил с травы, хватанул под мышки двух сельдючат, будто чурки дров, отнес и бросил их за школу, на обратном пути отвесил пинка бычку, да такого, что тот пошатнулся. Прикусив черную болячку и шипя ргом, ноздрями, выдохнул мне в лицо брызги пены: «Барашный в...! Панский кусошник!.. Если ты не sprыснешь со станка, я запорю тебя и мамочку твою — красотку!»

Вот тебе и сельдюк! Конечно же, все это, кроме кипевшей на Мишкиных губах пены: и гнев его, и угрозы, и слова — выглядело мальчишеством. В детдоме умели рыпаться и повыразительней, но, право слово, я впервые столкнулся с такой, уже выношенной, что ли, затверделой ненавистью.

Ну, что мне оставалось делать? Дни и ночи возиться с Зоськой. Сестра моя — человек по складу своему совсем несовременный, человек века этак девятого, времен первокрещения языческой Руси, по отсталости своей еще в младенчестве усекла, что все человечество любить ей не по силам, всех ей не охватить, и выбрала наиболее привычный слабым женщинам путь: любить и жалеть одного человека. И этим человеком оказался я. В Карасино меня дразнили: «Вава, дай ручку!» — я отбрыкивался от Зоськи, гонял ее от себя, родители наказывали ее за то, что она половинку печенинки или надкушенную конфетку таскает, таскает в кулачишке, аж пальцы склеятся. Допросят: «Зачем?» Врать дитя не умеет, и по сию пору не выучилось. «Для Вавы». В ней уже тогда выработался христианский стоицизм и большевистское упрямое стремление к истине, ко всеобщему братству, и каким-то образом не исключали они друг друга, хотя именно так, по передовой, материалистической науке, должно было неизбежно произойти.

На улице похолодало, и меня «сняли» с чердака. Каждое утро пан Стас заставлял меня чистить зубы, мыть в ушах, осматривал мои руки, придирчиво занимаясь моей личной гигиеной, гневно торжествовал, если случались по этой линии срывы и упущения, вроде как даже не решался доверить мне драгоценное «дзецко» в белых кудерьках, в цветастом платице, в полосатых носочках и сандаликах с ремешками. Мама говорила так, чтоб слышно было

строгому мужу: «Оболтус! Быдло! Зарази только ребенка царапкой, дак живо вылетишь из дому...»

Радист научил меня стрелять из ружья, и бывшая без дела двустволка пана Стаса перешла в мое полное владение. Я таскался с ружьем по ближним озерам, губил уток, и они, повалившись на ларе в кладовке и протухнув, оказывались на свалке, где их расклевывали вороны и растаскивали чайки, — не будет же мама заниматься паскудным бабьим делом — теревить и палить уток. Она валялась на кровати в шелковых чулках, шевеля губами, читала принесенную мною из библиотеки книжку «Тысяча и одна ночь», восклицала с неподдельным, восторженным изумлением: «Бож-же, что на свете дается! Ка-а-акой разврат!..»

Ребята-сельдючата прихватили меня в устье речки Карасихи, верстах в трех от станка. Я сидел возле закинутых удочек и караулил гусей — скоро, говорил радист, местный, серый гусь станет делать разминки, сбиваться в табуны, «потянет» через песчаную косу, намытую речкой. Тут его можно достать выстрелом из прибрежных кустов. Гусь пока не шел, зато из заполневшей от начавшихся дождей речки, снова промывшей песчаное устье, которое, как и у многих северных речек, перехватывало летами, и речка усмиралась, зарастала, превращалась во множество узких озерин — этаких теплых, кормных и удобных водоемов для утиных выводков и для сорной рыбы, вот и выметывала Карасиха в Енисей накопленное за лето добро: окуней, надменных и сытых, ожиревшего язя, ленивую сорогу — и вместе с ними катила, будто тугие мячики, выводки матереющей, на крыло встающей черняги, гоголей, серух, чирков, широконосок. Привыкшие к застойной воде, к безопасному, заглушному месту, несомые течением, жирные утки даже не греблись лапами, лишь весело крякали: «А-а, милья! Несет куда-то! Плы-вем сами собой! А свету! Свету!..»

Я почти беспрестанно поднимал гнущееся от тяжести сырое удище и волок по воде, будто жена пьяного бухгалтера, круглого, жирного, что поросенок, язя или яркоперого, воинственно ошетиленного окуня. Сразу же подвалили в устье речки на охоту щуки и таймени. Щучины, завязывая узлы, бросались на жертву, и видно было, как, схватив сорожину поперек тела, хищница неуловимыми

движениями, соря чешуей, разворачивала ее на ход головой, чтоб затем через зубастый рот отправить во чрево, и смотрела на меня из глубин, точно черт на святки через оконное стекло сатанинским взглядом. Постой, погоди, дескать, и до тебя доберуся...

Таймени, те хулигалили, будто приезжие трактористы в колхозном клубе, ходили нарастопашку поверху, пластали воду красными паспинными плавниками и хлопали яркими мощными хвостами, будто пароходными красными плицами, вбивая в оцепененье и оглушая жертву, перед тем как ею овладеть и выкушать ее. Я соображал насчет того, чтоб взять у радиста крепкого провода, крупных крючков, соорудить что-то вроде жерлицы, выволочь таймешат, если повезет — и самого атамана, продать рыбу на пароходы и купить себе обувь. Пан Стас гигиену-то блюдет, руки тщательно осматривает, но вот что ботинки, выданные мне еще в детдоме, развалились — никак не заметит. Мама моя, та вообще отдалилась от дел мирских — так ее захватила художественная литература.

Таскаю я, значит, рыбешку неизвестно для чего — у пана Стаса полон рыбодел сигов, чиров, цельмы, стерляди, он по три-четыре бочки икры сдает на рыбозаводский катер, зачем ему костлявая сорная рыба, цена которой девять копеек за килограмм — труд рыбораздельщицы дороже, соображаю насчет жерлиц, подумываю о школе — пожалуй что, придется мотать в город, хотя там такого доблестного ученика, как я, не особо и ждут, мурлычу под нос песнопение какое-то, слышу-послышу — хрустит камешник за спиной, оборачиваюсь: сзади меня целый выводок сельдюков во главе с Мишкой Еремеевым, и все вооружены дрынами.

— Ну, ты, рыбак веселый! — презрительно кривя широкий, мокрый рот, сказал Мишка. — Молись! Убивать тебя будем!

— Убивать? — я скосил взгляд на ружье, обернутое дождевиком. В одном стволе ружья картечь, в другом — дробь — вроссыпь на всю артель хватит, ежели в упор, да в башку — куцые мозги сельдючьи по камням, что дрисню, разбрызжет. — А я ведь, Мишка, хотел рыбы вам отнести, чтоб не голодовали...

Отчего, почему мне пришло в голову насчет рыбы? Зачем, почему я сказал Мишке самые, как потом понял, ранящие слова. Ведь, худо-бедно, пьяница Еремеев если не деньги, не хлеб, но рыбу-то привозил с неводной тони,

чиров, муксунов, нельму, стерлядь, на кой им мои ослиз-
лые окуни, рыхлые язи и костлявые сороги?.. Но не зря
же я поболтался по свету, пожил среди самого чуткого
народа — сирот. Я тут же усек, что сделал ляпу, допустил
оплошность, и хотел что-то сказать, поправиться, как вдруг
Мишка припадошно закатился, завизжал, забрызгал пе-
ной и рипулся на меня, замахнувшись сырым березовым
стягом.

Я отпрыгнул к дождевику, выхватил ружье и ударил
дуплетом впереди сельдюков, нарочно ударил по кам-
ням — картечь высекла искры из камней, с визгом разле-
телась по сторонам, и я увидел с гомоном убегающих сель-
дючат, выдернул из патронташа два патрона, пальнул им
вдогон и, снова зарядив ружье, направил его на Мишку,
парализованно стоявшего со стягом на песчаном приплес-
ке, шагах от меня в трех. Целясь меж глаз, налитых стра-
хом и ненавистью, я сближался с жертвой и на ходу це-
дил сквозь зубы:

— Молись, вонючий потрох! Теперь ты молись! — и
упер ему оба ствола в лоб. Мишка был крепок кишкой, но
холод стали, этот самый страшный, самый смертельный
холод, все же не выдержал, попятился. А я не отпускал
его, переставлял ноги, уперев ружье в лоб, разом вспотев-
ший. Бог спас Мишку и меня — не споткнулся я о камень
или коряжину — спуски у ружья были слабые, пальцы
мой плотно лежали на обеих скобах, малейшее неловкое
движение — и я снес бы голову Мишке с тощей шеи. Я
подпятил его к осине спиной и, темнея разумом от власти
и силы, выдохнул:

— Ну!

И Мишка, ослабев путром и голосом, запрокинутый
на бледный ствол дерева, словно распятый на плесенной
стене, прошептал:

— Слав...

— Громче! Не слышу!

— Вячеслав, прости! — почти уже спокойно, вяло про-
изнес Мишка и, отстранив рукой стволы ружья, медлен-
но, разбито поплелся по берегу, вдоль реки, оставляя на
приплеске босые следы. Издали до меня донесло громкое
выкашливание, не звук плача, нет, а живого духа, живой
плоти выкашливание. И когда я читал кедринские строки:
«...выкашливал легкие Горький», я знал уже, как это тяж-
ко бывает.

Тогда на заполярном Енисее стояла еще предосенняя

пора — самое замечательное в тех местах время, без комаров, со слабым и ласковым теплом, пространственным, почти бесконечным светом, с тишиною, какая бывает только на севере, тоже бесконечной, тоже пространственной, — и в этом пространстве отчетливей и безутешней звучал плач ранешного па всю жизнь подростка.

Дальше было неинтересно. Дальше за карасинской школой меня подкараулил пьяный Еремеев, ростом и статью с меня, мокрогубый тоже, с оборванными на грязной рубахе пуговицами, в телогрейке, блестящей на полах от рыбных возгрей и на рукавах — от его и ребячьих соплей. В драпую распахнутую рубаху видно ребристую грудь — такая бывает у вешних, необходимых уток, живо съедаемых вшами, и тем не менее Еремеев хотел выглядеть мужиком-громилой, грозил мне пальцем:

— Эй ты, урка! Я те башку-то оторву!

— Че-о-о-о? — Из-за угла школы и из-за праздничной трибуны, сколоченной из неструганых досок, по углам которой ржаво краснели прибитые, полуобсыпавшиеся пихточки и елки, выглядывали раскосые ребячьи морды. Мишки среди них не было. Возле трибунки валялись объединенные еремеевским бычком елки с торчащими сучками — шильцами. И когда Еремеев, громко матерясь, бросился на меня, я схватил одну из этих елочек, отчего-то за вершинку схватил, и ударил ею по нестриженной вшивой голове. Еремеев вскрикнул «ой!», схватился за голову, поглядел на ладонь и побежал от школы, показалось мне, как-то даже радостно вопя:

— Нозом! Нозом! Он меня нозом, бандит!

Я догнал Еремеева и, заступая ему дорогу, испуганно показывал «оружие», которым его поразил:

— Я елкой, елкой! Нет у меня ножа! Нет! Сучки! Сучки! Сухие сучки!..

По шее Еремеева тонкими ниточками сочилась кровь. Отталкивая меня с дороги обеими руками, он упрямо рвался к сельсовету.

— Нозом! Нозом! Бандит! Бандит!..

Вечером пан Стас скорбно сообщил, что в сельсовете оформлено дело в суд, что отвезут меня в колонию для малолетних преступников, и мать, мама моя разлюбозная, хорошо изучившая желанья и прихоти пана Стаса, в тои ему охотно подмахнула:

— Туда ему и дорога.

Ночью я подкрался к кровати Зоськи, поцеловал ее в мягкие кудерьки, в соленое от пота лицо, посмотрел на разметавшихся по деревенской жаркой кровати ненавистных мне супругов, на ружье, висящее над их размякшими от сна и жары телами, на патронташ, к ремню которого была прикреплена ножна с торчащей из нее ручкой ножа, недавно мной наточенного до бритвенной остроты, и как бы между прочим подумал: «Прирезать их, что ли?..» Но в это время завозилась в кровати Зоська, невнятно позвала: «Вава! Вава!» — все услышало, все предугадало маленькое еще, но такое чуткое, никогда мне не изменявшее сердце сестры. Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть, да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной любви, до суеверности страшно, и я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог и уже не смогу подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили Господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла, оно переполнено добром и любовью к людям — написать же, родить и вообще что-то путнее создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно.

Я побайкал мою малую сестренку, она почувствовала мою руку, успокоилась. Взглянув еще раз на нож и на спящих под ним родителей, я снисходительно им разрешил: «Живите!» — ушел в совхоз, где грузили сеном паузок, забрался в пахучее, свежее сено, уснул в нем и проснулся уже в городе — шкипер со шкиперихой сбрасывали с паузка сено на берег и чуть было не подняли меня на вилах, как партизаны восемьсот двенадцатого года чужеземца — мусью. «Ой, бандюга! Чуть не запороли!..»

Ломая голову над тем, как мне теперь с помощью милиции попасть обратно в детдом, желательно бы в тот же, из которого вызволила меня моя мама, я стриганул с паузка по сходимям. Шкипериха, зверея от праведного гнева, крыла меня вдогон: «И зря, и зря не запороли! Незачем таким головорезам жить на свете! С эких пор с ножом на людей!.. Чё из него будет?..»

«Чё будет?» — а кто знает, «чё из детей будет?» Из меня вот не самый худой солдат получился, и пусть не

самый лучший, но все же семьянин и литератор. Вполне самостоятельный литератор, как утверждает критика.

В одна тысяча девятьсот сорок третьем году сестра моя Зоська приехала в Арзамас, забрала меня из госпиталя и увезла к себе, «до Сибири». Работала она в ту пору на обувной фабрике «Спартак», жила в общежитии, в комнате на шесть девчачьих душ, но как-то изловчилась, выхлопотала отдельную комнатку. Сестре шел семнадцатый год, была она заморена, изработана, но красива какой-то издавна дошедшей, тонкой, аристократической красотой, точнее, лишь отблеск, лишь тень какого-то древнего рода докатилась до нее, коснулась ее, и в глазах сестры такое было пространство, такая загадка времени, кою не разгадать, лишь почувствовать под силу было разве что Тициану, Боттичелли, нашему дивному Нестерову, тут еще отзвук ее нечаянной северной родины с этой предосенней тишиной и бесконечностью предосеннего света. Мне всегда было боязно за каким-то дуновением донесенную, духом ли времени и природы навеванную женскую красоту, которую Зоська не ведала, хотя и ощущала, наверное, в себе, да все ей было не до себя. Она поровила недоесть, недопить, недоспать, чтоб только накормить, обстирать, обиходить братца, не убитого на войне, ночами просыпалось, чадо — не побоюсь слова, ей-богу, святое, — поднимет голову, завертит тонкой шеей, что весенняя беспокойная синица: «Вава! Ты стонал. У тебя болит?..» — «Война мне снится, война. Спи ты. Тебе рано на работу».

Надо было и мне куда-то устраиваться, помогать сестре заработком и рабочим пайком. Тут же, на фабрике «Спартак», я сделался вахтером, одноному подходящая должность. От ночного безделья много я читал и на проходной фабрики «Спартак» начал сочинять стихи, которых стыжусь больше, чем первородного телесного греха.

Я шел в литературу просто, по проторенной тропе стопами, лаптями, сапогами и модными туфлями многих графоманов, с той лишь разницей, что медленнее многих, потому как на протезе. Пришкандыбал однажды в молодежную газетку со стишками, и их напечатали. За патристическое содержание. Целой подборкой. Добро хоть догадался напечатать то убогое словесное варево под псевдонимом. Зоська разоблачила меня, раззвонила подружкам, кто скрывается под красивой фамилией — Саянский, и сделался я знаменитостью аж на всю обувную фаб-

рику. Зоська по сию пору бережет вырезку из газеты военных лет с моими первыми стихами, как, впрочем, и весь хлам бережет цуце своего глаза — все газеты, журналы с моими творениями. Так уж повелось, что первый свой автограф на новой книге я всегда оставляю ей — моему ангелу-хранителю, и Зоська подаренные ей книги никому не дает читать, обернула их в целлофан, выделила для них в книжном шкафу отдельную полку и в «экстазе» преданности автору написала на торце полки красной краской: «Книги моего любимого брата». Дело дошло до того, что домашний художник — племянница Вичка по подсказке матери на той же полке изобразила из фольги лавровую ветвь. Ну уж, такой славы, таких почестей я выдержать не смог, упросил убрать незаслуженные атрибуты творческой доблести, пришлось даже пригрозить, что заходить перестану, если не прекратится культ моей личности в этом доме. Сестра моя огорчилась, считая, что меня затирают, оттесняют более пробивные люди, что и я, и книги мои достойны иной участи...

Да ладно, пойдем «упярод», как говорил мой второй номер у пулемета, Ероха Козлокевич, не спеша вылазить из стрелковой ниши, — всегда у него в это время находилось неотложное дело: надо было скручивать и прижигать сигарку, без которой он ни жить, ни тем более биться с врагом не мог.

Пап Стас в том же, сорок третьем году, чуть раньше моего возвращения из госпиталя, подался «до града Рязань», где формировалась армия Войска Польского. Маму мою он в Карасине оставить не решился, ее б там прикончили мстительные сельдючихи, вывез и пристроил ее уборщицей в городской магазин, определив на жительство в переселенческий барак под номером два, жилища, смахивающего на древний испанский галеон, плывущий по болоту и год от года все глубже погружающийся в оттаивающие от человеческих тел болотные хляби.

Мама моя была в письмах, просила не бросать ее, называла нас с Зоськой «любимыми детками». Но Зоська отчего-то не спешила вызволять маму с севера, я тем более — мы едва-едва справлялись со своей жизнью и не пропали с голоду только потому, что на Покровской горе у нас был картофельный участок. Мама, не глядя на мою инвалидность и на Зоськино малолетство, не постеснялась бы сесть нам на шею и сделаться нахлебником, еще

и «болеть» примется — привычное ее занятие; да и жилье наше — комнатка в десять метров с кирпичной плитой об одну дырку, с двумя топчанами да дощатым столиком меж них — не располагала к расширению «жилого контингента».

Ну, а жизнь шла, двигалась «упряд». Кончилась война. Зоське повысили разряд, я пересел с вахтерской скамейки на редакционный, задами расшатанный стул, сделался «литрабом» в отделе культуры молодежной газеты. Вскорости в Зоську влюбился молодой инженер, по фамилии Рубщиков, по имени Роман. Но хоть сам-то он Роман и еще Рубщиков, да Зоська никакого с ним романа иметь не хотела. «Вава! — рыдала она. — Ты дльчэго* хочешь прогнать меня до постороннего мужчины? Чьто я тебе плохого сделала?» Зоська, когда волнуется или радуется, малость прихватывает польского акцента — от папы Стаса это ей единственное наследство досталось, да и я вечно ее высмеиваю и дразню. Но тогда уж без всякого дурачества орал: «Дубина стоеросовая! Ты что, век меня пасти собираешься? Как Божью овцу?»...

С грехом пополам изладил я все же первый, настоящий в жизни роман — вытолкнул сестру замуж. Шурин за этот самоотверженный поступок возлюбил меня еще больше, чем сестру, и живем мы с ним ладно, пожалуй что, как братья — старший и младший.

Но вот пришла пора и мне определяться. Я женился на молодой, «подающей надежды» журналистке, по имени Анюта, балующейся стихами. Тут семья складывалась со многими спотычками: Зоська привыкла опекать меня, направлять, оберегать, поить, кормить, за руку водить, как я ее когда-то маленькую водил, и с обязанностями своими расставаться не собиралась. Ох, дурная баба! Откуда бы я ни возвращался: с севера, с юга, из столицы, из зарубежной ли поездки, — и в любое время дня и ночи, в любую погоду торчит на перроне с цветочком в руке. На сносях была — и то явилась. Я и ругал ее, и побить сулился, она свое: «Вава! Разве тебе неприятно, когда встречаются?» Да приятно, приятно, даже более чем приятно, еще самолет катится по полосе или поезд подходит к перрону, я уж отыскиваю глазами мою сестру-красавицу, увижу — и сразу камень с души: «Слава Богу, Зоська здесь, значит, все в порядке».

* дльчэго (польск.) — почему.

Анюта ревновала меня к сестре до истерик, до хворей, вгорячах даже ногой топнула: «Я или она?!» Но тут со мной сладить невозможно, тут я тоже характер проявил: «И ты, и она!» — сказал. Надолго растянулась семейная наша история. Жена моя чуть не в шею выгалкивала Зоську из нашего дома, та, гляди, уж звонит: «Вава, скажи Анюте, чьго я заняла на нее очередь за яйцами». Но допекла ее все-таки моя женушка, допекла. «Анюта, — плакала Зоська, — ты дльчэго хочешь разлучить меня с братом? Ты хочешь лишить нас жизни?»

«Моего мужа две женщины на руках носят, потому как у него протез», — шутит над нами моя жена, как ей кажется — остроумно шутит. Сама себе подарившая право думать, что она была бы выдающимся поэтом, не сгуби я ее талант, меня она высмеивала, книжки мои, особенно первые, изданные в провинции, высокомерно отвергала, но от гонорара, пусть и жидкого, никогда не отказывалась. Я со своей в себе неуверенностью, с горького полусиротства, придавленный комплексом неполноценности, пытался даже бросить заниматься литературой, но не смог. Было у сестры уже дитя, да и не очень здоровое, когда Анюта дошла до крайности, жестоко оскорбила Зоську, при Романе бросила грязный намек насчет меня и сестры. Мужик оказался не короткой памяти и сказал, что ноги его в нашем доме больше не будет.

Насмотревшись на романы, проистекавшие на факультете журналистики в Свердловском университете, да и на вечные редакционные семейные бури, романтические увлечения, спасения «местных гениев» личными жертвами, не раз заканчивавшиеся роковым образом, Анюта моя не то чтобы не верила в человеческую добропорядочность, она по-здоровому сомневалась в ней. Примеров и материала для сомнений было не занимать. Доморощенный гений, по имени Артур, с детсадовского возраста пишущий стихи, сводивший с ума сперва маму, затем и папу, довел нашу самоотверженную машинистку Лялю до того, что она выпила целый флакон уксуса, сожгла себе кишечник, печень, испортила почки — на всю жизнь осталась инвалидом. Пока разбирались с тихой Лялей, спасали ее, бежали, ахали да возмущались, поборница независимости женской личности, практикапка Анюта угодила на операцию под уклончиво-обтекаемым пазванием «прерывание беременности», после чего в ее суждениях сразу поубавилось категоричности, а в газетных заметках пафосу. Мест-

ный гений Артур все порхал и порхал по редакционным коридорам, одаривая человечество стихами в защиту угнетенных народов, горькой трескучих строчек ограждал детей от атомной войны и поголовной гибели, приветствовал и поздравлял цветистыми фразами женщин с началом весны в Международный женский день, разящими куплетами боролся с пагубным влиянием алкоголизма, делал, правда, все это уже по многотиражкам, районкам и спецброшюркам; в областные газеты и в альманах, выше которых ему так ни разу выпрыгнуть и не довелось, его больше не пускали.

Вот тогда-то, во дни горестных страданий и редакционных бурь, борясь с оголтелым гением, проникшись жалостью к его невинным жертвам, я, как ответсекретарь редакции и член областного комитета комсомола, пусть и шибко «в девках засидевшийся», взялся утешать нашу практикантку, говоря, что еще не все потеряно в ее молодой жизни, что человек не всегда знает свои духовные и физические возможности, но наступает критический момент, и в нем выявляются невиданные силы, способные победить любую боль, залечить любые раны, забыть даже невозможные утраты.

На почве утрат мы и сошлись: я потерял погу на фронте, молодая журналистка, пылко борясь за эмансипацию женщин, тоже кое-чего лишилась. И признаться, я, бывший у нее вторым мужчиной, — о, этот вечный второй! — с ужасом думал, что было бы со мною, если бы выпало мне несчастье быть первым? Ведь к упрекам: «Погубил жизнь и талант» — прибавилось бы еще одно ужаснейшее обвинение: «И чести лишил!» Этого груза нашему семейному кораблю было бы не выдержать, он бы «стал на свисток», иначе говоря, опрокинулся бы. Не-эт, в наше время лучше уж быть третьим, пятым, десятым, но не первым! Обречь себя на суд безупречной, уязвленной нравственности? Не-эт, уж лучше сохранить отношения, придерживаясь классического мерил: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним...». У нас с Аниотой, правда, все было наоборот, поскольку не средневековье, век энтэ-эра на дворе...

Однако ж, несмотря на неистощимый юмор и мужественную готовность к постоянным жертвам, ушел я тогда из семьи. В редких своих самостоятельных поступках я бываю тверд. Жена моя, зная это, захворала, сперва просто так, но когда возле меня закрутилась дамочка с сига-

регой «Мальборо» в зубах, ценящая мой богатый «унутренний» мир, — заболела всерьез. Зоська за руки привела ко мне моих детей — дочку и сына: «Вава, ты рос сиротой. Хочешь их также обездоливать?»

Не знаю, что было бы со мной, с детьми, с нашей непрочной семьей, если б не сестра. Недавно, всего года три назад, хватанул меня небольшой инфаркт — спутник сидячих работ, и загремел я в больницу. Очнулся ночью, за окном Зоська поет: «Вава! Вавочка! Подай голос! Может, ты уже не есть жив?» — «Если не хотите иметь два трупа, ставьте раскладушку в палате», — сказал я врачу.

«Я знаю, ты мне послан Богом», — поется в опере. Зоська уж точно не судьбою, Богом мне дана. Вот не станет меня в этом мире, а произойдет это скоро: фронтовики, перевалившие за шестьдесят, долго собою не обременяют человечество, скорбнет по мне Союз писателей десятью строчками некролога в «Литературке», и тут же, в горячке речей, среди важных дел и заседаний забудут собраться по перу о том, что из колоса, возросшего на поле, возделанном мучениками и тиганами мысли прошлых веков, выпало поврежденное осколком войны зернышко, так и не успевшее дозреть на ниве рискованного земледелия. Домашние мои тоже погорюют, поплачут да и примирятся с неизбежной утратой. Но переживет ли меня сестра? Вот в этом я не уверен.

Но я отвлекся.

В одна тысяча девятьсот сорок восьмом году мы с Зоськой получили квартиру в старом двухэтажном доме, и сестра сказала мне: «Вава, теперь можно привозить маму. Бог не простит, что мы ее побросали».

И я поехал на север, за мамой. На старом, знакомом мне с детства колесном пароходе, который отапливался уже не дровами, а углем, кричал бодрее, дымил чернее, шел, однако, все так же петоропливо по водам родной реки, а я наслаждался первый, кажется, раз после войны покоем и природой.

На старом пароходе было теснее, неудобнее, но в то же время все располагало к сообществу и взаимопониманию. Дня через два уже все пассажиры более или менее знали друг друга, хотя бы в лицо. Я обратил внимание на скуластого, высокого моряка с медалью «За победу над Японией». И он на меня тоже. Встретится взглядом, дрогнет широким ртом, вроде как хочет улыбнуться приветно,

и тут же закусит зубами улыбку. Что-то встревожило меня, насторожило — я силился и не мог вспомнить человека в морской форме, хотя на зрительную память мне грех обижаться. Усталость, множество людей, мелькавших передо мной в войну и после, особенно в газете, заслонили собой что-то очень знакомое, до боли, до смущения ума, до сердечной муки знакомое.

На третий день путешествия, да, кажется, на третий, стоял я на палубе, опершись на брус, глазел на воду, на берега, как вдруг кто-то звонко завез мне по спине и затянул: «Вава, дай ручку...»

Я обернулся. Мне улыбался во весь рот моряк.

— Мишка! — узнал я наконец давнего своего неприятеля. — Еремеев!

— Ну, чё? Стреляться будем или обниматься?

— Не знаю, как ты, Мишка, а я настроился досыта...

Мы обнялись, расцеловались, малость прослезились даже и скоро сидели уже на корме парохода, меж полениц кухонных дров и бухтой каната, и у ног наших стояла «злодейка» с приветно открытым зевастым горлышком.

Вино у нас скоро кончилось, разговоров хватило на всю дорогу.

Бывают пустыки, вырастающие до символов! Якорек, наколотый на моей руке тупыми иголками беспощадных детдомовских кустарей, подвинул Мишку Еремеева на моря. Думающий, что я живу сыто, богато и счастливо за спиной важного отчима и вальяжной мамы, ничем меня не уязвивший и ни разу в Карасино не победивший, Мишка решил достать, переслужить и переплюнуть меня в морях, совершенно уверенный, что встретит меня там однажды, поскольку у меня на руке синееет якорь, похожий на раковую клешню. Не зря же он, тот якорек, с болью, страданием, с риском заражения крови, наносился на мое живое тело. Но море широко, судьбы человеческие разнообразны, ни на воде, ни на суше не встретил меня Мишка Еремеев и ничем не отомстил, а вот себя погубил. Он тяжело болел туберкулезом, он сгорал от чахотки и ехал в Карасино умирать. Более ему ехать было некуда и не к кому, более его никто и нигде не ждал, да и тетка, сделавшаяся многолетней бабушкой, едва ли ждала. Пьянчужка ее муж, Еремеев, давно умер, поселок Карасино обезмужичел и тоже замирал, рыбу ловить стало некому, другого ничего карасинцы делать не умели.

Скоротечный туберкулез Мишка получил обыденно, мимоходом. Как и все смертельное, страшное, знал я по военному опыту, получалось до удивления просто. Служил он на эсминце «Стремительном», спущенном на воду перед самым началом войны. В боевых действиях участвовал недолго. Где-то в какой-то бухте наша военная эскадра зажала и блокировала отряд японских кораблей, всадила десяток торпед в борта ближних посудин, истосковавшись по военным действиям, жаждая громких побед, жаждала — для остротки, из главных калибров по пирсу, по набережной. Еще и дым от залпа не осел, как все побережье и корабли украсились белыми флагами. Здесь и простояла до конца боевых действий наша эскадра. Моряки гасили пожары, принимали пленных и трофейное имущество, веселились, помогали мирному населению ремонтировать причалы, жилье, кто похозяйственней, копал на склонах огорода, кто помоложе и порезвее — «дружил с приморским населением», крутил романы с девчонками.

Радостное событие, скорая победа породили некую беспечность в сердцах моряков. Ходили по океану весело, почти безоглядно, переходя на «мирные рельсы», разминировали воды и порты. Стоя на посту и на вахте, от бурности сил и брызжущей весельем нетерпеливой молодости, били чечетку на железной палубе, мечтали о надвигающейся счастливой жизни на мирной, земле, среди устало переводящего дух, надсаженного нашего народа.

Так вот однажды в этом все не кончающемся чувстве эйфории, опасной, между прочим, болезни, заступил Мишка Еремеев на пост, на верхней палубе. Ночью ударил снежный заряд. На Мишке тельник, фланелевый бушлатик, форсистая бескозырка. Но, считая себя шибко закаленным, гордым, все еще кипящий внутри от горячащего сознания совершенного однажды подвига, пасквозь промокший и продрогший, замены вахтенный не потребовал, даже сухой одежды не попросил.

Утром его знобило, ломало, он встал под горячий душ и выстукивал зубами: «Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда...»

Ослабленный в детстве полуголодным житьем, до помрачения ума самолюбивый, уже поняв, какая болезнь привязалась к нему, пробовал скрывать ее Мишка. По совету всезнающих бабок давил и ел собак на берегу, по рецептам еще шибче знающих, просоленных моряков и

знахарей корейского и китайского происхождения пил горькие травы, грыз почвами похожий на комбикорм комок глины, обматывался компрессами на горячем спирте, держался бодро, много и весело пел, смеялся.

Но силы его таяли, тело худело, провалились щеки под крутыми скулами, лицо спеклось от жаркого румянца, шелушились слабые губы, всюду выступала кость. Он пытался побороть болезнь работой, вкалывал наравне со всеми, надеялся неистовостью природы, упрямством характера заломать болезнь или хотя бы спрятать ее от экипажа. На корабле, в тесной его железной коробке, ничего не спрячешь. Друзья по экипажу какое-то время «не замечали» Мишкиной болезни, тайно, затем в открытую помогали ему. При нынешней медицине Мишку, наверное, вылечили бы — живуч по природе парень, половину легкого отхватили бы, чего-то подтянули бы, поднакачали. Но тогда еще нечем было лечить туберкулез в открытой, тяжелой форме. Однажды, на перекомиссии, «зацепили» Мишку, поддержали в одном-другом госпитале и, пока на ногах моряк, потихоньку с флота списали.

Ну и как у нас, душевных русских людей, водится, после госпиталя отвальная, братанье на родном корабле, хлопанье по плечу, благодарность командования Тихоокеанского флота, командира эсминца, старпома, замполита, пожелание скорейшего выздоравливания, счастливой жизни, доброй жены и многих детей...

Мать моя все еще была при магазине и при продавце, на этот раз по фамилии Крауничкас — что-то все бросало ее на иноземцев! Снова имелась у нее «заместительница», которая мыла и убирала магазин, огребала зимами снег во дворе, летом убирала грязь, ящики и тару. Мама, как всегда «болела», валялась на кровати; на этот раз с выменянным на говяжью тушенку, выдрапным из старого журнала романом про любовь полудикого, страстного африканца к белой жене своего господина. Африканец пенароком сотворил госпоже серого ребенка, за что оба они — и африканец, и госпожа — понесли заслуженную кару: господин обоих полюбовников задушил в постели беспощадными волосатыми руками. «Чё на свете деется-а-а! Разврат! Сплошной разврат!» — восклицала мама с неподдельным, как и прежде, восхищением и возмущением. Она безбедно перевалила войну, очень хорошо сохранилась, все еще была привлекательная, пышна телом, и я

внутренне кипел, поставив в мыслях рядом с нею так и не нажившую тела, стремительную, изработанную Зоську.

Мама моя грубым и брезгливым чутьем здорового человека сразу угадала болезнь нашего гостя и шипела на меня, зачем я его приволок? Еще заразит всех! Я ей говорил, что это Мишка! Еремеев Мишка, из Карасина, что пароход в Карасино не пристаёт и что, как будет попутный катер, он уплывет к тетке, но лучше бы ему в больницу, у него началось кровохарканье. Мама сказала, что в больницу в здешнюю его не возьмут, что надо ему оставаться на магистрали, там есть специальные больницы для таких — называются тубдиспансер. «Мы при магазине. Не дай Бог хозяин «заметит», «прибалт нравен и ой-ей-ей как крут! Стас по сравнению с ним ангел небесный...»

Измятая, истерзанная сиротством и житьем в чужом доме, душа Мишки Еремеева, обостренной все чувствующая от приступившей вплотную смертельной болезни, конечно же, уловила настроение в «маминоме доме». Моряк поскорее заспешил к тетке в Карасино, и тогда-то, на прощанье, вынул Мишка из чемодана тельняшку, сунул ее мне и сказал с отчетливой значимостью: «Носи на здоровье!» Я попробовал отказаться — дороги тогда были вещи, но Мишка сказал, что ему тельняшка уже ни к чему, дай Бог доносить ту, что на теле. И я, стиснув зубы, при молк, чтобы не издешевить прощание пустословием. Когда на скользкой вонючей палубе рыбосборочного катера мы обнялись, не убирая рук с костлявой спины моряка, я попросил простить меня за все, «в чем был и не был виноват», и писать просил, если захочется о чем-либо поговорить, если потребуется помощь и просто так.

Но Мишка Еремеев так никогда мне и не написал.

Я десять лет не снимал с себя тельняшку, носил ее от стирки до стирки. Она не только согревала мое тело, она помогала «моему перу», не позволяла предаться излишнему словесному блуду и бахвальству. Затем тельняшка как-то сама собой перешла к моему сыну. Ее укорачивали в рукавах, чинили, раза два ушивали, и однажды я увидел в ванной полосатую грязную тряпку — остатками тельняшки мыли полы. Я возмущился, хотел заорать, но сдержал себя. Что делать, что делать?.. Такова жизнь! (Чуть не брякнул модное «се ля ви»!)

Я не страдал так широко распространенной у нас хворью-самомнением, не болел самоздравием, знал свое место на земле, и во многочисленном ряду собратьев по

перу, зная место и меру дарования, не лез «с калашным рылом в суконый ряд», не обивал пороги редакций, не канючил вставить меня в план, не кусошничал, не унижал своего человеческого и солдатского достоинства. Я почти всю послевоенную жизнь, пока не случился инфаркт, сидел в редакции, на опостылевших мне стульях и даже в креслах, с помощью зарплаты и пенсии по инвалидности худо-бедно кормил семью и себя. У меня была хорошая память и от сиротства доставшееся чувство юмора, с возрастом переродившееся, что ли, — не знаю, как и сказать, — в иронию, к сожалению, порой злую. Но дарование мое невелико, и, чтобы писать, мне надо было все время «подзаряжаться», нагружать память, заставлять работать сердце, глаза, уши, нос, все, что дает возможность человеку наблюдать, слушать, чувствовать. Я не способен был, как тот юноша из петербургского салона, из юнкерских казарм вознестись за облака и потревожить самого небесного сатану...

Я доживаю свою жизнь богоданную, человеческую и вместе с нею домалываю долю среднего провинциального писателя. Доживание первой наполняет меня печалью и сожалением о чем-то несвершившемся. Чего-то не дождался я от нее, от жизни, до чего-то не дошел, чего-то не допоял, не долюбил, не дорадовался, и, значит, в той, другой жизни, если она существует, мне есть что ожидать и что делать.

Во второй, творческой моей жизни свершилось все, что я мог совершить, и я устал, исчерпав свои возможности, переизнасиловал свою нервную систему, перетрудив себя, надсадив здоровье. Книги мои ненадолго переживут меня, и это их и моя справедливая доля. Лишь несколько страниц в повестях, два-три рассказа, которые я написал в молодости, в поздней инвалидной молодости, потому как ранней у меня не было, она осталась в окопах и госпиталях, когда влюбился в Аниюту и когда родился мой первый ребенок, а у Зоськи Вика, — дались мне легко, на вдохновенной волне, на душевном подъеме. Остальное: труд, труд, труд, перекаливание организма, изжигание сердца в искусственно поднятой температуре.

Я прожил творческую жизнь на отшибе, особняком, и не хвалю себя за это, но и не ругаю. Что толку в оргиях, в толпе, в дыму табачном, в толкотне и шуме при составлении планов областного «средне...» какого-то издательства. Собрания сии, слюнявый Лев Гендерович, выбивший-

ся из нашей газетки в главные редакторы областного издательства, называл «делилом кровельного железа в эском жэкэ».

Завидовал ли я большим и «достославным»? Да, завидовал, но зависть укрощал сам, и она меня не ослепила. Негодовал ли я по поводу того, что бесталанные царят на месте талантливых и учат их жить и работать? Да, негодовал и справедливо негодую до сих пор. Сожалел ли я о том, что не перебрался в столицы и не помаячил «на виду»? Я провинциален по духу своему, неторопливой походке и медленным мыслям. Слава Богу, понял это тоже сам, и понял вовремя. Заступал ли я своим скрипучим протезом дорогу веселому, дерзко-даровитому, кудрявому и звонкому? Нет, не заступал, потому как на моем пути и не встретился таковой. Бил ли я тех, кто кормился ложью, давал об себя выгирать ноги ради сиюминутной выгоды, кто откликался, как увеченный костями человек на любое изменение погоды, вторя вою переменчивых ветров: «Возьмите меня! Все сделаю, как захотите!» Один раз набил морду чиновному подлецу на месте его действия, в его просторном кабинете. Большого от меня, безногого инвалида, и требовать нечего, да на большее я с мерой моего таланта, а значит, и мужества — по Еремке шапка — и не способен, тем более что подлец тот сразу «исправился», подтверждая истину: коли каждый порядочный человек набьет морду подлецу — вся подлость сразу и истребится вот и не хочу я отбирать такую нужную и благородную работу у других людей, устремленных к справедливости.

Не только «всею свой час», но и всякому, высокопарно говоря, творцу свой труд, свои муки, тревоги и мятежность духа: один не ладил с царем, ссорился с высшим светом, срамил мировую гармонию, да и в Боге что-то его смущало, и в небесах не все устраивало. Другой шепотом, чтоб не разбудить детей в малогабаритной квартире, ссорился с женою из-за того, что прокантовался в редакции до полуночи, жена думала — у сестры. Мы даже умрем по-разному: «Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок», посередь зимнего Петербурга, в окружении блистательных друзей и стечении плачущего народа. Я, скорее всего, в ночную пору тихо отойду в областном госпитале для инвалидов Отечественной войны, где сестры не берут денег за уколы и за судно, где устаешь слушать ослабелых умом и памятью людей, денно и ночью вещающих о небывалых подвигах. Подлинную во-

йну они забыли, да и помнить не хотят, потому как подлиная была тяжкой, некрасивой. Не осуждаю я их даже за то, что перед смертью просят они не вынимать зубные протезы изо рта, чтоб выглядеть «красивей». Отныне им судья уже Бог, но не люди. Я и сам ныне, чтоб выглядеть «красивше», почти ничего не пишу о войне, да и прежде мало писал, все боялся оскорбить память моих братьев-пулеметчиков нечаянным хвастливым словом, неловким сочинительством и ложью — мера таланта не только мера мужества, но и мера правды. До понимания ее я, может, и дорос, но до глубинного осмысления и изображения — нет, и поэтому перестал брэнчать на военную тему, ведь чем больше наврешь про войну прошлую, тем ближе сделаешь войну грядущую. Приближающемуся последнему часу и всем, кто придет проводить меня, я могу сказать, не отводя глаз: «Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, — Я верю: то Бог меня снегом занес, то выюга меня целовала!» И сотворю кощунство за божественно-ясноликим Блоком, процитирую себя, совсем еще провинциального: «А так ли прошли мои годы? А сколько осталось прожить? А много ли будет народу, когда понесут хоронить?» Немного. Но будет. И поплачут. И помянут, и перед смертью сам я всплакну строкой любимого поэта: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Никого не кляню, никого не ругаю, а благодарю Создателя за то, что даровал Он мне радость творческого упоения и подсоблял в минуты колебаний и соблазнов жить по правилу, завещанному храбрым русским офицером и светлым поэтом Батюшковым: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь».

Я не изведал того пламени, какой сжигал Лермонгова, Пушкина, Толстого, не узнал, каким восторгом захлебывались они, какой дальний свет разверзался пред ними и какие истины открывались им. Но мне тоже светил вдали огонек, звал, обещал удачу. Я тоже знавал, пусть и краткое, вдохновение, болел и мучился словом, и мои муки никому неведомы, и моя радость сочиненной строкой, сотворением собственного чуда останутся со мною. Пускай не пламень, только огонь, даже отсвет его согрел и осветил мою жизнь, спасибо судьбе и за это. Спасибо и тебе, многотерпеливая бумага, и прости меня, лес живой — это из тебя, из живого сотворили мертвую бумагу, на которой, мучимый природным даром, я пытался ожи-

вить и лес, и дол, и горы, очиститься душою и чаял, всегда чаял, хоть пемножко, хоть чуть-чуть помочь сделаться людям добрее.

Я донашиваю девятый протез и, как дождусь сына из армии, сменю госпитальную палку — такой вот странный зарок себе пазначил. Сын будет донашивать уже вторую тельняшку, спящую с моего тела, Бог даст, с живого. Дочка заканчивает десятый класс. Она похожа на сестру мою и статью, и характером — вылитая тетка! Но может, я это выдумал и хочу в это верить. Был я, между прочим, в Польше, отыскал пана Стаса. Он тоже инвалид войны. Обрадовался мне старик до беспамятства, как выходящу с того света. Живет пан Стас смирно и скудно. У него клочок земли на юге Польши, бедной прикарпатской земли, едва-едва кормящей семью: жену, очень молчаливую, дородную и работающую крестьянку, и двоих детей, которые уже собираются в Краков, «до научного заведения». Пан Стас просил, чтоб приехала до него дочь Зоська. И я пытался склонить ее к дальнему вояжу, но сестра моя выявила непреклонность: «Не хочу! Мне хорошо достаточно нашу дорожую маму».

Надеюсь, после печальной моей исповеди о жизни и судьбе провинциального писателя тебе не надо повторять «Если можешь — не пиши». Вот передо мной разноцветные кубики, рассыпанные по полу, словно перед малым дитем. На кубиках нанесены: аэропорт на Дальнем Востоке, ты и Люда, пенистый голубой ручей, две тельняшки, Зоська и жена, дочь и сын, любимая племянница, стол, заваленный бумагами и книгами. За окном оледенелая река, стиснутая горами, над горами прорезь зимней, ничего доброго не сулящей, йодисто-желтой зари; куда-то тянет самолет, воеет собака у соседа, и где-то, за тысячи верст отсюда, заброшенный стапок Карасино, потерянные его могилы. На севере все зарастает медленно, зато могилы теряются быстро — изопревшие в сырости надгробные знаки выталкивает мерзлотой. Давно уже нет могилы Мишки Еремеева, на земле все его забыли.

Как мне все это собрать «до кучи», как из всего этого «материала» выстроить сооружение под таким многообязывающим, под таким до дрожи, до оторопи пугающим словом «сочинение», да еще и «художественное».

Кабы я знал, кабы ведал.

ВИМБА

В те уже давние годы писательский Дом творчества в Дубултах, под Ригою, располагался в стареньких уютных домиках. Стремление к общему бараку, поставленному на попа, с одинаковыми комнатами, окнами, дверьми, столами и стульями, с общежитским его комфортом, еще не захватило творческие умы, и мы с женою заселяли узкую комнату на две койки, в домике, по крыше которого шуршал ветрами сосняк, в раму царапались старенькие, скорбные кусты акаций, как бы радующихся нашему приезду и по этому случаю обещающих зазеленеть и зацвести свечным, пестрым цветом.

Вдруг старый дом закачался, задрожал, от топота посыпалась штукатурка, что-то со звоном упало в коридоре, и в комнату нашу без стука ворвался лохматый человек с горящим взором, сгреб в беремя мою жену и начал ее целовать, потом сгреб меня и тоже начал целовать, крича при этом на весь Дом творчества:

— Чьто ты сидишь, а? Чьто ты сидишь? Вимба идет, а ты сидишь!

Это был Гарий, мой давний приятель, с которым мы познакомились на какой-то выездной творческой компании, которой надлежало укрепить творческий дух и взбодрить полет дерзкой художественной мысли.

Я с дороги был не в духе, хотел на ком-нибудь выместить свое всем недовольство и раздражение, но со мной была лишь жена, за много лет так вызнавшая меня и приспособившаяся ко мне, что научилась ускользать от воз-

мездия, не хотела быть громоотводом. Я же искал и не мог найти причину для того, чтобы «катануть на нее бочку». И вот Гарий! Не иначе как сам Господь Бог послал его мне в прицеп.

— Ты бы потише, Гарий, насчет женщин.

— Но вимба — это не жэншына, это — рыба! — вскричал Гарий и захохотал так, что лохмоты на его голове заколебались, что дым над трубой во время ветра. — А ты думал — латишка, да? О-ой, не могу!

— Ну, если рыба, — раздельно и четко сказал я, — тогда ничего. К рыбам русские женщины мужей еще не ревнуют.

Цель достигнута, накрыта и поражена. Супруга моя перестала улыбаться, лицо ее сделалось скорбно-мученическим, много и долготерпеливым.

Мы выпили с Гарием бутылек. Жена, сделав нам одолжение, чуть пригубила из рюмки и отвернулась к окну, глядела на грустно сникшие за ним прутьики акаций и на пылящие под ветром дюны, за которыми стеной стояло серое море, расчерченное негоропливыми скобками волн.

Ближе к вечеру мы уже ехали на реку Даугаву, где вимба не просто идет, по заверению Гария, прет сплошным косяком по воде, выбирая в плывущей из белорусских болот и озер зелени червей, козявок, мотыля и всякую тварь, годную в пищу. Машину вел друг Гария, Володя. Я сидел впереди, чтобы смотрелась хорошо Латвия... Сзади меня громоздилась крепкотелая, пучеглазая крупная жепщина. Ноги ее не вмещались в узком пространстве «Москвича», поэтому были взметены вверх и колени с сохатиной костью касались моего затылка.

— Это вот есть латишка, — представил спутницу Гарий, — но не вимба, а Ренита, — и скромно, со вздохом добавил: «Чьто сделаешь? В машине место свободное, а она от одиночества страдает».

У Гария была жена, небольшая, аккуратная, красивая, которую приобрел он, когда «пыл большой и строгой командирофка на севере», но он никогда и пикуда не ездил и не ходил без спутниц. Да все выбирал, или они его выбирали — крупных, грудастых, нравом покладистых, на слово скупых.

Прибыв на реку, Гарий разбил палатку подальше от стана, в гуще цветущих черемух — «Штобы не смушшать вас и природа не тревожить лишним шумом», — пояснил Гарий, настроив транзистор на какую-то здешнюю волну,

по которой звучала торжественная музыка, зовущая вдаль, ввысь, может, даже в голубые небеса. Однако из палатки раздался такой могучий храп, что приемник сделалось неслышно, с черемух начал осыпаться белый цвет, с подмытого берега — песок и подсохшие комки глины.

— На «скорой помощи» работает, — пояснил Гарий. — Устала. Ночь не спала. Пусть отдохнет, ей предстоит ответственный труд. — И начал снаряжать удочки.

О, эти удочки Гария! Они были похожи на него самого: лески в узлах и захлестах, крючки и катушки ржавые, удилища с соскочившими или погнутыми трубочками. Гарий долго ругался на эти удочки, даже материл по-русски ни в чем не повинные на этот раз все торговые организации. А я крыл его. И он наконец протянул мне собранную удочку.

— На! Самый лучший удочка, только не ворчи, пожалуйста. — Мои отборные, в Сибири почерпнутые ругательства Гарий посчитал ворчанием. Воспитанный мужик.

На противоположном, низком берегу реки, вздыбленном дикими валунами, меж которых рассыпались остатки грязного льда, недвижно, будто изваяния диких и давних времен, еще половецких иль, применительно к месту действия, тевтонских рыцарей, сидели рыбаки, и возникший в болотах туман, наплывая на них, делал фигуры людей еще более загадочными, потусторонне-мрачными. Гарий что-то крикнул по-латышски, ему, короткий и недовольный, последовал из тумана ответ, «Маленько ловится», — перевел Гарий. Но я не поверил ни ему, ни латышам на том берегу — уж очень густо плыла по вздутой речке зелень, химическая по виду, что кисель, тяпучая. Какая тут могла быть рыба? Тем более что латыши на том берегу ничего в руках не держали, удочками не махали, сидели, ждали, туман все плотней обволакивал их и накрывал с головой, будто дыхание с того света дошло до и без того сырой Прибалтики, теплое, навеки все в беспробудный сон и беззвучие погружающее.

Но вот в тумане на другом берегу что-то зашевелилось, раскуделило себя и потащило из воды нить, обвешанную зеленью так, что уж казалось, будто рота солдат после похода вывесила на полевой провод дырявые и пестрые портянки. Ранний и теплый туман над водой не держался, отшатывался от холодных камней, пик к нашему прогретому берегу, утекал по ложбинам ко вспаханым полям, касаясь воды, робно, зябко комкался и, словно

тополиный пух на тротуарах, катился по скользкому скату куда-то вниз, прячась за островки и мысочки, скапливаясь под ярами, продырявленными еще в прошлое лето ласточками-береговушками, в водомоинах и по кустам краснотала, спуганной ржавой проволокой возникшим из Даугавы.

В тумане, в грязных кустах на другом берегу что-то раз и другой бело сверкнуло, разбило завесь зелени, возникли леска, крючки, и на них прыгала, билась рыба, пытаясь сорваться с прогнутой тетивы.

— Вимба! — выдохнули разом два берега.

Гарий заторопился распутывать удочки, нервно ругаясь попеременно на родном и на русском языке, как бы подтверждая бытующее мнение, что крепче русского матюка нигде ничего нету и по этой части мы давно и прочно держим первенство.

— С добычей! — раздались возгласы на том берегу и намек на продолжение: — Чтоб всегда клевало!

Спустя малое время на другом берегу задребезжал голос, будто плохо прибитое стекло в коммунальной квартире или крышка на закипевшем чайнике, в нем явственный звучал восторг: «Си-ытел рыпак вesse-лляй на переку р-ре-эка-а-а...»

— Сам поймал вимба, другие не хочешь, да? — последовало едкое замечание, и певец покорно, однако, чувствовалось, с большой неохотой смолк.

Наконец-то Гарий из пучка удочек собрал еще одну, кою с натяжкой можно было назвать удочкой. Переправив меня, нездешнего человека, обугого по-курортному, на горбу через протоку, указал, чтоб я стоял на середине галечного островка, по мысу вспененного кустарником и остро торчащей из воды осокой, — все равно, сказал, где тебе стоять. Здесь хоть сухо. «Все равно ничего не поймашь, рыба вимба есть очень умная», и только он, Гарий, знает, где и как ее ловить, да еще малеько Волея — лишь они могут достать рыбки, от которой «все у человека встает в дыбки». Завершив свою речь оптимистичным русским присловьем, Гарий раскатистым хохотом сотряс тихую Даугаву, но тут же, вспомнив про осторожную, хитрую вимбу, может, и про докторшу в палатке, укротил себя и собрался бресть через протоку обратно.

Я остановил его, потребовал червей, посуду под рыбу и объяснений более деловых и подробных насчет характера знаменитой вимбы. Гарий высыпал из коробка спич-

ки в карман, загнал в коробок несколько наземных червячков, купленных на рынке, но под рыбу ничего не дал, заверив еще раз, что я все равно ничего не поймаю, так зачем мне таскаться с лишним имуществом? Насчет характера рыбы объяснения его были также емки и кратки:

— Когда я был польшо-ой и строгой командиром Комизсесэр, ловил там рыба под названием «харьюс» — маленько напоминает.

— Так за каким лядом ты меня поставил на отмели, когда есть стрелка острова, и, если ловить по уму, надо ловить на выносе...

— Какая тебе расница? Все равно ничего не поймашь. Сдесь мелко. Ты не утонешь — я отвечаю за тебя перед жена.

Я послал Гария далеко, и он охотно удалился, насвистывая чуть слышно тот самый боевой марш, что подавила своим храпом его могучая спутница. Шаги Гария и хруст камней под его сапогами скоро утихли. Рыбаков на другом берегу совсем сделалось не видно. Реку сжало, сузило с обеих сторон, и только пронос ее, самая середина, упрямо темнела, шевелилась, завертывая воду в клубы, разваливая, будто плугом, стрежь ее на два пласта, обнажая с исподу реки космы зелени, развешивая их на кусты, на осоку, застилая жидким киселем водорослей белеющий на обдувах камешник, приплески, мысы и обмыски.

Берега Даугавы сплошь были в слизи, вода шла на убыль, катилась в трубу. Вместе с большой водой следом за зеленью скатывалась и рыба, выбирая из озерного и болотного хлама остатки корма, порой заглатывая и зелень — по выбору. Клев вимбы был на исходе, в прогретую у берегов отмель, в болотистые разливы уходили и выдавливали икру в старую траву и меж калужниц плотва, язь, голавль, шатая кочки, будто подгнившие пни, возились в затопленных болотах щуки. Самцы, поймавшись за нагрудный плавник брюхатых щучищ, изнуряли их своей рыбьей неумной страстью и, оплодотворив молоками икру, сонно шевелили жабрами, отдыхали на травяном мелководе, набираясь сил для речного разбоя.

На выносе островка выбита в берегу ямка. Белеющие, ободранные корни ивы, осоки свисали в нее, их тоже опутывало паутиной и слизью. По означившемуся из воды мыску слоисто колыхалась, кисла гниющая водоросль, растекаясь ядовитой жижей.

Я начерпал в форсистые туфли грязи, но до уреза реки

добрался и заметил, что вся в струю втянутая вода на выносе раскрошена, раздроблена мальком, который тоже пассив и путался в обсыхающей, но еще не обсохшей водоросли. Чуть подальше, где стрелку воды завалило вбок, путало, ворочало высокой водой и вспенивало на струе, мелочь не шустрила, не плескалась, значит, там кто-то стоял и караулил ее. Окунь? Судак? Не совсем еще отмякший от бодрой, зимней воды налим? Отнерестившаяся щука? Жерех? Голавль? Или совсем мне неведомая в зелени путающаяся вимба, чтобы ей пусто было! Она, эта вимба, в моем рассуждении смахивала на золотую рыбку, попавшуюся в сети простофиле-рыбаку, жившему «у самого синего моря», и даже на недоступную шамаханскую царицу, только водяную. И еще, с рождения своего пуще всего на свете боящийся змей, я опасался угря. Вдруг выползет из воды, гад? И хотя Гарий уверял, что угорь — тварь безвредная, некусачая и появляется здесь позднее, в теплую пору, все же тоскливо озирался на всякий всплеск и шорох, вглядывался в проплывающие предметы: черт его знает, этого угря, — в нашем веке все, что прежде не кусалось, может укусить, кто даже лап и копыт не имел — лягается, безъязыкие — ругаются либо доносы пишут, жены мужей грызут и пилят, мужья жен с детьми бросают на произвол судьбы, те приемам каратэ обучаются, чтобы от мужиков отбиваться или нападать на них, — не поймешь. Так что угорь, которого я отродясь не видел, тоже мог взять меня за ногу и стащить в стремнину.

Под эти невеселые мысли первую и сильную поклевку, случившуюся на стыке тихого и бурного течения, я прозевал. Была она, как всегда, неожиданной и очень близкой от берега, где, кроме гальяна и ерша, никто не мог клюнуть. Но я насторожился, пытаясь отрешиться от опасностей, внушал себе: подумаешь, всего-навсего угорь какой-то, и на второй поклевке подсек рыбку очень сильную, верткую, которая тут же и сошла с тупого крючка, с узластой лески Гария, запутанной на ржавую катушку. Более катушкой я не пользовался и, когда последовала поклевка, сделал подсечку, попятился на берег и заволок в гнилую траву белую рыбку фунта на полтора весом, похожую на сижка, может, и на подлещика, но даже отдаленно не напоминавшую хариуса. Я забил рыбку об камешек и, поскольку не было у меня никакой посуды, бросил ее под куст, в мокрые кочки, пробитые на прелых макушках свежими побегам трав, будто малокалиберными, только что отлитыми пулями.

Клевало у меня отменно. Я добыл девять рыбин почти одинакового веса и столько же, если не больше, отпустил из-за удочки этой клятой, вошел в азарт, ругался сквозь зубы, измазался в слизлой грязи до колен, вытер руки о белую рубаху, заляпал нос, слепил волосья на голове. Комары ели меня как хотели, но я не слышал комаров, и соловьев не слышал, что распелись в ночи так ли слаженно, так ли отточенно по обоим берегам, куличков-то с плишками заметил, когда они подлетели совсем близко. Долго они причитали в стороне, должно быть, яички где-то в камешниках снесли иль хитрую засидку на мыске соорудили, а меня именно сюда черти принесли...

Я не смотрел на птичек, не пугал их человеческим взглядом, и они свыклись со мной. Плишка вздремнула на камешке, но и во сне раскачивалась хвостиком, тревожась. Куличики, скользя над водой, норовили угодить под удилице; зимородочек, зеленой жемчужинкой повисший на конце удилица, известил коротким цырканием реку, что я ничего, не деруся, не луплю из ружья по всему, что летит, плывет и ползает, даже никого, кроме Гария и его удочки, не ругаю. Плишки, кулички безбоязненно кормившиеся на мыске, пятнали ил крестиками лапок, издырявили клювами жижу водорослей, будто моль шерстяную шаль. Дырки от лап быстро заполняло чернильно-синей мутью. В грязных луночках возились, опрокидывались вверх медно сверкающими брюшками мальки — пожива ворон, чаек, уток, но крупные птицы на ночь запали в болотах и перелесках, только одинокие чайки редко возникали из тумана сонной тенью и куда-то неслышно умахивали.

Косачи, с вечера опробовавшие голоса, должны вот-вот затоковать в лесных прогалинах по ту сторону Даугавы. Там всю почти ночь капризничал на озере пьяный от весны и беспутства кряковый селезень, ругая очередную жену за плохое обслуживание. Уточка смиренно уговаривала господина своего не гневаться, уснуть, сберегая силы и нервы, потому как серых этих уток, пролетных женок, способных только яйца класть да детей высиживать, доплетна. А он, красавец ненаглядный, мушшина из мушшин, один такой на всю округу, и она, недостойная, похотливая кряква, все понимает, ценит, ни на что, кроме любви не претендует и впредь постарается ублажать его еще лучше, будет выбирать для кормежки озерины безопасней, станет доставать ему со дна корешки еще более

витаминные, чтоб не стыла его неистовая кровь в жилах, чтоб леталось ему весело, чтоб жизнь его беспечная шла еще беспечней, да она и совершенно уверена, что если не справится со своей ответственной задачей, все прибалтийские утки — да только ли прибалтийские, и белорусские — тоже готовы лелеять его и, если потребуется, грудью прикрыть от заряда дроби, как бывало на фронте у людей.

— Ну, что у тебя? — спугнул меня голос Гария. Не дожидаясь ответа, он побрел через протоку, означилась его фигура темной тенью из сгустившейся, с туманом воссоединившейся сумеречи, в мокрых резиновых сапогах, с мокрой сигаркой в зубах, с двумя измызганными до посылности сорожинами в плетеном, для показухи сделанном садке, произведении ручного искусства.

— Вимба прошла. Мы опоздали, — уныло известил Гарий и, заметив моих рыбок в кочках, сунулся туда носом. — Вечно везет этим Иван-дурак! — потрясенно прошептал Гарий. — Ты же поймал девять вимба! — И заорал на всю округу: — Волея! Ренита! Товарищи рыбаки! Он поймал девять вимба! Он не понимает своего счастья...

Трепетной рукой Гарий складывал рыбешек в садок. Целуя каждую рыбку в скользкое рыльце, он страстно восклицал: «Ох, моя вимбочка! Красавица ты моя ненаглядная!» Если б докторша, по имени Ренита, оглушающая храпом берег реки Даугавы, удостоилась таких же нежных излиятий, она бы и спать не захотела, она бы, уверен я, приревновала Гария к рыбе по имени вимба.

— Ты прости меня, пошалуста, — сложив рыб в садок и поуспокоившись, попросил Гарий непривычно смиренным голосом. — Я говорил «Иван-дурак» не о тебе конкретно, а вообще об Иван-дурак...

Порассуждав темного таким образом о дружбе народов, Гарий сказал, что журнал под таким названием есть, но его, Гария, там не печатали и печатать не будут. Вот отчего перешел он из поэзии в живопись, пишет маслом родные просторы, реки и озера, тучные колхозные поля, наловчился подражать импрессионистам — и картины его охотно покупаются — «тураки не перевелись, на мою творческую жизнь их вполне хватит».

Здесьние рыбаки не варили уху и не понимали всей поэзии и смысла настоящей, усладу души создающей обстановки вокруг котелка с ухой. Они разогрели на сковородке мясные консервы, и Гарий стал кричать свою спут-

лицу к огоньку. Ренита вышла с полотенцем через плечо, в блекло серебристых трусах, которые назывались шортами, в трикотажной безрукавке, натурально и прозрачно обозначающей все ее грузно налитые телеса. Сбросив тапочки, преодолев робость, она забрела по колени в воду, хлопыгнула на себя ворох воды, охнув присела, взвизгнула, что дисковая пила, попавшая на сучок,— река подалась из берегов и туг же смиренно притихла, с мурлыканьем, обтекая необъятное горячее тело и греясь от него. Выйдя на берег, Ренита спрягалась за палатку, в черемухи. «Как у нас в сачочке, как у нас в сачочке роса расцвела»,— напевала она и одновременно глушила комаров, ахая по телу своему ладонью, будто совковой лопатой. И вышла на костер, лучезарно улыбаясь, румяная, свежая, в ситцевом платье с девчачьими оборочками.

— Тавно я так хорошо не спала,— хрупнув платьем и всем, что может и не может хрупать в человеке, не открывая блаженно сомкнутых глаз, потянулась она.— Припрота! — И потрепала Гария по лохмам. Заметив сковородку с жаревом, закуску, нарезанную и разложенную на чистенькой скатерке с национальным орнаментом по кайме, докторша томно пропела: — О-о-о, этот материализм мне нравится! — Сон на природе и обильная еда шли на пользу этой женщине и на глазах улучшали и без того добродушный ее нрав.

Хорошо закусив, спутница Гария откинулась на раскинутый на берегу клетчатый плед, закинула руки за голову, и глубокий стон истомы, нетерпеливое предчувствие наслаждений донеслось до нас из недр недюжинного создания природы.

— Но, но! — остепенил ее Гарий.— Не забывай, што сдесь люги, мушчины между прочим.

— Ты так думаешь? — жуя какое-то зеленое сено, проворковала Ренита. Гарий захохотал и, показывая пальцем на Рениту, патетически прочел стих-эпитафию:

Здесь спит Мария Магдалина,
Была красавица лиха.

Прохожий, если ты мушчина,
Пройди подальше от греха!

— Ха-ха-ха-ха! — зашлась в сыгном и довольном смехе Ренита. Платье на ней затрепыхалось всеми оборками, под платьем все так заходило ходуном, заперекатывалось, что я и глаза закрыл, ожидая взрыва с громом.

Гарий рванул на себе рубаху и указал Рените под черемухи, на палатку, заверил ее, что скоро будет. Пальцем

погрозив Гарию, Ренита удалилась от костра, постегивая себя веткой по голым икрам, облепленным редким в этот час, но все же сдобное тело учуявшим комаром.

Был предугранный час. Наверное, предугранный, потому что ночи настоящей, темной так и не наступило, или я ее прозевал в азарте рыбалки и созерцания здоровой, жизнерадостной женщины. Соловьи так и не унимались, трели их сделались вроде бы еще звонче и отчетливей, да и прибавилось как будто птиц по берегам, в кустах и деревьях. Пели они из белого поределого тумана, в котором белыми же, но отчетливыми тенями проглянули самосевки-полосы. Вдоль реки, то рассыпчато подступив к самой воде, то островками, то полосами, по межам, в грудях камней цвели черемухи, дикие, полусухие, так и смятые яблоньки, спутанный терновник, куцелапые, приземистые груши, одичавший вишенник, черешни со сломанными на дрова вершинами и окостенелыми братними стволами, тонкоствольные сливицы, и еще, и еще что-то, да все лохмато, все ароматно. Земля с повсюду выступившим из нее серым и рыжим камнем высала на береговое приволье все, чем она могла украсить, — ей здесь, на побережье, никогда не разрешалось проводить время в праздности, потому что каждый клочок бедной прибалтийской земли должен был работать, производить жито, пшеницу, ячмень, картофель, фрукты и овощи.

Однако земля, как и всякое живое место и существо, не могла обходиться без наряда, потому, хоть и украдкою, поодаль от деловитого крестьянского взгляда угрюмого хозяина, летней порой обряжала себя, где могла, отыскивала, пусть и укромный, уголок, полоску по бережкам рек, прудов и озерин, даже на обочинах полей, как бы заключивших квадрат земли в каменные латы, пробовало расти и цвести разнотравье: пустырник, крапива, борщовник, морковник, чертополох, серая полынь. Кусты, как и травы, все больше колючие, среди которых самым нежным, беззащитным недотрогом малинился шиповник.

Был исход весны. По припоздалости, пожалуй что, и середина ее. Все жило и цвело по своим, календарем не учтенным срокам, и, когда совсем остыл и ушел на запрещающие заречные болота туман, берег наш оказался в пене сдобного, росой взбодренного, желтого теста. Словно прижимистая хозяйка с зимы копила куриные яйца, прятала в тески и лукошки, не давала детям даже поугру

и вдруг расщедрилась и на светлый весенний день не-счётно наколола их, взбила мутовкой в тесто для куличей, да взяла и вывалила такое добро на берег Даугавы.

Я вырос в стране причудливых и дивных цветов, в Сибири, где в начале лета, да и в разгар его, земля не цветет, а буйствует, заливая себя в три, в пять слоев разноцветьем, но такого праздника первоцвета, такой сдобной роскоши, такой бодрой петушиной стаи не видел нигде. И когда я сказал, что первоцвет зовут у нас петушком, едят его стебельки, мягкие листья пускают в салат, да на глазах у латышей изжевал сочный стебель петушка, Володя и Гарий умилились.

— Каждому своя родина — самая прекрасная земля, и пельзя человеку бес псе... — засаженым голосом вытолкнул из себя Гарий и отвернулся от нас.

Когда я потряс Гария добычей вимбы, он не заклокотал от черной злости, не проникся тихой ненавистью ко мне, как это бывает на рыбалке у людей с неустойчивой психикой и мелкой завистью. Наоборот, он проникся ко мне такой доверительностью и такой радостью наполнился от того, что вот его родная земля Латвия не подвела, оправдала надежды, одарила гостя и добычей, и красотой, да и полез за пазуху, вынул оттуда конверт с иностранными штампами, марками, почтовыми знаками:

— Чьто?! Я являюсь знаменитый филателист. Меня вся Латвия знает, может, ешче дальше!..

В конверт были вложены хрустящие пакетики, и оказались в них не порошки, а крючки с колечками, и такие крючки, каких мне видеть не доводилось — позолоченные, с резным загибом и беспощадным отгибом.

— На такую уду, — с благоговейной боязливостью покатав один крючок, будто самородок, на ладоши, — и клевать не надо! Его только попохаешь — и готово дело! — заключил я.

— Совершенно правильно! — подтвердил Гарий и на мой вопрос: отчего же он не показал мне эти невиданные крючки раньше? — смущенно пояснил, что не верил в мои рыбацкие способности, потому как все литераторы, побывавшие с ним на рыбалке, на словах только лихие рыбаки, на самом же деле — што попало... Один знаменитый поэт поймал себя за губу и, пока довели его до района, едва не помер, ругательски ругал заморские крючки, которые впиваются с буржуазной алчностью, беспощадной хваткой имают советского человека и есть это не что иначе, как идеологическая диверсия...

Крючки оказались на самом деле буржуазные, только не заморские — заокеанские, в Австралии у Гария живут родственники, один из них будто бы чемпион мира по любительской рыбалке и тоже знаменитый филателист — он-то и научил Гария рыбачить и собирать марки, посылает их из дальней страны до сих пор, иногда кладет в конверт рыболовецкие крючки редкостной красоты и качества. И дал бы мне их Гарий, если б не поэт, попавшийся на крючок и посчитавший это злым происком империализма. Однако теперь, когда он, Гарий, убедился в моей рыбацкой смекалке, уверился, что мне можно доверить даже буржуазные крючки и я на них не попадусь ни в прямом, ни в переносном смысле, он их мне сам привяжет, и садок под рыбу отдаст, Рениту даже отдал бы — таким он братским чувством ко мне проникся, но боится за меня — докторша нравом круче вимбы, и пока что один лишь Гарий может ее подсекать, заводить в тиховодье и, выгашив на берег, укрощать.

Торжественное, может, и неловкое молчание охватило нас. Мужчины же хоть и разных национальностей, да одинаково стесняемся душевных излияний. Может, Гарий думал в ту минуту о родственнике, живущем в Австралии. Он хоть и чемпион мира, живет небедно, судя по дорогим крючкам, маркам, мечтает, однако, хотя бы быть похороненным «дорогая, любимая родина».

Чтоб заполнить неловкую паузу, от благодарности к моим попутчикам, к этой реке, одарившей меня добычей, доставившей мне радость общения еще с одним уголком нашей многоверстной терпеливой земли, я стал хвалить латышей за трудолюбие, за опрятность и честность, за то, что на такой скудной, каменистой почве умудряются они выращивать хорошие урожаи. Гарий ушел в палатку, под черемуху. Он все-таки думал о родственнике, живущем в Австралии, — заключил я про себя, — и не только о нем.

Володя разобрал сиденья в машине, наладил постель, пригласил меня спать, но я сказал, что хочу посидеть у огонька, и он оставил меня в покое. Подживляя огонек, я полулежал на раскинутом пледе, смотрел, думал, ждал теплого утра. И было мне покойно на душе и немножко сладко и слезливо от той все утишающей грусти, которая лучше всяких лекарств лечит сердце от раздражения. И думалось, что земля наша едина, и соловьи поют всюду, где они есть, во славу мира и любви, наверное, и в Австралии поют тоже и так же, но как тогда мы умудрились

разделиться не только по языкам, но и по нравам, точнее, по кем-то и зачем-то внушенной поровистости, и каждый, или почти каждый, считает себя лучше другого, да вот его-то самого-то кто-то тоже считал или считает хуже себя, и должно доказать на кулаках, что это не так, что все совсем наоборот — своротит брат брату скулу набок и удовлетворится превосходством хотя бы в мордобое.

Незаметно и согласно я утих в себе. Вкрадчивая благодать овевала меня запахами наугренного, еще сонного цвета, и растущей, пабирающей силу травы. Река была покойна и вроде бы нетороплива, ничто не тревожило ее высвобожденной от тумана глади — ни рыба, ни птицы, даже крикаш в болотах перестал браниться, уснул, видать, положив голову себе под теплое одеяло или на шею мягкой и доброй подруги. И она перебрала, причесала, смазала жирком каждое яркое перышко на его беспутной и чудо какой красивой голове.

Под пень соловьев, под шелест полузатопленного ивняка, шевелимого убывающей водой и торопящегося с листом, под шипенье смирного огонька, золотым оком светящего в мировые бездонные пространства с этой доброй земли, наутро совсем усмирелой и мудро-печальной, с этого цветущего бережка одной из бесчисленных рек плащетки нашей, пока единственной для нас, уснул я незаметно и проспнулся от солнца, неназойливо и шаловливо шевелившегося на моем размякшем лице.

Соловьи почти упиялись, пели разрозненно, редко, как бы по обязанности. Рыбаки снова сидели камешными изваяниями на противоположном берегу и сторожили закидушки с колокольцами. Скоро проспнулся Гарий, мимоходом брякнул лапшей в машину так, что она задрезбезжала всем железом и качнулась на колесах. Володя привидением взялся с сидений, в панике подскочил за отпетыelmi от дыхания стеклами, ударился в потолок машины и, схватившись за макушку, погрозил другу своему кулаком.

Я спросил Гария, зябко передергивающего плечами и зевающего во весь рот, — не мешали ль им соловьи? Он тупо уставился на меня:

— Какие соловьи? Ты что? — И, придя в себя, махнул рукой: — А-а, соловьи! Не тревожьте солдат, да? Комары нас тревожили. Как это у Коли Глазкова? — «Все неизвестности любви нам неизвестны до поры. Ее кусали муравьи, меня кусали комары!..»

Утром Володя добыл еще пять вимб. Гарий со словами:

«Совесть иметь?» — выжил меня с моего добычливого места, выдернул там чегыре рыбки. Я поймал всего лишь пару вимб, но зато рыбины были крупнее остальных, и спутники мои сказали, что я совсем не напрасно имею название — «сибиряк».

Очень всем довольные, прикатили мы в Ригу. Где-то на окраине, похожей на все окраины современных городов коробками серых домов, мы высадили Рениту, она что-то по-латышски сказала Гарию, он лениво ответил: «Да, конэчно», и, послав всем воздушный поцелуй, резвевшая на природе Ренита проворно стриганула в подъяезд, обсаженный кучерявым кустарником, и более не оглянулась — дома ее ждала «оч-чень строгий мама, до сих пор сапрешшающий ребенку кулять слишком поздно...»

Володя отдал нам добытую им рыбу, сказав, что ему возиться с нею не хочется да и на работу надо. Тут только я узнал, что Володя — убежденный старый холостяк. Он хотя и прощал Гарию его мужские вольности, в глубине души не одобрял его, но, давно и по-братски привязанный к нему, по-братски же помогал и семье, и другу, относился к нему, как к перазумному дитю, которого нужно журить, но и оберегать от всяческих напастей.

Гарий с удочками и с садком, набитым рыбой, шел по улице, и почти каждый встречный латыш останавливал его, восторженно вертел и шохал садок, причмокивал языком, всплескивал руками.

Гарий охотно останавливался, хвастался, кричал громче всех, из всего ора я различал лишь — «Вимба!». Половина Риги, во всяком разе центр столицы Латвии, был взбудоражен и сбит с равномерного движения.

Возле большого фирменного магазина Гарий замедлил шаги и, глядя в сторону, поинтересовался — есть ли у меня деньги? Получив червонец, он сверкнул затуманенными было спом и усталостью глазами, разом пробудившимися. — «Одна минута!» — и исчез за тяжелыми старинными дверьми, на которых что-то было написано по-латышски, судя по цифрам, часы работы.

Не было Гария долго. Я сморился на солнце у каменной стены, на нагретом тротуаре, подремывал стоя, и меня толкали прохожие, ругаясь на непонятном мне языке.

— Всегда, когда быстро нужно, много-много народу! — возмущенно закричал Гарий, облигый потом, вывалившись из магазина. — Извини, пошалуста.

На спиннинге, который мы так и не вынимали из связ-

ки удочек, болтался обрывок лески, и не было посеребренной, почервленной блесны, присланной, как говорил Гарий, тоже из Австралии его родственником-эмигрантом. Я поинтересовался — где же блесна? Гарий сердито сообщил, что па нее в магазине поймалась «шэншына».

— Как поймалась? За что? — остановился я, ошарашенный, среди тротуара.

— Как, как? Са шопу поймалась! Вечно эти шеншины лезут куда попало и цепляются за все! — ругался Гарий. — На эту блесну рекордно брала шшука — и вот...

Он, Гарий, тихо-мирно стоял в очереди в кассу. Удочка в руке — забыл их мне оставить, не выспался же, совершенно ничего не соображал. Потом пошел в отдел получить почки, — его жена так прекрасно готовит их. Потом он решил купить «тевочкам»-дочерям мороженое, поскольку еще оставались деньги, побаловать жену — взял пару апельсинов, чтоб не так стыдно было за ночь, проведенную «с друкой шэншыной на природа». И по мере того как он кружил по магазину, приобретал покупки и расталкивал их по карманам, в магазине нарастал гул возмущения, на который Гарий сначала не обращал никакого внимания, думал, что выкинули дефицит и народ волнуется из-за этого. И не сразу, конечно, но все же обнаружил, что покупатели опуганы леской и пытаются из нее выбраться. У одной женщины сзади на платье почему-то прилепилась блесна, и, присмотревшись, Гарий узнал свою блесну, потому что такая блесна всего одна не только в Риге, но и на всем побережье. Еще он обнаружил: почти вся леска, очень крепкая, дорогая, потому что у «моряков» купленная, с катушки смогалась. Ну что ему оставалось делать? Он вынул из кармана складник, обрезал леску и поступился блесной.

— Сто метров леска пропала! Блесна пропала! У-у, эти латыши! Чьто са нарот?

И ругался Гарий, и шумел, когда его останавливали знакомые, он продолжал ругать их, они не обижались, они хохотали, а Гарий пожимал плечами.

Дома он нежно поцеловал жену в щеку, показал улов, заявил, что устал невероятно, спросил, как здоровье девочек, велел спрятать в холодильник мороженое для них и очень уж заметно юлил, бурно выражая чувства. Обрадовавшаяся нашему приезду жена покачала головой:

— Гарий, ты опять? — и прижала апельсины к лицу.

— Чьто ты? Как я могу? У нас же гость! Ну, сприси у

него!.. Ты кушать стафь. Мы так проголодались. Хотя постой. Ты права. Как всегда, права. Я действительно поймал шэншына! На блесну, представляешь?! — И пошел весело рассказывать, как он зарыбачил в магазине женщину, как запутал леской покупателей, и жена его, милая, рано старящаяся, пакрывая на стол, произнесла со вздохом:

— Гарий, Гарий! Ты когда-нибудь сам поймаешься...

Пока жена собирала на стол, Гарий трижды мне поставил мат на шахматной доске, сказал, что совсем неинтересно обыгрывать дураков, и стал показывать коллекцию марок. Тут, у Гария, я впервые увидел и понял, что марки — это целая наука, что прекрасна его коллекция и очень дорого стоит.

Жена Гария приготовила почки куда с добром, и все другое было сварено вкусно, красиво подано на стол, хотя еда и куплена на гроши, заработанные женой за швейной машинкой и па случайные, нечастые заработки Гария.

На всем жилье, на всей квартире Гария лежала печать бедной опрятности, и две долговязые девочки с милыми и, как у матери, печальными лицами, будто срезанными с нарядных древних католических икон, были одеты в перешитые платишки, обуты в подбитые в уличной мастерской башмаки. И рыбу, догадался я, друг Гария, Володя, отдал совсем не по прихоти и случайности — он давно уж, видать, «незаметно» тащил в этот дом всякую добычу, да и не только добычу, и не только он. У Гария друзей пол-Риги, и не все они приходят сюда только в шахматы играть и смотреть его картины и марки.

Широко, раздольно сидел за столом Гарий, трепал девочек по бантам. «Ах вы, мои крошечки! Ах ты, шонушка моя егинственная!» — ворковал хозяин, и я видел, что он верил в то, что говорил, и забыл про всех и про все — какая легкая и безоблачная натура. И когда жена сказала:

— Скорей бы ты состарился, — и потаскала его за ломоты на голове, он поспешно и с радостью подхватил:

— Да-да! — И, все более возбуждаясь, начал мечтать. — Надо продавать коллекцию марок и покупать самолучший цветной телефизор. Японский! Да, японский! У моряков. — Он крепко обнял свою жену. — Будем сидеть, милая моя шонушка, тобрая моя старушка, смотреть телефизор. Шахматный выпуск. Музей. Футбол. Рыбаков. Про филателистов тоже... Хорошо!

Жена Гария грустно сказала, что он же не сможет жить без стихов и картин, без друзей, без гулянок, без

шахматного клуба, лишившись коллекции марок, тут же запросто умрет.

— Ну и чьго? — с тихой печалью молвил Гарий.— Сразу два хороших дела получится. Кончатся ваши му-ченья и останется замечательная вещь — цветной теле-физор.

Однако скоро он стряхнул с себя меланхолию, загра-бастал всех своих женщин, тряс лохматой головой, про-бовал потрафить мне, запевши, как ему казалось, самое близкое моему сердцу вокальное творение: «О-о-ой, ма-а-арос, ма-аро-о-о-ос, не маро-ось меня-а-а...» — и тут же прервался, передернув плечами:

— Когда я был большой и оч-чень строгой команди-рофка, там был страшный, морос. И меня согривала моя торогая шонушка.— Тут он поцеловал жену со звуком.

Ах, Гарий, Гарий! Уж двадцать с лишним лет минуло с той поры, как мы ловили вимбу на реке Даугаве, а я все вижу так ясно, так свежо. Что-то есть в этом человеке, роднящее его с моими земляками — гулевыми, раздоль-ными, порой преступно-легкомысленными и безответ-ственными. Но что делать с сердцем? «Дома продают, поля продают. Пьют вино беспробудно. Так погибают люди деревни моей. Что же сердце мое влечет меня к ним?» — это написал еще в тысяча девятьсот втором году японс-кий поэт, умерший от чахотки в лермонтовском возрасте, с печалью подтвердив еще раз ту истину, что серд-це приемлет и впускает в себя людей и любовь к ним без выбора и указаний, и человек может и должен жить только по сердцу своему, и я люблю своих земляков такими, какие они есть. И Гария люблю. Ни годы, ни расстояния, ни умные назилания моралистов, ни дурные слухи и выход-ки его не могут убить во мне светлых воспоминаний о нем и доброго расположения к нему. «Сердцу не прика-жешь» — это истина истиц, ведомая всякому люду, и все попытки ниспровергнуть ее порождают лишь бессерде-чие.

Изредка я получаю от Гария торопливо написанные письма с вложенными в конверт стихами. Однажды полу-чил пейзаж и узнал то место и реку, где мы ловили рыбу вимбу. Пейзаж до сих пор висит в моей деревенской из-бушке, над моей кроватью. Я смотрю на него и думаю о многообразности человеческой жизни, о необъятности чувств и характеров.

А из семьи Гарий ушел, оставив своих «крошек-тевочек и египтвенную шопушку». Ушел к врачихе Рените, потому что девочки выросли, вышли замуж и определились в жизни, а у Рениты «совершенно печаянно» получился ребенок и его надо «помогать воспитать».

— Ах помощник, ах воспитатель!

Вышли у Гария две книжки, подборка его стихов наконец-то напечатана в «Дружбе народов», по переводчики, по заключению поэта, так ловко обошлись с его стихами, что осталась в них лишь половина «прафта».

Была выставка картин Гария в Риге, в пригородных курортах города Юрмалы. И стихи, и картины его пользуются успехом, много картин было куплено с выставки, все оттого, что он перестал подражать даже импрессионистам, пишет, как ему хочется и чего хочется. Он уже дедушка и теперь может помогать девочкам и внукам материально. Бывшая его жена замуж не выходит, объясняя это тем, что после такого великого человека не может ни с кем быть, неинтересно ей с другими мужчинами, и, когда «совершенно печаянно» получился у Рениты ребенок, она водилась с ним так же, как с внучатами, и кого звать мамой, кого бабушкой — «ребенок совсем сапутался», потому и зовет обеих женщин «мамой». Они, две «мамы», очень балуют сына, и это беспокоит отца. Кабы из сына не получился стилига и диссидент, которого сманят «буржуи-родственники» в Австралию. Что касается блесны, так нелепо утраченной в магазине, то ему прислали еще лучшие блесны, и те самые «буржуйские крючки», на которые попался губой уже теперь незнаменитый поэт.

В одно из писем была вложена семейная фотография с двумя усталыми женщинами, с нарядными дочерьми и зятьями. Меж жен и зятьев сидел Гарий с внуком и внучкой на коленях, чопорно сжав расплзающиеся от улыбки губы, все такой же лохматый, большой, но уже седой, сухолицый. «И что же ты не едешь ловить вимба,— писал Гарий,— осталось ее совсем мало. Попадаются единицы, и ты можешь не застать замечательной рыба».

Могу, Гарий, и не застать. Могу. Я нашел ее, вимбу, в книге Сабанеева — она пазывается по-древнему выразительно — сырть и водилась когда-то почти во всех реках Средней России, но рыбы той так давно уже нет, что на родной стороне утрачено даже ее название.

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Прежде чем поведать о светопреставлении, я обязан означить географическое место действия и время, в которое оно происходило, потому как случается светопреставление не каждый день, и для развития сюжета все это нужно, тем более сюжета сверхдраматического. Мы, современные сочинители, и без того озадачили и раздражили теоретиков литературы и ученых людей, клюющих крупку на полях отечественной словесности. Они рубахи друг на дружке пластают, споря: нужен или не нужен сюжет в современном художественном произведении? И одни утверждают, что без сюжета, как без мамы с папой, дети не могут появляться и никакой семьи, то есть художественной конструкции, получиться тоже не может. Другие, состоящие все более из старых, закаленных холостяков, с саркастическим смехом и надменностью отвергают дряхлую «концепцию» и приходят к резонному выводу в своих многоумных литературоведческих трудах, что-де, насчет папы вопрос не совсем ясен, но что касается мамы, то тут и слова тратить не на что, и спорить незачем, только дремуче-отсталые люди могут утверждать ее необходимость, только плохо информированные насчет достижений современного прогресса индивидуумы мужского пола, не читающие в дискуссиях центральных газет высказываний самих женщин, могут впадать в такое тяжкое заблуждение. За океаном одна женщина родила двойню при помощи искусственного осеменения — это раз! Второе — сам мужчина тоже догадлив, чтоб никуда не

ходить, не звонить, не тратить время па ухаживания и на цветы, вкатит укол «от столбняка» — и никакая ему женщина не нужна, и энцефалитный клещ не страшен — сразу от двух зараз избавлен, ходит себе мужчина, поплевывает презрительно и торжествует: «А-а, че-о, взяли?!»

Итак, место действия — одна из северных рек, ныне уже вторично подпертая гидросооружениями и окончательно утратившая черты реки и называемая просто водоемом. Все живое бросилось из нее врассыпную, убегло выпце и дальше, пачиная от людей и кончая рыбой. А в ту пору, о которой пойдет речь, река с устья с обеих сторон была заключена в заплоты, и из них, из заплотов, там и сям высыпались штабельки леса, узкоколейки аж в самую воду занырявали, катера ходили, машины ездили, звенели пилы, лаяли собаки, дымили трубы не большого, но и не маленького поселка; управления тут были с номерами и хитро сокращенными словами, детсады, столовые, школы и даже гостиница, окнами выходившая прямо к реке, и я сам видел одной весной, как перезимовавшая синичка, сидя на тонкострушной спирали забора, радостную пела песню, и работяги слушали малую птаху и улыбались. Надо заметить, что все военные люди в поселке и вокруг были заядлые рыболовы, и сидишь, бывало, на лунке, дергаешь блесну, а часовой советы подает насчет глубин, насчет наживки, характера рыбы, метит выцыганить заграничную леску и магазинную блесну обменять на самоделку, склепанную из патронной гильзы или из латунной ложки, унесенной мастерами из столовки и выгодно обменной на какой-то товар, чаще всего запретный.

Клевало здесь в холода лучше всего возле быков железнодорожного моста, под заплотом трудовой колонии для малолетних преступников, и повдоль «хозяйства» Терещенко, номер которого я запомнил. «Хозяйство» то тянулось километров на пять, места тут всем рыбакам хватало, и рыбы тоже, в особенности сороги...

Так вот там, где заканчивалось «хозяйство» Терещенко, капризом ли судьбы, по недосмотру ли строгого начальства, на песчаном выносе, бывшем до затопления крутым песчаным обрывом, уцелел и шумел на ветру, высокими шапками золотясь в прошве солнца, чубчик золотоствольного, голенастого сосняка, указующего стройностью своей и маловетвистостью на то, что был здесь

сосновый бор. Вот на выносе-го на песчаном в ростепель тучилась рыба, и следовательно — толпы рыбаков, где россыпью, где кучно, темнели здесь с утра и до самого позднего вечера.

Рыбак тут велся четырех местностей: основной — из Череповца, поскольку промышленный гигант тучей дыма вспухал на близком горизонте, по левому берегу, за сосныками, и болотами, и болотистыми лесушками, за колокольней старого, но кем-то ухоженного собора, за нехитрыми строениями однодневного дома отдыха, для солидности именуемого профилакторием, за тремя-четырьмя полузаброшенными деревушками.

Отсюда утренней порой, как в битву на озеро Чудское, лавиною валил череповецкий рыбак, черепянин — так он сам себя именовал. Второй по численности рыбак наступал с запада, со стороны Чуди, из вепсов, осевших на деревообделочных предприятиях меж Ленинградом и Вологдой.

Сами ленинградцы на водоем ездили мало и неохотно — у них Карелия под боком.

Третий рыбак — вологодский. Надо сразу и прямо сказать, тут его, вологодского рыбака, не чтили и даже раздражались им, потому как вокруг Вологды столько рек, озер, прудов, стариц, проток и прочего, что только алчность, считали черепяне, завидующие глаза, загребущие руки могли гнать сюда вологжанина триста верст по морозу, на мотоцикле либо в грузовой машине, на которую опрокинут — для тепла — фанерный ящик из-под папирос или из-под мыла.

Далее пойдет рыбак россыпом: ивановский, ярославский, московский, даже рязанский, рыбак малочисленный, но очень сосредоточенный и умелый.

Заключал все пестрое общество рыбаков рыбак местный, держащийся несколько замкнуто и особняком по той же причине, что и Терещенко, — нарваться можешь, особливо среди черепян, на вчерашнего подконвойного, да и где гарантия, что сегодняшний рыбак, вольно себя ведущий на льду, балакающий на разные темы, выпивающий братски из одной банки, завтра не окажется в «хозяйстве» Терещенко?

Самый дерзкий, самый нахрапистый, самый шумный рыбак — черепянин на белом поле льда отличался явственней других темной шевелящейся массой: большинство черепян срывались на рыбалку прямо с производст-

ва. Еще мокрые после душа доменщики, мартеновцы, прокатчики и прочая братия в засаленных телогрейках либо в суконной спецовке горячих цехов, в кирзовых сапожниках, за которые заткнуты одна-две удочки, в руке ведро, подобранное на свалке,— посудина предназначена для рыбы и вместо сиденья. Никакого теплого белья на черепянах, никаких шарфов, варежек, плащей, никакой теплой обуви: наклонится человек над лункой — спина голая. И грудь распахнута — на рубахе пуговиц нет, под рубахами на теле где ключица, где ребро, где грудина или еще какая неожиданная кость, натянув ржавую кожу, выступила, и по прокопченному телу, что по древнему папирусу,— сплошь произведения искусства: изречения мыслителей, стихи, эпитафии, признания в любви и верности, орлы, русалки, щиты и мечи, кинжалы, обвитые змеями, профили Зой и Нин. Основные мысли и обращения на телах все больше лирико-иронического уклона, целые поэмы изображены с тайной надеждой к той, которая «умеет ждать», и получит она пламенную страсть, верное до гроба сердце, и тут же оно, сердце, насквозь пронзенное стрелой, будто кусок баранины шашлычным шампуром.

Однажды, костлявый, изветренный на природе, высушенный в горячем цехе, черепянин ухнул в полыню. Мы его достали, содрали с него одежды, и я с изумлением, переходящим в ошарашенность, прочел на ребристой груди чуть было не утопшего человека: *«Дедушка Калинин, век меня мотать, отпусти на волю, не буду воровать».*

Судя по возрасту рыбака, стих сей наносился на тело уже много годов спустя после смерти Калинина. Какая же крепкая вера жила в человеке в действенность печатного слова!

Поскольку черепяне попадали на рыбалку прямо из горячих цехов, на пути к водоему, опережая толпу, до поту себя догоняли, то скоро они «играли зубарики», по-человечески говоря, стучали зубами от холода, и часам к десяти-одиннадцати сплошь были пьяны. И сколь помню, всегда дружным коллективом хрипло орали череповецкие металлурги одну и ту же, отнюдь не промышленную, песню: «Мама встала в шесть часов».

Фольклор, извлеченный из сложной жизненной ситуации, изрыгаемый черепянами, приводил в явное смущение по всей форме одетого вологодского рыбака, большей частью смиренного, скромного. У вологодского ры-

бака все заточено, подлажено, ящики на боку с мудреными инкрустациями, рисунками или берестой украшены. По стыдливости, небуйности характера вологодские рыбаки отсаживались на версту, а то и на две от черепян, чтобы не слышать сраму. Но те, заметив, что у вологжан «берет», сами надвигались бесцеремонной толпой на уловное место и норовили так близко просверлить дырку, что вологжанин был вынужден утягивать под себя ноги и подбирать полы плаща, иначе просверлят.

Я не берусь утверждать, что вологжанин по сравнению с черепянином ангел — ни пить, ни материться не умеет. Но то и другое вологжанин делает вроде бы как под давлением жизненных обстоятельств. Еще в первые годы после переезда в Вологду, плохо разбираясь в местном выговоре, был я на охоте в деревне Семеновской Харовского района. И вот Первого мая явился мужик к нашей хозяйке и зацокал, как белка. Не сразу, но я догадался, что он матерится. Будучи сам немалым специалистом по этой части, я, как ни пытался, ни в одном из отечественных матюков не припомнил звука «це». Однако ж вологодский мужик процокал на одном дыхании не менее полчаса, и хозяйка вынесла ему пятерку. Мужик ее взял, угрюмо нам поклонился и ушел. Хозяйка перевела бессмысленное, на наш взгляд, цоканье: «Праздник экой большушкой, а она, курица (жена), выдала на одну бутылку и больше не дает».

В жизни вологжанин тих нравом, ласков взглядом, с вечной застенчивой улыбкой на лице. А что у него в середке — поди разбери! Сами ли вологжане, но скорей всего неблагоприятные «варяги» сочинили анекдот про Ермила Данилыча, почти век проработавшего в вологодском локомотивном депо и ни разу на работу не опоздавшего. И вот одним утром нет Данилыча на работе! Ждут-пождут товарищи по труду пятнадцать минут, двадцать, полчаса — и в горе погружаются: видно, помер Данилыч, потому как смерть, только неумолимая смерть могла остановить такого труженика и передовика на пути к станку. Вдруг бежит Данилыч, запыхался. Все: и рабочие, и начальство — кинулись узнавать, какое такое чрезвычайное обстоятельство задержало человека? Уж не сердечный ли приступ?

«Да нет, — говорит Данилыч. — Не приступ. Баба пятерку потеряла». — «И ты помогал бабе искать пятерку?» — «Я на ёй стоял, на пятерке-го...»

Бывало, наберешься мужества, попросишь на рыбалке у вологжапина мотыля. Он перво-наперво поинтересуется, отчего сам мотыля-то не намыл? «Лопаты нету и лотка для промывки нету». — «Дак сделал бы». — «Нековды». — «А мне есть ковды?!» — и нехотя полезет за пазуху, долго там шарится, будто коробку найти не может, потом возьмет щепотку мотыля и с лицом страдающим протянет тебе наживку, как ладошку подставишь — обратно полщепотки стряхнет и со скорбным выдохом поникнет над холодным зраком лунки: ни стыда, ни совести у людей — обобрали средь бела дня.

У черепянина попроси наживки — он мотнет головой с передней стороны, в которую всунута сигарка, руки упрятаны под телогрейку, и прогавкает холодом сведенным ртом: «Там, в банке возьми. Да оне подохли, падлы». И он же, черепянин, увидев у тебя коробку со свежей наживкой, на ночевке может вынуть коробку из кармана — и не взыщи. О вышивке и говорить нечего. Учует — пират пиратом сделается. Пока не овладеет, никакого покоя не знает.

Однако ж при всем этом рыбацкой спайке не чужды ни вологжане, ни черепяне, если беда или авария — будут выручать. В добыче более ревнивы вологжане. Неистовость вологодского рыбака обнаруживает порой такие в нем скрытые силы, такую самоотверженность и такое достоинство, каких он и сам в себе не подозревает.

Прежними веснами на озере Кубенском брала нельма на блесну. Местные прикубенские жители в пору, когда «шла» нельма, всякие работы прекращали и ни землей, ни хозяйством не занимались. Рыбу пятило вешней порой с истока реки Сухоны, которая веснами течет неделю, а то и две — вспять: в озеро, и, оставив вечером косяк нельмы в таком-то районе семидесятиверстного озера, рыбаки поутру являлись туда и, наступая, будто пехота на супротивника, гулко били пешнями сотню-другую прорубей и в конце концов рыбу «нащупывали», рассыпались подковообразно по льду, все утро и весь день перемещаясь следом за рыбой, пятная лед россыпью лунок.

В одно апрельское утро брякнул заморозок градусов на двадцать пять, и рыба оцепенела, не берет. Надо ждать солнца, грева, распара, и тогда, быть может...

Стоят рыбаки на льду, треплются, курят, удочки подергивают, блеснами поигрывают, рассказывают о том, как много было рыбы прежде и как мало теперь.

И вот диво! На льду появилась баба! В красной куртке. Встала в отдалении, ударила каблуком сапога во вчерашнюю лунку, не пробила, попросила у пожилого рыбака пешню, прокопала лед, спустила удочку с блесной в дырку и подергивает.

Внимание всех находящихся вблизи рыбаков переметнулось на бабу, издевательские шуточки, насмешки, высказывания сгруппировать можно было бы в одну мысль — в духе современных молодежных газет и журналов, где пионерки и пенсионерки бойко учат, как, кого и сколько надо любить, домохозяйки хвалят или ругают мужей за то, что те им помогают или не помогают мыть полы и посуду.

Рыбаки единодушно решили, что эта вот, с позволения сказать, рыбачка хвалит мужика и через газету утверждает, что он у нее хороший: сам моет полы, стирает пеленки и белье, водится с дитем, а ей позволяет общаться с друзьями и вот даже на рыбалку отпустил. А все потому, как говорил мудрец Сенека — шофер хлебопекарни: при хорошей жене и муж хорош, заядлый рыбак этот Сенека, выезжая с руководителем своего предприятия на лед, топил он уже три машины — два «Москвича» и «Волгу», но сам уцелел при этом. Опытный рыбак...

Измывательство над женщиной-рыбачкой приобрело массовый характер, и сама природа восстала против этого, заступилась за слабый пол: рыбачка вдруг завопила — только что злословившие мужики со всех ног бросились на помощь женщине, потому как на ее удочку клюнула щучища. Мигом она была извлечена умельцами на белый свет. Раздалбливавшие лунку, упыхавшиеся мужики тут же добычу взвесили на ручном безмене — девять кило с граммами! Щука подпрыгивала, поленом бухалась об лед, сверкая пестрыми, как у африканского удава боками и темной спиной. Рыбачка тарасила подведенные синькой глаза, пыталась говорить благодарствия мужикам.

— И шче же это тако? — Вопрос задавал мужичонка, чуть побольше метра ростом, в плаще, низ которого колоколом стоял на льду, скрывая ноги человека. Плащ был перехвачен поясным ремнем и наискосок веревочной петлей от пешни. В руке мужичонки была зажата удочка, грубая, из вереса, с сучками-рогульками на конце, которыми местный рыбак ловко поддевает и выбрасывает из лунки лед. Лицо его, изветренное, изморщенное, напоми-

нало растоптанную консервную банку из-под червей, спереду, с жерла — все узко сплюснуто и вытянуто; сзади, «со дна» — стриженный под бокс затылок без всякого изгиба катко уходил под взъерошенный башлык плаща. — Эт-то щче же, оптать, тако? — Мужичонка уцелил в пространство расплющенное лицо с расплющенным, далеко вперед вынесенным носом, ожидая ответа. — Я двадцать пять годов рыбачу! И ни одна баба никовды меня не обрыбачивала! Меня, Кешку Короба, все Кубенское озеро знат! И вот, я ни... не изловил... баба изловила! Как жить?

— Ну, мушчины!.. Ну, я же не виновата, — залепетала рыбачка и, переломив себя, добавила: — Возьмите рыбу, если так...

Только этого и надо было Кеше Коробу! Да штабы он, Кеша Короб, взял у какой-то бабы вонючую рыбину! Да она щче, издевается, щче ли?! Как она, вонючка, могла экое поганство придумать?! Он и сидеть-то с ней на одном месте не станет, не то щче рыбу брать! Она же, курва, детей бросила, мужа бросила, квартиру немьту оставила, обед невареный, одежда не стираана... Дети без надзорности фулиганами делаются, пьют, режутся. Полны колонии преступников, полны города и поселки алкоголиков, воров, обчество погибат, международная обстановка неясная, а она заместо того штоб охранять этот, как его? А, оптать, забыл. Слово-то старо. А-а, очаг. Заместо того штоб очаг охранять, она — рыбачить! Это же мы куда идем-то?..

Говоря все это, мужичонка надменно удалялся, шаркая плащом, и за ним суетливо бежала, тыркалась, виновато позванивала острая пешня. Километрах в трех от места происшествия сел Кеша Короб на лунку и отвернулся от людей.

Солнце обнаружилось уже высокое и начало осаживать морозную пыль, обращая в парное облако изморозь, все шире и шире раздвигая просторы озера. Мужичонка вдали окутался маревом, подплыл снизу, и ящик из-под него ровно бы вынесло сине плещущей волной света, и не сидел он, а плыл, качался на той волне.

Не выдержали и рыбаки, один по одному подались к Кеше Коробу, и — как сердце их чуяло! — там, в стороне, и начался клев нельмы. Вынув трех дородных, прекрасных рыбин, Кеша Короб усмирился, лицо его, не лицо — лик рассерженного, сурового бойца, помягчело, и он позволил себе пару глотков из спрятанной в боковом карма-

не баклажки. Показывая посудиною вдаль па одиноко и сиротливо краснеющую фигурку рыбачки, Кеша Короб произнес с ворчливой милостью:

— Ну, оптагь, кожды так, робяга, кожды она нас на рыбу навела, пушшай идет...

Однако ж я отвлекся и перескочу на триста пятьдесят верст, с озера Кубенского обратно на реку, потому как там и произошло свегопреставление.

Поскольку в действие скоро вступит московский рыбак, его, москвича, тоже надо охарактеризовать, чтоб уж потом гнать действие без передыху, как в современном театре: гонят, гонят и когда, все в мыле, остановятся, то ни артисты, ни зрители понять уж не могут: куда, кого и зачем гнали?

Москвич — он всегда разнолик и многообразен. В метро он один, в пивнушке и на стадионе — другой, в квартире своей — третий, на производстве — четвертый, на курорте, в туристическом походе по достопримечательным местам — пятый, на рыбалке — шестой!

Водится москвич, как русский ерш, на всяком, даже нежилом, водоеме и может съесть икру других рыб, после чего сделает вид, что в водоемах тех никогда и ничего, кроме ерша, не водилось и ничью он икру не ел. Если по-старинному, благостно-тихому, архитектурными памятниками украшенному городку идет человек с вольно расстегнутой волосатой грудью и на пузе у него болтается фотоаппарат или серенькая кинокамера, напоминающая птаху с клювом, если на лице этого человека царит гримаса пресыщенности, походка у него вальяжно-усталая, говорит он, как ему кажется, на свежайшем, остроумно-ехидном жаргоне, которым блатняки перестали пользоваться еще полвека назад, кривит губы, глядя на все местное: «Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене, то там», — это он, столичный житель, отдыхает на российских просторах. Отдыхает и раскаивается, что погубил отпуск. Ведь мог бы в Ницце, даже на Канарских островах... да занесло простофилю по причине патриотизма в Вологду — и что? Кому от этого хорошо? Вологде? России?

Иной столичный житель присвоил себе право считать себя почти голубых кровей породой или нацией, и на этом основании желающий получать все лучшее, модное, свежее поперед остального народа, да ежели б ему инвентаря культурного да средствий поприбавить, так уж и дворянином бы себя почел. Но зарплата и жилплощадь не

позволяют, и теща никак не умирает — она деревенской породы, крепкая, российская баба, фотоаппарат на пузе киевский, если б американский, в крайности — западно-германский... А то так-то уж все есть для подготовки в дворяне: высокомерие, чванство, всезнайство, джинсы с непонятной наклейкой на задку, оплывшие от бледного жирка щеки, круглое пузцо, квартира обколочена жжеными плахами, три деревянные иконки и два медных креста к плахам прибиты, книга Высоцкого «Нерв» на полочке, сенбернар, таскающий на улицу сумку в слюнявой пасти, лающий среди ночи на врагов, — этакий шалунишка, норовящий запрыгнуть сзади на гостя, особенно на гостью; восторженно влюбленная в искусство, модно одетая хозяйка, знающая, к какому вину идет сыр рокфор и к какому совсем ничего не идет, коньяк, допустим, надо во рту подержать, потом уж проглотить, но вот к «шизано» из Италии хороши апельсины — «они ж, итальянцы ж, питаются ж исключительно апельсинами, да еще макаронами. Отсюда итальянский темперамент! Вы с последней книгой Феллини не знакомы? Мыслящему человеку она необходима, как воздух. Он же ж возвысился до самой высокой правды, он же ж не щадит ни строя, ни правительств, даже народ критикует...»

На рыбалке москвич скромн. На пути к водоему старается не выделяться, трется в массах. Попавши на лед, садится в стороне, даже луночку сверлит норвежским сверлом так, чтоб никому шумом не досадить, никого собою не потревожить. Пообвыкнув, он выцелит зорким глазом рыбака мастерового и обязательно местного, как бы между прочим заинтересуется его снастями, подарит мормышечку, отливающую лампадной краснотой, и скромно заметит, что мормышка из вольфрама, самая необходимая для больших глубин, изготавливают ее только на предприятии, номер которого он, если бы даже и захотел, сообщить не может.

Люди! Будьте бдительны! Берегись, рыбак! Не развешивай уши! Под эту мормышку вежливый москвич выведает у тебя все про здешнюю рыбу и про рыбаков. Чуть позже он угостит тебя коньяком из именной фляжки, отмотает три метра японской лески — и за все за это угодит к тебе в дом — на почевку. Он уже ведает, что висят у тебя, рыбака-простофили, иконки, доставшиеся от родителей, медный ковш, колоколец, старинная книга и канделябр, вывезенный из какого-го дворца в смутные годы.

Более всего берегись тот рыбак, у которого дочь на выданье или еще молодая, ладная жена. Посидит за столом столичный гость, поблагодарит за еду, потом вскинет рыло к потолку и как бы в пространство ловко ввернет: «Есть женщины в русских селеньях!..» А ей, нашей русской бабе, только того и надо, чтоб отметили, что есть она, есть еще! В русских селеньях...

И останется у твоей дочери в кармашке телефон, жена вдруг заявит, что как же это она почти тридцать лет прожила с неотесанным олухом, который ни есть, ни пить культурно не может, умственного разговора от него не дождешься, и вообще...

Уедут иконки родительские, колокольцы и канделябр вместе с уловом местных рыбаков. Скупленная у черепаи за бутылку обошлась рыбка московскому гостю по пятнадцати копеек за кило. В Москве он слупит по рублю за каждую голову и потрясет произведениями древнего искусства «знатоков», осмеет серую доверчивую деревню, где он выморщил домашние реликвии и посеял смуту в доме, пообещав устроить дочь в институт, где сразу на артисток и на переводчиц учат.

Итак, массы в сборе, хотя и сидят порознь. На самых уловистых, с точки зрения массового рыбака, местах, почти друг на дружке — черепаи; в отдалении от них, на свежем, еще не испещренном льду — рыбак вологодский, далее — пестро и разнолюдно — приезжий издали народ.

Ясный день апреля. С серых холмов все скорее, все пенистей, все урчливей бегут ручьи; по всем оврагам, щелям и ложбинам несутся они, мутные, пьяные, тащат мусор. Отъело лед от берегов, и он горбато вспучился, снесло с него весь сор, всякое дерьмо и отбросы, столь щедро везде и всюду выделяемые высшим разумным существом, подровняло бугорки возле лунок, и сами лунки объело по краям, округлило и расширило. В лунках плавают, кружится тля и какие-то блеклые метлячки. В основном берут плотва и подлещик. Плотва на реке выдурела до килограмма весом, лещ, наоборот, усох до подлещика. Пахнут они торфом, болотиной, у плотвы ребра, что у колхозного барана, и в ухе, и в жарехе рыба невкусная. Но ее ловят, солят и вялят меж рам окон либо готовят по особому рецепту, отбивая дух уксусом, марганцовкой, мочат в молоке.

Лихо берет пучеглазый ерш с раздутым от икры мыльным пузом. Бандой налетает пестрый окунь, обрывает мормышки, сеет панику среди рыбаков. Мечется по льду бедный рыбак, сверлит лед, торопливыми пальцами вяжет мормышки.

Черепяне к предобеденной поре, упавшие вместе с ведром на лед, не выпуская удочки из рук, просыпаются, вскакивают и, ничего не понимая со сна, озябшие, дурные, на всякий случай начинают громко повторять: «Кошмар! Кошмар!» Выяснилось: Кошмар — это фамилия сменного мастера в домепином цехе, и ругать его на всем комбинате привычно и необходимо — для согрева тела и успокоения души.

Все было в тот день, в день надвигающегося светопреставления, так же обыденно и привычно. Для меня день начался и вовсе небывало. Я долго работал над книгой, тоже о рыбе и рыбаках, извела она меня, измогала. Хворал я после нее долго, в больнице валялся. Хвать-похватать — зима прошла, и я ни разу на льду не был, ни единой рыбки не поймал. Тут меня, еще полубольного, иглами в больнице истыканного, лекарствами отравленного, и позвали на рыбалку.

Утром ринулся народ толпами с поездов, с машин, со станции, из поселков на лед. И я за народом поспешаю. Народ, он вдаль прет, к большой, певичанной рыбе. Мне невтерпех. Увидел первые лунки с темной водою и скорее удочку сунул в мокро. Разматываю вторую удочку, отмеряю дно, как вижу: поплавок у первой удочки медленно так и уверенно пошел в глубину. Ну, думаю, течение в водоеме от весенних потоков получилось, поддернул удочку — на ней вроде бы коряга, я выбирать леску — нет, не коряга на ней, что-то кирпичом висит и не ворочается, но на свету, в лунке, зашевелилось. Тут я совсем проснулся, зашпшил, заперебирал леску и выпер на лед большую рыбину. Смотрю — вроде бы язь, но чешуя крупная, со спины рыбака темная, глаз и перья у нее красные. И не голавль, и не жерех. Кто же это? — спросил у проходящих рыбаков, они небрежно сказали: сорога. Плотва, значит. Я, сколь на свете ни жил, сколь ни удил, больше ладони сороги не видел. Пока я недоумевал — на вторую удочку клюнуло, и опять попалась плотва, чуть поменьше. Наживил я удочки, сижу, теплой сырью дышу, слушаю звук все явственней, все громче пробуждающегося утра, слушаю из ничего возникшего жаворонка,

гляжу на чубик сосняка, чудом спасшегося от современного топора. Солнцем меня начало пригревать, и тут я обнаружил, что сижу и плачу.

И сразу понял я всю исходную причину слез: мог сдохнуть в больнице и не сдох, до весны вот додюжил, на рыбалку попал — и сразу мне Бог — конечно, Он, кто же еще? — за все мои терпения и муки рыбу послал, жаворонок кружится, сквозь живые еще сосны живое солнце прожигается, мощный хор металлургов блажит насчет пропажи резишки из трусов, рыбы прыгают у моих ног, мною пойманные!.. Хорошо-то как, Господи! А я уж чуть было не согласился все это покинуть. А на кого? Вместе со мной ведь и вправду кончится мир. Мой. Никто не поймает моих рыб, никто не порадуется моей радостью. Ну и что, что гавкают собаки, горланит радио — все конторы нынче радиофицированы. Заставь дурака Богу молиться...

Работая в районной газете, я и сам настойчиво внушал читателям, что есть, еще есть отдельные недостатки в жизни, не изжита преступность, склонность к алкоголизму, к присвоению как частной, так и государственной собственности.

Но если бы все люди в это апрельское солнечное утро ловили рыбу, любовались солнцем, бьющим сквозь гривку сосняка, выскочившего на простор бережка, я верю, они не смогли бы творить черные дела, они бы умилились так же, как я, и им бы тоже захотелось жить благостно и чисто...

— Это шче же тако, оптать?!

Знакомый вопрос и знакомый голос вывели меня из задумчивости. С большой неохотой я расстался с иллюзиями, опустившись обратно на землю, точнее, на берег реки, обнесенной по ту и по другую сторону сложнопереплетенными проволоками на заборах, заплотами, будками, со все еще свегящимися с ночи лампочками. Из будок тех глядели на рыбаков иззябшие сторожа и, чтоб скоротать время до смены, подавали советы: где сверлить лунки, на какие блесны и мормышки рыбачить, до какой глубины их опускать и как покачивать.

— Это шче же тако, товаришшы?

Я окончательно проснулся и увидел перед собой человека в плаще, стоящем колоколом на льду, с лицом, напо-

минающим растоптанную банку из-под червей, с удочкой из ветки вереса, раздвоенной на конце, с миллиметровой жилкой, к которой была крепко и надежно привязана грубая блесна, формой напоминающая почти уже исчезнувшую рыбку — снетка. Снетка кушают люди, кошки, собаки, поросята, курицы, нельмы, щуки, судак, жерех, язь, даже лещ и крупная сорога, если зазевается малая рыбеха, имают и жуют ее, а он, снеток, пикого, кроме блошки, мошки, слопать не может.

Передо мной стоял Кеша Короб. Я его узнал, он меня нет, потому как на Кубенском озере бывал я в масе рыбаков, ловил сорогу с ершами, Кеша же Короб был рыбаком избранным, охотился за пельмой, судаком, щукой да за крупным окунем, и запомнить меня, как специалиста незначительного, мало чего стоящего, не мог.

Я утер слезы рукавицей и вопросительно глянул одним еще не защурившимся от ослепительного солнца глазом на знаменитого рыбака.

— Ак, шче, экой срам пснут! — пояспил Кеша Короб. — Послушаешь этих черемян, дак хоть к дитям не являйся, заразисся от их, оптать...

«Батюшки-святгы! — я еще раз протер меховой оторочкой рукавицы сперва зрячий глаз, потом, на всякий случай, и второй, незрячий. — Да уж Кеша ли это? Короб ли? Не огляделся ли я?» Да, передо мной был Кеша Короб, но ни матюка, ни памека на ругань, кроме «оптать», который в его исполнении ругательством-то и не звучал, с изветренных его уст не то что не срывалось, но даже и в отдалении не предвиделось. И тут я, еще в детстве числившийся в колдунах, своим притчеватым языком вдрут ляпнул:

— Светопреставление! — и не придал, как и многие современники, пикакого значения слову, а надо бы.

Кеша Короб бросил блесну в обгаившую лунку, она звякнула о край льда и, булькнув, исчезла в глубине. Знаменитый рыбак по-прежнему никаких крючков и мормышек не признавал. На Кубене с пашен и притоков смыло прошлой весной удобрения, и берега знаменитого озера покрылись дохлой рыбой. Не рыбачить Кеша Короб не мог, в рыбалке был весь смысл его жизни, и, прослышав про здешнего тучей плавающего судака, он подался в незнакомый край, сделал крюк в триста пятьдесят верст, появился на новом водоеме, вдали от родины. Привыкал к новой местности, к рыбакам, среди которых никто не знал,

что там у себя дома, Кеша Короб — царь и бог, тут же — рядовой рыбак, и никакого ему почтения, да еще эти черепяне, пропахшие металлом, опаленные огнем, — мирному человеку, сыну скромной природы с ними непривычно и тревожно.

Переходя от лунки к лунке, Кеша Короб обрыбачивал водоем и на свою корявую блесну цапнул уже трех мурластых окуней и одного судачонка школьного возраста — не гуляй без мамы!

В мирный весенний день, под все тем же светлым солнцем и вешним небом, на отдаленном водоеме сошлись и разошлись два рыбака. Кеша Короб, идя от лунки к лунке, все удалялся и удалялся, я, еще недавно мрачный, тяжелый душою, недовольный современной действительностью, культурой вообще и литературой в частности, радостно голосил:

— Как прекрасен этот мир, посмотри... — далее я слов не знал в этой песне, да и какую голову надо иметь, чтобы современную песню запомнить? Это может сделать только Русланова, не та, покойная Русланова, другая какая-то. Когда рыбаки ждали рассвета в битком набитом вокзалишке станции, цовая Русланова вела песнь по радио, на слова Шаферана: «Надира дам, я твоя! Надира дам, я твоя...» Один рыбак не выдержал и восхитился: «Ну и память, мля... « А я подумал: «Ну и гигант!» И вот, продля удовольствие, тянул как можно длиньше: «Ка-а-а-ак, пре-э-э-экра-а-а-асе-е-ен!.. Надира дам, нади-и-ира дам...» — и уже склонялся к мысли, что у меня получается не хуже, чем у самого Рашида Бейбутова, как вдруг весеннее солнечное пространство пронзил, именно пронзил страшный вопль. И я увидел не бегущего — прямо-таки лежащего надо льдом по водоему Кешу Короба, без удочки. К этой поре все вокруг заметно подтаяло, на льду маслянисто светилась вода, местами собравшаяся в лужи и по проеденному льду стекающая в лунки. По бокам Кеши Короба взлетала ворохом вода, брызги, создавалась полная видимость стремительности полета птицы.

Продолжая вопить, Кеша Короб бежал не ко мне, человеческой одиночке, — к массам бежал, которые он совсем недавно критиковал за непотребное поведение, заплетался в плаще и часто падал. Ляпнувшись в холодную воду, он катился какое-то расстояние по льду на брюхе и вопил пуще прежнего. В голосе его нарастал ужас, переходящий в рыдания. Очень походил Кеша Короб не толь-

ко на птицу, но и на драпающего по фронту славянина, и вел он себя соответственно драпающему, в панику впадшему вояке: бросил боевое оружие — пешню, удочку, на ходу скинул рюкзак, оборвал петли на плаще и пытался скинуть его с себя, но плащ совсем задубел от мокра, Кеше Коробу удалось сцарапать его лишь с одного рукава телогрейки, далее ему не хватило сил и мужества раздевать себя, скомканный плащ с задраннным рукавом мчался за Кешей Коробом, вроде дурной собачонки, хватал его за ноги.

Народ весь вскочил с ведер, с шарманок, с чурок, с магазинных ящичков, патасканных на лед, сгрудился, сошелся в кучу и окружил Кешу Короба. Вопль прервался, и я увидел в разрыве масс, как отпаивали Кешу из бутылки, после чего он стал указывать рукой в сторону лунки, где бросил удочку и пешню, и что-то говорил, говорил и, чтоб унять душевное волнение, сам уж, по собственной инициативе, припадал к бутылке.

Осторожной, молчаливой цепью двинулись рыбаки к лунке, возле которой кинута было боевое снаряжение рыбака. Сам он прятался за спины наступающих и оттуда, словно командир роты, давал руководящие указания.

Я тоже есть русский человек, подверженный природному любопытству, хлебом меня не корми, дай посмотреть на драку или на свадьбу, бросил я удочки, забыл про рыбалку и двинулся встречь народу, как бы олицетворяя собою партизанскую силу, действующую с тыла.

Не доходя до Кешиной лунки сажени три, наступающие цепи замерли.

И я замер.

На льду, жестким, багровым брызгаясь хвостом, лежало существо, отдаленно смахивающее на рыбу, точнее сказать — сразу на несколько рыб: на ерша, на окуня, судака и еще на кого-то, из будущего на нас надвигающегося. Прежде всего замечались на существе колючки — все оно было ощетиненно-иглисто, по спине, и по бокам, и под грудью, и на жабрах — все сверкало стальной остротой, хребет был темен, неопределенного, иглисто-серболозного цвета, такие же бока, и только туго набитое лягушачье пузо пучилось жизнерадостной сытостью, отливало жестяным блеском, да хвост и перья с колючками, наполненные вроде бы запекшейся кровью, кое-где йодисто-разжиженным, оживляли круглое тело, не то на большое веретено, не то на нерасколотое полешко похожее.

Забравши в твердую, двумя подковами объятую, беспощадную пасть блесну Кеши Короба, новожитель реки и здесь, на миру, с хрустом, со скрежетом продолжал ее жевать. Лежать ему на боку и хлопаться об лед надоело. Опрокинувшись на брюхо, оно глянуло на народ нездешними глазами, паполовину закрытыми щитками, изготовленными вроде бы из космического, небьющегося, негорящего, пуленепроницаемого металла. Когда оно заводило глаза под щитки, взор делался запредельно-жутким, вся морда с пастью от глаза до глаза была отмечена печатью падменной враждебности. Наконец оно выкатило мутные, в то же время вострозорные глаза и словно бы усмехнулось: «Ну, что? Поймали! Жрать будете?! Жрите-жрите! Сегодня вы нас, завтра мы вас...»

— Это шче же оно тако? — чуть слышно шепотом спросил Кеша Короб, высунувший востренький нос из народа и, на всякий случай, державшийся обеими руками за чей-то плащ.

Народ безмолвствовал. Даже черепахе были тихи и как бы маленько не в себе.

И долго бы томился и думал народ, потому как народ наш не думает, не думает, да как задумается, то уж надолго, да в это время снизошел до масс московский рыбак, одетый в комсоставскую меховую одежду, без звезды на шапке, значит, не отставник — тот ни за что не съмет звезду с шапки и шапку с себя.

Раздвинув плечом рыбаков, москвич приблизился ко все еще валяющемуся, продолжающему скрежетать блесной существу, безбоязненно наступил ему на голову меховым командирским сапогом. Под сапогом захрустело, зев с блесною широко растворился, обнаружив по всему рту, и снизу, и сверху, и с боков, острую россыпь металлических сверкающих зубов. Хвост протестующе захлопался по мокрому, оно расшеперилось еще страшнее пастью, жабрами, плавниками, и, не смирясь, не сложив колючек, унылось, совершенно на усопшего не похожее, существо водяного происхождения.

— Ну что вы, ей-богу, как с неба свалились! — сказал московский рыбак. — Это же берш.

— Кто-о-о?

— Берш. Новая, стихийно возникающая популяция рыб. Кое-где она и раньше встречалась, по южным рекам и озерам. Но вот появилась и здесь. Нерестилища наруше-

ны, ход рыбы смешан. Вы когда-нибудь о такой рыбе, как ротан, слышали?

Нет, не слышали о ротане здешние рыбаки — по лицам угадал москвич и поведал, что рыба ротан может обитать в любой луже, даже в мазуте, питаться может всем, вплоть до старых резиновых сапог и колесных шин, видимо, ближайшие поколения ротана уже начнут жрать гвозди, скобы, лопаты... Самого же ротана едят лишь пока избранные любители редкостных блюд, с закаленным брюхом. Что касается берша — это смесь судака, окуня и ерша. Главное действующее лицо в нем — ерш, со всеми его колючками и повадками. Но есть еще кто-то, науке неведомый. Может, аргонавт...

Народ продолжал безмолвствовать и после того, как закончилась лекция, лишь спустя большое время, обреченно было выдохнуто:

— Опта-а-ть!..

— Началось! — прошептал вологодский благонравный рыбак и украдкой перекрестил себя по животу.

— Чё началось? Чё? Ты больше каркай! — налетел на вологодского рыбака очнувшийся черепапин, тот самый, у которого на груди было начертано складное обращение к дедушке Калинину насчет милосердного к нему снисхождения.

— Светопреставление, вот што! — заявил Кеша Короб и обратился к народу, может, мол, кто возьмет эту тварь себе?

Черепапин тут же сгреб берша под жабры и пошел прочь. Кеша Короб сперва растерялся, однако скоро спохватился:

— Э-э, а блесну-то!...

— Я думал, ты мне хычника с блесной подарил! — ослабилась черепапин рваным ртом, сплошь забитым стальными зубами, и, выдрав блесну вместе с яркой, но тоже колючками усыпанной жаброй, бросил удочку к ногам удрученного рыбака — Кеши Короба. В тот день Кеша Короб от народа более не отрывался, утром терся ближе к поэтическому черепапину, заглядывая ему в лицо, отыскивая в нем значения и перемены.

— Ты нишчо, а?

— Ниче-о-о! — зевая блескучей пастью, ответил черепапин. — Вкусная, гада! Ели под водяру и облизывались. Имай ишшо, оптать!

Более Кеша Короб на реку не приезжал, покрыло ее устье — добычливое место — вторым валом воды, да и отнеси от греха подальше! — рыбачил только на родном водоеме — озере Кубенском, постепенно дойдя до унижительной ловли сороги и ерша. Там, на озере Кубенском, и загибнул Кеша Короб — провалился весной под лед и утонул. Утонул...

Совсем недавно одному своему приятелю-рыбаку, объездившему всю страну по вербовке и обрыбачившему многие реки, моря и озера, я возьми да и расскажи о светопреставлении, случившемся на вологодской земле. А он не смеется. Он мне как резанет: не зря, мол, вас, интеллектуалов задрипанных, кроют за отрыв от жизни — берша ловят уже повсюду. В озере Аральском берш сожрал всю рыбную мелочь, дошел до осетровых, коих от веку никто, кроме человека, на земле не ел. Уж на что налим — тварь всеядная, в холодной зимней воде, когда все рыбы в спячке, выедаст все подчистую, кроме осетровых костерок, веретешек-стерлядок, потому как распорют они его «отселева и до Камчатки» бритвенно острыми хребтовинами. Бершу все пипочем, он — существо будущего времени, преодолел все преграды, растет не по дням, а по часам, хватает всякую тварь не только в воде, но и над водой: птиц, змей, крыс, цапает любую блесну, обрывает лески, протыкает резиновые лодки, докатился слух, будто кто-то на южном озере схватил купающегося невинного ребенка за ногу и уволок в пучины вод.

Не иначе как берш. Но может, еще певедомая нам тварь? Может, происшествие на реке было и на самом деле началом светопреставления, сигналом к тому, чтобы мы почаще думали о падающих на нас чудесах в природе.

СЛЕПОЙ РЫБАК

Бригада работников горгаза, возглавляемая крупным, стойким к вину и холоду человеком, Кир Кирычем, имела в своем распоряжении крытую мощную машину, которой и топи, и льды, и грязи были нипочем, потому что водил ее шофер такого класса, какой нигде, ни в каких бумагах не обозначен. Мог он ездить без дорог или по таким местам, где дороги были проложены еще при Петре Великом и с тех пор не ремонтировались.

Щупленький, белесый волосом, сухотелый, голоса никогда не повышающий, шофер Гриша знал свое могущество и секрет владения техникой, тайно этим гордился, и, когда его связчики по артели одобрительно о нем отзывались, он вроде принимал их сдержанную похвалу равнодушно, даже с досадою, но ликовал в душе и гордился собою — это ему было нужно «для самостоятельности». Жена его, Галька, гладкая телом и умом, сумевшая совершить в жизни лишь один подвиг — родить дитя на пять с половиною кило весом — и от этого зазнавшаяся, мужа как человека презирала, но уважала как техника, все умеющего по дому и — к удивлению ее, почти потрясному, — почитаемого в трудовом коллективе, одержимом одной общей страстью — рыбалкой, в особенности зимней.

Гриша рыбачить не любил, даже удочки своей не имел. Он, пока доблестная артель промышляла, занимался хозяйственными делами — оборудовал машину, и как оборудовал! Попавши первый раз в «салон» машины, я поразился удобствам ее: по оба борта кузова фанерой и жестью

обитые сиденья с подъемными крышками, вовнутрь которых ставились шарманки, складывалась рыбацкая одежда, обувь, отдельно отгороженная ниша — для ледорубов и пешней, еще ниша — для кастрюль, тарелок, ложек, ниша, обитая кошмой, — для бутылок. Ящичек, куда-то и во что-то вделанный, — для специй и соли. В изголовье смонтирована газовая плита, баллончик упрятан под сиденьем. И есть еще откидные койки — хотя Гриша в тюрьме и не сидел, но опытом изготовления подъемного топчана у кого-то, скорей всего у газовиков из подвижных колонн, разжился. Были шахматы, шашки, домино, несколько зачитанных книжек и журналов, все больше по технике, но когда опустился потолок машины и тут же был перевернут поджатыми ножками вниз и сделался столом — все посмотрели на меня со значением. Даже дядя Яша, пятый, а со мною шестой тут человек, вечный пенсионер и непобедимый рыбак, за талант рыбацкий пущенный в дружную семью газоремонтников, победно улыбаясь, спрашивал меня взглядом: «Каково?!» Пошатал стол, я сказал: «Да-а!»

Поскольку преград на земле для газовиков не существовало, они рыбачить ездили на малолюдные водоемы и достигли таких глухих районов, что редкие жители, избывающие остатние годы, выходили глядеть на них, как на уполномоченных по выборам в Советы или же зубных врачей.

Выбор газовиков пал на Вороновскую сплавную систему. В глуби утихших лесов и обезлюдивших деревень кто-то невидимый, скорей всего вербованные, заготавливал древесину, но как ее отсюда вывезти — долго придумать не могли. Помощь пришла от мелиораторов: они по карте указали цепь вороновских озер, в которые весной обрушивалась проснувшаяся речка Вороновка и соединяла их в сплошной водоем на сто с лишним верст. Требовалось лишь кое-где сделать в завалах прорубы, свалить старые деревья, посесть кустарники, углубить перемычки и не дремать во время половодья.

Летом вороновские озера округлялись, утихали, оставались, цвели лилиями, сыто пупырились кувшинками, в них кишмя кишел малек, кормились с топляков плотвички, язята, ерш, обожравшийся по весне дармовой икрой, лез пьяно на кого и куда попало, клевал лениво, но безответственно на все, что ему совали под нос. В озерах из-за гнили вывелся гальян, елец, хариус, исчезли раки,

но зато щуке и окуню был тут полный простор для хулиганских действий и разбоя.

Газовики, пробивши путь к вороновским озерам, при молкли и долго своего удачливого места никому не выдавали, кроме дяди Яши, умевшего держать язык за зубами. Останавливались они на ночевку в селе с угрюмым названием — Мурьжиха. Стояло оно на холме с молчаливой многоглавой церковью посредине. В Мурьжихе еще жило несколько семей, но большей частью одиноких старушек, этих бессменных хранителей умолкнувшей русской деревни и заросших пашен. Остальные деревушки кругом были пусты, развалены, заросшие хламом, в глуби леса превращенные в лесозаготовительные «опорные пункты» и сплавные лесоучастки.

Поближе к излучке, соединяющей два ближних озера, стояла большая, черная от времени изба с завалившимися надворными постройками, с чердачным широким «фонарем», с выбитыми стеклами и качающейся на ветру створкой рамы, которая ночами хлопала от ветра, но не отваливалась, потому как была приколочена на долгие годы. Надворные постройки пилили на дрова, на месте их стеной стояли репы-деды, чернобыльник, жабрей, крапива, в которой копошился застарелым шершавым листом давно уже одичавший и ягод не рожаящий смородинник. Теснимый сплавщиками ивняк, волчатник, ольховник, черемушник да бузина отступали с берегов на когда-то родивые поля, огороды, забрались в сады и задушили их, тулились к избам, окружали их и вбирали в себя. Половина Мурьжихи, если не больше, была уже пленена вольным, сорным лесом, и лишь в центре села были натоптаны тропы, лаяли собаки и дрались кошки. Здесь еще жил и отворялся раз в неделю магазинишко, предусмотрительно переименованный на вывеске в хранилище товаров повседневного спроса и этим как бы вовсе отчуждившийся от людей. Но людям, особенно сельским, привычна была перемена вывесок, они от детей и внуков, наезжающих летами, знали, что где-где, а в русском селе от всякого рода переименований, от перестановки слагаемых сумма не меняется, точнее, меняется, да только в одну сторону — к убыли. Никаких товаров — ни повседневного, ни долговременного спроса — в новоименованной торговой точке не было, остались от ранешнего магазина битые молюю валенки, хомуты и узды для изведенных лошадей, железные детские салазки, хотя детей здесь давным-

давно не водилось, железные доски, на которых отчеканены были голые девки с рыбьими хвостами, лупоглазые пластмассовые куклы, несколько кос, граблей и железных печек, которые никто не покупал. Некому было косить, копать, грабить — народ в приозерном краю, доживая век, постепенно забывал землю, ремесла, обряды, труд; снова, как при царе Горохе, мылись в русских печах славяне, в огородах тыкали выродившуюся, малоурожайную картошку, чернеющую в середине, кое-где морковь и редьку, за капустой, луком и чесноком и за яблоками ездили осенью на сплавщицком тракторе в ближний городишко. Бабы забыли, как и что варить, разучились стряпать и ткать, шить и молиться, но все люто матерились, сплетничали и смекали «средствия» на выпивку, добывая копейку сдачей потребсоюзу клюквы, грибов и лекарственных трав, пуская «на фатеру» пьющих сплавщиков, летями — диких туристов и отпускников, под видом рыбалки браконьерствующих по пустым избам в поисках икон, прялок, половиков, керосиновых ламп, самоваров, братин и прочей старины.

Веснами в Мурыжиху трактором, по крышу кабины залепленным грязью, в грязных мешках привозили серый хлеб, который, будучи горячим, рассыпался, вроде блокадного, а в охладевшем виде делался что бетон, облезлые, точенные мышами пряники, желтый и сырой сахар-песок, бочонок постного масла, ящичка три-четыре болгарского перца, который никто из селян не покупал — не знали, едят ли его. Низкие, вспученные баночки «завтрака туриста» со спившей в них килькой, которым уже не раз тут люди травились, слипшиеся, мертвенно-голубенькие конфетки и сверх всего козырный, сладостный товар — бормотуха да фигурные кокетливые бутылки, чуть не до пробки палитые слезою детской, светленькой, с не по-русски написанной бумажкой: «*Россиян водка*».

Из лесов, из-за холмов, озер и болот поднимался, будто на древнее вече, подтягивался в Мурыжиху, разрозненно живущий по селам и деревенькам, люд, и, случилось, из какого-нибудь села никто не являлся на рык трактора, значит, кончились земные сроки еще одного русского человека — выпил он чашу жизни до дна, и не нужны ему больше ни доступная по цене «бормотуха», ни дорогая, по праздникам потребляемая «светленькая» — ничего не нужно: ни милостей, ни пенсии, ни наград. Ле-

жит без Божьего надзора, в дустом селе, в полусгнившей избенке на холодной печи, лежит бесчувственный, всем чужой, никому не пужный и будет лежать до тех пор, пока не порвут его на куски и не растащат по темным чердакам одичалые кошки, не доточат мыши, не придавит его останки подгнившей кровлей собственной избы — последнего прибежища, из родного дома превратившегося в могильную домовину.

«Царство ему небесное!» — перекрестятся земляки его или ее возле магазина, да тут же и забудут о покойном, потому как есть дела поважнее: магазинной очереди соблюдение, слушанье новостей, принесенных издалека, приближение к оглушающей памяти, отбивающей почки, печенки и селезенки «бормотухе» — Господь им судья, этим покинутым нами людям.

У дома, на излучке захлестнутого цевошником и дурнолесьем, сохранились ворота, по тесаному столбу ворот, будто подвешенные, ржавели звездочки. Пять штук. Верхняя, большая — хозяйин, голова дома, остальные четыре — поменьше, никто не вернулся с войны в этот дом, на это подворье — ни отец, ни сыновья.

Хозяйка заколотила летнюю половину — тяжело отапливать. Но и зимняя половина, состоящая из кухни и «залы», была просторна — строилась изба на большую семью. Хозяйка была хоть и беззуба, да еще шустра, к газовикам приветлива. Поначалу она положила на каждого рыбака по двадцать копеек за ночевку, но когда Гриша починил крышу на избе, подладил пол в кухне и крыльцо, бензопилой напластал дров на зиму, и не одну, — от платы скрепя сердце отказалась. Да и как не отказаться: уезжая, рыбаки одних пустых бутылок на сдачу сколько оставляют, и хлебушка, и соли, когда и баранок, и пряников, и «канцэрву», и сахарок, да и подадут «рюмоцькю-другу» бесплатно, побеседуют, ободрят.

Весело в дому с рыбаками. Дай им Бог здоровья и клеву на уду.

Я обратил внимание, что хозяйка никак не называет своего отчества, а рыбаки-газовики науськивают: «Спроси, спроси у нее отчество-то!» — и отчего-то посмеиваются. Хозяйка в ответ: «Да паплюю-ко я на отчество! Не больно и вельможа — навеличивать-то». Дядя Яша тихо сообщил: «Адольфовна она. По батюшке-то она Арефьевна, но вернувшийся из австрийского плена свояк, в насмешку, не иначе, обозвал горластую девчушку Адольфов-

ной. И прилипло. Будто угадал, обормот, что всю ее семью в этой войне Адольф Гитлер сожрет».

О, русская земля! Где предел твоему величию и страданию!..

А над вороновскими озерами сияло весеннее солнце. В хорошо промытом, бездонном небе по голубому чертили круги темные точки жаворонков. Скворечники в деревнях попадали, но скворцы все равно прилетели и щелкали, насвистывали, устраиваясь на жительство в дуплах старых деревьев, рычали в полях грачи, ломая ветви клочьями и таская их в созревшие гнезда, на ремонт; снег еще лежал по лесам и болотам, но на озерах и по Вороновке его съело, лед у берегов прососало, вот-вот должно было поднять и обсушить зимнюю твердь, но пока отовсюду катилась в озера и в речку вода, катилась ухарски-разбродно — тащило мусор, хвою, старые листья, ветви, обломанные ветром и тяжелым зимним снегом. Верхнюю, грязную воду гнало по промоинам, к рыбацким лункам, вращало в них волчками потоки, разъедало лед. С утра продрогшие, в полдень рыбаки поскидывали плащи, полушубки. Кир Кирыч разделся до пояса — загорал. Гриша, от нечего делать сколотивший два скворечника и залезший на ворота, чтобы приставить их к столбам, кричал издали что-то веселое, ему махали руками, ободряя его действия, показывали рыбину — большую щуку, попавшую ночью на живца, показывали много раз и с разных мест. Гриша думал, что щучин наловили три мешка.

Окупи брал списходительно, только у берегов и только на мотыля да на желтенькую мормышку — наелся, стервец, важничал, собирая корм с травы и корешьев, зато сорога и ерш не давали опустить леску под лед. Дядя Яша как припал к лунке в излучине, так и не разгибался с утра, то и дело подсекая и шустро выбирая из лунки леску с добычей. Вокруг него серебристым венцом шевелилась на льду разнокалиберная рыбешка.

Теплый ветер с полей, холмисто подступавших к озерам, раздувал уже зеленую дымку по седловинам, сушил склоны, торопил желтые, мутные ручьи, поддавая им полноты и ходу, взбодрял по берегам мясистую калужницу, проколупывал землю тугой щепоткой сизых всходов медуницы. По мокрым ольховникам белели тихие ветреницы, поверху желтел праздничными ворохами вербач, ивняк, и сыпали коричневой перхотью сережки осинников и ольх.

Мир и весна царили над заснувшим вороновским краем, и весна пыталась отогреть, пробудить его от скучной спячки, населить скотами, птицами и всякой живой тварью, цветом, травой, семенем. Да не слышалось ответной радости, не ощущалось никакой весенней суеты и праздника, не орал из деревень петух, не мычали коровы, не маячил в пустом поле сонный, линияющий конь, и пахарь не мял в горсти подсыхающую землю, не нюхал новую травку, не брал на зуб семя, чтоб ощутить в нем тягу к земле, и сама родливая земля, обездороженная, пустая, теснимая со всех сторон кустами и бурьяном, сиротски ежилась под ветром, пускала по себе талые воды, дурные, шатучие, потом сохла морщинами, пылилась и трескалась, превращаясь в овраги и куда-то таинственно исчезая.

В полдень, как стало совсем тепло и просторно, возле одинокой избы, стоявшей за озером, против Мурыжихи, единственной избы, уцелевшей от заречного хутора, появился человек, осторожно спускаясь по склону, по мокрой траве, подал руку дяде Яше, постоял возле него, поговорил о чем-то и, подставив щеку под ветер, мелкими шажками, бочком пошел по озеру, останавливаясь возле каждого рыбака и непременно протягивая ему руку. Так он дотянул и до меня, пощупал каблук резинového сапога лунку, бросил в нее сверкнувшую на солнце блесенку и заподергивал удилице. Подергал, подергал и, глядя поверх моей головы, спросил: «Кто ты, новый человек на озере?»

Я вдруг понял-догадался — рыбак слепой! Не мог ничего сказать от удивления.

— Да вы рыбачьте, рыбачьте, — успокоил меня рыбак. — На меня внимания не обращайтесь. Я с войны слепой. Зовут меня Жорой. Ударило меня в голову осколком. В госпитале отлежался. Вроде ничего, маленько вижу. Домой вернулся, ожениться успел. Надо бы в город, врачам показаться, а тут работа. Колхоз еще на ногах был. Налогами задавили. И начало совсем зренья падать, от перенапряжения, чё ли. И головой шибко маялся. Ну и ослеп совсем. Как ослеп, голове легче стало. А озера наши я помню с детства. Изныл от безделицы. Вышел как-то, на чужу удочку попробовал. Ничего. Ловко. Когда ерша, когда сорогу, когда окуня, чаще себя за рукав, либо за штаны изловлю. Одинова — за губу. Во, смотри — выреза-

ли, — ткнул он пальцем в верхнюю губу, где крылатой птичкой краснел маленький шрам. — Клевало как раз хорошо, так я рыбаков попросил ножом вырезать, чтобы время не терять на больницу.

Словоохотливый рыбак каждому свежему человеку рассказывал свою историю, привычным голосом, привычными словами, объяснял, что чаще всего ходит на озера, когда ветер — по ветру легче: подставит щеку и чувствует, как и куда идти, все ветра он знает по звуку, запаху, по силе и прочим приметам. Если восточный ветер, сыро, хмарно, — засыхой он здесь зовется, тогда рыба на вороновских озерах почти не клюет, разве что ерш; при северном ветре он резучий, часто студеный, нелюдимый, сиверкото, — клева тогда тоже почти нету, оголодалая щука, если ей на нос блесну кинешь, по-собачьи цапнет, с досады оторвет блесну и стоит, жует отечественный металл. Вот московский ветер, западный, да еще полуденный, южный — это уж благодать, это уж добро, и рыба берет охотно, и солнышко, даже зимой, пригревает, и народишко, глядишь, откуда-нито занесет, а он, Жора, народ любит, и выходит не столько уж и порыбачить, сколь беседу повести, новости узнать, рыбацкой счастью подразжиться — в Мурыжихе ничего не продают, ни крючков, ни лесок, да и рыбачить некому — все в магазине рыбачат.

В тот же день пришла в Мурыжиху сплавщицкая лавка, установленная на тракторные сани. По озерному краю началось оживление — в лавке было вино под названием «волжское», водка под названием «особая» и «перцовка» — специально для промокших и стынувших людей. Газовики стали сбрасываться по тройку, хотя водка у них в доме и была, но Гриша строг — до окончания рыбалки, до вечера, то есть до ухи, ни граммульки не выдаст, да и запас, как известно, «штанов не дерет и хлеба не просит».

Положил в трудовую ладонь Кир Кирыча зеленую трешку и я — куда денешься от коллектива, да еще от такого здорового? И Жора полез за пазуху, долго там шарил, бормотал: «Да где же он, рванный этот?..» Рыбаки предостерегающе подмигнули мне, готовому уж было покрыть долю инвалида своей трешкой. Наконец-то Жора выудил из-под старого, заштопанного бушлата рубль, мало уже похожий на современную денгу — так был рублишко тот смят, потаскан, заеложен. «Вот, ребята, и на меня

чеплашечку закажите, — протянул он его рыбакам и посоветовал «волжское» не брать — крепости в нем мало, уж пусть лучше дорого, да мило, купить водки. Проймет! И веселей сердцу. И боести с нее никакой нету».

Конечно же, рыбаки Жорин рубль отвергли, и он стоял с протянутой рукой вослед посыльному: «Как же это? Я на чужо зариться не привык. Возьмите, ребята...» И ветер трепал действительно уж рваную и почернелую по углам рублевку, которая, как оказалось, уж много лет, звалась среди рыбаков «неразменной» и помогала Жоре «блости характер» и равенство в компании.

Ах, какой это был славный, размягченный, но горем не униженный человек, так похожий на свою родную северную землю обликом и нравом. Мне приходилось видеть на рыбалке всякий народ, встречал даже безруких. Среди них более других запомнился майор Купоросов, бывший командир отдельного саперного батальона, привыкший повелевать и властвовать. Он не то чтобы гордо, скорее зло переносил свое несчастье, чуждаясь людей, отвергая их помощь и участие. Дома, среди своих, наверное, какую-то помощь и принимал, но на людях, особенно на рыбалке, свирепел и лаялся на всякого, кто проявлял участие. У него на одной руке были разъяты кости, будто палками двигал майор ими, перовно заросшими голым мясом, подернутым красной кожицей, пучками и врозь чернущим волосьем, постепенно густеющим и на здоровом теле звериной шерстью кроющим не только грудь, но плечи и спину.

Раздвоенную культу майор Купоросов держал за пазухой, под полушубком — мерзли бедные кости, на левую была надета шерстяная пахлобучка. Если клевало, он выхватывал свою клешню, цапал ею удочку, поднимал, перехватывал леску зубами и пятался от лунки, вынимая на лед рыбешку. Потом клал на колено червяка — с мотылем и мормышками не справлялся — и долго цеплял его кончиком крючка или блесенки.

Рыбачил майор Купоросов всегда на Свягом озере, куда приезжал на инвалидной, громко трещащей и дымно стреляющей машине, и всегда рядом с удочкой опускал под лед блесну. Блесны у него были завидно уловисты, разных форм, из редких металлов. Пока Святое озеро не отравили удобрениями и стоками из свинокомплексов, здесь часто брали судак и щука, и так же часто упрямый, злой майор не мог совладать с крупной рыбиной, шибал ее об

лед, таща волоком... И тогда сидел отставной майор на шарманке, неподвижно, уставившись вдаль, поверх озера и людей, глазами, налитыми тяжелым страданием, лицо его каменело, на нем выпукло проступали кости, каждая по отдельности, и толстая седая щетина делалась заметной на серых щеках и под синими губами, изорванными леской.

Но если майору Купоросову удавалось вывести крупную рыбину на лед, он громко и победно гакал, орал, глядел на народ и даже иногда предлагал выпить с ним в честь такой победы. Но никто не откликнулся на его приглашение, и он выпивал один. Все, кто знал майора Купоросова, думали, как, должно быть, тяжело приходится родным и близким этого человека, уязвленного увечьем и собственной гордыней.

Гриша установил скворечники, сколоченные из старого обрезного теса, на длинных жердях, и они гордо выселись над крайней избой. На «блюдечках» скворечников немедленно затоптались, запоныривали в дырке две пары скворцов, и вскоре они уже дрались с теми, кому жилища не досталось. Люди, все еще толпившиеся возле сплавщицкой лавки, смотрели на скворечники, умильно слушали пересмешников, приговаривая: «Эко его! Эко его!.. Эко невеста перья-то распустила! Хвостом-то, хвостом-то вертит, ну чисто хомутовская Акулька перед солдатом! Помните, в сорок-то третьем годе, лес валить солдаты приезжали...»

Гриша, спускаясь к озеру, все останавливался, оглядывался на скворечни и был собою доволен до невозможности. Ерши по озеру насорены были, точно шелуха от семечек. Вороны, по-мужицки расставив ноги, деловито разворачивали их головой на ход, заглатывали, дергая шеей и хвостом, и какое-то время не двигались, вслушивались в себя, приходили в чувство от грубой пищи. Гриша собирал ершей в корзину, и вороны, волной катясь от него по озеру, орали и ругались — ерши для них наловлены, и нечего обирать бедных пташек!

Гриша отварил икрыных ершей, выплеснул их в лоханку, в отваре наколдовал полное ведро ухи из полосатых, горбатых не только со спины, но и с пуза вороновских окуней. Запах варева донесло аж до озера! Газовики смотали удочки, прихватили с собою Жору и подались

праздновать Пасху. Узнав от хозяйки, что с сего дни начинается пышная, рапная Пасха, уважаемая трудовая бригада решила отметить этот святой праздник — бригада почитала и любила почитать праздники, как старые, так и новые.

Иконы были покрыты чистыми рушниками. Под помещенной в центр иконостаса Матерью-Богородицей плодородия, хотя ничего здесь давно не сеяли и Богу негде было молиться, Богородицу все равно чтили, под раскroшившейся по углам доской иконы светилась лампада. Поскольку елейное масло давно в доме вывелось, в лампаде чадно горело и трещало подсолнечное масло, привезенное сплавщиками в бочке. Среди круглой, широкой столешницы с обломанными зубцами резьбы в узорчатом деревенском блюде красовались нарядные, в отваре луковой шелухи крашенные мелкие яйца инкубаторских куриц, привезенные газовиками. В Мурыжике кур не было, и овец не было, и коров. Зато кошек в каждом доме по подюжине. Люди, уезжая, бросали дома и вместе с ними кошек. Те подыхать не хотели, летами промышляли в лесу, к зиме забирались к старухам в дома — и не выживешь их никакой силой! Рожали кошки по три раза в год, котят прятали в пустых домах и приводили на люди уже зрячих, игривых. Ну как вот их выкинешь и куда?

Дружной, все более добреейшей компанией разговелись газовики яичками, вспоминая кто про что и считая, что нарядней краски, чем от луковой шелухи, для пасхального яичка ничего нету и, главное дело, три окраски от нее: первая — яйца почти орехового, густого, древнего цвета. Второй цвет пожизне, и на яйце появляются круглые полоски, пятнышки на рыльце и на доньшке. Ну, а третий — совсем жидкий, вываренный уж — яйца желтенькие, как одуванчики, получаются — все одно хорошо, все одно красиво!

Прежде чем стукнуть о столешницу, расколоть скорлупу и облупить яйцо, я подержал его в ладони — и в зажмуренных глазах увидел деревенскую улочку в мелкой травке, нарядных ребятишек, катающих по ней крашенные яички. У кого расколется яйцо, тот и проиграл — тут умение нужно, сноровка, и куриц своих знать надо, из-под которой брать яйцо, у какой рано покраснел гребень после зимы — у той яйца крупнее, желток ярче, скорлупа крепче. Бабушка знала, из-под какой курицы давать мне яички. Везло мне в игре. Общизу, бывало, ребятино:

набью карманы яйцами: коричневыми, розовыми, фиолетовыми, желтыми, голубыми, хожу голоем, а кругом слезы и горе. Но праздник же! Весна, тепло, святой дух праздника, сама природа и душа пронизаны им, взывают к милосердию и состраданию, и, потирая «жертвы», возвращаю им расколотые яички. И вот уже радость, прыганье малышей от счастья, и размягчение души моей, сотворившей милостивое дело, и желание творить его еще и еще, делать себе и всем тоже только радость, полниться счастьем и ощущением доброты...

Что с нами стало?! Кто и за что вверг нас в пучину зла и бед? Кто погасил свет добра в нашей душе? Кто задул лампаду нашего сознания, опрокинул его в темную, беспробудную яму, и мы шаримся в ней, ищем дно, опору и какой-то путеводный свет будущего. Зачем он нам, тот свет, ведущий в геенну огненную? Мы жили со светом в душе, добытым задолго до нас творцами подвига, зажженным для нас, чтоб мы не блуждали в потемках, не натыкались лицом на деревья в тайге и друг на дружку в миру, не выцарапывали один другому глаза, не ломали ближнему своему кости. Зачем это все похитили и ничего взамен не дали, породив безверье, всесветное во все безверье. Кому молиться? Кого просить, чтоб нас простили? Мы ведь умели и еще не разучились прощать, даже врагам нашим...

Бригада подняла по чарке — под уху. Хозяйка принесла из «залы» маленькую старинную рюмочку отемнелого серебра.

— Ишшо баунки моей, царство ей небесное! Христос воскрес, мужики! — И те, кто еще помнил в застолье, как отвечать, разрозненно пропели: — Воистину воскрес! — и отчего-то по-детски засмутились. Почмокивая, хозяйка высосала вино из рюмочки и припала к чашке с ухой, повторяя: — Дай вам Бог здоровья, мужики! Дай вам Бог здоровья! Вот праздник-то сладили... и мне, старухе!..

Гриша, повязав хозяйкин фартук, разливал уху по чашкам и тарелкам. «Ну, как?» — спрашивал и, получив одобрение, сиял пуще Святого Спаса, который помещался рядом с Богородицей плодородия и вроде как поддерживал ее под ручку с тайной лаской, с намеком на вечное блаженство и спасение.

Дошло дело до песен. Жора звонким, на морозе и ветрах сожженным голосом, вздувая жилы на горле, изо всех сил кричал:

Эх, бей, вишговка, метко, ловко.
Без пощады по врагу!
Я тебе, моя вишговка,
Вострой саблей подмогу-у-у-у...

Газовики, не зная старых боевых песен, охотно подхватывали: «У-у-у-у...» А вот Жора знал многие городские песни, выучил по радио и помогнул бригаде, когда она грянула: «К сожаленью, день рожденья только ра-а-аз в го-о-ду-у-у-у».

Нахлебавшись солнца, воздуха, ухи, рыбаки скоро сморились, расплзлись кто куда — в «залу», на полати, на печь, на пол под божницу. Изба наполнилась боевым храпом. Помогая Грише убрать со стола, хозяйка трясла головой, смеясь: «Какие тараканы были, дак в лес убегут, помельче — примерли...»

Жора отчего-то домой не поспешал, и его не гнали. Он затяжелел, пытался рассказывать про войну. Я понял, что был он на войне очень мало, может, и вовсе не был, может, по пути на фронт разбомбили эшелон. Наслушался радио и плетет байки о войне Жора, какие охотно слушают и верят им ребятишки в детсадах, школьники младших классов и память утратившие пенсионеры.

Я вызвался проводить Жору, па что хозяйка сказала: «Да он и сам дойдет. Ему што день, што ночь...»

На дворе мы остановились, послушали, как шевелил струпьями бурьян, обивая старое семя и колючки, как шумели в ночи веселые воды. Ночь была теплая. Густой от влаги воздух наполнил все вокруг горьковатой свежестью почек, пробуждающейся травы, выпирающих из-под травы корешков. И тонким слоем, сладко, нежно струила медовый запах ива. Из лесов слабой волной накатывал холодок размытых, дотлевающих снегов, неся с собой дух липкой прели, наполняющий душу легким сожалением о преходящей жизни, о кратковечности ее и неизбежности обновления.

В сенцах Жориного дома горел керосиновый фонарь, в самом же дому свету не было. Жора осторожно разулся и не вошел, а прокрался в избу, прижав палец к губам, чтобы и я держал себя тихо. Но как только приоткрылась дверь, на кровати воспрянула фигура в белом и зашарила рукой в поисках спичек.

— А-а, слепшарая пьяница! Алкоглотик пропашный, яви-и-илса-а! — чиркая, ломая спички, в рубахе китай-

ского шелку, косолопая, ширококоротая баба соскочила с кровати и зажгла лампу. Не подбирая слов, разряжала она свой, в потемках скопленный, гнев, яростно ходила кулаками возле Жориного лица. — Опеть за старое! Опеть? И коды ты здохнешь? Коды захлебнешься? Я тя подобрала... обмываю, обшиваю, кормлю, а ты..

— Ньюша! Ньюша! — слепо хватая руки жены, лепетал Жора. — Не бей меня. Я больной. Я скоро помру. Успокойся... Я понимаю... Все понимаю. С товаришшами, с городскими... Пасха седни... Ради святого праздника. Не губи себя, не рви мою душу. В инвалидку ушел бы, да далеко. Помру скоро. А рубель я не пропил. Вот он, вот. Товаришшы сознательные, советские люди, не взяли ево... вот, товариш скажет...

— А-а, товариц! Такой же алкоглотик! Такой же бродяга подзаборнай!..

Я подсадил Жору на печку и вышел из избы под крики хозяйки, постепенно переходящие в причет: «Да с кем же я связалася, окаянная! Да погубила я свою жизнь! Да какая же моя доля разнесчастная. Да подохнуть бы мне скоряя аль скрытться в лесу темном... Говорила мне мама-покойница, упреждала...»

Здешних баб я не любил. Низкозадые, ягодицы при ходьбе быют по пяткам, бесцветные, плоские, малообходимые, они от рождения осатанелы, бранились между собой, загрызали старичонок и мужиков. На тысячу или две являлась вдруг миру беловолосая красавица с небесно-голубыми глазами, добрая нравом, родливая, как бы показывающая, что и эта забытая Богом и людьми земля может еще творить чудеса, только вот чего-то ей для этого недостает, может, и охоты нету — ведь плодить худое, злое проще и легче, тут ни ума, ни старания, ни любви не надо.

Долго сидел я на крыльце избы, из которой глухим рокотом, будго раскаты далеко занимающейся грозы, доносило храп газовиков, слушал весеннюю ночь, внимал земле, наполненной тихим дыханием и дальним, неумолчным гулом пробуждения. Ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Душа доверчиво внимала этой вешней, ночной, беспокойной тишине, наполняющей душу светлыми надеждами, ожиданием перемен. Верилось, что всякий человек не может не внять такому, уже вековому, спокойст-

вию земли этой, ее покорной, деловитой готовности любить, рожать, плодиться. Хотелось тоже покорно довериться всему, что свершается в ночи, в пространствах подзвездных, — услышь, человек, уверенное шествие весны, присоединись к нему — нельзя далее поперек природы идти, нельзя себе впереиз, иначе запустеет все вокруг, зарастет бурьяном, и сам человек в себе вырождается, запаршивеет, лишится силы и последнего разума.

На утре притихли дальние леса, приглохли воды, легкое шуршание по прошлогодней, сухой дурнине, по тесу старой крыши дошло до меня — шепот в ивах и ольховниках возник, я ощутил нежное прикосновение к губам первого весеннего дождя, в котором ивовой цветочной пыли было больше, чем влаги.

Я отодвинулся под козырек навеса, прижался спиной к треснутым бревнам старой избы и глубоко уснул под все густеющий шорох благодатного дождя, после которого где-то еще сеют пшеницу, ячмень, овес и промыто сияют зеленью озимые на полях. Травы и цветы, воспрянув от сна, идут споро в рост; сдобную, окропленную небесной благодатью землю пахнут и боронят, — весна набирает ходу, леса наполняются листом, гнезда птиц — яичками; в хлопотах и заботах, в работе не проходит — прямо-таки пролетает долгожданная весна.

Ночью на озерах залило лед тонким слоем несомой из тайги, Вороновкой, снеговой воды. Перебирались рыбачить на плотине, обивали пешнями рыхлые края ноздристых, истончившихся льдин, вспухших серой пеной.

Пришел на берег мятый со сна Жора. «Ну, как?» — спросили его. «Да ничего, привычно», — махнул он рукой и... велел убираться со льдины, слышу, говорит, как прокатила большую верхнюю воду в озера Вороновка, кабы беды не было.

Вода и в самом деле задышала в лунках, запенилась; зашевелило мусор в проранах и в заберегах, вдруг надуленно выбурило из прорубей вода, будто из пожарных брандспойтов ударила, все закружилось, зашумело, поплыло, переворачиваясь и ныряя, народ заахал, заулюлюкал, на ходу собирая рыбу и удочки, шало ринулся со льда. Двое газовиков черпанули сапогами в забереге и свалились на землю, задрали ноги, выливая холодную воду из обуви.

С другого берега, все более отдаляемого стремительным разливом, на глазах ширящегося озера, лед на котором обмыло, очистило от мусора, подровняло, взмыли табуны уток. Снеговая стремительная вода все толще покрывала горбину льда. Осталось лишь мерцание погружающейся в пекытие зимней брони, исчезающей под толщей беспыабашной воды. Мысли о новом вечном потоке, об исчезновении всего, что было еще живо в пашенном побережье, в запустелом краю, теснились в присмирелом сердце. Птицы, особенно вороны, галки и грачи, оравшие от возбуждения, еще более добавляли смуты и беспокойства в сердце.

Из заозерья, с устья распахнувшейся настезь в озеро Вороновки, нам все махала и махала шапкой, отдаляемая разливом, фигурка одинокого рыбака. При выезде из Мурыжихи, за окраиной села нашу машину отгеснило на обочину стадо молодого скота, голов в двести. Парни на лошадях с молодой, дикарской безжалостностью секли в кровь бессловесную скотину, как секли пленных иноземцев-русичей раскосые воины, налетевшие в уремье из пыльных степных земель. Телята и бычки, выросшие под крышей, к табуны и приволью совсем непривычные, лезли в кусты, в грязь, прячась от кнутов, сбивались в кучу, всплывали друг на дружку, а бестолковуто скотину лаяли, лупцевали, налетая конями на грязную кучу копошащегося, задохшегося, хрипящего стада. Особенно свирепствовал старший, видать, среди пастухов, в клоупски вздутой на спине куртке, в нарядной вязаной шапочке с иностранным словом по красному полю. У него в ременный кнут была вделана маленькая гайка, и он уже выбил ею глаз беленькому, покорному теленку, от рогов до хвоста обляпанному грязью так, что из белого теленок превратился в пестрого.

Парни остановились покурить и охотно пояснили, что гонят молодой скот на откорм, на заброшенные пастбища, пустыющие луга, покосы, и, если первый опыт по откорму удастся и спизится стоимость килограмма мяса, тогда отремонтируют дороги, жилье, может, даже построят комплекс на тыщу голов, откроют постоянный магазин и даже клуб, пахать снова начнут, сеять рожь, овес, ячмень, чтоб не завозить корма скоту.

Возле упавшей поскотины, как в старые добрые времена, скотину встретило все пегустое население Мурыжихи. Наша хозяйка, Адольфовна, уже кормила телушку

с выбитым глазом кусочком хлебца и ругала рогочущего перегонщика. «Самого бы в плетки, — говорила, — поглянулось ли бы?..»

— А ты оближи, оближи телку, бабка, — науськивал старую женщину парнишка школьных лет с прыщавым лицом и жидкими волосами до плеч. На брюхе у него болталась сверкающая огнями машинка, мурлыкая что-то иностранное.

Обугая наскоро, на босую ногу, в огромные стоптанные сапоги, оставленные до зимы Кир Кирычем, хозяйка наша одной рукой вытирала слезы умиления, другой обирала с телочки грязь и как бы высвечивала ее.

— И оближу! И оближу! — кричала, дрожа голосом. — Чего скалишься? Не сидел в пустой-то избе, не слушал ветру в трубе, не оплакивал убиенных на войне...

Длинноволосый намеривался высмеивать Адольфовну дальше, но подъехал старший, в фасонной шапочке, и замахнулся кнутом с гайкою:

— Кончай! Эй, бабки, кто на хватуру пустит?

— Эких-то бесов? Эких-то разбойников! — всплеснула руками Адольфовна и хотела топнуть, да только сронила сапог с ноги и пока, прыгая на другой ноге, нашаривала его, узко, в кулачок сведенными кривыми пальцами, траченными ревматизмом, другая старуха, высокая, скуластая, в мужицком треухе и с сигаркой в обкуренных пальцах, велела парням заворачивать к ней.

Чувствуя, что постояльцев перехватывают на лету и прибыток, живой прибыток ускользает из рук, Адольфовна закричала:

— К ей не ходите! Она курит! У ей изба холодна... А у меня — воп мужиков спросите...

— А-ах, так вашу! — по-черному облаялся волосатик с транзистором. — Вам не подраться, нам не посмотреть!

— Эй, ты, молокосос! — воззрился на него из открытой двери нашего «салона» Кир Кирыч. — Еще раз обматерись при людях, я выбью тебе зубы! Все! И сразу!

— Какой выбивало наше-олся! — начал было волосатик. Но когда Кир Кирыч всплыл в двери, загородил ее собою — понял, что копом такого не стоптать, хлестанул одного, другого телка, ткнул пальцем в брюхо, и из машинки на весь вороповский край завопило: «Пр-ра-а-асти, земля-а-а-а, пр-расти пафэ-эк, тебя об-бидел чел-лофэк...» — Во, бабка! — примирительно сказал волосатик, нагло

тыкая себя как бы ненароком ниже пояса. — Машина времени поет, бабка. Нашего времени. Твое отпелось.

— Это поет? Это поет? — ведя в обнимку телочку, все обирая ее, очищая от грязи, ощупывая голову с набухшими рожками и давним крестьянским опытом — по шишкам на голове, по губам и языку — определяя породистость, молочность и даже норов будущей коровки, перечила бабка. — Орет лихоматом, будто осенесь ево выложили...

— Выложили?! Ха-ха-а! Го-го-го! А ну, скотина, шевели ногами! Гоп! Гоп! А то магазин закроют. Па-аследний пар-ря-ад паступаииит... Гуд бай, дяханы! — и врубил другую кнопку. Из-под нее еще дичее заорал кто-то бараньим голосом, волосатик умело подтянул: — Гуд бай, герлс, бойс, грени энд антс! Тил нью митингс энд партс! Дин ачес! Паргингс!

— Это оне по-какому? — пугливым шепотом спросила Адольфовна.

— По-бусурманскому! По-какому! А ты на других бочку не кати! Не кати!..

Адольфовна сделала вид, мол, никого не слышит и не видит, гладила телочку, наговаривала, может, и в самом деле никого не слыша и не видя.

— Бил он тебя, ирод! Бил. Научили их на свою голову! Последние крошечки собирали... В городе он рос, в городе, и заместо сердца у его кирпич, где голове быть — чигунка... Я вот те! — погрозила она кулаком вблизи гарцующему всаднику. — Мы тоже, было время, не жалели ниче, не пасли, не берегли. Полюбуйся теперя на хозяйство наше. Все профуркали, просвистели да разбазарили... Все...

— Ак чё теперь сделаешь? Назадь не поворотишь, — вздохнула курящая старуха и вдруг с дребезгом, отчаянно завопила: — Да уж побегала ты с факелочком! — Выплюнув сигарку в грязь, она еще громче и решительней продолжала: — Долой церкву, опиум народа! Давай клуб! Бога нет, царя не падо, мы на кочке проживем! И остались вот на кочке жить.

— Пр-р-расти-и-и, земля-а-а-а-а! — до умору точно передразнивала Адольфовна транзистор, видать, была она когда-то большой артисткой в Мурьжкихе. — Есь ли кому прощать-то, а? И ково прощать? Нас? Вас, окаянных? — воззрилась на перегонщиков. — У-у, бесы! У меня штоб

при иконах не матюкаться, не курить в избе. Лампу долго не жечь — карасин завозной.

Гриша нажал на стартер, машина сразу же сыто захрапела и резко взяла с места. Когда мы выскочили на холм и начали удаляться в размякшие обочь дороги, сорно лохматящиеся поля, в открытую дверь «салона» увидели, что среди заполневшего озера, расталкивающего выскокую воду вверх по оврагам, рыгвинам, буеракам, логам, по всем углам и щелям, белой луною всплыла льдина, серебрясь под солнцем. Над пеею, колеблясь плясало солнечное марево и дробился яркий свет лучей о края льдины. Чайки реяли над озером в дремотном, сладком сне. И вдруг обозначилось что-то на льдине, заметалось и ухнуло, разбив лед на куски, словно в немом кино. «Лось! Лось!» — донесло крики. Кир Кирыч вынул из-под сиденья бинокль, подержал у глаз и мрачно уронил:

— Теленок. Загнали, мошенники! Поворачивай, Григорей.

Машина взревела, разворачиваясь в грязи. От Мурыжихи на берег озера бежали бабы с жердями и досками. Перегонщики отгесняли конями одичавшее стадо, готовое ринуться вслед за первым телком в воду, на лед. По ту сторону озера, от бывшего хутора, мужик, у которого ветром трепало рубаху, и баба, тоже в белом, катили по бревнышкам старую лодку к воде, чтоб помочь народу спасти скот и вообще узнать, что за движение открылось в заозерье, в Мурыжихе, откуда шум, многолюдствие, чем оживился умолкший было уголок покинутой земли.

О, русская земля! Где предел твоему величию и страданию!

ЛОВЛЯ ПЕСКАРЕЙ В ГРУЗИИ

*Агольфу Николаевичу
Овчинникову*

Было время, когда я ездил с женою и без нее в писательские дома творчества и всякий раз, как бы нечаянно, попадал в худшую комнату, на худшее, проходное место в столовой. Все вроде бы делалось нечаянно, но так, чтобы я себя чувствовал неполноценным, второстепенным человеком, тогда как плешивый одесский мыслитель, боксер, любимец женщин, друг всех талантливых мужчин, в любом доме, но в особенности в модном, был нештатным распорядителем, законодателем морали, громко, непреклонно внушал всем, что сочиненное им, снятое в кино, поставленное на театре — он подчеркнуто это выделял: «на театре», а не в театре! — создания ума недюжинного, таланта исключительного, и, если перепивал или входил в раж, хвастливо называл себя гением.

Когда в очередной раз меня поселили в комнате номер тринадцать, в конце темного сырого коридора, против нужника, возле которого маялись дни и ночи от запоров витии времен Каменского, Бурлюка, Маяковского, имеющие неизгладимый след в литературе, но выжитые из дому в казенное заведение неблагодарными детьми, Витя Конецкий, моряк, литератор, человек столь же ехидный, сколь и умный, заметил, что каждому русскому писателю надо пожить против творческого сортира, чтобы он точно знал свое место в литературе.

В последний мой приезд в творческий дом располневшая на казенных харчах неряшливая поэтесса, в треснувших на бедрах джинсах, навесила, почти погрузила кобы-

лий зад в мою тарелку с жидкими ржавыми щами, разговаривая про Шопенгауэра, Джойса и Кафку с известным кинокритиком, панибратски называя его Колей, и вот тогда я, как и всякий русский человек, упорно надеющийся пронять современное общество покладистостью характера, смиренным неприхотливого нрава, окончательно решил не утруждать собою дома творчества, а придерживаться отечественной морали: «Хорошо на Дону, да не как на дому».

Но то, о чем я хочу поведать, произошло в ту наивную пору, когда я еще не терял надежды усоститить литфондовских деятелей, думал: хоть однажды они ошибутся да и расположат меня по-человечески. Нет, ни разу не ошиблись! Забалованный лестью, истерзанный гениями и истерическими писательскими женами, директор Дома творчества поместил нас с женою в комнате с видом на железную дорогу, где жили родственники писателей, какие-то пьющие кавказцы, начальник похоронного бюро Союза писателей, разряженный под Хемингуэя, и другие важные деятели творческих организаций. На солнечном Кавказе нас с женою так ловко и в такую дыру законопатили, что солнца, как в зимнем Заполярье, совсем не видно было, разве что на закате — чтоб мы его вовсе не забыли; возделенное море располагалось под другими окнами, возле других корпусов.

С тех пор, вот уж лет двадцать, живу и работаю я по русским деревням, не потребляю более в домах Литфонда бесплатную капусту, свеклу и морковку, способствующую пищеварению и умственности.

Так вот, когда я отбывал «срок» в комнате окнами отнюдь не на утреннюю, свежестью веющую зарю и не на море, — внизу, в вестибюле административного корпуса, поднялся скандал. Я подумал, что явился очередной гений и требует апартаментов согласно своему таланту. Каково же было мое изумление, когда я увидел внизу двух разгневанных людей кавказского происхождения: один — директор Дома творчества, в другом я узнал своего сотоварища по Высшим литературным курсам — свана Отара. Человек с тяжеловатым лицом, со сросшимися на переносье бровями, молчаливый, почти не пьющий, но всегда всех угощающий, он единственный из всех курсантов носил галстук зимой и летом, в непогоду и в московскую пыльную жару, всегда был опрятен, вежлив и раз — един-

ственный раз — сорвался, показав взрывную силу духа и мощь характера сына кавказских гор.

В нашей группе учился армянин, выросший в Греции. Возвратившись в отчий край, он считал, что, коли был приобщен к культуре Древней Эллады, стало бытть, может поучать людей круглосуточно, и занимал собою большую часть времени, выступая в классе по вопросам философии, искусства, экономики, соцреализма, русского языка, европейской культуры. В это время курсанты занимались кто чем, большей частью рисовали в блокнотах головки и ножки девочек, читали газеты. Алеша Корпюк, тоже говорун беспробудный, листал польские журналы с полуприличными карикатурами; сидевший от меня по левую руку азербайджанец Ибрагимов писал стихи, справа налево, упоенно начитывал их себе под нос. Были и те, что играли в перышки и спички, писали короткие, информационного характера, письма домой и пыльные, порою в стихах, — своим новым московским возлюбленным. Но большей частью курсанты дремали, напрочь отклонившись от умственных наук и от голоса оратора, аудитория нег-нет да и оглашалась храпом, тут же испуганно обрывающимся.

И один, только один человек, как оказалось, в классе внимал пришьельцу из Эллады и, внимая, накалялся, в сердце его накапливался взрыв протеста. В середине урока философии, совсем уж черный от тяжелого гнева, Отар громко захлопал партою, с вызовом взял стопку книг под мышку, высокий, падеменный, дымящийся смоляным дымом, отправился из аудитории, громко, опять же с вызовом, топая башмаками.

Народ проснулся, оратор смолк. Преподаватель философии, добрейшая старая женщина, обиженно часто заморгала:

— Ну товарищи! Ну, я понимаю... может, я недостаточно глубоко освещаю вопросы философии, но я — преподаватель... я, наконец, женщина. Если вы заболели или что, так спросите разрешения...

— Извините! — мрачно уронил Отар и, вернувшись на середину класса, тыкал пальцем в пол, не в состоянии что-либо молвить дальше, глаза его сверкали из разом обросшего бородою лица: — Я приехал... Я приехал... — наконец вырвалось из стесненной груди. — Я приехал Москву из радной Грузии слушат профессор, слушат ака-

дэмик, слушат преподаватэл, но не этот... — далее последовали непереводимые слова.

С этими словами Отар грохнул дверью и удалился.

Слушатели Высших литературных курсов упали под парты. Певец из Эллады пытался что-то сказать, но, так как был, кроме всего прочего, еще и зайкой, сказать ему ничего не удавалось.

Какое-то время на занятиях он не появлялся: болел или ходил в проректорат — жаловаться на национальный выпад. Отар, еще более смурной, но прибранный, сидел непоколебимо за партией и реденько сгибался, чтобы занести в блокнот глубокие мысли и умные высказывания преподавателей.

И вот этот самый Отар, собрат по курсам, с руками в оттопыренных карманах смятых брюк, со спущенным почти до пупа галстуком, обнажившим волосатую грудь, со шляпою набекрень, с сигаркою в зубах, пер на директора Дома творчества грудью. А тот, привыкший, чтоб с него пушинки снимали, пер на Отара брюхом и все орал, брызгая слюной. Они уже брались за грудки, когда я вклинился меж ними, растолкал их, и Отар, гордый сын высоких заснеженных гор, начал орать на меня:

— Ты зачэм здэс живешь?! Зачэм? Ты зачэм не убьешь этого дурака? Зачэм? Тебе мало моего дома? Мало тэсят компат! Я построю тэбе одиннадцат. Я помешшу тебя лучший санаторий Цхалтубо! Тебе не надо Цхалтубо? Надо этот поганый бардак?.. Знакомься: мой брат Шалва, — показал он на скромно стоявшего в отдалении молодого человека. — А это моя жена, — махнул он на женщину, одетую в темное, в еще большем отдалении стоявшую, совершенно бледную от испуга. — Я приехал за тобой. Хочу, чтоб ты увидел Грузыя нэ в кино, грузын нэ на базаре...

Я поскорее повел, да что повел, потащил гостей вверх по лестнице, в свое «помещение». На ходу затягивая галстук, отыскивая, куда бы бросить окурок, Отар оглянулся и погрозил пальцем директору, которого тут же окружили щебечущие дамочки, одна из них вытряхивала валидол на ладонь. Но директор, все еще трясясь от гнева, капризно отстранял руку благожелательницы.

— Мы еще встрэтимся с тобой, образина! — крикнул Отар сверху. Не зря он два года вкушал московский хлеб, толкался среди русских — какое точное, разящее слово почерпнул из кладезя нашего великого языка.

— У тебя, конечно, нечего выпить? — войдя в нашу комнату и упав в кресло с протертой творческими задами грязной обшивкой, произнес Отар и, не дожидаясь моего ответа, приказал: — Шалва!

У меня было, как я считал, хорошее грузинское вино «Псоу».

— Это сака, ее пьют курортники! — небрежно отмахнулся гость от моего угощения.

Было что-то неприятное в облике и поведении Отара. Когда, где он научился барствениности? Или на курсах он был один, а в Грузии другой, похожий на того всем надоевшего типа, которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившим фруктом или мятыми, полумертвыми цветами. Жадный, безграмотный, из тех, кого в России уничижительно зовут «копеечная душа», везде он распоясан, везде с растопыренными карманами, от невымытых рук залоснившимся, везде он швыряет деньги, по дома учитывает жену, детей, родителей в медяках, развел он автомобилеманию, пресмыкание перед импортом, зачем-то, видать, для соблюдения моды, возит за собой жирных детей, и в гостиницах можно увидеть четырехпудового одышливого Гогию, восьми лет от роду, всунутого в джинсы, с сонными глазами, утонувшими среди лоснящихся щек.

Запыхавшийся Шалва приволок две корзины, и молчаливо сидевшая, опять же в отдалении, жена Отара тенью заскользила по комнате, накрывая облезлый, хромой стол, испятнанный селедками, заляпаный бормотухой, съедающей любой лак, любую краску. Для приличности мы его прикрыли курортной газетой.

В несезонное время дома творчества писателей отдаются легчикам, шахтерам, машиностроителям, и они тут веселят сами себя чем могут, потому как нет в писательских заведениях ни массовика-затейника, ни радио в комнатах, ни громких игр, ни танцев, ни песен. Кино, да и то старое, бильярд с обязательно располосованным сукном, библиотека, словно в богадельне, с блеклой, вроде бы тоже из богадельни выписанной библиотекаршей, у которой всегда болен ребенок и по этой причине она выдает и собирает книжки очень редко.

За столом, заваленным разной зеленью, была зелень

даже чернильного цвета, которую наш брат и не знает, как и с чем едят; выяснилось, что столкновение Отара с директором произошло как раз из-за раздрызганного внешнего вида моего гостя. Увидев Отара, директор Дома творчества индюком налетел на него:

— Вам тут не пригон!

— В притоне приличней! — Отар ему сквозь зубы.

Я сказал Отару, что ему, отцу четырех детей, уроженцу Сванетии, жителю сельской местности, не пристало держать себя развязно и что на сей раз начальник этого хитрого заведения прав, одернув его, но орать и за грудки браться не надобно ни тому, ни другому.

— Вот сядем в машину, поедem по асфальту, потом сельскими дорогами, под нашим бодрым грузинским солнцем — распояшешься и ты, — мрачно заверил меня Отар.

Через пару часов мы уже катили в сторону Сухуми и дальше. За рулем сидел и ловко, но без ухарства и удали вел машину Шалва — помнил он частые могилы по обочинам дорог, где нашли последний приют подгулявшие «мальчики», гоняющие машины на пределе всех скоростей, и обязательно в гуще движения изображая потомков храбрых джигитов, павших, правда, не ради пустой забавы — за свою землю павших, за детей и матерей, за свой народ.

Отар, взявшийся показывать нам путь и рассказывать обо всем, что мы увидим, упорно молчал, пока мы мчались по курортному побережью, и только в Зугдиди, резко выбросив недокуренную сигарку в приоткрытое окно, произнес:

— Вот самый богатый город Грузии. Здесь можно купить машину, лекарство, самолет, автомат Калашникова, золотые зубы, диплом отличника русской школы и Московского университета, не знающего ни слова по-русски, да и по-грузински тоже.

Отар смолк и еще больше помрачнел. Мы были уже за перевалом, верстах в ста от моря. Ехали трудно и медленно, по пыльной и ухабистой дороге, с неряшливо и скупно засыпанными гравием ямами, колеями, выбитыми колхозными тракторами и машинами до глубины военных траншей, вымоинами, выбоинами, ну, прямо как на нашем богоспасаемом Севере, а по берегу-то моря все вылизано,

почищено, прикатано, приглажено, музыка играет, девочки гуляют, цветы цветут, джигиты пляшут, птички поют...

По обе стороны дороги трепались оснастые лохмотья кукурузы, табака и ощищенных роз, кое-где поля реденько загораживало деревцами, мохнатыми от пыли и инвалидно-спиклыми. Глупая, веселая мордаха стихийно и не ко времени выросшего подсолнуха-самосевки, нечаянно затесавшегося в чужую компанию, реденько радовала глаз. Набѣгающие на нас селения жили размеренной, несуетной жизнью. Сельские дома, строенные все больше из ракушечника и серого камня, были велики по сравнению с нашими, много на них было каких-то надстроек, террас, веранд, подпорок, а вот окон меньше, чем в российских домах, где солнце ждуг и ловят со всех сторон, а здесь порой спасаются глухими стенами от зноя и света. Возле домов ворошились и сидели в пыли куры, злобно дергали головами и болтали блеклыми, вислыми гребнями и подбородками, напоминающими порченное сырое мясо, индюки. Шлялись по улицам волосатые, тощие свиньи с угольниками на шее да выдергивали из заборных колючек какую-то съедобную растительность костлявые коровы со свалывшейся на спинах шерстью и с вымечком с детский кулачок. Собаки-овчарки в нашей лагерной местности куда крупнее, статней и сыттей грузинских коров.

Две-три магнолии средь селения; старая чинара с пустой серединой и выгоптаннми наружу костлявыми кореньями; выводок тополей возле конторы и магазина с распахнутыми дверями; низкорослые, плохо ухоженные садики за низкими каменными оградами, оцетинившиеся ежевичником, затянутые ползучим вьюнком, вымучившим две-три воронки цветков; деревца с обугленно-черными плодами гранатов, треснутыми в завязи, похожие на обнаженные цинготные десны; усталые мальвы под окнами; колодец с серым срубом за домами; никлый дымок из каменного очажка, сложенного средь двора; зеленой свежестью радующие глаз ровные грядки чая по склонам гор; желтые плешины убранных хлебных полей или ячменя, какое-то просо или другое растение, из которого делают и везут к нам веники; древнее дерево, может, дуб, может, клен, может, бук, а может, реликтовое, со времен ледников оставшееся растение, облаком означившееся на холме и быстро надвигающееся на нас. Голуби, стайками порхающие по полям; меланхоличный хищник, плаваю-

щий в высоте, обесцвеченной до блеклости ослепительным солнцем.

Тихая, хорошо потрудившаяся, усталая от зноя и безводья пустынная земля, еще не вспаханная плугом, не исцарапанная бороной и не избитая мотыгой, миротворно отдыхала от людей и машин.

Ручьи, реки остались в горах и предгорьях, ручьи с намоиными отложениями косами, говорливые, даже яростные — в горах, в ущельях, с необузданно-нравными гривами пены, — они много пасли и питали возле себя по холмам и пизинам всякой растительности, садовой и огородной роскоши, среди которой пышными золотистыми шапками цвело певедомое мне и певичданное растение.

— Американский подарок! — во второй раз разжал рот Отар, услышав мои бурные восторги насчет цветка, выкинул сигарету и, тут же закурив другую, снизошел до пояснения.

В сорок четвертом году в предгорьях формировался или пополнялся после героического рейда кавалерийский корпус. В Батуми поступал овес из Америки — для военных лошадей, и вместе с овсом прибыло вот это растение. Сначала на него никто не обращал внимания, потом им любовались и тащили по садам, потом, когда он, паразит, как и полагается янки, захмелел, задурел на чужой на кавказской стороне, начал поражать собою лучшие земли, сжирать поля, чайные и табачные плантации, сады и огороды, — спохватились, давай с ним бороться, но поздно, как всегда, спохватились: заокеанский паразит не дает себя истребить, плодится, щупальцами своими, которые изруби на куски — и кусочки все равно отрастут, ползет во тьме земли, куда растению хочется. Круглый год трясет веселыми кудрями, качает золотистой головой, пуская цветную пыль и ядовитые лепестки по вольному приморскому ветру, по благодатной земле, клочок которой тут воистину дороже золота.

Н-да, подарочек! То цветочек с овсом, то колорадский жук с картошкой, то варроатоз на пчел, то кинокартиночка с голыми бабами-вампирами, то наклейка на форменные штаны переучившемуся волосатому полудурку с надписью отдельного батальона, спалившего живьем детей в Соцгми, — буржуи ничего нам даром не дают, все с умыслом.

А по Грузии катил праздник. Был день выборов в Верховный Совет, и по всем дорогам, приплясывая, шли, пели, веселились грузины, совсем не такие, каких я привык видеть на базарах, в домах творчества или в дорогих пивнушках и столичных гостиницах.

— Вот, смотри! — облегченно вздохнув, махнул мне на дорогу Отар, и, откинувшись на спинку сиденья, как бы задремал, давши простор моему глазу. — Смотри на этот Грузия, на этот грузин. Народ по рукам надо знать, которые держат мотыгу, а не по тем, что хватают рубли на рынку. Тут есть генацвале, которые с гор спускаются на рынок, чтоб с народом повидаться, — два-три пучка зелени положит перед носом, чтоб видно было, не напрасно шел. Цц-элый дэн просидит, выпит маленько з друззами, поговорит, на зэлэн свою лицом поспит, потом бросит ее козам и отправится за тридцать километров обратно и ц-цэлый год будет вспоминать, как он хорошо провел время на рынку...

Более Отар ничего не говорил до самой ночи, до остановки возле горного ключа, обложенного диким, обомшелым камнем и полустертыми надписями на нем и стаканом на камешном гладком припечке. И потом, когда мы уже в полной и плотной южной темноте одолевали перевал за перевалом, гору за горой, — всюду, как бы отдавая дань священному роднику, останавливались отведать чистой, из земной тверди сочащейся воды, и, кажется, именно тогда, у прибранных родников, с чужими, но всякому сердцу близкими надписями — на родниках не пишут плохих, бранных слов, не блудословят, не кощунствуют, излагая корявые мысли казенными стихами, как это случается порой на святом и скорбном месте, называемом могилой, даже братской, — именно тогда, у родников, проникла в мое сердце почтительность к тому, что зовется древним, уважительным словом — влага. Живая влага, живой плод, живые цветы — не они ли, напоив живительной влагой, остановили человеческое внимание на себе, заставили существо на двух ногах залюбоваться собой и освободить место в голове и в сердце для благоговейных чувств, а затем и мыслей, и к дикому зову самца к самке живым током крови прилило чувство нежности, умиряющей необузданную страсть, и еще до появления огня, все и всех согревающего, но в то же время все и всех сжигающего, вселилось в человека то, что потом названо было любовью, что облагородило и окрасило его разум и

чудовищный огонь превратило в семейный очаг, горящий теплым золотоцветом, ныне, правда, едва уже тлеющий.

И грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждого ухоженного кавказского родника, — на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного еще сохранился лоточек, но родник стих. Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его желтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот. Так немилое, лишнее дитя прикидывала в старину по глухим российским местам подушкой и задушивала — из-за нужды, из-за блуда или боязни позора — родившая его мать. Наверху, на утесах под видом окультуривания леса, обрубили, оголили камень, издырявили бурами все вокруг, отыскивая дешевую быстродоступную нефть или другие необходимые в хозяйстве металлы, минералы, руды. Уж и не поймешь, не разберешь, кто чего, и зачем ищет, рыская по Сибири. Но все при этом бурят, рубят, жгут, рвут, уродуют бульдозерами, пластают ножами скреперов и многорядных плугов кожу земли, крошат в щепу лес, делая на месте тайги пустоши, польхающие пожарами даже весенней и осенней порою, бесстыдно заголяют пестренький летом, а зимой белый подол тундры; используют горные речки вместо лесовозных дорог и, разгромив, растерзав их, бросают в хламе, в побоях, в синяках, в ссадинах, будто арестантской бандой изнасилованную девушку, тут же поседевшую, превратившуюся в оглохшую, некрасивую, дряхлую старуху, всеми с презрением оставленную, никому не нужную, забытую.

В селение Гвишгиби, под Цхалтубо, мы приехали на рассвете и проспали до обеда в просторном и прохладном доме, погруженном в тишину, хотя было в нем четверо детей, да еще мать Отара, жена, брат и сам Отар. Принадлежа к безмолвной расе, мать, жена и девочка Манана во время завтрака за стол не садились, как заспанные холуи, они теньями скользили вокруг стола, незаметно меняли тарелки, подтирали стол, наливали вино.

Я сказал Отару, что он все-таки писатель, в Москве учился, что не все кавказские обычаи, наверное, так уж и хороши, как ему кажется, особенно это заметно сейчас, на исходе разнузданного двадцатого века. Во время обеда

женщины оказались за столом, но они были так скованы, так угодливо-улыбчивы, так мало и пугливо ели и так спешили, пользуясь любым предлогом выскользнуть из-за стола, что я, на себе испытавший, каково быть впервые за «чужим» столом, когда из подзаборников превратился в детдомовца и прятал руки, порченые чесоткой, под клеенкой, боясь подавиться под десятками пристальных, любопытных глаз, более не настаивал на присутствии женщин за общим столом. Они с облегчением оставили нашу компанию и мимоходом, мимоходом, тоже «незаметно», питались тем, что оставалось от мужчин.

Мы побывали в гостях у очень приветливого, начитанного и серьезного человека — сельского учителя Отара, бывшего уже на пенсии и жившего в соседнем селе. Там я, чтобы поддержать всеюдною молву о стойкости и кондовости сибирского характера, выпил из серебряного рога такую дозу домашнего вина, что два дня лежал в верхней комнате дома, слушая радио, музыку, читал книги и по причине пагубной привычки своего народа не попал на стоянку динозавров, которую охранял дивный человек и ученый по фамилии Чебукиани; не попал также к родственникам Отара, не ходил по многочисленным его друзьям и накопил силы к святому и древнему месту — в монастырь Гелати, затем в Ткибули, к дяде Васе, который завалил Отара телеграммами, осаждал звонками, угрожая, что если он, Отар, и на этот раз не побывает с русским почтенным гостем у него, у дяди Васи, тогда все, тогда неизвестно, что будет, может, он, дядя Вася, и помрет от горя и обиды.

Дядя Вася приходился как бы родней Отару или старым другом. Дочь дяди Васи была замужем за Георгием, который вместе с Шалвой служил в армии на Урале, сам дядя Вася работал когда-то в типографии наборщиком, где печаталась первая книжка Отара; может, жена Отара была его племянницей, одно ли из дитяток Отара было крестником дяди Васи, или что-то их связывало и родило — я совсем запутался. Чтобы разобраться в грузинских друзьях и родичах, надо самому побыть грузином, иначе надсадишься, заблудишься в этой кавказской тайге. Иди уж без сопротивления, куда велят, езжай, куда везут, делай, что скажут, ешь и пей чего подадут.

Мы ехали долго, по уже богатой, даже чуть надменной земле, где реже попадались путники с тяжелыми мотыга-

ми, в выгоревшей до пепельной серости черной одежде, реже видели согбенные женские спины на чайных плантациях, дремлющих на ходу, облезлых от работы осликов, запряженных в повозку с непомерно огромными, почти мельничными колесами, меж которых дремал, опустив седые усы и концы матерчатой повязки на голове, давно не бритый генацвале, пробуждающийся, однако, на мгновение для того, чтобы приветствовать встречных путников, как ни в чем не бывало звонко крикнуть: «Гамарджоба!» — и тут же снова погрузиться в дорожный сон на шаткой, убаюкивающей телеге; реже плелись с богомолья старые, иссохшие, печальные женщины, словно искупающие вину за всех нахрапистых, цевежливых людей, они кланялись путникам до пыльной земли. Не бродили по здешним полям, не стояли недвижно среди убранных пашен костлявые быки, коровы, всеми брошенные клячи, бывшие когда-то конями, может, и жеребцами джигитов, да уже не помнили ни они, ни джигиты об этом, но, глядя, в синеющие на горизонте перевалы, может, и далее их, что-то силились вспомнить из своей судьбы покорные, сами себя забывшие животные.

Все чаще и чаще встречь нам с ошарашивающим ахом пролетали машины, волоча за собою хвосты дыма и пыли. Ближе к Кутаиси, в пыли, поднятой до неба, зашевелился сплошной поток машин. Меж ними, разрывая живую, грохотом оглушающую, чудовищную гусеницу, еще гуще, выше подняв тучу пыли, хрипели и рвались куда-то дикие мотоциклы с дикими молодцами за рулем, одетые в диковинные одежды из кожзаменителей, в огромные краги, в очки, изготовленные а-ля «мафиози», все чаще и чаще оглашали воздух древней страны сирены машин, расписанных или обклеенных иностранными этикетками и изречениями, с обязательной обезьянкой на резинке перед ветровым стеклом, с предостерегающе ерзающей по стеклу, вроде бы у дитя огрубленной рукой, с пестрым футбольным мячом, катающимся у заднего стекла, как бы по нечаянной шалости туда угодившим.

Среди многих остроумных и ядовитых анекдотов, услышанных в Грузии, где главными и самыми ловкими персонажами выступали гурийцы, густо населяющие грузинскую землю, как бы после вселенской катастрофы окутанную пылью, более других мне запомнился такой вот: большевик, по имени Филипп, в горном селе агитировал гурийцев в колхоз, и такой он расписал будущий колхоз-

ный рай, такое наобещал счастье и праздничный коллективный труд, что старейшина села, обнимая агитатора, с рыданием возгласил: «Дорогой Филипп. Колхоз такой хороший, а мы, грузины, такие плохие, что друг другу не подходим...»

Глядя на поток машин, на этот обезьяний парад пресыщенного богатствами молодого поколения гурийского племени, я тоже возопил:

— Дорогой Отар! Кутаиси — город такой богатый и такой роскошный, а мы, русские гости, такие бедные и неловкие, что друг другу не подходим.

Отар величественно кивнул головой, и мы миновали Кутаиси, и правильно сделали, потому что сэкономили время для священного места — Гелати, попав туда с неиспорченным настроением, с неутомленным глазом и недооскорбленной душой.

Мы долго поднимались в горы — сперва на машине, затем пешком по каменистой тропе, выбитой человеческими ногами. На тропе от ног получился желоб, и камень был перегерт в порошок: сюда много людей ходило и теперь ходит.

Однако в тот день в полуденный час на горе возле монастыря оказалось малолюдно. Служка, седой, блеклый, с выветренным телом, одетый словно бы не в одежды, а в тоже изветренное, птичье перо, поклонился нам, что-то спросил у Отара и отошел на почтительное расстояние. Ничего нам растолковывать и показывать не надо, догадался он, или ему сказал об этом Отар, как скоро выяснилось, превосходно знающий историю Гелати.

Ничего не тревожило слепящим зноем окутанную горную вершину с выгоревшей травкой, обнажившей колючки, потрескавшийся камешник, скорлупки от белеющих древних строений из ракушечника. Слепшее от времени, молчаливое городище с полуобвалившимися каменными стенами рассыпалось по горе и срасталось с горами, с естественном их. Вокруг городища и оно само — все-все почти истлело, обратилось белым и серым прахом, и только храм, как бы отстраненный от времени и суеты мирской, стоял невредимый среди горы, отчужденно и молчаливо внимая слышным лишь ему молениям земным и звуку горных, глазу недоступных пространств.

— Первая национальная академия, — пояснил нам Отар. — По давнему преданию, здесь, в академии, учился ликосолнечный, во веки веков великий сын этой земли

Шота Руставели, значит, и молился о спасении души своей и нашей, в этом скромном и в чем-то неугаданно-величественном храме.

Высокие слова, употребляемые Отгаром здесь, не резали слух, ничто здесь не резало слух, не оскорбляло глаз и сердце, и все звуки и слова, произносимые вполголоса и даже шепотом, были чисты и вняты.

Старые стены и развалины академии курились сизой, дымчатой растительностью, несмело наползающей на склоны гор по расщелинам и поймам иссохших ручьев. Бечевки выщегося, сплетенного почти в сеть растения свисали со степ, и могильно-черные ягоды, которые не клевали даже птицы, гробовым светом раскрошили и вобрали в себя белую пыль, заглушили и утишили все, что могло резать глаз, играть светом, цвести и быть назойливым.

Над всем поднебесным миром царствовал собор с потускневшим крестиком на маковице, собор, воздвигнутый еще царем Давидом-строителем в непостижимо далекие, как небесное пространство, времена. На плите, тонн в пять весом, помеченной остроконечным знаком каменных часов, которую будто бы занес в горы на своей спине царь-созидатель и собственноручно вложил в стену храма, не было ни единой трещинки, щели, и казалась она отлитой из бетона вчера или месяц назад в каком-нибудь ближнем городишке, на современном заводе, работающем со знаком отличного качества.

Есть вымыслы, есть легенды, которые правдивей всякой правды, и выше всех высоких речей, честнее и чище нашей суетной истины, приспособляемой к любому дувовению переменчивого ветра, к смраду блудных слов и грешных мыслей. Деяние творца, пронзающее небесное время и земное зло, — есть самое великое из того, что смог и может человек оставить на земле и что заслуживает истинного, благоговейного почитания.

Все замерло, все остановилось в Гелати. Работает лишь время, неуловимое, неостановимое, быстротекущее время, оставляя свои невеселые меты на лицах людей, на лице земли и на творениях рук человеческих, в том числе и на храме Гелати.

У входа в храм дарница — огромное деревянное дупло, куда правоверные, поднявшиеся в горы поклониться Богу и памяти родных, — складывали дары крестьянского труда: хлебы, фрукты, кусочек сушеного мяса, козьего сыра. Дупло источено, издолблено градом и птицами, из-

ветрено, иссушено, однако все еще крепко и огромно, словно мамонтова кость, гулкое с коричневыми и серыми щелями, похожими на жилы; дупло не меньше, чем в пять обхватов, но произросло из того самого орешника, что прячется в тень больших деревьев по логам да оврагам среднерусских лесов и годно лишь на удилица. Как сплелся целою рощею в единый ствол нехитрый кустарник? — секрет природы. Еще один! В лесу сотворилось чудо, его отыскали mirяде и употребили во славу Господню, во благо удивленных и благодарных людей.

Неподалеку от дарницы вкопан в землю огромный керамический сосуд — все для тех же подношений, но уже вином. Керамическая крышка куда-то запропала, накрыт он ржавою крышкой производства казенных умельцев нынешних времен. Сосуд был пуст, лишь на дне его маслянилась пленка дождевой воды и ужаленно из нее метнулась ударенная внезапным светом, словно бы переболевшая желтухой, слепая лягушка, метнулась и, беспомощно скребясь вялыми лапками о стенку тюрьмы-сосуда, обреченно сползла на дно, припала брюхом к мутной водичке.

Я быстро захлопнул крышку чана и постоял среди двора, изморщенного тропами и дорожками. Трава-мурава упрямо протыкалась в щели троп, западала в выбоины, переплетаясь, ползла по человеческим следам, смягчая громкую поступь любопытного человека. Мурава в Грузии красновато-закального цвета, крепка корнями и стеблями, обильна семенами. Сплетаясь в клубки, траве удается выстоять против многолюдства, приглушить топот туристов, сделать мягче почву под стопами старцев, перед уходом в мир иной крестящих себя, собор, целующих отцветшими губами священные кампи Гелати, срывающих стебелек трудовой и терпеливой травы, чтобы положить его под подушку в домовину, чтоб унести с собой в мир иной земное напоминание о родине — единственной, неизменной, мучительной и прекрасной.

В чистом и высоком небе качался купол собора, над ним легел живым стрижом крестик, и вспомнилось, не могло не вспомниться в ту минуту: «Синий свет, небесный свет полюбил я с ранних лет...» — стихи, как этот крестик в вышине, легкие, всякому уму и памяти доступные — стихи Бараташвили, — современника и наперстника по судьбе русского поэта-горемыки Алексея Кольцова.

Кланяйтесь, люди, поэтам и творцам земным — они

были, есть и останутся нашим небом, воздухом, твердью нашей под погами, нашей надеждой и упованием. Без поэтов, без музыки, без художников и создателей земля давно бы оглохла, ослепла, рассыпалась и погибла. Сохрани, земля, своих певцов, и они восславят тебя, вдохнут в твои стыпящиеся недра жар своего сердца, во веки веков так рано и так ярко сгорающего, огнем которого они уже не раз разрывали тьму, насылаемую мракобесами на землю, прожигали пороховой дым войн, отводили кинжал убийц, занесенный над невинными жертвами. Берегите, жалейте и любите, земляне, тех избранников, которые даны вам природой не только для украшения дней ваших, в усладу слуха, убаживания души, но и во спасение всего живого и светлого на нашей земле. Быть может, им — более надеяться не на кого — удастся остановить руку современного убийцы с бомбой, занесенную над нашей горькой головой.

Где-то обрякнуло и тут же сконфуженно замерло железо. Горы поскорее вобрали в себя, укрыли в немоте гранита этот неуместный звук. В настенных зарослях, среди черных ягод, пела птица-синица, вещая скорый дождь, и по-русски беззаботно кружился, заливался над одичалым садом жаворопок да стрекотали и сыпались отрубями из-под ног в разные стороны, на лету продолжая стрекотать, мелкие козявки, похожие на кузнечиков...

Жизнь продолжалась, привычная, непритязательная, святая и грешная, мучительная и радостная — в Гелати верилось: никто ее погубить и исправить не может. Никто не смеет навязывать свою жизнь, свои достоинства, пороки, радости, слезы и восторги. У каждого человека своя жизнь, и если она не правится кому-то, пусть он, этот кто-то, пройдет сквозь голод, войны, кровь, безверие, бессердечность и вернется из всего этого, не потеряв уважение не только к чужой жизни, но и к своей тоже, ко всему тому, что ей выпадает, а выпадает ей дышать не только дымом пороха, отгаром бензина, но случается подышать и святым воздухом, в святом месте, здесь ли вот, в Гелати, возле собора, в полупустом ли русском селе, возле бурной ли горной речки, на безбрежном ли море, в березовом ли лесу, возле журавлиного болота, среди зрелого поля, поникшего спелыми колосьями...

Медленно, осторожно вступил я в прохладный собор. Он был темен от копоти, и только верхний свет, пробивающийся в узкие щели собора, сложные наподобие окон

и бойниц одновременно, растворял мрак. В глубокой, немой пучине храма рассеянно, пыльно стоял свет, все, однако, до мелочей высветляя, вплоть до полос от метлы на стенах, до крошек щебенки в щелях пола, пятнышек от восковых свечей. С высокого, шлемообразного купола на степы собора низвергались тяжелые серые потеки, в завалах, трещинах и завихрениях потеков скопилась копоть, и в разрывах, протертостях, в проплешинах, в струях как бы остекленевшего дождя нет-нет и просверкивал блеск нержавеющей металла, проступали клочья фресок: то подол чистой, крестами украшенной хламиды, то окровавленная, гвоздем пробитая, нога Спасителя, то рука с троеперстием, занесенная для благословения, то голубой и скорбный во всепонимании глаз матери-Богородицы, не погашенный временем и многовечной копотью свечей.

Выяснилось: густая, маслянистая копоть на стенах собора была не от салных и восковых свечей, не от робких лучинок дровлян — копоть осталась от костров завоевателей-монголов. Только копоть, только оскверненные храмы, уничтоженные народы, государства, города, селения, сады, только голые степи, мертвящая пыль да пустыни... ничего болсе не оставили завоеватели. Ни доброй памяти, ни добрых, разумных дел — уж такое их назначение во все времена. По дикому своему обычаю, монголы в православных церквах устраивали конюшни. И этот дивный и суровый храм они тоже решили осквернить, загнали в него мохнатых коней, развели костры и стали жрать недожаренную, кровавую конину, обдирая лошадей здесь же, в храме, и пьяные от кровавого разгула, они посваивались раскосыми мордами в вонючее конское дерьмо, еще не зная, что созидатели на земле для вечности строят и храмы вечные.

По велению царя Давида меж кровлями собора была налита прослойка свинца. От жара диких костров свинец расплавился, и горячие потоки металла обрушились карающим дождем на головы завоевателей. Они бежали из Гелати в панике, побросав награбленное имущество, оружие, коней, рабынь, считая, что какой-то всемогущий, неведомый им Бог покарал их за нечестивость...

Все это тихим голосом переводил мне умеющий незаметно держаться, вовремя прийти на помощь Шалва. Грузины сохраняют собор в том виде, в каком покинул его содрогнувшийся от ужаса враг.

И думал я, внимая истории и глядя на поруганный, но

не убитый храм: вот если бы на головы современных осквернителей храмов, завоевателей, богохульников и горлопанов пизвергся вселенский свинцовый дождь — последний карающий дождь — на всех человеконенавистников, на гошителей чистой морали, культуры, всегда создаваемой для мира и умиротворения, всегда бесстрашно выходящей с открытым, добрым взором, с рукой, занесенной для благословения труду, любви, против насилия, сабель, ружей и бомб.

Всеобща душа скорбящего Гелатского собора. Печальная тишина его хмурого лика одухотворена. Память древности опаживает здесь человеческое сердце исцеляющим духом веры в будущность, в справедливость нами избранного тяжкого пути к сотворению той жизни, где не будет войн, крови, слез, несчастий, зависти, корысти и ослепляющего себялюбия.

С опущенной головой, с приглушенно работающим, благодарным сердцем покинул я оскверненный, но не убитый храм, у выхода из которого, точнее, у входа, лежала громадная плита, грубо тесанная из дикого камня, и на ней виднелась полустертая ступнями людей вязь грузинского причудливого письма. «Пусть каждый входящий в этот храм наступит на сердце мое, чтобы слышал я боль его», — перевели мне завет царя-строителя, лежащего под этой падгробной плитой, Отар, истинный грузин, не удержался и добавил, что царь Давид был на два сантиметра выше русского царя Петра Великого.

Я улыбнулся словам моего сокурсника — человеческие слабости, как и величие его, всегда идут рука об руку, и тут уж ничего не поделаешь. Быть может, этим он, человек, и хорош. Убери у него слабости — что он станет делать и как жить-то со сплошными достоинствами? Говорят, если питаться одними только сладостями, у человека испортится, загниет кровь, разрушатся кости, усохнет мозг и он помрет преждевременно.

Все вокруг Гелати приглушило дыхание. Здесь молчала вечность, внимая печальной мудрости творца, вникая в смысл нетлешных слов, вырубленных на камне...

Жаворонок летал по небу, беззаботно вился, с упоением пел, и — рядом с ним, в голубой выси, все так же стрижином, летел куда-то крестик храма, тренькали синицы в гуще иссохшего бурьяна, все вещая дождь, и какая-то неведомая птица дребезжала в горах железным кловом, а может, куры служки колотили за жилой при-

стройкой в пустое корыто; пад дальними перевалами призраком возник и плавал на почтительном расстоянии, в отдалении от святого места, горный орел, высматривая с высоты добычу.

Сипицы не зря вещали дождь. С гор напоззли и начали спускаться над долинами грузные облака, выволакивая за собой зачерпешные в глубине тучи, еще рыхлые, закудрявленные по краям.

Мы быстро мчались вниз, к городку Ткибули, и, продолжая своим чередом идущие мысли, Отар рассказал, что в древности, когда еще была в Гелати академия, да и после, на протяжении многих лет, может, и веков, в Грузии существовал дивный обычай: каждому, кто заводил семью, на свадьбу дарилась книга «Витязь в тигровой шкуре». Книжки в древности были дороги, крестьянам и горцам не доступны по средствам, и тогда родичи жениха и невесты складывались и нанимали на собранные деньги писца и художника. Дивные есть в Грузии рукотворные издания бессмертной поэмы и накопилось их так много, что если собрать только уцелевшие от войн, смутных времен, бездумного отношения к бесценным самописным реликвиям, — все равно наберется их целый музей! И какой музей! Единственный в нашей стране, может, и во всем мире, музей!

«Витязь! Витязь! Дорогой! До того ли многим нынешним твоим землякам, чтоб что-то бесплатно собирать и хранить?..»

Отар не знал, я не успел ему сказать в спешке, что из опостылевшей конюшни под пазванием Дом творчества я часто уезжал куда глаза глядят. Был и в Зугдиди, и в глубине Грузии, кое-что повидал и запомнил. Более других запала в память встреча с корреспондентом сатирического московского журнала, не умеющим писать по-русски и нанимающим разных «бездомных» русских горемык, владеющих крепким пером, но загнанных на юг бедами и болезнями. Труженик обличительной прессы давал литрабу и то, и другое. Не свое, конечно, государственное, но получалось, как свое. Когда товарищ мой, много лет мыкавшийся по Северу, крепко поработавший на южного хозяина, попал в центральную газету, сатирический туз приглашал его к себе уже в качестве почетного гостя. Был и я приглашен в дом важной персоны «откушать в качес-

тве поэта» вместе с какими-то иностранцами, будто бы французского и польского происхождения — французы те смахивали на уроженцев Бессарабии, поляки — родом из-под Рязани, — однако хозяин рассыпался перед ними мелким бесом, и два угрюмых джигита, преступники, видать, вытанцешные могучим пером и не менее могучими связями из тюрьмы, волокли и волокли на стол поросят, дочерна испеченных на огне, с заткнутыми луком задами и торчащим из-под невинного детского пяточка чесноком, похожим на широкостеблую курскую осоку. Тут же состоялся быстрый и тихий торг: хозяин приобрел у «иностранцев» какие-то импортные тряпки и вместе с ними удовлетворенно закурил черную, испаренным баннным веником пахнущую сигару, балакая с иностранцами о том о сем на каком-то языке.

— Это он по-какому? — спросил я у товарища.

— Ему кажется — на английском.

У хозяина была дочь десяти лет от роду. Товарищ мой имел красивого, хорошо воспитанного сына того же возраста. И хозяин, казалось мне, с юмором — в сатирическом же журнале работает — говорил, что он открыл в кассе счет на имя дочки и каждый месяц кладет деньги с таким расчетом, чтобы к ее совершеннолетию был миллион, кроме того, он сулился купить молодоженам «Мерседес» и отдать во владение дом в Гали.

— Моя дочь, мое богатство, плюс красота, ум и скромность твоего сына — какие будут у нас внуки!..

О «Витязе в тигровой шкуре» в качестве подарка молодоженам хозяин же не поминал.

Потом мы поехали во владение хозяина и оказались в районном селеции Гали, почти сплошь занятом обитателями Черноморского побережья, выкачивающими из спрятанных за горами садов и усадеб капиталы.

— Я имею всего шестьдесят тысяч дохода в год, — жаловался хозяин, — мои соседи — двести, пятьсот. Это потому что мои мама и папа старые. Я жалею их.

Две согбенные тени копошились во дворе возле непрестанного огня, на котором кипело и парилось варево для чачи — пятьсот деревьев сада были обвешаны зреющими плодами мацаринов и двадцать деревьев — каким-то скрещенным фруктом. Оранжерея-теплица была вскопана и засажена черенками роз, земля подымалась третий раз за сезон: сперва под ранние цветы, затем под помидоры, теперь вот под розы. Папа с мамой уже не

могли работать на земле, для этого дела посылались рабочие из местных совхозов. Поработав в саду, они громко, с вызовом, чтоб слышно было гостям, потребовали по пятёрке на брата и свежей чачи по стакану.

— Разбойники! Грабители! — приглушённым голосом возмущался хозяин.

— Нет! — дерзко возражали ему рабочие из совхоза, — мы — советские труженики, а вот ты разбуйщик и бандит! — и, закинув мотыги за плечи, величественно удались трудиться в другие частные сады и усадьбы.

Отправляясь спать в роскошный двухэтажный дом, в кровать, застеленную голландским бельём, я зашел во флигелек — пожелать спокойной ночи старикам. Одетые в хламиды, среди сырых стен, прелых углов, на топчанах, сделанных из сухих ветвей фруктовых деревьев, утонув в пыльном, словно бы сгорелом хламе, на свалывшихся овечьих шкурах лежали старики и с бесконечной усталостью ответили на пожелание спокойной ночи, что хотели бы уснуть и не проснуться, что ежевечерне, ежечасно молят они Бога, чтоб он успокоил, прибрал их простуженные, изработанные кости, прикрыл землю...

Я уже согрелся, засыпал в волглою постели — в Гали сыро, камни, строения, заборы покрыты плесенью, — как снова услышал приглушённый, злой голос хозяина.

— Что это он?

— Ругает стариков за то, что не погасили свет в туалете. Мы оставили невключенную лампочку...

«Витязь! Витязь! Где ты, дорогой? Завести бы тебя вместе с тигром, с мечом и кинжалами, но лучше с плетью в Гали или на российский базар, чтобы согнал, смел бы оттуда модно одетых, единокровных братьев твоих, превратившихся в алчных торгашей и деляг, имающих за рукав работающих крестьян и покупателей; навязывающих втридорога не выращенные ими фрукты, цветы, не куривших вино, а скупивших все это по дешевке у селян; если им об этом скажут, отошьют их, плюнут в глаза, они, утираясь, вопят: «Ты пыл бедный! Пудэш бедный! Я пыл богатый! Пуду богатый!» Они не читали книжку про тебя, Витязь. Иные и не слышали о ней. Дело дошло до того, что любого торговца перусского, тем паче кавказского вида по России презрительно клянут и кличут «грузином»...

И Отар вот тоже дитя своего времени. Посмотрел я его книги, изданные в Москве, и меня поразило, что из сокурсников Отара и верных товарищей, переводивших

его сложную прозу на русский язык, остался лишь один я, остальные все заменены грузинскими фамилиями — так выгодней. Да и я остался в переводчиках лишь потому, что попал в «обойму».

Неподалеку от Ткибули с черной, словно бы обугленной долины, с такими же черными на ней кустами, пнями, деревцами и кочками, снялось и загорланило недовольное воронье; панесло на нас стояло-гнилой вонью — хоть нос затыкай.

— Что это такое?

— Смотри!

А-а, знакомая картина. По России знакомая. И надоевшая. Водохранилище. Тут вернее его назвать — водо- и землегноилице. Широкая пойма реки, постепенно сужающаяся и ветвящаяся в недалеких горах, с осени была покрыта толщей воды. За зиму воду сработали. Сел на притоптанную и припорошенную землю лед, а подо льдом то и у нас много чего остается и гибнет; здесь же, в благодатном климате, в прогретой воде, живет и растет всего так много, что от обсохшей, гниющей дохлятины стоит смрад, будто на поле битвы. Особенно вонько от грязных, кучей скрестившихся раков, что сползались в колдобины, лужи, под кусты — в сырое место, — тут их и придавило льдом, тут они и обсохли. Рыба, водоросли, лягухи и больные птицы, мыши и крысы, зайчата и норки — целая бойня на непролазном и непроездном кладбище живности и лучшей, веками сносимой в долину земли (а новые поля и плантации — на склонах голых гор, на свежезаголенной глине).

Скопленная за весенний паводок вода сработалась, а может, лето засушливое было, и водохранилище, угольничком располосованное на лоскутья в заливчиках; впадинах и водомоинах, стекленело вдали, подпертое обнажившейся и оттого высокой стеной плотины. Сюда, в предгорье, вода придет поздней осенью, с затяжных дождей, а может, и не придет, не покроет эту грязную, омертвелотемную долину.

Мы проезжали по брусчатому мостику через приток запруженной мутной речки, с тоже черными, ослизлыми берегами и очумелым от грязи кустарником, все же пробившим кое-где лист. Сквозь сохлый панцирь грязи местами украдчиво светились пучки травы на черных кочках,

как бы не верящие, что им удалось вырасти, даже цветки цикория по обсохшему кое-где бережку, припоздалой мальвы и певедомые мне колючки с мелким рассыпчатым цветом рдели и лезли на бугорки, на бровки бережка, цеплялись друг за дружку полуголыми стеблями, похожими на кости птичьих лап.

— Стой! — заорал я.

Шалва ударил на тормоза. Машина клюнула носом, задрала зад так резко, что открылся багажник.

— Я буду рыбачить на этой реке!

Спустившись с мостика, я выломал побег гибкого орешника. Отар, перегнувшись через перила, курил, стряхивая пепел с сигареты в не просто мутную — в непроглядно-грязную воду речки.

— Какая тут рыба? Она что, такая же дурная, как ты? Есть только одна у нас рыба — фарэл называется. Она там, за дэвятью горами, в моей Сванетия.

Шалва тоже улыбнулся снисходительно, будто смотрел на прихотливые шалости неразумного племяша. Но оба они перестали острить и насмехаться надо мной, когда после первого заброска в темные пучины речки казенный пластмассовый поплавок на казенной мимоходом мною купленной леске повело в сторону и разом утонуло.

— Сэйчас он выгаштит вот такой коряга! — раскинул руки Отар.

— Нет! — возразил брату Шалва. — Старый сапог или колесную шину...

Но я выкинул на брусчатку моста темно-желтую, усатую рыбку и по сытому пузу, всегда и везде туго набитому, тут же узнал беду и выручку всех молодых и начинающих рыбаков, мужика водяных просторов, главным образом отмелей, едока и неутомимого работника — пескаря. Начал было удивляться: пескарь любит светлую воду, но некогда было удивляться.

— А-ах! — закричали братья и в форсистых пиджаках, в глаженных брюках, упали на мост — ловить рыбку. Когда поймали, долго рассматривали ее, что-то кричали друг другу на своем языке. Отар опамятовался первым. Вытирая чистым платком руки и отряхивая штаны, все еще не сдаваясь, стараясь удержаться на ехидной ноте, не мне, а брату или пространству родных гор молвил:

— Была адна рыба, и та бежала из тюрьмы. Может свободная, умная рыба забратся в такое?!

Он не успел договорить — на досках бился; прыгал

второй пескарь, был он крупней и пузатей первого. И пока братья ловили пескаря на бруснях, пока думали, что с ним делать и куда девать, я вытащил из мутной воды пяттерых пескарей и белую, неожиданно белую плоскую рыбу, которую, захлопав в ладоши, как в театре, братья называли «цверкой», и я догадался, что это означает — щепка.

Червяка у меня было всего два, я их вынул из-под брошенного возле моста бревешка, и от червяков осталась одна, на малокалиберную пульку похожая голова. Тонем полководца я приказал братьям найти банку, накопать мне червей — и они со всех ног бросились выполнять мое приказание, потеряв всякую степенность, не жалея форсистых остроносых туфель и брюк.

На голову червяка я выхватил еще несколько пескарей, вздел их на проволоку, отмотанную от перевязи моста, и, потрясенные моими успехами, братья сломленно попросили сделать и им по удочке. Когда я отвернул лацкан пиджака и братья увидели нацепленные там крючки и когда я из кармана вытащил запасную леску, они в один голос сказали:

— Какой умный человек.

Скоро братья, как дети, носились с гамом и шумом по берегу речки, выбрасывали пескарей в грязь, и если у меня или у одного из братьев срывалась добыча и шлепалась обратно в речку, орали друг на дружку и на меня тоже:

— Ты чего делаешь? Ты почему отпустил рыбу?!

А когда Отар зацепил за куст и вгорячах оборвал удочку, то схватился грязными руками за голову и уж собрался разрыдаться, но я сказал, что сей момент налажу ему другую удочку, привяжу другой крючок, и он, гордый сын свианских хребтов, оброщил сдавленным голосом историческое изречение:

— Ты мне брат! Нет, больше! Ты мне друг и брат!

На проволоке моей уже было вздено до сотни пескарей и с десятков цверок. Братья заболели неизлечимой болезнью азартного, злостного индивидуалиста-рыбака, каждый волочил за собой проволоку с рыбинами, хвалился тем, что у него больше, чем у брата, и подозрительно следили братья один за другим, чтоб не снял который рыбеху с его проволоки и не вздел бы на свою.

Уже давно накрапывал и расходился дождь, мы могли застрять в грязной пойме с машиной, я взывал к благора-

зумию, но одному русскому с двумя вошедшими в раж и впадшими в безумство грузинами справиться явно непосильно.

А тут накатило и еще одно грандиозное событие. Я, уже лениво и пехотя подбрасывающий на берег пескарей, заметил, что моя проволока, тяжелая от рыбы, привязанная к наклоненному над водой кусту, как-то подозрительно дергается, ходит из стороны в сторону, и подумал, что течение речки колеблет мою оснастку, да еще рыбы треплют кукал. Однако настороженность моя не проходила, и холодок надвигающейся беды все глубже проникал в мое сердце.

Я воткнул в берег удочку, пошел к кукалу, поднял его над водой и чуть не умер от разрыва сердца: весь мой кукал, вся рыба были облеплены присосавшимися, пилящими, раздирающими на части рыбин раками, ухватками и цветом точь-в-точь похожими на дикоплеменных обитателей каких-нибудь темных, непролазных джунглей. Раки-воры, раки-мародеры шлепались обратно в речку, в грязь растоптанного берега, но иные так сладко всосались, вгрызлись в добычу, что и на берегу не отпускались от бедных, наполовину, а то и совсем перепиленных пескарей и цверок. Мне бы еще больше удивиться — рак еще шибче пескаря привередлив к воде, мрет первым в наших реках с испорченной, мутной водой, но это ж Грузия! Чем дальше вглубь, тем меньше понятная земля.

— Это что? — паступал я на потрясенных больше меня братьев. — Это что у вас в Грузии делается, а? Грабеж! Да за такие дела в войну... — Я, совсем освирепелый, поддел грязным ботинком пятящегося с суши в воду рака, не выпустившего из клешней превращенного в ил пескаря, со скрежетом продолжающего работать челюстями и всеми его неуклюжими, но такими ухватистыми, безжалостными инструментами. И теперь уже смиренный Шалва, весь растрепанный и грязный, заорал на меня:

— Ты что делаешь, а? Зачем бросаешь обратно рак? Его варить. С солью... М-мьх! Дэликатэс!

— Да мать его туды, такой деликатес! — не сдаваясь, бушевал я на всю грязную, к счастью безлюдную пойму речки-ручья. — Он рыбу сожрал, падла! Он — вредитель!

Шалва, разбрызгивая грязь, уже бежал от машины с ведром и с пяток «не смывшихся» обратно разбойников здешних темных вод успел побросать в посудину.

— Мало, — сказал Шалва.

— Мало, да? — подхватил я свирепо. — Сейчас будет много Счас!.. Счас!.. — я стянул со всего проволочного кукача и ссыпал в ведро остатки рыбешек, узлом привязал к концу проволоки половицу несчастного, недожеваного пескаря и опустил его в мутную воду, под тот куст, где висел кукач. Проволоку тут же затеребило, затаскало.

Братья перестали удить, наблюдая за мной, испуганно переглядывались: уж не рехнулся ли дорогой гость? Собрав остатки своего мужества и терпения, я дождался, чтобы проволоку не просто потеребило — чтоб задергало, вихрем выметнул на берег трех присосавшихся к рыбине раков, да еще с пяток их на ходу отвалились и шлепнулись назад в речку. Братья и говорить не стали, что я умный. Это было понятно без слов. Я был сейчас не просто умный, я сделался первый и последний раз в жизни «гениальный». Отар, сбросив в ведро раков, совсем уж робко обратился ко мне как к повелителю и владыке:

— Стэлай нам так же, дарагой!

И я привязал им по недоеденному пескарю в проволоке, и они начали притравлять, заманивать и выбрасывать на берег раков, мстительно крича какие-то слова, которые и без переводчика я понимал совершенно ясно: «А-а, разбуйнык! А-а, мародер! Ты что думал? Думал, что тебе даром и пройдет?! Кушал наша рыба! Теперь мы тебя кушат будем!»

Братья — южный народ, горячекровный. Забыли про удочки, про дождь, все более густеющий, про жен, про детей, про дядю Васю — про все на свете. Их охватило такое неистовство, такой восторг, который можно было зреть только на тбилисском стадионе «Локомотив», когда Месхи слева или Метревели справа, уложив на газон фантастическими финтами противника, делали передачу в штрафную площадку, центр нападения Баркая просыпался и, не щадя блестящей что куриное яйцо лысины, с ходу, в птичьем полете, раскинув руки, в губельном прыжке, в падении, бодал мяч так, что вратарь «Арарата» и глазом моргнуть не успевал, как он уже трепыхался в сетке. И тогда все восемьдесят пять тысяч болельщиков (это только по билетам! А поди узнай у грузин, сколько еще там и родных, и близких — без билетов!) вскакивали в едином порыве, прыгали, орали, воздев руки к небу, целовались, плакали, слабые сердцем, случалось, и умирали от восторга чувств.

Вот с чем я могу сравнить ликование и восторг брать-

ев-добытчиков, которых лишь надвинувшаяся темнота и дождь, перешедший в ливень, смогли согнать с речки. За все радости, за все наслаждения, как известно, приходится расплачиваться «мукой и слезами». До слез, правда, дело не дошло, но намучились мы вдосталь, почти на руках вытаскивая машину из глубокой поймы по глинистому, скользкому косогору ввысь, и, когда подъехали к дому на окраине Ткибули, нас встретил с криком и плачем старый человек, у которого оказалась снесена половина лица, — это и был дядя Вася. Он так нас заждался, так боялся, что эти сумасшедшие кутаисские автогонщики врежутся в нас, что у него случился сердечный приступ, он ушел на угол старинного сундука, зачем-то выставленного на веранду.

Дядя Вася всю жизнь проработал под землей Ткибули шахтером, и у него плохое сердце от тяжелой работы, сердце, надорванное еще в войну, когда стране был так необходим уголь.

Наборщиком же, который печатал первую книжку Отара, в Цхалгубо работает совсем другой дядя — не Вася, а Реваз, по фамилии Микоберидзе.

— А-а, все понятно! Почти все...

Ах, как это замечательно, когда в жизни встречаются такие добросердечные дома и люди, как дядя Вася. Как чудесно быть гостем, значит, и другом, пусть мимолетным, недолгим, у людей, умеющих без задней мысли жить, говорить, радоваться простым земным радостям, ну хотя бы встречному человеку, новому ли светлому дню, улыбке ребенка, говору ручья, доброму небу над головой.

Застолье было невелико, скромно, однако так радушно, что мы засиделись за столом до позднего, почти предутреннего часа, не чувствуя усталости, скованности, и мне казалось, что я и без перевода слышу и понимаю все, что говорят и поют люди другого языка и нации, приветившие и обогрешившие путника едой, вином и таким душевным теплом.

Главным заводилой за столом был Георгий, тот самый, что служил с Шалвой на Урале и был зятем дяди Васи, по в родстве с моими друзьями не состоял, однако и того, что служили люди вместе, хватило им для родственной привязанности друг к другу. Георгий тоже работал под ткибульской землей в шахте, добывал уголь стране. Жена

его преподавала русский язык в школе и не только ловко меняла посуду, наливала в рюмки вино, но и переводила мне разговоры и песни, когда забывал это делать Отар, увлекшись беседой, куревом и вином.

Дядя Вася за столом сидел мало. Он себя плохо чувствовал. Он лежал все на том же сундуке, об который своротил свое лицо, но, преодолевая себя, нег-нет да и поднимался, ковылял в дом, смотрел на стол — все ли в порядке, говорил что-то руководящее женщинам, и те, снисходительно улыбаясь, уверяли его, что ни о чем не надо беспокоиться, они все понимают, зорко за всем следят, храня учтивость и скромность, никому не мешают и будет так, как всегда было у женщин их рода, а он, дядя Вася, знает же, что по гостеприимству, умению бдительно и потчевать гостей никакие женщины ткибульской округи с ними сравниться не могут.

Дядя Вася немного успокаивался, просил налить ему бокал вина, подпоясав его над головой, старался говорить патетические тосты, но дыхание его рвалось, он хватался за сердце, глазами, в которых стояли благодарные слезы, смотрел на нас:

— Как я счастлив! Как я счастлив! У меня пятнадцать лет не было гостей! Пятнадцать лет! Пойте громче! Пойте, чтоб все соседи слышали, что у Василия, у бедного пенсионера Василия, тоже могут быть гости!..

И зять его, рано начавший сидеть в шахте, где, он сказывал, уголь черный, но мыши живут белые и слепые, тряхнув рассыпчато-кудрлатой шевелюрой, сразу высоко начинал: «О-о-о-ой-её-оо-ля-ля-ле-ле-о-о-ой-я-а-але-ля-ля-о-о-о-ой...» — И мы подхватывали песню, в которой слов было совсем мало, да и те вроде бы ни к чему. Дядя Вася от чувств, его переполнявших, кусал Георгия за щеку и отправлялся на свой сундук.

Было много раз пило за здоровье хозяина — дяди Васи, который, рассказывала нам тихим голосом дочь, в войну часто отдавал шахтерский паек эвакуированным детям, своя семья, случалось, ложилась спать голодной. Вот тогда часто, очень часто бывали у них гости, ели, пили, спали, и однажды затесался к ним дезертир, неделю жил, всех объел, потом его арестовали. И дядю Васю тоже. Но все люди Ткибули знали доброе, слабое сердце дяди Васи, и суд пощадил его, вернул обратно в шахту, только премиальных денег и пайка премиального его лишили да послали из забоя на опасные работы с проходчиками. Но

дядя Вася и там не пропал, вышел в стахановцы, угодил на городскую Доску почета. Она, та Доска, до сих пор висит возле шахтоуправления, может, просто забыли снять с нее карточку старого шахтера, может, рука не поднимается это сделать, может, фанеры нет, новую Доску почета сделать. Но как бы там ни было, такого работника, такого отца, такого хозяина дома нет больше на всем белом свете!

Рассказывая все это, дочь заплакала, прикрывшись концом темного платка, а Георгий закричал:

— Оооо-лёооо-оле-ё-ооолё-оо-аа-аа-аа...

— Выпьем еще раз за нашего любимого отца! — воззвала к застолию учительница русского языка. Она все-таки сносно говорила по-русски. Бывает, которые почти ни одного слова не знают, но учат или учатся на «отлично» и даже учебники пишут по вопросам языкознания.

— Ты... ты — лучший дочь... муш твой — лучший шахтер и певец! — рыдал на веранде дядя Вася, но и рыдая, не впадал в крайности, не говорил, что у ее дочери лучший муж, угадывалось — ба-альшой спец по женской части был Георгий, и, когда принял вина изрядно, бдительность его притупилась, он, зажмурив глаза, отуманенные мечтательной мглой, унесся в сладость воспоминаний:

— Когда я служил на Урале... армия... рядом с нашей частью было женское общежитие пенициллинового завода... тэвять эташей!.. Уральские девушки... польни дом! О-о-ой, рябына, кудр-ря-авая, сэрдцу па-адскажи, кто из них ми-ы-лэ-э-эй! — завел он, и стало ясно, что «лучших дней воспоминанья» он до сих пор «носил томительно с собой».

— Мои гости... лучшие гости Савецкаго Саюза! — кричал с веранды дядя Вася.

Поздним утром, когда солнце стояло почти над головой, в грязной долине, скрывая хламье, все еще плавало сизо-серое облако — туман не туман, скорее, нефтяные испарения, местами прорванные скелетами деревьев, которые наподобие музейных ископаемых упорно брели из долины в горы, вдаль, куда-то в недвижимый морок, в немоту времен. За круглым столом, в центре которого во время пира стояла чугунная сковорода с жареными пескарями и красовалась фарфоровая суповница с наваленными в нее красными раками, обреченно выбросившими

за борт посуды недвижные клешни, с вареными тыквами цвета червленого золота, за столом, белеющим сырми, непременно курицей, отнюдь не колхозного выгула и осапки, заваленном зеленью и фруктами; за столом, на котором все время появлялось что-то острое и горячее — то лобio, то сациви, то еще какое-нибудь раздробленное мясо или птица с такими жгучими приправами, с таким перцем, что они сворачивали набок слабые славянские челюсти и скулы, но женщины откуда-то, скорее всего от братьев, узнали, что я не могу есть слишком острое, мне подавали и лобio, и горячее, приготовленное в щадящем режиме, — за круглым прибранным столом, покрытым свежей скатертью, мы попили чаю, кто мог — вина или компота да поели фруктов. Я от всего сердца благодарил этот дом и хозяев его за гостеприимство, за деликатность, поклонился женщинам. Георгия не было, он уже ушел на работу.

Дядя Вася от волнения совсем сдал. Зажимая разбитую, посиневшую часть лица — неприятно же гостям смотреть! — он с мольбой вопрошал Отара:

— Хорошо было, скажи? Хорошо?

Отар обнимал дядю Васю, легонько хлопал его по спине и успокаивал, но успокоить никак не мог. Тогда и я обнял дядю Васю и громко, чтобы женщины тоже слышали, произнес:

— Только у вас да еще в Гелати я почувствовал, что есть настоящая Грузия и грузины! — И еще раз, древним русским поклоном — рука до земли — поблагодарил гостеприимных хозяев, чем окончательно смутил женщин, а дядю Васю снова вбил в слезу.

— Если тебя... если тебя... — заливаясь слезами, молвил он, — торогой мой русский гость, кто обидит у нас, Грузия, того обидит Бог...

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ

Михаилу Александровичу
Ульянову

Ванька с Танькой, точнее сказать, Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна Заплатины, вечерами любили посидеть на скамейке возле своего дома. И хорошо у них это получалось, сидеть-то на скамейке-то, уютно получалось. И не то чтоб там прижавшись друг к дружке иль взявшись за руки и целуясь — всем напоказ по новой культуре. Нет, сидят, они, бывало, обыкновенно, в обыкновенное одетые, в чем вечер застал на дворе, в том и сидят: Иван Тихонович в телогрейке, в старом речном картузе, уже без золотоцветного знака. Картуз спекся на солнце, съежился от дождей, ветров и старости, и не надеет он — как бы впопыхах наброшен па все еще кудрявую голову, от кудрей непомерно большую, вроде капусты, не завязавшейся в вилок. Картуз с сереющим на месте отколупнувшейся кокарды пятнышком кажется смешным, вроде как у циркача, и своей мутностью оттеняет или обнажает смоль крупных кудрей, просвеченных ниточками седины, той августовской сквози, что на исходе месяца желто выдохнется из глубин леса, из падей ли на вислую ветку березы, завьет ее косичкой и грустно утихнет. «Люди! Люди! — напоминает вроде бы желтым просверком берез. — Осень скоро. Что же вы мчитесь куда-то? Пора бы и оглянуться, задуматься...»

Татьяна Финогеновна не желала отставать от Ивана Тихоновича в кудрях, до последнего срока завивалась в районной парикмахерской, когда прихварывала — своеручно на дому калеными коваными щипцами еще дорево-

люционного производства взбудряла кой-чего па голове, хотя, по правде сказать, взбудрять там уж нечего было, волос почти полностью был выношен под корень, и нано-во ему не было сил и времени взойти на полянине. Но и с редкими кудерьками, в ситцевом платье, давным-давно вышедшем из моды, в тесном мундирчике с карманами, именуемом в деревнях жакетом, в беленьких, вроде бы детских посочках, Татьяна Финогеновна все равно гляделась хорошо, главное — приветливо. Жакет Татьяна Финогеновна завсе не надевала, уж ближе к осени, в холодную пору, так-то все в платьице, в носочках, и если нет платочка па плечах, уж непременно на шее что-нибудь да топорщится, чаще — газовый лоскуток, серо-дымчатый, схваченный узелком сбоку шеи.

Ивану Тихоновичу ближе к сердцу, конечно, синий платочек — краса и память незабвенных лет войны, совсем почти отцветший платочек, с бордовой каемочкой по блеклому полю. Как увидит его Иван Тихонович — стронется его сердце с места, или в сердце сдвинется что-то в то место, где теплые слезы, — вскипят они ни с того ни с сего, порой из-за совершеннейшего пустяка, из-за картинки в газете, или покажут по телевизору что военное, либо про разлуку запоют по радио — и вот уж подмост ретивое, затрясет его, что осенний выветренный лист...

Н-да, время! Не один он такой слезливый сделался. Не одного его мяла жизнь, валяла, утюжила, мочила и сушила. На что уж сосед его Семка-оторва — семь раз в тюрьме побывал за разбой и драки — так чуть чего, как баба, в истерику впадает, с рыдашьем за голову хватается. «За что жисть погубил?» — кричит.

Ивана Тихоновича лихая сторона жизни миновала. И все у него в смысле биографии в полном порядке. Однако тоже есть чего вспомнить, есть о чем попеть и поплакать. И старость он заслужил себе спокойную. Есть домишко, есть огород, налесадики с калиной и черемухой, аккуратные поленницы под крышей — дрова из столярного цеха, струганные. «Я их еще покрасить хочу», — смеется Иван Тихонович. Во дворе хоркают два поросенка, кухонька с варевом для них дымится, ну, стайки там, назем, парник, земля, трава, полы в дому, ведра с помоями, стирка, побелка, покраска, хлопоты, заботы и все прочее, как у всех жителей деревень. А вот накатывают на Ивана Тиховича...

ча порой такая тоска, такое невыносимое томление и предчувствия нехорошие, хоть напейся. И напился бы, да нельзя. Все из-за Тани. Татьяна Финогеновны. Она толкается по хозяйству, помогает, хлопочет, и никогда он ее не видел с невымытыми руками, в том недоношенном мужском пиджаке, к которому привыкли русские бабы по селам, да так и уродуют им свой вид по сию пору, когда трипок допалла, норовят не только бабы, но и молодые девахи ходить по улице, в магазин, на базар в тапочках трипочных и пиджаках. Однажды, смех сказать, в доме отдыха видел Иван Тихонович: на танцы явились две подвыпившие девы с покрашенными губами и давай бацать под крик Рымбаевой — пыль столбом из-под стоптанных тапочек.

Ближе к осени и осенью Иван Тихонович и Татьяна Финогеновна надевают вязанные из собачьей шерсти носки, галоши, давние-давние, но все еще глянцевито поблескивающие. Хозяин сидит на скамейке ножка на ножку, сложив их вроде ножниц и вытянув, насколько позволяет не такая уж выразительная длина. Руки он отчего-то держал переплетенными на груди, вроде бы как грея пальцы под мышками, — поза скорей женская, чем мужская. У Татьяны же Финогеновны руки обычно в коленях, ладошка в ладошке, ноги широко расставлены, упористо, но не часто доводилось ей посидеть так вот, вольно, в свое удовольствие. Как бы печально вцепившись в скамейку, опершись на руки, спеленатая болью и внутренним напряжением, будто беспомощный младенец пеленальником, — вот так она последнее время сидела на скамейке: чаще стало ее схватывать.

Иван Тихонович незаметно уговаривал супругу пойти в избу, прилечь, капель линуть. Она ему так же незаметно — отпор: успею, мол, успею. «Ведь там лежать, в земле глубокой, и одипоко, и темно...» Не знала этих стихов Татьяна Финогеновна, но думала примерно так же — наложится еще и капелек еще напьется и таблеток, они уж ей надоели, толку от них все равно никакого, и, пока еще возможно, лучше ей посидеть на свету, поглядеть на солнышко, на горы, на мимо проходящих людей, потому как она всегда была и есть к людям привеглива.

Редкий вечер бывали Заплатины на скамейке одни. Все к ним кто-нибудь да лепился, грелся возле них. И насмешливо щурила узкие глаза, совсем их в щелки топи-

ла от удовольствия общения с людьми Татьяна Финогеновна, рот ее широкой скобочкой, каковой имел бес, что «под кобылу подлез», — рот этот, со складочками в углах, в смехе такой ли всегда подвижный, то и дело обнажал ряды казенных зубов, и, радуясь радости разлюбозной жены своей, Иван Тихонович и сам закатится, бывало, от своей ли, чужой ли шутки закококает курочкой, наращивающей яичко, и начнет валять голову по заплоту — картуз наземь скатится, и, подняв его, бьет он картуз о колесо:

— Н-но, ты чё это катаешься-то, парень? Куда это ты все катаешься?..

Татьяна Финогеновна стонет от смеха, вытирая слезы рукой:

— Да ну тебя! Уморил, нечистый дух! Совсем меня уморил!..

Со смехом, с шуткой-прибауткой легче обмануть время. Ведь не просто так Иван Тихонович с Татьяной Финогеновной сидят на скамейке, с умыслом сидят — ждут из недалекого города вечернюю электричку, вдруг с нею, с электричкой-то, придет Клавочка, внучка их единственная. Они ее все время ждут, каждый день, каждый вечер. И хотя внучка очень занята, родители ее и того занятей, да случится нечаянная оказия: карантин в садике либо мамуля гриппом заболит, ребенку при ней быть нельзя — заразно; при них же, при дедушке с бабушкой, в самый раз, тут никогда и никакой заразы не бывает. Да, здоровый человек у Клавочки мамуля. Очень. Редко привозят Клавочку в деревню. Мамуля у Клавочки завпродством треста ресторанов, считай что самоглавнейшего в городе предприятия. Мамуля, как и положено руководителю солидного предприятия, вся в золоте, в седом герцогском парике времен короля Людовика Прекрасного, в платье сафари, не то треснувшем на заду от ресторанного харча, не то для фасону вспоротом.

Татьяна Финогеновна, завидев невестку на деревенской улице, всегда пугливо замирала в себе, боясь, что у невестки что-нибудь принародно лопнет и обнажится. Ребенчишко-то, Клавочка, тоже разодега по всей моде по заграничной, по последнему ее крику, эхо которого, достигнув сибирских пределов, делается скорее похоже на хрип и обретаег такие уж тона и формы, что те, кто породил моду в Европах, увидев, как тут, на наших необъят-

ных просторах, все усовершенствовалось, махнули бы на свое ремесло рукой, убрали бы раскройные ножницы в сундук: ходите снова нагишом, люди, — нагишом даже приличнее...

Современно одетая семья, современно ододетная, утомленная городом, неторопливо шествует по деревенской улице с электрички таким порядком: впереди она — глава семьи, устрицапная работой, надсаженная властью, земными благами и наслаждениями; за нею вприпрыжку, во французском берете с бомбошкой, в заграничных гольфиках, в кофточке с шелковым жабо, в желтеньких штанишках с белыми лампасами, с забавной аппликацией-цыпущечкой, прилепленной на такое место, что бабушка с дедушкой при виде страшной непристойности на какое-то время словно в параличе пребывают — немые, неподвижные. Хорошо, хоть ребенчишко-то — Клавочка ничего еще не понимает, сраму не приемлет, прыгает себе на одной ножке и не зрит, что охальная цыпушка все время в движении, клюет на ее писуле зернышки.

Мамуля враждебно цедит сквозь зубы, покрытые итальянским лаком, чтоб не портились от жирной пищи:

— Ты у меня, гада, упали! Ты у меня, сикуха, ноги повреди! Я те повредю!..

Клавочка осенью пойдет в школу и вместе с самыми одаренными воспитанниками своего садика уже занимается в подготовительном классе местного хореографического училища. Ноги ее мамуле дороги, пожалуй что, дороже и нужней, чем сама дочь. Мамуля, когда выпьет, засаженным от курева голосом аркает:

— Моя Клавка, когда вырастет, усех танцами прэвзойдет! А ту, как ее — да биксу-то, что с балету, что народная артистка, видали мы таких народных! — ту у гроб загонит!..

На почтительном отдалении от семьи тащится папуля и мамуле вторит: — Клава, не упали! Доченька, осторожно! Зачем ты расстраиваешь мамулю? Ты нарочно, да? Нарочно?!

Сын Заплатиных Петруша — кудрявый, в отца, в мать, искроглазый, большеротый красавчик, без характера и без доходной должности. Он работает на копвейере или на контейнере — мамуля никак не может запомнить. Зарабатывает он четыреста рэ в месяц, но все равно считается, его содержит баба, и он согласен с этим, как и с тем, что давно бы пропал и спился без нее. По мужицкой час-

ти и говорить не о чем, презрительно заверяет невестка, и, должно быть, что-то и в самом деле неладно у Петруши — с чего бы парню лебезить перед женою, терпеть хахалей, с которыми она считает в открытую путается.

Петруша прег две сумки в руках, прихватив еще бидон с городским питьем, пагоянным на заморских травках. Деревня в горах стоит, вода здесь известковая, лишняя известь вредная для костей, говорил мамуле на курорте какой-то знаменитый профессор. Травки эти, дорогие и полезные, шиче пьют все высокоумные и развитые люди. Правда, травки те заморские Петруша видывал на приенисейском покосе, да кто ему поверит? Нужен настой, значит, тащи — для похудения жене, для эластичности кожи и для укрепления костей дочке. Еще Петруша локтем прижимает к груди собачку с блатной мордой. У собаки из-под челки мерцает глаз вылитого качинского урки. Живущая в современных апартаментах, спящая на отдельной тахте и вкушающая только сахар и птичий фарш со сливками, собака пегодует на черный народ, от страха и наглости тьякает, облаивает всех встречных и поперечных в электричке, на улице, в городе и в деревне. Мамуля успокаивает собачку:

— Жозефиночка, не порти нервов, те же ж люди, они тебя не укусят, они друг дружкой питаются. — И сразу с собачки на мужа, да так, чтоб родителям было слышно: — Нарочно с машиной резину тьянет!.. Чтoб жену не увели с машиной! Го-го-го! Та я же сама утягну хоть артиста, хоть генерала!

Петруша втягивает голову в плечи и всего себя готов утянуть, куда-нибудь спрятаться от этого все сокрушающего хамства, уверенного в своем праве сминать на своем пути все, что к нему недружелюбно, что не соответствует его праву и высокому культурному уровню.

Петруша еще издали отыскивает глазами мать с отцом на скамейке, ловит их взглядом и начинает им улыбаться приветливо и виновато: что, мол, сделать, вяпался, терплю, похаю, но сам я все тот же ваш Петруша, не испохабился, не предал дом и не очернил кровь вашу...

— Дедуля! Бабуля! — обгоняя мать, звенит Клавочка. — Здра-а-а-ст-уйте-э!

Иван Тихонович при виде невестки начинает всплывать черной пенью, под картузом у него вроде бы дымится. «Явля-а-ается, выдра кабацкая! Осчастливила родителей, пас-с-ку-да!..» — но, увидев летящую к нему Клавоч-

ку, теряет и зло и всякий рассудок, бросается навстречу внучке, на ходу прихватывая куда-то укатывающийся картуз и, сронив галошу, а то и обе, шлепает в носках по пыли или по грязи навстречу мчащемуся, двоящемуся и троящемуся в глазах от враз накативших слез существу, ради которого Иван Тихонович терпит стерву невестку, размазю Петрушу, ради внучки он умрет, если потребуется, спасет любую низость, поношение, казнь, совершит подвиг или ограбление местного магазина, смертоубийство, поджог и всякое другое бесчестье... Но Бог миловал его от крайних дел и поступков, ничего пока не надо подламывать, никого пока не требует истреблять. И невестка, и Петруша пусть существуют ради того, чтоб внучка была на свете, который исключительно для нее, пожалуй что и создан.

Дед несет в беремени от радости и щекотки визжащую девчушку, роется как бы шутливо, на самом же деле прячет вислый нос с катящимися по нему слезами в пышной тряпке под названием жабо, слышит руки, волосенки внучки, чует ее, пока еще маленькую, птичью теплоту, от которой совсем дуреет, задыхается, словно от печного жара, придумывает и не может придумать самое лучшее слово:

— А тютюшеньки-тютю! А люлюшеньки-люлю! А малюшеньки-малю...

— Деда, ты что болтаешь? Я уж большая! — слышит Иван Тихонович и, отрезвляясь, отпускает внучку наземь, ведет ее за руку и, не соглашаясь, твердит:

— Да какая же ты большая? Эко выдумала!.. Эко... — Но надо во всем потрафлять баловнице, для этого ж он ее ждал, встречал, не спорить же с нею, не для того же он столько терпел, все глаза проглядел, и, приостановившись, он озадаченно шарит в кудрях под картузом и, как бы только что ладом разглядев внучку, поражается вслух: — И правда! И правда! Экая вымахала! Совсем девонькой стала! — А хочется-то ему запротестовать, окликнуть: «Не торопись быть большой, не спеши, не падо! Побудь в детстве, в золотой поре!» Да разве жизнь окликом остановишь? И он согласно и растерянно твердит, подводя внучку к бабушке: — Ах ты девонька ты моя!

«Девонька моя! Девонька моя!» — не знает внучка, что так дед однажды назвал ее бабушку. И не было для нее никогда более ласкового, более потаенного, самого-самого, для нее только говоримого слова, со дна души взя-

того, из твердой раковины, как жемчужинка, выковырнутого. И по сей час, когда плохо бабушке, когда дед с нею отваживается, успокаивает ее, просит, молит он — не сразу и поймешь — тем единственным словом: «Не покидай меня, девонька! Как я без тебя буду?..»

Клавочка растет хорошо, развивается нормально. Чалдонского корню девочка, дедовой и бабкиной закваски. Она делает вид, что боится матери, но слушается отца и жалеет его недетской уже, глубокой, бабьей жалостью. Клавочка любит деда и бабу, собаку Жозефиночку лупит чем попало, мажет ей нос горчицей. Один раз Клавочка уже приласкала мать туфлей, пока еще мягкой, но строго предупредила: когда вырастет, будет бить ее поленом, и если она, пьянь, ничего не осознает — уйдет с папой к бабушке и деду.

— Ой, бабуля! — печально говорит Клавочка, увидев, как Татьяна Финогеновна вцепилась в скамейку, и глаза ее, налитые слезами любви и страдания, становятся скорбно-дикими, как у колдуна. Беззвучный крик, немая в них жалоба. — Ты опять болеешь, бабушка?

Осторожно забравшись на колени, девчушка жметя щекой к бабушкиной щеке, шарит ручонкой по выношенному жакету и гладит, успокаивает, исцеляет. Бабушка, смертно сцепив руками тугое телишко внучки, тянет ее к себе, плотнее прижимает к груди и ничего-ничего не может ни выкрикнуть, ни сказать, даже пошевелиться, застонать, пожаловаться не может. И только глаза ее все тяжелеют и тяжелеют от горького бессилия. Зрачки застят влагою, и они, как солнышко в дождь, дробятся в текучем, переменчивом свете, укатываются за горы, за оком земли, за живую синеву, в бесцветие, в беззрачие, в безвестность...

И пока не подошли те двое, пока не омрачили сиянье вечера, не погубили счастье встречи, дедушка, глядя поверх суриком крашеного заплота на темные перевалы и что-то там, за ними, отмечая, может быть, ему лишь, старому солдату, видимую небесную или какую другую твердь, жалуется внучке:

— Вот, девонька, вот, родная ты наша, поругай бабушку, пожурь хорошеньче. Выдумывает вот... собралась нас покинуть...

Татьяна Финогеновна умерла от застарелой болезни сердца глухой зимою, и я думал, что Иван Тихонович ни-

когда больше не выйдет вечером за ворота на скамейку, да и самое скамейку скопает, изрубит на дрова.

Но как пригрело, он появился за воротами все в том же картузе, в носках, вязанных еще самой, но уже не держал руки на груди с праздным вызовом, они болтались вроде как неужные. Сняли, сваялись в серое сырое перо знатные кудри Ивана Тихоновича, голова и ноги, бывшие как бы приставленными к коротышистой фигуре, издали напоминающей грушу «дюшес», удлиннились, брюшко и зад опали, обнажилась короткая шея в вялой коже, в бескровных жилах — в укрытии потому что, без света все это росло.

— Что сделаешь? — вздохнул Иван Тихонович, когда я приехал из города, подсел к нему и, нащупав руку, прижал ее к плахе скамейки. — Кто-то должен покинуть этот свет первым... Лучше бы мне... Да жизни не прикажешь...

Однажды под настроение Иван Тихонович рассказал мне самое сокровенное: как женился на пезабвенной своей Татьяне Фиогеновне. И я поначалу хотел рассказанную им нехитрую историю назвать «Как Ванька на Таньке женился». Да «заступил» Иван Тихонович за «тему», порушил мой план и бодрый, почти веселый заголовок. Рассказчик Иван Тихонович, как и многие мои земляки, путешевый, и не буду я мешать его повествованию своим вмешательством. Пусть забудется человек, вспомнит о радостном, неповторимом, что было только в его жизни и не будет уже ни в какой другой, хотя порой нам кажется, что жизнь человека, в особенности простого, везде и всюду одинаковая. А если это и так, все равно давайте приостановимся — мы уже так редко слушаем друг друга. Не впикая в жизнь ближнего своего, не разучимся ли мы чувствовать чужую радость, чужое горе, боль и, глядишь, когда нам больно делается, никто не поможет нам, не пожалеет, не услышит нас. И не утратим ли мы насовсем то, что зовется древним добрым словом — сострадание?

«Родом я не здешний. Из села Изагаш. Ночле водохранилищем затоплено наше село. Стояло оно на приволье анисейском: заливы, мысы, бечовки, острова по реке — Казачий, Кислый, на островах выпасы, покосы, ягод море, весной да пачалом лета зацветуг, бывало, берега, особо острова, дак чисто пироги рождественские, сдобные, зарумяненные, все в зажженных свечках — по воде плывут,

крошками да искрами в бырь сорят. От Анисея в небо горы уходят одна другой выше, одна другой краше. Речки вострием перевалы кроют, горы па ломти режут: Киржач, Малый Малгат, Большой Малгат: Снежный Ключ, Неженский залив, Дербино, Тюбиль, Погромная, далее Сисим, Убей — обе речки бурные, всякой небылью-колдовством овевшие, рыбой хорошей знатные, пушным и рогатым зверем богатые. Села большие стояли по берегам: Ошарово, Дербино, Даурское, Усть-Погромное, Новоселово.

Я рано осиротел и, как многие деревенские сироты, начинал свой трудовой путь с пастушества. Ну и насмотрелся на красоты наши местные, не знал, куда от них деваться, глаза бы мои на них не глядели! Осиротел я очень даже просто и почти разом. Вскоре после голодного тридцать третьего года. Отец только-только за тридцать перевалил, мать и тридцати не достигла. Зимой отца на лесозаготовках дагнуло. Насмерть. Весною мать тот лес, что отец заготавливала, сплавила с сельской бригадой, всадила багор в матерое бревно — ее в запань и сдернуло. Пока из воды вытаскивали, помяло работницу бревнами да простудилась к тому же. Недолго маялась.

И остался я па десятом году один-одинешенек, и удумали меня сельсоветские благодетели в новоселовский детдом свезти, а тетка моя, крестная, лёлькой я ее звал, как зальется ручьем: «Не дам в приют парнишку! Вы чего затеяли, супостаты?!»

Кричать-то кричала, проявляя патриотизм, но у самой четверо, и муж ее, Костинтин, — недужный, подкосили его литовкой, и нога у него сделалась навыверт, вроде кочерги. Кость в поге болела и гнила. Он, как и положено русскому мужику, боль и горе вином глушил и до того допился, что из колхозной шорницкой, где постегонками занимался, шилом-драгвой вел вперед наш колхоз под названием «Первенец», не вылазил, дпевал там и ночевал, детей своих родимых, кого как зовут и какое у кого обличье, не помнил, потому как видел их только исключительно по праздникам, и говорили про нас и про лёльку бойкие языки обидное: «Солдатским ребятишкам вся деревня — отец!» Папуля Костинтин похохатывал да глазом подмаргивал людям, вроде как он и ни при чем тут, воистину солдат находчивый во всем виноват — с походу возвращался, в Изгааш его занесло, у Сысолятиных лампа горела, вот и завернул служивый па огонек...

Стали мы жить-поживать: пятеро ребят, бабка с дед-

кой, Костингиновы родители, лёлкина сестра-перестарка по имени Дарья, умом и красотой ушибленная, бельмом на глазу меченная. Худо, бедно, натужно и недружно жили, вразнопляс, как говорят по селам. Ничего нам не хватало: ни хлеба, ни картошек, ни углов, ни печи, ни поластей, ни одежки, ни обуви, только клопов, тараканов да вшей вволю. Лелька старалась изо всех сил, тянула воз так, что кости в ей брякали, жилы скрипели, — да где ж бабе одной? Орава! Но нрав ее веселый, характер уживчивый, старанье и терпенье через все трудности, через недоеды и недосыпы помогали нам переваливать, пушай и с одышкой.

Да эти-то старые хрычи сысолятинские, Костинтина родители, шибко отяжелели воз, поедом ели ребятишек, меня да сестру лёлкину — Дарью убогую, прямо сказать, со свету сживали, куском и углом походя корили. И вот стал я замечать за собой, что трусливый и подлый делаюсь: чуть чего — улыбаюсь всем, на всякий случай, на сберкнижку, как теперь, повелось, выслуживаться норовлю, где просят и не просят, чего тайком и съем — пастушонку это просто, в поле он, и по дворам отламывается жратва. Стыд вспомнить, доносы на братьев и сестер учинял, ну меня, конечно, лупить, дак я на убогую Дарью бочку катить примуся, поклепы и напраслину на нее возводил — исподличался, однако, бы совсем, да лёлка спохватилась и из деревенского подпaska в колхозные пастухи меня на заимку шутанула. Держит наотдаль от дома и от стариков Сысолятиных, чтобы не получился из меня тюремный поднарник иль полномощная шестерка. Котел на заимке артельный, не шибко чего урвешь, народ делом занятой, сердитый, чуть чего — ухо в горсть и на солнце сушиться подымает.

Во школе я учился недолго и неважно. Костинтин из шорницкой паведался на праздники, охватила их с лёлкой энгузиазма, они стали на трудовую вахту да и пятого человека сработали, Борьку-дебила. Ну что он дебил, Борька-то, мы узнали после, а ковды маленький, хоть дебил, хоть кто — орет, исти просит, пеленки марат — и вся грамота его тут исчерпана. Водились мы с Борькой попеременке, кто когда свободен от работы. И правду говорят, что у семи нянек дитя без глазу, у нас, считай что, боле семи по штатному-то расписанию: пятеро ребят, шеста — Дарья, седьмой — старик Сысолятин, восьма — Сысолятиха, девята — лёлка, ну, эта для всех и нянька, и гене-

рал. Старуха Сысолятина с детьми не водилась, не любила их, и дети ее не любили. Боялись. Шоптоницей звали, хотя она характером была сварлива, голосу громкого, везде и всюду лезла с похабными посказульками да жуткими заговорами. Била она нас походя и чем попало. Да к битью деревенской братве не привыкать — битьем ее не запугаешь, но вот шоптаньем, колдовством... И знали, и понимали, что спектакль показывает наша бабушка, понарошке ужасть на нас насылает, но вот боялись в баню с ней ходить, спать на пече вместе и оставаться наедине с нею в избе, особо когда свету нет.

И не зря боялись. Шоптоница-то и устроила нам смех и грех. Звала она Борьку с подковыром — семибатешный сынок, и порешила умом крючковатым помочь семье — свести семибатешного со свету, да так, чтобы Бога не прогневать и нас умилоствит. Лелька уж больно к детям приветная, последнего, Борьку-то, ровно чуя беду, всех шибчей жалела.

Напоила Шоптоница Борьку наговорным зельем, сушеного икотника-травы натрусила, камению зеленого, на плесневелый хлеб похожего, наскоблила — с Тибету камень алтарь странник принес, пудовку крупы на него у Сысолятихи выменял, для отравы крыс, для отворота присух от дому тот камень предназначался.

Борьке ни Тибет, ни Расея нипочем. Пофуркал неделю в пеленки, снова лыбится, руки к нам тянет, бу-бу-бубу... Шоптоница в панику. «Нечистый, говорит, в ем поселился, бес многогороднай, лягушачий, не иначе...» Потом в сомнение впала, лельку на допрос: «Признавайся, хто поработал? Может, активист заезжай? Тоды и наговор и отрава обезврежены — партеец-краснокнижник никаким чарам неподвластный и Божья кара ца его не распространяцца...»

Пошумела, погремела наша Шоптоница и притихла. Когда шумела, гремела и лаялась бабушка — мы ничего, но как замолкла, затаилась — жди черной немочи.

И дождались! Наметила Шоптоница Борьке кару еще гибельней: носила его в баню, парила венником и макала распаренного дитя в ледяную воду. За этим делом застала ее Дарья убогая, вырвала ребенка из рук и с ревом домой.

Всей семьей мы за Борькину жизнь бились: лучший кусок ему, самое теплое место на пече — ему, самую большую ложку за столом, первую ягодку в лесу, первое яичко от курочки, первое молочко от коровки, первую одежду, первую

обувку — все ему, ему. Да не понадобилась обувка Борьке. Обезножил он от ваннов. На всю жизнь. Навсегда. Но спасенье его, борьба за Борькино здоровье, заботы об ем как-то незаметно сплотили наши ряды, всю из нас скверну выжали, всю нашу мелочность и злость обесценили, силы наши удвоили. И порешили мы отсоединиться от Сысолятинных. Разгородили избу пополам и зажили по присловью: в тесноте, да не в обиде. Я прилачился осенями и зимой птицу и зайцев петлями ловить. Во время пастьбы скота грибов паицу, ягод. Как артельно-то навалимся на какое дело — возом везем, что продадим на пароходы, что сами едим да малого Борьку балуем — любо-дорого, с песней, без злости валим по жизни. Бывало, зимним вечером засядут девки прясть — а у нас всех и поровну все: трое девок, трое парней — убогая Дарья хоть и с бельмом на оке, но песельница-а-а! Однако самая голосистая все же была лелька. И вот: теребят малые перо, постарше — прядут куделю или шерсть, половики ткут или чего вяжут. Парни обулки чинят, стружат топорища там, навильники, лопату — снег огребать, ложку-поварешку. Лелька ка-ак даст: «Темная ночь, выюга злится, на сердце тоска и печаль, лег бы я спать, да не спится, и мысли уносятся вдаль...» И посейчас вспомяну, дак мурашки по коже!..

Те, за стеной-то, не выдержат нашей песни, согласья нашего, им любое сообщество — нож в горло, вот какие люди были! — примутся дрова рубить. В избе! Где это слыхано? Где видано?! А то в стену забарабанят. Кулаком. Аж клопы валются, тараканы врассыпную. Игнашка — старший лелькин сын, у него уж усы-борода очернились под носом и на подбородке, хотенчик-прыщ выступил рясной брусницей, он у нас уж за мужика, раз тятя в шорницкой вверх ногами лежит, — солидно так, по-мушишски: «А подь вы к тете-матере!..» Лелька ему: «Нельзя так, Игнаша. Нельзя. Какие-никакие — они тебе дедушка-бабушка...» — «Имя малтатский волк внук!» — отрежет, бывало, Игнаша. Убили его. В первый же день войны убили. Он на действительной служил и в бой вступил на самой границе...

Вот и приблизился я к тому рубежу, который ни в какой российской судьбе, ни в какой беседе русскому человеку не миновать, — к войне. Хребет это пашей жизни, и что за тем хребтом высоким, далеким, гробовым — глазом не объять, разве что мыслей одной горькой, да и то в одиночку, ночной порой, когда раны болят и не спит-

ся, когда темь и лишь ночная кругом, душа ноет, ноет, память где-то выше дома, выше лесов, выше гор витает, тычется, тычется и куда ни ткнется — везде больно...

Нет моря без воды, войны без крови. Враз ополовинила война народ и нашу семью. Братья мои сродные — мешки заплечь и в поход, сестры — в поле, я — на воду, лес стране плавить. Даже убогая наша Дарья на колхозную ферму в доярки пошла. Лелька, та в бригадиры в полеводские, назначена была вместо Колмогорова Капитона, партейца изагашинского и бойца запаса. Один Борька дома. Елозит по полу, по двору и по огороду, волочит за собой так и не отросшие детские ноги, в штанину от ватных спецодежных брюк обе-две засунутые, и тоже чего-то мерекает, норовит помогать по дому, печку затопит, скотину напоит, когда и сварит чего, иной раз два раза посолит похлебку, иной раз ни разу, иной раз помоег и очистит картоху, иной раз грязную свалит, в одное посудину, скотскую. Мы уж не ругаем его, хвалим. Сияет, дурачок, радуется и понимает ли, скорее чувствует, какую-то неладность, беду в жизни.

В сорок втором осенью был призван на позиции двадцать четвертый год. Перед тем как мне уплыть на сборный пункт в Даурск, лелька маленькое застолье собрала, чтоб все как у путных людей... О-ох и человек была наша лелька! Ей бы в тот приют, которым меня вечно Сысолятины стращали, воспитателем бы. Ну да она и тут столько успела добра людям сделать, что ее досе помнят наши, изагашинские, хоть и разбрелись они по белу свету.

Собрали компанью, даже старики из-за стенки пришли, и папа наш Костинтин пожаловал, все в чистых рубахах. Шоптоница в праздничном платье с каемкой, как всегда с прибаутками: «Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в сережках, корова в рогоже, а я, сталыть, всех дороже!» У лельки была дочь Лилька. Я и не заметил, когда она выросла. И вот Лилька эта пристаег и пристаег ко мне: кого из девок позвать да кого из девок позвать? Зови, говорю, кого хочешь — какие мне девки и какое мне до них дело? «Нет, персонально кого?» — не отстаег сеструха-воструха. Я и бухни ей: «Таньку Уфимцеву. Она во школе меня все шиньгала за партой: «Не подвигайся ко мне. Не списывай. Не сопи. Не спи. Не дергайся. Не молчи. Не говори. Поперед батьки в пекло не сувайся...»

И что ты думаешь? Явилась Танька! В нарядном платье, в белых носочках, в синей косыночке. Тогда, в сорок

втором-то, народ в Сибири еще не успел совсем оголодать и обноситься. Это уж потом. Страшно и вспомнать, что было потом. Да-а, явилась, Танька, Татьяна Уфимцева, и все что-то шопчется с моей сеструхой-вострухой, шопчется да прыскает, а глазами в меня нет-нет да и стрелнет. Глаза у ей зоркие-зоркие, от озорства или еще от чего посверкивают, и узкие, глаза-то, имя все видно, а чё в их — поди угадай!

Попели, как водится, поплясали, поплакали. Я с сеструхой-вострухой и с Татьяной на берег Анисея провожаться пошел, вроде бы как кавалер. У самого сзади на штанах заплатки. Правда, еще при кудрях и одна кудря стоит рубля, а друта — тысячу! Главный это мой козырь — кудрява голова, да и то завтрева, в Даурске забреют. Но покуль — кавалер! А раз кавалер — соответствуй! Никаких я девок никуда еще не провожал, ни с одной не знался и хоть догадываюсь, что делать надо, глаза-то имею, видел чё к чему — Игнаха на глазах моих женихался, — догадываюсь, да не смею. Даже под ручку взять ухажорку боюсь. Тут сеструха-воструха хлопнула себя по ляжке и говорит: «Чисто комары заели!» И покуль я соображал — какие комары в октябре? — она от нас хватъ в гору и была такова.

Мамочки мои! Последний стражник сбег! Один на один я с девкой остался, и она одна на одну со мною. Ей, может, и привычно — женщины уфимцевского рода все какие-то занозистые, просмешливы, егозисты, на язык и на все другое боевиты: хоть на работу, хоть на учебу, хоть на любовь — ни одна, сказывала Сысолятиха-Шоптоница, цельной замуж не выходила, в седьмом или осьмом колене брюхатеют до замужества...

Этот факт мне вспомнился, растревожил меня и ободрил, и когда Танька, поигрывая глазами в щелочках, поинтересовалась: «Ну, что мы будем делать?» — я зажмурился да как ахну: «А целоваться!» Она мне: «Ишь ты какой ловкий! Сразу и целоваться! Ты сперва обращенью научись...» — «Некогда, — говорю, — обращенью учиться. Утресь отправка».

Опустила Танька глаза в берег, потом присела, коленки подолом задернула, зачем-то ладошкой воду погладила, вздохнула:

— Холодный какой Анисей сделался. Еще недавно купались...

Сидим. Молчим. Нехорошо так на сердце, грустно и

печально. И говорит мне Татьяна, как большая, взрослая женщина:

— Ладно, Вань, не сердчай. Когда вернешься с войны, тогда и поцелуемся...

И пошла в гору по травянистому косолобку, перед утром инеем, как лудой, вылудевшему. Напрямки пошла, без дороги. След темный, прямой, белы носочки намокли, скомкались, на сандали скатились, косыночка голуба на плечи спала, волосья и косички от росы блестят. «Холодно же! Мокро!.. — хотел закричать я. — Дорогой иди, по взвозу!..» — да не закричал, духу не хватило, горло сжало, глаза застить начало, будто кино в клубе от худого напряжения зарябило и в кино том замелькала, заметусилась девушка в нарядном платье, да и ушла от меня в дальнюю даль...

Вот оно какое, мое первое, молодое свиданье, было — рандеву грамотея-внучка это дело называет.

На войне был я на главнеющем фронте, на Первом Украинском, в Двадцать седьмой армии, в отдельной минометной роте, приданной гвардейскому пехотному полку, влитом в Двадцать седьмую армию после сражения под Курском и форсирования Днепра.

Поначалу, как водится, я был нерасторопен, мало что соображал и умел, войны по молодой глупости боялся меньше, чем потом, когда набрался опыту и понял, что к чему. А пока набрался ума-опыту, в госпитале поваялся с ранением, покуль без поврежденья кости. До ранения до первого, можно сказать, боец я был никакой, мышка в земляной норке: щелкнут по носу — я нырьк в себя и притаился. Люди всякие тоже попадались, как бойцы, так и командиры. Это в кино да в постановках все храбры да умники. А были и такие, что отца-мать заложат. И просто дураки. Так вот, бывало, кто какую дурь порет, похабщину несет — а я во всю рожу рот пялю, будто брехня его мне в удовольствие.

Кровь меня образумила. Кровь и работа. У минометчиков, знаешь, сколько работы? Столько же, сколь у деревенской клячи, только ей сено дают, а минометчик одно лишь и слышит: то не так и не там окопался, то не туда вдарил, то не свою кашу съел, то не туда по нужде сел.

Но раз я взялся рассказывать тебе про женитьбу, про женитьбу и поведаю, про войну нам говорить не переговорить. Тут не на одну ночь хватит, да и дня прихватим. Скажу лишь, что только там, на войне, в минометном рас-

чете, почувствовал я себя человеком. Равноправным. Да и то не вмах костью и характером окреп, боевою кровью повязанную родню обрел и сообщу где угодно: последним в бою не был, робел, конечно, но, как все, в меру. И получил ордена боевой Звезды, Отечественной войны второй степени, медали «За отвагу» и «За Победу над Германией». Смертей видел — что хвой в лесу, слез — озеро, горя — реки, крови — море, но и поверженного, в кювете, без порток валяющегося, червями до оскала объединенного фашиста зрел. И не стерплю, похвастаюсь: один раз командующего фронтом, маршала Конева видел. Издали, правда. А вот командующего армией — как тебя сейчас. Ей-богу, не вру! Ты говоришь, командующего вблизи не видел, а я двоих видал, стало быть, я везучей тебя!..

Было это уж, считай что, в Прикарпатье, близ Западной Украины. Весной было. Ранней. Карусель содеялась такая, что ничего не поймешь: то немцы у нас в окружении, то мы у них, то и немцы и мы в окружении, в чем — одному Богу известно. Взяли один древний городок. Сдали. Опять что-то взяли, его ж вроде, только уж ночью. Не узнать городишко. Побит, искрошен, весь в дыму. Опять нас в поле боя вытеснили, в село иль местечко какое. Мины на исходе. Патронов по счету. Голова кругом. А тут метель! Ми-и-ила-а-ай! Скажу кому — не поверят. В апреле на Украине трава зелена, цветки по солнцепеку пошли — и метель! Да что метель! Светопреставленье! Видно, и впрямь люди Бога прогневили. Хаты до застрех занесло. С ног валит. А мы бьемся. Немец технику всю в сугробах кинул и на нас толпою. Дело дошло до того, что рубили его на огневых позициях лопатами, топорами. Я как сейчас помню: небо прояснело, на минуты прояснело, клочок появился, солнце как очумелое откуль-то в дыру вырвалось, или уж опять же Всевышний его выслобонил — полюбуйтесь, дескать, чады Мои или исчадья, что творите! А ведь косогор по спуску к Орину — вот и местечка название вспомнилось! — весь он будто в черной осетровой икре. В черное-то, по снегу белу плывущему, в упор прямой наводкой лупят и малые и большие калибры. Гаубицы-полуторасотки как жажнут осколочным — в черном дыра. Брызги вверх, клочья, лохмотья. И тут же дыра, будто воронка на бурной весенней реке, в пороге закружится, завьется и сором наполнится. Людским сором! О Господи! Я по сию пору как во сне это увижу, так и проснусь. А по первости вскакивал и орал. Один раз на пече спал, как

подброшусь да как башкой об потолок треснусь — огонь из глаз! Вот ты не смеешься, потому что на своей шкуре все такое испытал. А внучка моя, да и какой иной молодняк — станешь рассказывать — ржут. Им это все вроде как комедия. Не приведи Господи никому такой комедии! Я, покуль внуки не было, как-то не так все об мире и войне переживал. А теперь вот газету скрозь прошерстю, радио послушаю, от телевизору не отрываюсь, когда про международную обстановку говорят, и одна у меня дума: неужто опять? неужто детей побьют да обездолят, и мою Клавочку тоже?..

Да-а, а немец-то тогда, что ты думаешь? Прошел! Частично, конечно, потрепанный, битый, но прошел. У нас, считай что, нечем его стало бить и нечем. Устали мы, обессилели. Упорный вояка немец, ох какой упорный! Шел фашист по руслу речки, что рассекала Оринин пополам. Летом, должно быть, тут сухой лог, но вот по весне речка вскипела. Шел слепой толпой, не выбирая пути, где бродом стречь воде, где обочиной, где по отвесным камням. Молчком шел, без выстрела, и кто падал, того уж не подымали, даже не обертывались. Мы по-над речкой лежим, считай что с пустыми автоматами и винтовками. До врага рукой подать. А он идет и идет. Иного вояку в речку уронит, водой катит. Он за каменья хватается, за кусты, но на помощь не зовет.

И вот всякой страсти я натерпелся, страху-ужасти, с ума сойти, сколько испытал — не дай Бог никому, но той речки, того местечка Оринина вовек не забуду. Сказывали, что среди немцев сумасшедших потом много оказалось, да и я, скажу промеж нами, уж опытный боец, а чуть умом не сдвинулся. Это тебе, парень, не кино, не постановка, это война, битва смертельная.

Назавтра после боя, когда враз все затаило и поплыло, обозначилось такое количество убитых, что не счесть. Как дрова лежат люди, только в пленницы не сложенные, друг на дружке. Вот назавтра-то после боя командующий Четвертой танковой армией товарищ Лелюшенко ездил по частям. Двадцать седьмая армия в те поры вроде бы на Втором Украинском фронте двигалась, а нашу минометную часть, стало быть, товарищу Лелюшенке передали. Хорошо он вел себя, сказывали бойцы — солдат, он все про все знает, — будто бы самолет «кукурузник» стоял наготове, но командующий им не воспользовался, а вот роту охраны и танки из своего личного обережения в

крутой момент кинул в бой, потому как в школе в орининской был госпиталь и лежало там множество тысяч раненых, да и вообще штабов, тыловых частей что-то многовато в Оринине оказалось, как и кто их оборонит? Что тут правда, что брехня, на которую солдаты горазды не меньше бабки Сысолятихи, я тебе сказать не могу, но видел потом убитого в поле капитана — вся грудь в орденках, будто бы командир роты охраны командующего, и танки наши новы, тяжелы — тоже видел, четыре штуки — стояли без горючего и без снарядов.

Из хаты мы, помню, выскочили, выстроились. Командующий в «виллисе», за ним бронетранспортер, машины.

Смотрит на нас генерал товарищ Лелюшенко и молчит. Да и что говорить-то? Смена обмундирования зимнего на летнее первого мая. Бой произошел в середине апреля, к этой поре от земляной работы, от окопов, минометов и ящиков с минами до того обносишься, изорвешься... А тут вон какая весна! Грязь, бездорожица и еще эта гибель — метель-то... Смотрит на нас товарищ генерал, головой качает, и никаких речей ни он, ни люди в кожанках, его сопровождающие, не тратят. Спросил командующий, как с хэрчишками, с куревом. Мы плечами пожимаем — известно как: на бабушкином аттестате.

— Скоро все будет. Скоро еду, курево, новое обмундирование подвезут. К празднику, — заверил генерал. — Даже водочки маленько выдадут. Выпьете в честь нашей победы. Соседи наши на Втором Украинском государственную границу перешли, и мы с ей рядом. И за это вам спасибо! Кухня будет, обещаю. Отстала кухня.

Тут кто-то из генеральского окружения пошутил: кухня, да санчасть, да военная лавка — оне, мол, от веку наступают сзади, отступают спереду. Наш один минометчик-грамотей в поддержку на свой лад «Теркина» вспомнил: «Пушки задом едут к бою, самовары вверх трубой!»

Генерал устало так, накоротке улыбнулся:

— Раз шутите, значит, дальше будем воевать. Только у меня просьба к вам большая, товарищи. Понимаю, устали, но помогите населению убрать и похоронить трупы. Много убитых. Весна. Тепло. Грязь. Крысы. Эпидемии не было бы. И, пожалуйста, без глумления над трупами. Хоть они и фашисты. Пожалуйста...

На исходе лета звякнуло меня еще, на этот раз в кость, прокантовался я в госпитале осень и почти всю зиму, наших с самоварами догнал уж под Кенигсбергом. От Кенигсберга мы пошли на Берлин, но не достигли его. В пути нас застала победа. И только мы постреляли в воздух, погуляли, мне документы в зубы — и домой. Одного из части демобилизовали. Что, думаю, такое? И какой у меня дом? Где он у меня?

Письма мне приходили редко. Из Изагаша писала Лилька, ну та самая сеструха-воструха. А что в деревенском письме? Поклоны от родных да знакомых, в конце: «Живем, не помирам, чего и вам желам!» Ну, еще насчет победы — ждем, мол, со скорой победой, живым и здоровым. Среди поклонов я особо выделял глазом привет от Татьяны Уфимцевой. Понимаю, что сеструха его сама присобачивала, может, и не спросясь, а все приятно. Один раз взял да и поздравил Татьяну с седьмым ноября. Добыл открытку-письмо с красноармейцем на наружной корке, красивым таким, чернобровым, в казацкой папахе и со знаменем в руке, на нас, окопных вояк, и отдаленно не похожим, но для письма девушке самым подходящим. Так и так, накорябал я, поздравляю землячку и труженицу тыла с праздником Великой революции и желаю доброго здоровья! Всем Уфимцевым также кланяюсь и шлю боевой привет с фронта! В ответ мне: «Спасибо за поздравление, дорогой воин Иван Тихонович! Мы также желаем вам крепкого здоровья и победы над врагом социализма».

Меня это письмо в прах расшиблò. Зачем же так-то? Я к ней всей душой, с намеком, а она как в газетке про социализм — «мы», «вам», «дорогой воин»! Озлился я и не пишу боле. Все! Вырвато из сердца. Вырвато оно, конечно, вырвато, да как отгоспался в госпитале да и после госпиталя, ближе к победной весне, глаза закрою — и вот оно; по взвозу, белому от инея, девушка по траве идет, за нею след зеленый вьется, волосья в росе, косыночка на косе — вспомню и не могу. Разорвал бы я то кино! На клочки! Но лучше б по следу кинулся по зеленому, да остановил бы кино-то, да вынул бы с экрана девушку... Словом, парень, влюбился, что рожей в сажу вцепился! Одно слово — молодость! Берет она свое даже на войне, в преисподней той земной, на краю гибели, и требует соответствовать твоему мушшынскому назначению.

Получил я, стало быть, документы и к командиру ба-

тарей: что, говорю, делать, товарищ капитан? У меня ведь фактически и дома-то нет. Мне ведь фактически и ехать некуда и не к кому. Может, мне на производстве каком осесть, профессии обучиться и вместе с остальным народом начать подъем разрушенного хозяйства? Я тогда горючку клятую еще мало пил, считай что и не пил совсем. Капитан это знал и не поощрял в пагубном деле молодняк. Но тут палил мне товарищ капитан почти полную кружку малированную, брякнулись мы кружками безо всякого чиноразделения, по-братски брякнулись, он и говорит:

— Есть у тебя дом! Есть! И есть тебе к кому ехать. Есть что поднимать, есть кого любить и оплакивать...

Тут он лицо стиснул так вот, обеими кулаками, зубами навроде как скрыпнул. Ну, думаю, разволновался товарищ капитан, развезло его, а ему вредно волноваться, он ранен не единожды и крепко контужен на реке Серет.

Обнялись мы с моим родным командиром, я всплакнул, да и он навроде как на мокрое место сдвинулся, и только потом, в долгом пути, на обратной дороге раздумался я и растревожился, поминая прощание с комбатом, — чем, думаю, такое его поведение вызвано и почему меня не со всем народом демобилизовали? Тревога меня охватила. И петерпенье. Всякие мои мысли: задержаться на Украине или в Москве — поступить на работу и обучиться профессии, по секрету скажу — очень мне хотелось работать на метро машинистом, дак вот всякие такие мысли иссякли, и я скорей, скорей в Изагаш. А какое тогда скорей — сам знаешь. Экспрессов не было, самолеты пассажирские только маршалов да ихних адъютантов возили. Пароходы через всю Россию и через Урал не ходят...

Но долго ли, коротко ли, все ж таки добрался я до Красноярска и на пристань бегом. Цап-царап — пароходики вверх не ходят. Грузовые суда с вешним завозом разбрелись по притокам Анисея. Рейсовый «Энгельс» ушлепал в Абакан и будет через неделю, не раньше. «Улуг-Хем» шел спецрейсом на Туву, и слух был, что на мель сел или на порогах пробил себе брюхо. Может, снарядят в рейс «Марию Ульянову», но это в том случае, если ледоходом ее в низовьях не затрет и она благополучно возвратится из Дудинки. Что делать? Как мне быть? Где мне транспорт раздобыть? Я на мелькомбинат, на катер ка-

кой-нибудь, думаю, попаду, хоть до Знаменского скита иль до Бирюсы доберуся, а там считай что половину-то пути и пешком одолею. И ведь как нарочно, как на грех, у мелькомбината тоже ни катера, ни лодки, ни корыта даже. Ах ты елки-палки! Вот она, родина моя, близенько, за горами, вот он, Изагаш, всего лишь в ста двадцати верстах, после тех расстояний, что я покрыл, — рукой подать!..

А-а, была не была! Войну прошел, Расею всю почти минул, до Берлина считай что дотопал да еще с плитой с минометной на горбу, а она, милая, тяжелше могильного камня, тут такие-то версты.

И хватанул я, паря, через горы и перевалы. Ох хватанул! Налегке. Спал не спал, ел не ел — худо помню. Сперва бежал считай что, потом шел, потом уж почти полз. И один только факт за весь мой путь тот в памяти задержался — это я Бирюсы достиг. Устья. В село мне переплыть не с кем. На скалу забрался. Ору — не слышат. Глядь вниз — там избенка курится. Земляная. Подле нее поле не поле, огород не огород, и лес по-чудному растет, вроде как посажен фигурами какими. Пригляделся — слово обозначает. Да еще какое! Блазнится, думаю. Довоевался. Устал. В путе спал как попало. Последние сутки перед Красноярском и вовсе из-за нервности считай что не спал. Моргаю. Смотрю, читаю — все выходит имя великого нашего вождя, вот что выходит, брат ты мой.

...Дезертир, паря, там в избушке-то оказался. Самый настоящий дезертир. Я об них слышал, но воочию зреть не доводилось. Это он, рожа, всю войну прокантовался в здешних горах и лесах. Вдовушек бирюсинских навещал, они его, и ушлым манером шкуру спасал, посадкой своей патриотизму выказывал. Тогда это имя испугом действовало на иных граждан, в почтенье и трепет их вбивало.

Но я какой усталый ни был, веришь, нет, ушел из избушки. «Па-а-адлюка ты! — сказал я ему. — Мы за родину кровь проливали... Убил бы я тебя, да нечем». И вот ведь: за буханку хлеба, за горсть колосьев бабу иль фэзэушника, бывало, законопатят, а этот дожил до амнистии, помер своей смертью.

Однако ближе к делу. К Изагашу, стало быть. Попал я в его средь бела дня. Теплой летней порой. Ворота настезь. Двери сысолятинского дома открыты. У меня и сердце занялось. Ни шевельнуться, ни двинуться мне. Но

осилился, иду. Тихонько в дом вошел. Спинай ко мне лёлька стоит, зеленый лук в окрошку крошит на столе. Исхудала лёлька, будто девчонка сделалась. Хотел я на косяк опереться — ноги не держат. Сполз на порожек, еще нами, ребятишками, истюканный. Здравствуй, говорю, лёлька! Она ножик уронила, обернулась, но...уже не лёлкою, а Лилькою обернулась, постояла, постояла да как бросится ко мне. «Братка! — кричит. — Братка ты мой родимой!..» Сцепились мы с ней, плачем, снова целуемся. Тут по двору скрип раздался, и кто-то на тележке в дом катит. Да это ж Борька! Борька наш, уже мужик! И тоже плачет. Руки ко мне тянет. «Бага! Бага!» — братка, значит, братка. Упал я перед им на колени, ловлю, промазываю. Тогда он меня сам поймал, прижал к себе — ручищи крепкие!

Тут уж я ничего не помню, тут уж я, усталый, с дороги, ревом зашелся. Верь не верь — пуще бабы ревел.

Вся родня сбежалась. Убогая Дарья тоже прибежала, плачет-заливается, к сердцу жмет, губами морду мусолит. Она приняла к себе раненого инвалида без ног еще в сорок втором. Родила от него уж двух гренадеров. Живет своим домом и семьей. Ломит. Свой дом тянет, да еще и нашим помогает. Все это успела мне сообщить Лилька.

— Боренька наш, — прибавила она, — печки выучился класть, на всю округу спец. Возят его по колхозам, глину, кирпич подают, он и кладет пусть немудрящие печки, но сноровисто так. Сысолятин-старик зимусь помер. Сама Сысолятиха на пече лежит, парализованная. Папуля наш, Костинтин, живой, когда к нам наведается, когда к маме, когда куда — где выпивка.

Тут бряканье об бревна кружкою началось — так бабушка наша за стеной веку давала молодежи, когда ей помощь нужна либо совет. «Ванька! — кричит бабушка Сысолятиха. — Ты пошто обнять меня не идешь? Я те родня аль не родня?!»

Бросился я к бабушке сдернул ее с печи, закутал в одеялишко и, чисто ребенка, на руках в нашу половину перенес.

Все хорошо. Все в сборе. Про всех извещено, про всех рассказано.

— Лёльки-то пошто нету? На ферме она? Иль уехала куда?

И тут все в избе смолкли, все глаза опустили, не смотрят на меня.

— Чё вы? — спрашиваю. — Где лёлька-то? Не пужайте меня...

— Нету лёльки твоей... Нету мамки нашей, — тихо так молвила сеструха...

И все бедствия, все горе-горькое нашей семьи тогда я и узнал, и отчего капитан наш, командир батареи, горюнился и зубами скрипел, известно мне сделалось только теперь.

Лелька погибла еще в сорок третьем году. Весной. Взял ее опять же, как почти всю нашу родоу, дорогой Анисеюшко. Красив он, могуч и славен, да вода в ем для нас немилостива. Уже в ростепель ездил лёлька по вызову в районный военкомат, и попутно ей был наказ: выбить в райсельхозуправлении ссуду семян. Изагашинский колхоз «Первенец» осенью припахал клин залежной земли и брал на себя обязательство дать фронту дополнительный хлеб.

В военкомате лёльке ничего радостного сказа́ть не могли, да в ту пору и не вызывали в военкомат за радостями. Вроде как второй сын лёльки, Серега, тяжело ранен и контужен, лежит в приволжском госпитале, установить его личность не представляется возможным — нет при нем никаких документов. Из слов он помнит, только: мама, Анисей, Изагаш. Из госпиталя запрос и карточка — на опознание. И кому, как не матери, опознавать сына? Видать, не сразу и не вдруг опознала лёлька сына Серегу на карточке или долго ссуду выхлопывала в руководящих кабинетах — и подзадержалась на несколько дней в районе. Тем временем произошла подвижка льда на Анисее. Произошла и произошла — с ним, с батюшкой, всякое бывает. Началась распара, юг края обтаял, воду погнал и пошевелил лед на реке. Пошевелил, успокоился, в ночь заморозок ударил, поземка порошила, мокрый снежок пробрасывает, все щели, трещины, забереги зеркальцем схватило, белой новиной прировняло, торосики при подвижке на стрежи выдавило, лед наострило, где и на острова да на бычки вытеснило, они гребешками беленькими да синенькими там-сям прострочились. Но лед все еще матер, и дорогу не всю еще сломало. На выносах желтеет дорога от раскисших конских шевяков. Вешки еловые обочь ее кой-где еще стоят, и берег другой — вот он, рукой подать, чуть более версты. Там, на другом берегу,

дом, полный немощного, в догляде нуждающегося люду, корова, куры, свинья, печь, хозяйство — и всем правит Лилька, смышленная девка, да уж шатает ее от надсады. Зинку, вторую дочь, мобилизовали на военный завод. Как в паспортный возраст вошла, так и мобилизовали. И в колхозе вестей хороших ждут не дождутся насчет ссуды. Первый май надвигается, праздник как-никак, хлопот и забот полон рот.

А она, посыльная, на другом берегу, у Петруши-бакенщика и тихого бобыля в тепле и сытости прохлаждается. Правда, не без дел — перестирала ему все, печь выбелила, полы вымела, избу обиходила и самого Петрушу подстригла, праздничный ему вид придала, рыбных пирогов и калачей настряпала. Он, Петруша, кум ее разлюбезный, возьми да полный мешок рыбы ей отвали — она и вовсе заметалась: вот бы на тот берег, вот бы ребят рыбным пирогом и ушкой покормить, в доме своем праздник встретить...

Анисей пустил их до середины. Петруша шел впереди с пешней, дорогу бил острием. Лелька, держась за оглоблю саней, сторожко двигалась следом. За стрежью, ближе под правый, крутой берег, лед вроде бы и вовсе нешевеленый был, дорога нигде не поломата. Лелька сказала: «Ну, слава Богу, кажись перевалили!» — и велела Петруше возвращаться назад, сама села в сани и поскорее погнала коня к родному берегу.

Ох как плакал и каялся потом Петруша, уж лучше бы, говорит, вместе им загинуть...

Разом, волной верховской воды, где-то в хакасских горах, в саянских отрогах спертой затором, задрало и сломало лед на реке. Разом, на глазах у всей деревни поддело, подняло вверх коня в оглоблях и обрушило меж белых пластушин льда. Еще мелькнуло раз-другой на белом льде черненькое — и туг же его стерло, смахнуло как мошку, в ледяную бездну — и нет у нашей лельки ни могилы, ни креста...»

Ивану Тихоновичу ничего этого не сообщали, чтоб не добивать с тылу, хватит и того, что попадало спереду. И, лишь дождавшись победы, Лилька вместе с сельсоветскими сочинила письмо на имя командира части с просьбой отпустить с позиций отвоевавшегося, выполнившего свой долг бойца, который так нужен дома. Вот отчего долил

свою головушку комбат, скрывая глаза от Ивана Заплатина, терзал лицо кулаками и не к душе пил из кружки горькую фронттовую разливуху...

Почти сутки просидел Иван на берегу присмирелого, островами зеленеющего, цветами яры и бечовки затопившего Енисея, все пытался понять: что же это такое? Ведь вон дезертир, сука, на берегу остался и поживает. Последышей всяких и фашистов столько поучелело на войне со злом и злыми намерениями в душе, а лёлка, так много сделавшая добра и жившая только добром и опять же для добра, приняла этакую адскую смерть. Как постичь умом этот мир и дейщееся в нем осуществление? Почему козырной картой ходит и ходит смерть? Ходит и бьет, ходит и бьет... И кого бьет? В первую голову детей, женщин, молодых парней и непременно выбирает тех, кто посветлее, посовестливее. Нег, он, Иван, не ищет справедливости. Какая уж там справедливость после того, что повидал на войне! Но понять, добраться до смысла ему так нужно, так необходимо, потому как всю бессмысленность смерти он не то чтобы осознал, но увидел ее воочию и не принял умом, не пустил в сердце. В нем все-все, что вложено в душу, заключено в теле, от волосинки и до последней кровинки, восстает, протестует и не устанет уж протестовать до конца дней против неестественной, против преждевременной смерти. Надо, чтобы человек проживал полностью свою жизнь. И человек, и птица, и зверь, и дерево, и цветок — все-все чтоб отцвело, роняло семя, и только в продолжении жизни, в свершении назначенного природой дела и срока всему существу и есть какой-то смысл. Иначе за что и зачем мучиться и жить?

Так или примерно так думал о смысле жизни Иван Заплатин, недавний боец-минометчик, дважды раненый, проливший свою кровь на войне за нее, за жизнь. Подводил итог. И наперед всего ломал голову над тем, что ему самому лично теперь делать. Как жить? Бабушка Сысолятиха на пече лежит и, как прежде, кроет всех с высоты крепким складным словом. С выраженьями. Значит, еще долго протянет. Папа Костингин так и не осознал своего долга ни перед домом, ни перед отечеством, жил и живет свободной веселой жизнью. Зинка, сестра, как попала на завод, отхватила мужа-выселенца, сотворила с ним детей, так и вестей не подает. Никаких! Даже к праздникам открыток не шлет. Брат Сергей пишет из инвалидки письма скачущими, что блохи, буквами, намекает, насчет дома:

мол, скоро сапожничать сможет и нахлебником никому не сделается. От Борьки и от Дарьи убогой помощи ждать не приходится. Игнахи-кормильца нету, и надежи ни на кого нету и не будет. Над всем и над всеми верховодит Лилька, и в глазах ее испуг, надсада иль надежда — не поймешь. На сколько ее, той Лильки, хватит, пусть она и моторная, пусть и двужильная — в мать. А как сломается?

Пришла на берег Лилька, села рядом с братом со старшим, коленчишки свои девчоночьи, уголком подол поднявшие, обняла, подбородок на них положила, молчит, на Енисей смотрит, ресницами моргает.

И так нахлынуло на Ивана, так к сердцу подкатило, что взял да и поцеловал он Лильку в голову, в разумную девчоночью головушку, в волосы мягкие поцеловал. От волосев чистой водой, листом березовым пахнет. И сказал брат сестре:

— Пока я, Лилька, жив буду, долги тебе платить не устану. За всех за нас, за родных твоих. И вообще...

Лилька в ответ:

— Не выдумывай, Иван. Пойдем-ка домой. Праздник ведь наступил. Троица. Мамка больше всех любила этот праздник. И нас любила. И тебя любила и ждала. И еще кто-то ждет...

— Так уж и ждет?

— Так и ждет.

«Приходим домой, там компанья разлюли-малина. Бабушка Сысолятиха, к стене прислоненная, в подушках лепится. Рядом сынок ее ненаглядный, наш папуля Костинтин в чистой рубахе, даже Борька на скамейку водворен вместе с тележкой. И Танька Уфимцева тут. Персонально. Улыбается, глазами строчит, но с лица опалая и у рта морщины. Однако косыночка при ней, на шее, и все остальное при ней. На месте.

Сели. Выпили. Гляжу, и Борька наш кэ-э-эк жажнет граненый стакан, налитый до ободка, и руку с тыльной стороны нюхает. Н-ну печник! Настоящий!

Вечером гуляли мы с моей зазновой — как ее теперь уж иначе-то назовешь? По берегу, по заветной тропочке, к Анисею да от Анисея, с суши к воде, от воды к суше. Гуляли, гуляли, гоняли ветками комаров, гоняли, я с намеком, с тонким: «А за тобой, Татьяна, должок!» Она без претензий: «Помню и не отказываюсь». Тут я ее и поцеловал. Она меня. Пробовал я ей платье мять — гвардеец же! — да не шибко мнется. Зазноба от такой приятной

процедуры уклоняется, шустрый, говорит, ты стал, практику, видать, прошел. Я в обиду: «Кака практика?! Кака практика? С минометной трубой, что ли?»

Миловались мы недолго, да и расстались скоро. Погуляли, позоревали, пора и за дело. Хозяйством надо править, работу подыскивать. Тут явись Петруша из-за реки. Остарел, говорит я, Иван, остарел. Помощник мне нужен. На шесте да на веслах до верхнего бакана скребусь — дух вон и кишки на телефон. В колхозишке, говорит, вам с Лилькой инвалидную свою команду не прокормить. На баканах паек хороший: рыба, орех, ягоды, охота, огород раскорчуешь, женишься — все на старости лет и мне догляд какой-никакой будет.

Подумали мы с Лилькой, подумали, и решено было подаваться мне в баканщики. Я к Таньке — свататься. Она — в смех:

— Ишь какой скорый! Погоди маленько, погуляй, похоровься, к невесте хорошеньче присмотрись.

— Чё это она? — спрашиваю у Лильки.

Та же хитрая, спасу нет, глаза отводит: сам, мол, думай, решай, не мне, а тебе с человеком жить и судьбу вершить. Бабушка Сысолятиха за перегородкой на пече выступает: «У парня — догадка, у девки — смысл. Бабьему посту нет кресту. Оне, уфимцевские, отродясь мужиков по калибру подбирали, пристреляются сперва, после уж под венец. В седьмом или осьмом колене брюхатые в мужнин дом являются. А на прохожей дороге трава не растет. Не-эг, не расте-о-от! Чё те, девок нету? Бабов нету? Лишних жэншин, по радиве сказывали, в державе нонче не то шешнацать, не то двадцать мильенов! Любу выби-рай! Коли наши не глянутя, за реку отваливай — сами в баканску будку по ягоды приплывут! Мы, бывалоча, на ягодах-то, на островах-то й-ех как ползуниху собирали! В смородиннике-то чад! Сплошной чад! Целовать в уста — негу поста! Й-ех-ех-ха-ха-ха!.. Мой-то Сысолятин лопухий был, женихаться спохватился, а тамот-ка уж слабко. Робягта не дремали! Рот полорот не держи, Ванька, рви ягоду, покуль спела!..»

Наша бабушка коли заведется да на любовну стезю попадет — не переслушать. Поезизя!

Однем словом, оказался я за рекой, у Петруши, на баканах. А там, должен я тебе сообщить, совсем не курорт, как думают мимо проплывающие товарищи-граждане. Там шесть баканов, две перевалки плюс Петрушино

хозяйство, совсем запущенное, и сам Петруша в придачу — на разпярядку ходит и за поясницу держится. Вырягся я в лямку в речную и попер советский речной транспорт вверх по фарватеру. Лилька, когда вырвется из Изагаша, по бабской линии что сладит, обиходит нас, да ведь и у самой дом на плечах. Помогать я им, правда, крепко помогал: продуктами, рыбешкой, мясишком, всем, что во дворе, в лесу и на пашне добыть способно. Тем временем друг за дружкой убрались в другой мир, в леса другие баушка Сысолятиха и Петруша-баканщик. Зато прибыл из инвалидки Серега, в командировку во временну, говорит, сам щенком смотрит, только что в ноги не тычется. Забрал я его к себе в баканску будку — все живая душа в живом доме, да и Лильке полегче.

С ним, с Серегой, незаметно втянулись мы в хозяйство наше — он по дому, я во дворе да на реке, и это самое, от холостяцкой-то от вольницы попивать начали. Ну а где выпивка, там и женский пол. И как он к нам попадал, объяснить я тебе не сумею. И по льду попадал, и по снежным убродам, и по чистой воде, и по бурной, коренной, и со дна реки выныривал, ненароком в лесу заблудится какая, при стихийном ли бедствии, от грозы-молоньи укроется, какая — рыбки купить, какая — ягод побрать, какая просто так, на огонек на вечерний. Иная день поживет, другой — и уже пылит на развороте, кроет нас, что законная хозяйка. Серега, он все ж слабый был и ожениться опасался: не справлюсь, мол, со своими обязанностями, и баба загуляет. Эвон оне какие, за войну-то боевые сделались, любого ротного старшину за подол заткнут. Ну а я в самом распале, в самый гон вошел, так бы вот кого и забодал! Ни день, ни ночь мне нипочем...

Лилька пришьвет к нам, пощумит, поругает нас, поплачет ковды — боится, спортимся мы, избалуемся вконец, потом рукой махнет: «А-а, повеселитесь хоть вы, раз мне доли нету... Завоевали...»

В деревне, в Изагаше-то, про все наши художества, конечно, все было известно, да еще и с прибавленьями. Мое положение хуже губернаторского: не вижу Таньку — сердце рвет, увижу — с души прет! Но я держу объект на прицеле и позицию не сдаю. Как по делу или в магазин поплыву в Изагаш, так мне обязательно на пути Танька встретится, и обязательно я ее спрошу:

— Замуж за меня еще не надумала?

— Зачем тебе замуж, — отвечает она, — ковды наше-

го брата не то шестнадцать, не то двадцать мильенов лишних? Хватит вам с братцем работы еще на много годов.

— Стало быть, мое сердце в тебе, а твое — в камени.

— В камени, в камени.

— Ну смотри. Я ведь возьму да и оженюсь.

— Не женишься! Я приворот знаю, — смеется Танька и глаза свои в щелки жмурит. — Кому на ком жениться, тот для того и родится...

Ишь ты как ловко да складно! — злюсь я. Чисто Сысолятиха-бабушка валит. И про слова насчет калибера думаю. Чего-то, думаю, есть! В войну секрет, стало быть, и у ей завязался. Но куда сердце лежит, туда оно и бежит.

Лильке — кому же больше-то? — изложил я свои душевные терзания. Она пригорюнилась:

— Дурак ты набитый! Дурак и не лечишься, — качает головой. — Ну ума нету — пропили с Серегой ум-то, — дак глаза-то есть? Она же, Танька-то, больная. В войну с лесозаготовок не вылазила, надорвалась. В сорок третьем гриппом переболела — у нас год тот худой какой-то пал, косил и уродовал людей, будто потрава шла по лугу. Осложнение у нее на сердце после болезни получилось. Она обездолить тебя, оболтуса, не хочет, а ты кобелишься на виду у ней, зубом трясеешь, зубы скалишь... Легко ли ей этот твой джаз слышать и видеть? Вот и сестра я тебе, а взяла бы хороший дрын да дрыном бы тебя по башке-то дурной и кучерявой, что у барана...

Вот так вот, паря, мне дали по рогам, и открылся секрет. Неладно. Нехорошо. Неправильно получилось у меня. И раньше не шибко грамотный да развитый был, а на войне совсем, видно, отупел, ожесточился. Я Лильку за бок — не базлай и не психуй, говорю, а потолкуй с Татьяной ладом, да ежели она ко мне всерьез, то и я к ней с сурьезными намерениями, с недостойным моим прошлым кончено, раз и навсегда! Р-ррублю чалку! Навигация закончится, бакана сыму, с огородом управлюсь, марала, а то и двух завалю, рыбу наловлю — мы и поженимся, справим свадьбу на весь Изагаш.

Мне через Лильку ответ: «Пущай он потаскушек пекорчит с братцем своим, а мы, уфимцевские бабы, ревновиты, не привыкли ни с кем ложа делить, нам мужика, как мерина в хозяйстве, неэезженного подавай! И нос у него огурцом висит. Семенным. Промеж круглых щек. И шеи нету. Только и красоты, что кудрява голова. Да под кудрями-то опилки. Ума и с наперсток не наберется...»

А-ах та-ак! Стальить, нос огурцом, ума наперсток не наскрести! Ну я те покажу, сколько у меня ума! Я те покажу! Будешь ты у меня, как положено старой деве, на том свете козлов пасти. Будешь! Я вот поеду в Даурск осенесь и учительницу с музыкальной школы высватаю либо телефонистку, да и продавщица от меня не отвернется из самого магазина «Хозтовары» — была летось проплывом...

Так бы я и сделал, дураково дело небогато. Поворотил бы свою судьбу на другой ход, на другу ногу поставил, через перевалы бы ее утащил, в райцентр — в министры бы не вышел по грамотешке своей, но в завхозишки либо в замначальники снабжения какого-нибудь торгового объединения или другого бластного предприятия подрулил бы и, глядишь, препроводили бы меня бесплатно лет эдак на десять дорогу Абакан—Тайшет строить.

Да не лежало мне туда пути. Бог, как говорится, не судил. Занемог совсем Серега. Слег братан мой и уж больше не справился, не осилил фронтовых увечий. Напоследок наказал похоронить его рядом с Петрушей, поскольку оба — бобыли, постараться выдать замуж Лильку, чтоб она не загубила свою молодую жизнь из-за обормотов. Ежели самому приспееет — брать изагашинскую, лучше всего Уфимцеву Таньку — баба надежная, хоть и с диким характером, да на нас, Сысолятиных-Заплатиных, иную и не надо. Сломам.

Закопали братана Серегу, инвалида войшы, на родном на анисейском берегу, дерном травяным, под одно с Петрушиной, могилку покрыли. Отвели и девять, и сорок поминальных дней — как положено у добрых людей. Сеструха сделала мне заявленье:

— Все, Ваня! Больше не могу. Погину я тут. Погину, засохну, сдохну. Забирай к себе Борьку вместо Сереги. Я целину поеду поднимать.

И что ты, паря, думаешь? Подняла! Не сразу, конечно, не вдруг, девка с разбором, и голова у ней на плечах крепко сидит. На нефти подняла! И помог ей в этом хлопотном деле Алекса Богданович, белорус, больше центнеру весом. Я как увидел их в первый раз, чуть мимо табуретки не сел! Как же, говорю, бедная Лилька, ты эдакого дреднута держишь? А она: «Копна мышь не давит». Алекса в лад ей вторит: «Зато мышь усю копну источиць!..» Во пара дак пара — гусь да гагара! Мигом троих детей изладили, голубчики, и с нефти убегли в засушенные болота Бело-

руссии. Я у них в гостях бывал, в отпуску! Потеха! Лилька Алексу нефтью дразнит: «Бяологи... Поставили серець болота вышку и ждучь, когда нехць попрець! А яка нехць у болоци? Там же ж вода кругом! Я жи на болоци вырос, мяне ж не обмануць. Жруць государственную рублиеку да вино — и уся тут нехць! Но уцей, уце-эй! Вышел на одзеро, стряльнул да ружжом як повёв — полюбласка уцей. Я их на вяровку уздев, пока до дзяреуни пер — плечо изувечию, месяцць мядвезжим салом плечо уцюпрыв да вином вылячався...»

«Гэта ж жонка враць! Гэта ж жонка враць! Да усяго нядзелю и лечывсь от уцей!» — поправляял Алекса из Белоруссии Лильку из деревни Изагаш, любовно глядючи на свою сибирячку.

Но это уж когда было-то! Когда уж все кругом налаживалось, восстанавливалось после войны, жизнь входила в спокойную межень, вода в берега.

А у меня все как-то не так, все ни к селу ни к городу, и баканская служба стала мне надоедать. Папуля Костинтин вместе с Борькой, мне на мою короткую шею хомутом надетые, — тоже. Я те забыл сказать, что ко мне вместе с Борькой и папуля Костинтин пожаловал. Больны оба и вроде как в возрасте подравнялись — дети и дети малые, не понимают и понимать не хотят, что моя молодость на излете, что нянькой при них и кормильцем мне быть, считай что, ни к чему. Но ущербные люди — оне в душе все ж таки злые, хоть и прикидываются бесхарактерными. И эти, как их, эгоисты. Добра не помнят и зла навроде как знать не хотят. И что получается? Погибаю в прислугах, в работниках, середь дремучей тайги.

«Сплавлю вас обоих, забулдыг, сплавлю в город, в инвалидку». — «А Бог! А совесть! А Лилька что скажет? Лилька к себе нас возьмет, в Белоруссию, вот тогда узнаешь...»

«И-ех, мать-церемаць, зеленая роцца! Эх, кто виноват — жена или теща?» — хватану и я стакашек-другой вместе с тятей да с братцем, выйду на берег, зареву на весь Анисей, чтоб в Изагаше слышно было: «Средь высоких хлебов затерялося небогатое наше село-о-о-о. Гор-ре го-о-орькое по свету шлялося и на нас невзна-ча-ай набрело-о-о-о...»

Шляться-то оно, конечно, шлялося, горе-то наше, да

еще не набрело иль, считай что, не полностью выбрело из водяных темных пучин, но уж подобралось, уж руку протянуло, за горло взять изготовилось — Анисеюшко, родимай батюшко, караулил и не дремал, чтоб выхватить остатки из жидких уже рядов сысолятинской родовой.

Во время сенокоса поплыли папуля Костинтин с Борькой ко мне на остров, обед, что ли, сварили да вздумали порадовать косаря, выслужиться. На шивере не справились с течением, унесло их к утесу, торнуло о камень и обернуло. Лодку наши, изагашинские, поймали, привели. Давай неводить, искать тятю с братцем всем населением. Не нашли. Через неделю их самих из ямины, из каменьев вытащило и на косу выбросило. Воронье над косою забаламутилось и указало упокойников — нате, возьмите, боле оне родимому Анисею ненужные...

Вот так вот, парень, потихоньку да помаленьку остался я на свете один-одинешенек и узнал, что есть настоящее горе. Уж пуцай бы жили Костинтин с Борькой. Пуцай бы пили, фулюганничали, только чтоб не одному в голой избушке, кругом упокойниками обступленной...

И начал я подумывать бросить баканскую службу, а то уж домохозяйкой сделался, уж моя корова бабам доить себя не дается, уж я знаю, сколько гребков до каждого бакана и толчков шестом до перевалок, уж мне рыбалка не в азарт и охота не в добычу, уж ко мне девки молоды по ягоды не плывут, все разведенки да вдовы горемышные, с которыми не столь удовольствия поимеешь, сколько горя наслушаешься, да и напьешься с него, с горя-то.

Словом, мысль моя правилась к близкому ходу — побродяжничать меня поманило. И стал бы я бичом отпетым — никто и ничто меня на пути этом удержать не могло.

Однако ж легко сказка сказывается, да душа-то в берег родной вросла: поля мои, леса мои, река петлей вокруг горла обернулась, что кашне голубое. Куда я от Анисея-погубителя? Куда от последнего лелькиного прибежища, от отца-материной педожитой жизни, от могил, от Борьки с Костинтиновой, от Сереги и Петрушиной, от тех же стариков Сысолятиных могил? Куда без этих гор высоких, без островов и бугорков, под которыми друзья-товарищи фронтовые, земляки зарыты? Кто их могилы доглядит? Кто в родительский день помянет и поплачет об них? Это уж нынешним молодым кочевникам наши привычки смешными кажутся и без надобности, но наша жизнь без родных могил, что лодка без ветрил. Да и без

земли, без бархатных лесов, без синих перевалов, за которыми все что-то хорошее мерещится.

Спиться ж, заразы, станут, как по юной глупости снились на войне. Все это в карман не положишь, с собой не унесешь...

Нет, никуда мне от всего этого не деться, и от Таньки нет мне хода. Она навряд и знать меня не знает, но сама из-за реки-то словно в бинокль видит не только чуб мой, но и мысли мои, за поведением моим ненормальным следит, намеренья мои изучает и наперед их разгадывает: «У кого молитва да пост, а у нашего Ваньки бабий хвост!» — талдычила покойница бабушка Сысолятиха, и правда что, в самую точку. А там Лилька в письмах ноет: «Братка мой! Братка! Мне бы хоть одним глазком взглянуть на Анисеюшко да на горы и леса наши. Вижу их, во сне вижу. Мы в отпуск засобирались, да, пожалуй что, совсем приедем, Алекса механиком может и болота осушать мастер». Совсем сеструха с памяти сдернулась!.. Какие у нас болота? Чего осушать? Но не приехали оне, прособирались. Сперва решили детей подрастить да выучить, потом внуков поднять, да так незаметно и вросли, видать, в белорусскую землю. А на нас тем временем надвинулись грандиозные, как в газетках пишут, события.

Наступила еще одна осень.

Флот уходил на отстой. С реки снимали обстановку. Ко мне заплыло околевшее на реке руководство из баскомреча. Заплыло и заплыло. Начальство надо согреть. Закуска по дороге бегаёт, в воде плавают, в лесу растёт, дрова казенные, тепло мое. Загуляли, запели гости с хозяином: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступа-а-ает». А раз последний и лед скоро — надо на зиму рыбы наловить. Надо дак надо. Кто бы возражал, я не стану. Конец октября на дворе. У нас в осеннюю пору, перед ледоставом, в ближних протоках елец тучился. Стоит один к одному — камешника не видать: думу ли думает, где и как зимовать удобнее, галечку ли мелкую берет, балластом себя загружает — ко дну держаться, меньше сил чтобы израсходовать на плаву. Елец в нашей местности был, что тебе туруханская селедка, — мягок, жирен, прогонист.

В ночь бросили плавушки-сети. Проплыли одну протоку — бочонок ельца взяли, ведер на пять. «Мало, — гово-

рят гости, — зима долгая, с харчем туговато». Мало дак мало. Бросили еще. Увлеклись. И раз тебе — на одной тоне черпануло ленка, вкусной рыбки, мористым концом сети! Глаза на лоб! Лихорадка в пятки!

А погода! А погода! Хуже не придумать. Снежище мокрый — стеной. Кашу по воде песет. Руки отерпли, пальцами уж не владем. Лодка леденеть начала. Запасу — ладонь. «Ребята, — говорю, — надо бы домой». — «Еще одну тону. Только одну!..» На этой тоне, на последней-то, мы и опрокинулись. Ухватились за лодку, в рыбе плюхаемся. Орем. Чую, огрузать начал, сапоги резиновые до пахов, одежда по осени, не то чтобы и очень уж тяжелая, но все ж телогрейка, дождевик, исподнее. Ну, думаю, дождался и я своего часу-череду, укараулил и меня Анисеюшко. Давно он что-то об себе не напоминал, да вот, стало быть, не забыл, терпеливый он, не торопится ему еще таких вот дураков, как я, учить не переучить, топить не перетопить.

Ну, это я сейчас так планово мыслю, в ряд пляшу, тогда, поди-ка, и мысля скакала, и тело зыбалось, и я орал что есть мочи. Пока слышал себя, думал: «Кто блажит на реке так противно? Так одичало?» Скоро сил на крик не стало, сипеть начал молитву о спасении — тонуть-то мне совсем неохота и сдаваться, пусть и родимому Анисею, нет желания, сдаваться я никем не приучен, на фронте думы о плене или о чем таком, чтоб шкуру спасти, ни разу в башку не влезало.

Не помню, как дождевичишко с телогрейкой я стянул, сапог один спинал, другим в воде на борт опрокинутой лодки цепляюсь, чтоб сорвать и его. В тот момент мы на бакан на белый наплыли. Один из наших шасть на крестовину. Я ему: «Нельзя! Не можно! Крестовина за лето намокла, едва фонарь держит...»

Пронесло нас. Лодка, было огрузшая под брюхами людей, тут килем вверх приподнялась. Я на лодку, Чую, булькает кто-то, хрипит: «Спасите!» Я этого связчика выдернул на киль. Боле никого не слышать. Стало быть, из четверых рыбаков осталось двое. Говорить либо кричать я уж не мог, но лежа на брюхе, гребуся руками. Связчик, глядя на меня, тоже помогает. Коли нижний бакан был — вот-вот избушка. Около нее пароходишко обстановочный остался, ближе подгребешь — скорее услышат.

С парохода и подняли нас, потом и тех двоих, наших товарищей, по реке собрали. Одного несло на стрежи,

плащ у него был прорезиненный, распахнулся и не давал огрузнуть. Его прожектором осветили, думали — коряга плывет. Но речники опытные на обстановочных судах робили, подплыть решили, посмотреть — это, значит, выпало еще пожить человеку. А вот тому, что за бакан поймался, висел на нем, воды и тины наелся, судьба не сулила боле жизни. Он был впопыхах снят с бакана, брошен на корму пароходишка. Корма железна. И пока до будки пароходчики хлопались да чалились — примерз к железу, бедолага, переохладился.

В те поры, пока пароходишко по реке кружил, горе-рыбаков отлавливал, нас двоих уж оттирали в избушке, грели и, как водится, от всей-то душеньки крыли на все корки. Свет я увидел уж к петухам. Раздирает, разваливает меня изнутри холодом. Тащите, показываю, за печку. Утащили. Там ведро помойное и рукомойник. Стал я на колени перед ведром... С отдыхом — сил-то нету — я то ведро до ободка нацедил. Сразу мне сделалось легче и теплее. На печку заволокли хозяина-ухаря, всем, что есть в избе, укрыли, но меня все одно качает, взбулындывает — я все еще в воде. Вот опять куда-то понесло, завертело, закачало, опрокинуло...

Очнулся оттого, что кто-то меня бьет. По морде. Да так больно! Что, думаю, такое? Зачем добавлять-то? Я и так эвон какую кару принял... Открываю глаза — Танька Уфимцева хвощет меня со щеки на щеку:

— Паразит! Паразит проклятый! Чтоб ты сдох! Ослобонил меня... — И всякое там разное бабье ругательство вперемешку с причитаньем валит.

Танька прослышала про нашу погибель и решила, что я утонул. А как переплыла и увидела, что я живой, — давай меня сперва отхаживать, потом понужать. Я ни гугу, не сопротивляюсь и виду не подаю, что мне больно. Танька била, била меня, выдохлась, глаза закатила.

— Что вот мне с ним, с вражиной, делать? Куда деваться? — И на грудь мне головой упала. — Надо замуж выходить. Пропадет без меня...

Я тут снова глаза закрыл, слушаю и думаю, что ума у меня и на самом деле с наперсток, — никакой я тактики не знаю, хотя и на фронте побывал. Гитлера уделал. Гвардеец... Надо было мне давно попробовать утопиться или еще какой маневр утворить.

Со мной с хворым Татьяна и осталась в баканской будке. Я нарочно недели две придурился, с печи не сле-

зал, не пил, не ел, все на милую глядел, короче, тактику все ж таки применил — тактику одиночного бойца, находящегося в окружении: чтоб она за это время в хозяйство вошла, баканское имущество по описи на зиму приняла, к домашней лямке прикипела, чтоб ей некуда деваться сделалось. Надо соответствовать своему назначению — спасать человека, и вся тут задача. Ведь она, наша русская баба, что есть? Ей внуши, но лучше пускай она сама себе в голову вобьет, что, допустим, в казенну баню она идет не просто так, а смывать с общества грязь, обчищать его от скверны, — дак она тебе баню своротит, а уж замуж оне у нас, голубушки, сплошь не просто так идут, все с высоким смыслом — человека спасать, и в горячке патриотизмы запросто могут его задушить. В объятьях!

«Коня на скаку остановит, медведя живьем обдерет!» — говаривали братья-минометчики про наших замечательных женщин. А они, минометчики, как стреляют, так и говорят — всегда в точку.

И вот достигнуто желанье! Наступил предел моей холостяцкой жизни — разлучить нас с Татьяной теперь только заступу да сырой земле. Не так бы скоро, конечно, как вышло, да у всякого свой срок во всем назначен, не нами назначен. Вон люди, которые ни сахар, ни соль не едят, бегом бегают по девять верст, а придет срок, кувырк — и негу...

Да-а... Скоро и понесла моя Татьяна. Все наветы покойной Сысолятихи Шоптоницы насчет нестойкости уфимцевской родовой, не в пример мне, она отмела, хоть и на лесозаготовках мыкалась середь мужичья, пусть и нестроєвого, в селе Изагаш полжизни кологилась, где строгость нравов не особо соблюдалась. Шибко, ох шибко страдала и ревновала она меня к прошлому, да и к настоящему тоже, раз я такой порченный, считала, удержу на меня негу — всякий закон, стыд и Бог такому моральному уро-ду до порогу.

На следующий год после того, как свела нас судьба, средь теплого лета, в самое цветенье, как раз о ту ж пору, когда я с войны вернулся, родила моя Татьяна сыночка. Назвали его в честь хозяина нашего прибежища Петрушей. Просил покойник, чтоб, ежели я оженюсь, его именем первенца назвать, поскольку он сам прожил жизнь бобылем, пусть хоть в чужих детях именем своим продолжится...

Петруша родился слабеньким. При родах Татьяна едва

не померла. Боле ей рожать не велели, опасно, сказали, для жизни. Но Татьяне хотелось еще девочку. И мне хотелось. Попробовала она родить девочку. Умер ребенок при родах. Татьяна серой тенью из Даурска явилась домой, за стенки держалась. «Что ты не женился на другой, — плакала она, — зачем я тебе? В деревне баба здоровая нужна...» Будто в городе баба нездоровая нужна! Городит тоже. А мне какую судьба определила или Бог послал, с той и вековать, ту любить и жалеть. Полюби-ка нас вчерне, горворится в народе, а в красне всяк полюбит.

Природа у нас суровая, да здоровая. Оклемалась Татьяна. Орезвел Петруша, весельем в отца удался, ласковым в маму. Уж мы его любили. Уж мы его нежили. Да и баловали, что там скрывать. Как во школу приспела пора Петруше, мы ради него в Изагаш переехали, бакана оставили. Я в мехмастерские поступил. Татьяна на почту устроилась. Жи-ы-ыве-ем!

Тем временем покатился слух по верхнему Анисею — затоплять будут. Я газетки почитывал маленько да радио слушал, отгуль и узнал, что повыше Красноярска строится гидростанция и что, конечно же, затопляться что-то будет, но до нас, поди-ка, дело не дойдет — восемьдесят, считай, верст от плотины будем, на сухе останемся.

— Да что ты, папа! — мне Петруша с гордостью. — Это же не простая гидростанция! Самая мощная в мире! И она не восемьдесят, а все шестьсот километров захватит, может и тысячу!

Ликует Петруша, а я думаю: эко хватил малец — шестьсот верст! Это сколько же надо земель, лесов свести и затопить, лучших земель, лучших угодий, сел, городов и леспромхозов, народу сколько с места согнать...

Слух слухом, в нюх шухом. Волнуется народишко по берегам великой реки, тревожится. Переселять будут. Точно. Уже и страховку за строения начали выплачивать, уже и ссуды на новожительство выдают, но вот поговорить с народом, объяснить ему, что к чему, никому в голову не приходит.

Татьяна моя смолкла, сообщает. Я матерюся, когда Петруши дома нету. Народ помаленьку начинает сыматься с мест, расплыться. Татьяна в отпуск засобиралась в Красноярск, к родной своей сестре Зинке. Приезжает и говорит:

— Ваня, давай подниматься с Изагашу. Ему скоро под воду. Ты уже под водой бывал. Ничего там хорошего нету.

Сам видал. Я дом сторговала в деревне, около города. Петруша десятилетку закончит, в институт ездить близенько. Он у нас, сам знаешь, какой богатырь, ему догляд нужен и питание хорошее. При доме огород большущей.

Я как узнал, что деревня та близ гидростанции, зарорал:

— Значит, на съедение гидре! Она, значит, нас заглатывает, а мы сами, считай что сами в пасть ей лезем!

Татьяна мне:

— И чего такого? Там народу тучи, изагашанских встречала. Не глупее она нас с тобою.

Кто с бабой спорит, тот назьма не стоит, учила наша бывшая наставница бабушка Сысолятиха. И я спорить не стал. Перегрязли, отстроились, обжились. Я сперва на гидре бетономешалкой командовал, потом, когда гидра загремела и реку перемальывать начала, на деревообделочный наш заводик пошел, да там до пенсии и доработал. Фото мое с Доски почета не сходило, и сейчас, когда просят пособить, — не отказываюсь, иду в кочегарку либо бруски пилить на дверные блоки и рамы. Таня работала опять на почте. Да недолго. По болезни на пенсию ее отправили. В огороде копалась, дом обихаживала, Петрушу в институт снаряжала. Как и многие тихие, бессловесные люди, он у нас головастый оказался, в науке хорошо преуспел, и при политехническом институте его оставили в какой-то аспирантуре. И вот тут-то, в аспирантуре, он и попал в лапы той выдры, воровки проще. Она в их институте завстоловой работала, ну, прикормила его, видать, или опоила чем — иначе где бы ему чего смикитить? Самому, бывало, и титьку мамкину не найти. А тут эвон какую золотую самородку откопал.

А в изагашинских местах я, паря, не бываю. После затопления раз один на рыбалку съездил — ничего не узнал, нет местности родной. Топил, топил Анисей нашего брата, теперь самого угопили, широкой лужей сделали, хламьем, как дохлую падаль, забросали. Толстой водой покрылось речное приволье. Где было наше с Татьяной прибежище и Петруша где по яру бегал, травку пяточками мял, на бережку песок месил и домики строил из глины да лепешки стряпал — ни глазом, ни памятью я найти не мог. А бакана теперь — автоматы-мигалки старое русло реденько означают, народ другой живет, на других, малородных берегах, все боле переселенец. Наши на месте не удержались, кому уж помирать пора подходила, кому сни-

маться сил нету, те в косогоры поднялись. На старых пашнях березники взошли, берега моет, землю рушит, камень оголяет, в ранах тайга и земли по Анисею; скотом и бурями берега размешаны, в воду пушшены. И пускай там другие люди живут, оне не тут родились, светлого Анисея, тем боле голубого не видели, имя его не жалко, а у меня же там — ни жить, ни стоялу воду пить нету желанья. Моя родина, мой берег и могилы родительские, лёлкина, Петрушина, Серегина, Борькина, Костингинова, стариков Сысолятиных, того горемычного товарища, что со мной рыбу имал и которого не откачали, — на дне глубоком. Тышшы могил, тышшы крестов иobelisksов, за три столетия Изагаша накопившихся, — под водой. Што прах переносили ханыги какие-то со dna будущего затопленья, так то видимость одна. Знаем по опыту вековому: кто в мор намрется, в войну налжется, тому уж все нипочем — ни могилы, ни кресты, ни вера наша, ни земля отцова. Люди, горлом и лжой живущие, бездельники всех мастей завсегда были сорняком на крестьянском огороде, пухом осота летали над нашими головами, и хоть имя порой удавалось укорениться, загадить нашу землю, все ж ки хоть и уставали мы, но выдирали всякую нечисть с корнем, сдували с себя семя сорное, липучее...

Мы на земле своей, на изагашинской земле, из поколения в поколенье жили и работали, нам ее жалко, да и боязно делается, как подумаешь, что за люди без земли, без своего бережка, без покоса, без лесной деляны, без зеленой полянки, на сером бетоне вырастут. Что тут в их душе поселится? Казенная стена! Какое дело они справлять станут? Кого любить? Кого жалеть? Чего помнить?»

Мы с Иваном Тихоновичем одногодки, оба фронтовики, и рассказ его не зря был доверен мне. Я чего не понял, то почувствовал, проникшись его благодарной печалью, от чувств, нас обоих пронзивших, да, наверное, и сроднивших, прочел ему любимые стихи:

Мир детства моего на дне морском исчез...
Где нетухи склнкались на рассвете,
Где зрела рожь, слыел далекий лес,
Теперь в воде сквозят рыбацьи сети.

Ты грустным взглядом в глубину глядишь
Без горьких сожалений и обиды:

Там чудится тебе солома крыш
Уснувшей деревенской Атлангиды.

Крепчает ветер. Между черных свай
Вскипает пены белоснежной вата...
Спи, Атлангида. Спи и не всплывай.
Тому, что затонуло, нет возврата.

Иван Тихонович сидел, опершись о скамейку, не отрываясь глядел в заенисейское горное заречье, в земные пространства остановившимся взглядом. Не отпускаясь от скамейки, о плечо, об выношенную телогрейку вытер лицо — так вот на фронте во время земляной работы мы вытирали пот, чтоб не обляпать лицо грязными руками.

— Это кто же так проникся? — тихо спросил он.

— Тот самый поэт, что написал в войну для нас «Бьет-ся в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза».

— Фамилия его какая? Запомнить хочу.

— Алексей Сурков.

— Живой еще или помер?

— Помер. Недавно.

Иван Тихонович, что-то в себе заломав, упрягав по-дальше, вздохнул протяжно:

— Уходят бойцы фронта боевого и трудового. Покидают земные пределы последние их колонны. И хоть не в согласии, но все ж в мире оставляем землю детям нашим. Как-то оне сберегут, сохранят такой кровью, такой мукой добытое...

Долго мы молчали, не шевелились.

— Вот скажи ты, что дадено человеку, а? — не меняя печального тона, все еще находясь в воспоминаниях, продолжал Иван Тихонович. — С одной стороны, поджигателям войны нейдет опять все порушить, передавить, изуродовать, с другой — взять, что во мне, скажем, на самом дне лежало, песком, землей, прахом замытое, все это из тьмы крошечной, из хаоса золотишкой добыть, чтобы жизнь высветлить... Вот сколь давно живу, а постичь этого не умею. Клавоочка наша... Ну ни единого у нас плясуна в родове, петь певали — голосистые были, но по танцам — что медведи. А она вон по какой линии приударила! Уж какая из нее танцорка будет — Бог весть, но деда и всех людей любит — это в ней есть, это точно! Это от изагашинских корней сок в нее просочился...

В пятницу с самого утра дневалит Иван Тихонович возле ворот — ждет внучку Клавочку из города. Чует он ее, еще не увидев, узнает среди всего народу, с электрички идущего, хотя и «сяло», как он говорит, у него зрение. Внучка еще задаль машет ему рукой, будто комаров над головой разгоняет. Беленькая, стройненькая, ноги у нее — носки врозь, пятки вместе, будто у парадного, вымуштрованного солдатика, наростопырку ходит, руки длиннопалые кренделем держит, не сутулится и ничего тяжелого не поднимает, лишку не ест, не пьет, картошки не садит, дров не носит, назьму не убирает. Да дедушка и не заставляет ее тяжелую работу делать, слава Богу, сам еще в силах.

Петруша умер, когда Клавочка училась во втором классе, мамулю загребли в тюрьму через два года после смерти мужа. Не одну, целую банду из общепита заневодили, будто табун зубатки в мутном половодье. Все золото с ворья содрали, машины и дачи отняли, барахлишко в скупку свезли. Попировали! Хватит!

А время бежит, бежит. Клавочка «Лебедей» для выпускного спектакля репетирует, пока еще маленьких, пока еще артельно. Как-то ударила по деревенскому радио музыка — и пошла Клавочка колена выделывать, — у деда и рот настезь — эко диво! Откуда чё и берется?

Сигаает по избе от стены до стены, двор единственным прыжком берет. Но недавно пожаловалась деду: на сольную партию не тянет, нет, сказали, данных у нее и опыту. Да как это негу, как это негу, когда вон чего вытворят человек! Козлом горным скачет и кости не переламывает. Блату негу, вот что. Сяла та выдра кабацкая в тюрьму не ко времени. Дала бы девке образование закончить хоре... хоре... — не с первого раза, с раскачки берет мудреное слово дед — хо-ре-огра-фи-чес-кое, в соло бы ее вывела, в театр определила, в самое Москву — тогда бы и садись на здоровье...

А-а, да хрен с ним, с солом, продолжает размышления Иван Тихонович. На хлеб, на сахарешко и без сола добудем; для свадебной сряды иль на завитушки какие, так он ей половину пенсии отвалит, надо, дак и всю высадит, дом продаст, на картошках сидеть будет, но чтобы все у внучки, как у современных молодых людей, чтоб досыта пито-едено, чтоб хоть платье, как у той, у выдры кабацкой, вилок называется, хоть джинсы, хоть картуз с длин-

ным козырьком, хоть туфельки на морковках, хоть магнитофон, пусть недорогой, — надо дак...

— Дедуля, здра-астуй! — доносится до Ивана Тихоновича, и на него, распластав крылья, с кожаной, словно у давнего изагашинского почтаря, сумкой через плечо, набитой всякой женской мелочью, харчишками из училищного буфета на выходной, с безделушкой, подарком дедушке, летит легкая юная внучка.

И то, что Клавочка, как в малолетстве, от торопливости ли, дед считал — от волнения встречи, сглатывала в слове «здравствуй» буквы, ввергало деда в какое-то глупое беспамятство, когда все вроде видишь, слышишь и помнишь, но земли под ногами нету, да и сами ноги вроде как не твои.

Прижав Клавочку руками ко все еще не запавшей груди, Иван Тихонович долго не выпускает ее, будто не верит, что вот она, девонька его родимая, взяла и прилетела к нему и никуда-никуда не улетит от него.

И всякий раз при встрече с внучкой с уже отдаленным, привычным горем коротко, неслышно вздохнет Иван Тихонович: «Вот бы бабушка-то жива была! Радости-то, радости-то бы...» — это чтоб и на том свете Татьяна Финогеновна не подумала, что он всю любовь внучки присвоил себе и забыл о ней. И тут же сжимается нутром от неожиданно вернувшейся, неотвязной догадки: «И я вот тоже скоро.... небось скоро... Зачем? Как же мы друг без дружки-то?..»

...Жизнь прожить — что море переплыть.

ГОЛУБОЕ ПОЛЕ ПОД ГОЛУБЫМИ НЕБЕСАМИ

ЛЬНЯНОЕ ПОЛЕ В ЦВЕТУ

Голубое поле под голубым небом.

Закрою глаза — и вот оно явственно передо мною. Слабенькая с виду зелень, отраженная от другой, более буйной, напористой растительности. Тишина поля открыта доверчивому сердцу. Древняя во всем покорность жизни царствует здесь — солнцу, свету небесному, от которого набирается поле скромного, домашнего и тоже доверчиво-тихого цвета. Но эта ненадоедная однотонность, однообразность и уединенность его кажущаяся, застенчивость вкрадчивая. Уже в близком отдалении поле разливается в мгlisto-небесную ширь, чем далее к горизонту, тем яснее сияющую, и уже не понять: где поле, где небо — живая, все в свою глубь погружающая синь.

Льняное поле в цвету словно бы вслушивается в себя, бережно, как бы даже чуть тайно наливает свои слабые на вид стебельки ситцевым дождевым крапом, и неназойливая, но непоборимая уверенность присутствует в поле и над полем — никто не сможет облететь его, пройти мимо, всяк задержится на нем взглядом, приостановит шаг, залюбуется им, помягчает сердцем, пожалеет о чем-то прошедшем и решит, что не все еще в жизни утрачено, раз есть на земле эта, всем доступная, обнадеживающая красота. Над цветущим полем льна даже пчелы и шмели смиреют, летают неторопливо, долго усаживаются на гибкий стебелек, сосредоточенно прицеливаются к цветку и, на-

шарив его бледную, лучистую сердцевину, замирают в сладкой дреме. Жаворонок выберет минуту, освободится от семейных хлопот, взвьется в небо и звенит над полем, сзывает всех существ и зрящих подивиться на него; стремительный ястреб, высмотрев в гущах льна мышку, падет вдруг сверху, и дрогнет поле от его вихревых крыльев, катится по нему голубая волна, разываясь пашенным пластом до самого межника; от струящегося из впадин прохладного воздуха ходят беззвучные молнии по льну, брызгами осыпая подножье стеблей, и стоят льны по колено в синей, раскрошенной воде.

Короткой летней ночью объявится на небе всеми забытая луна, и тогда идет к ней от поля голубое свечение, и останятся, замрут сами в себе ночное небо, ночная луна, оберегая мир поднебесный от волнений и тревог, и это робкое, тайно сияющее поле оберегая.

Уймись и ты, тревожный человек, успокойся, мятущаяся душа. Слушай! Внимай! Любишься! В мире царствует благодать. Поверь в незыблемость и вечность его. И не говори никаких слов. Не плачь, не стнай — сон и покой кругом.

Тихое-тихое поле. Дивная даль. Россия.

ЛЬНЯНОЕ ПОЛЕ В КОНЦЕ ЛЕТА

Но потускнели пашни. Унялось и остыло небо. Посерело с окраин. Льняное поле поспело, стебли сникли, мелкими птичьими глазками смотрятся в землю. Слитный шорох катится по полю. Черствая, издержанная земля к полудню нагреется от скупого уже, но в зените все еще знойного солнца, и тогда сыпкая, едва слышная звень разносится по округе. Рдеет теплая пыль над вызревшим льном, в каждой капельке круглого, медного шеркунца бьется звонкое семечко. И когда в ночи остынет и отмякнет под студеной росой старчески сморщенная земля, травы и последние цветки, еще живые в корешках, дружно отвернутся от студеной речки к спелому льняному полю, над которым почти до рассвета ходят волны печного, сытого тепла, реют сны пашенного успокоения:

Идешь вдоль поля, невольно протягиваешь руку, греешь ладонь на теплом льне. Вдруг с грохотом, мохнато махая крыльями, выбивая семя из коробочек, взвьются над полем и разлетятся в разные стороны дикие голуби.

Следом за ними тяжело разбежится и, разрывая золотистое поле льна, взлетит глухарь, напуганный шумом.

Долетев до межевой каменной гряды — дальше не может, ожирел от обильного корма, — птичий великан, угромоздившись среди малинника и отсохшего кипрея, хмуро оглядится вокруг — откуда опасность? Кто помешал ему подбирать и склевывать с земли такие вкусные зерна? Омежный камень, как загнета в давно протопленной русской печи, чуть еще тепел, и, оглядывая из-под бурой брови окрестности, глухарь сморенно оседает на брюхо, льнет пером к теплу, сыто задремывает на камне.

Пойдешь за малиной или по смородину к речке, глухарь недвижим и незаметен, что камень, на котором он утрелся и приютился. Сойдешься вплотную, он так загромыхает крыльями, что невольно вздрогнешь, сердце подпрыгнет в груди. Но, поняв напрасную причину страха, уж просто так, для облегчения, выдохнешь: «А чтоб тебе пусто было!» — и проводишь птицу взглядом до леса. Влетев в ровный осинник, сбросив ворохи листьев, грузная птица долго, вроде бы неуклюже громоздится на дереве, потом что-то на себе шевелит клювом, поправляет какое-то перо и, успокоившись, смотрит сверху на привычную землю, на дальние леса с токовищем в сосновом бору, на желтое поле, залитое расплавленным золотом.

Обложенное с четырех сторон грядами давно убранных, мшелых, растрескавшихся камней, поле, полное шорохов и звона, с неременной дорогой посередке и мутной водой в колдобинах, живет своей вечной, неизменной жизнью. И облик этой вечности наполняет древнюю птицу чувством покоя и уверенности в том, что они неразделимы: земля и поле, птица и лес, небо и свет небесный.

ЛЬНЯНОЕ ПОЛЕ В ОСЕННЮЮ ПОРУ

Но что это там, за полем, вдали? Какое движение на дороге? Что за гам и шум?

Люди. Приехали из райгородка убирать лен. «Ахти мне!» — если б умел, воскликнул бы глухарь, увидев автобус, возникший из вороха пыли, и на всякий случай рванул в густые ельники.

Школьники старших классов и студенты текстильного

техникума, увидев торопливо отлетающую в укрытие темную птицу, закричали:

— Страус!

— Пеликан!

— Фламинго!

— Реликт! — сказала учительница старших классов и попробовала занимательно поведать своим учащимся о птице каменного века — глухаре. Но тут не школа, не класс, тут воля. Парни и девочки не стали слушать учительницу, включили транзисторы и сперва, танцуя или борясь, потоптались по льну, затем полежали на меже в обнимку, после чего в обнимку же вошли в лен, местами уже полегший, спутанный, чернеющий проволочно-крепкими стеблями, с вершинок которых сыпались круглые коробочки и вырпывали из пересохшего нутра сердечки семян.

Там, где лен не полег, он ровно клонился от спелой тяжести. Казалось, кто-то причесал поле и оно уже отмолилось и приготовилось к кончине.

Вид поля являл собою полное согласие с тем, что возшло, отцвело, созрело растение, пора ему на покой, в сушилку, в мялку, в расческу и куделею на прялку. Потом ниткой в клубок, с клубка на ткацкий станок, а там уж чего швей-мастерицы решат: рубахой ли быть льну, в онучах ли износиться, полотном ли отбеленным сделаться и вышитыми петухами украсить, может, половичком под ноги молодых постелиться, саваном укрыть жницу иль швею, может...

А пока грустно клонится поле под ветром, слитный звон семян в сухих коробочках наполняет округу музыкой вечности, музыкой труда и жизни. Прощается растение с матерью-землей.

Парни и девочки сперва бойко, играючи выдергивали из земли стебли льна и, связав их в узенькие снопы, соединяли вершинками по трое, по четверо, ставили на ветер — на просушку. Шли по полю, и сзади них рядами, как солдаты в наступление, шли суслончики. Под ногами делалось взъерошенное, растоптанное, клочьями соломы, крошевом, рваньем, семенем усыпанное, лохмотьями осота и омежьем помеченное не поле, а уже просто земля. Бесформенная, неряшливая, старая.

Стебли льна не гладкие, не круглые, они с едва замет-

ными глазу неровностями, ребристы, ломки, на изломе колки. Крестьяне, идя дергать лен, надевали грубые верхонок. Молодые люди верхонок в доме не держали, да и не знали, что таким словом зовется обыкновенная рукавица, надеваемая поверх варежек. В кожаных и лайковых перчатках, в вязаных варежках, кто и вовсе без ничего, скоро почувствовали молодые теребильщики, какая неприятная и грязная работа на льне и со льном. От сырой земли раскисли перчатки, стеблями льна их прорезало, исполосовало, стало царапать пальцы, рвать кожу ладоней. К обеду заболели поясницы у парней и девушек, в крыльцах ломота, шея хрустит, но не вертится, руки в грязных кровавых лоскутьях.

И поле-то невелико, но с трудом, без радости вытеребили ребята на нем лен. Едва волоча ноги, с выключенными транзисторами, серьезные от усталости, плелись они в село, на автобусную остановку. Половина теребильщиков бросилась по селу просить йод и бинты. Пищали от боли молодые работники, перевязывая друг дружку.

Уезжая на автобусе, даже и не обернулись ребята на убранное ими поле. Надоело оно им. Обрыдло.

Бабки льна стояли в поле до самого, почитай, снега; которые упали наземь, которые дождями забило, потоками в лога и в речку снесло. Но вот пришел трактор с тележкой. Две женщины, обутые в красные сапоги, покидали вилами в тележку снопы льна, сели поверх воза. Трактор «Беларусь», изрыгающий дым и припадающий на оба колеса, соря снопами, выпер вихляющуюся тележку на дорогу и помчался к кудельной фабрике.

Селяне сказывали, что в прежние годы просушенные снопики льна складывались на дороге для того, чтобы по ним ездили телегами и ходили ногами кони, люди и таким вот нехитрым способом размягчали бы снопы перед тем, как быть им сунутыми в мялку. Ручная мялка — это две доски на пожках, сверху доска на шарнирке с заостренным ребром и ручкой на давящем конце. Рассыпай сноп на дощечки, суй его, как лук-батун под нож, и жми сверху, суй и жми, суй и жми — вдосталь наработаешься и напляшешься, начихаешься и насморкаешься.

Потерянные «Беларусью» снопы лежали до зимы на дороге, вмерзли в грязь. Они были ничьи.

Кудельные фабрики на Вологодчине, уцелевшие от старых времен, редки и невелики. Видно их издалека. За стенкой редкого ольховника, прошибленного в двух-трех местах норовистыми, растопыренно-мохнатыми елками, за поселком иль райгородком, на отшибе, иль, как хорошо прежде говорилось, — на всполье, дымит железная тощая труба с искрогасителем-воронкой, стучит движок, гонит в сопло вентилятора пыль, копоть и вертящийся в воздухе льняной сор.

Фабричонку не сразу и заметишь, лишь кончик трубы торчит из льняных отходов и какое-то давно беленное помещение одной стеной выступает, да шум и оханье механизмов из-за лохматых туч, напоминающих шахтные терриконы, доносятся. Бедствие фабрик — эти отходы. Очень они пожароопасны. И часто горели и горят древние кудельные предприятия. Случается, дотла выгорают вместе с ними прифабричные поселки; коли ветер большой и настильный, так и село, и фермы, и всякие колхозные, а то и административные строения выпластает огонь.

Копотна и на фабрике работа со льном. В цехе первичной обработки сразу и не различишь: где, что, как и кем делается. И то сказать, на одной примитивной мялке в крестьянском дворе, бывало, работает баба, чаще малые и старые жители, к вечеру баню заказывают — так утряпаются мяльщики в пыли, в грязи, так их исколет кострой, что все тело красной зудящей сыпью покроеся.

На фабрике действует техника безопасности. Кое-где первообрабочникам выдаются комбинезоны, очки и шлемы, грохочет железом вентиляция — жерло, как бункер комбайна, в стену вставлено, и в него втягивает костру, мусор, пыль. Кажется, черный дым сплошным потоком льется в трубу — никаких стен, никакого потолка, никаких окон не видать. Всюду не слоями — наслоениями серая пыль; серые хлопья сверху свисают — липкие клочья растрепанного льна. Ходишь по чему-то мягкому, проседающему, ни пола, ни земли под ногами, и самого помещения вроде бы нету — находишься в самой что ни на есть преисподней. Какие-то, тоже лохматые от грязной кудельной очеси, существа в очках, в перепоясанных комбинезонах, с глухо повязанными головами, с затененными лицами, чего-то делают, шевелиются во тьме, едва пробиваемой пятнами лампочек. И гудит, гудит перетружен-

но мотор мощного вентилятора, сглатывает, сглатывает и не может поглотить грозовую, тяжелым веществом наполненную тучу. Молнии серебрищихся соломинок пересекают тучу, что-то в ней беззвучно вспыхивает и, искрясь, вылетает наружу. На воле клубится, сорит во все стороны и медленно унимается уже не туча — рыжеватое облако, и когда остановится фабрика, утихнет волком воющий вентилятор, на округу, на ближний лес, на дома еще долго оседает пыль, и ветром кружит, кружит и под небо уносит серебряные нити и крошки костры.

На фабрике и во дворе — повсюду — из-под грязных ключев кудели видны невнятные, безразличные слова: «Лен — наше богатство», «Не забывай одеть защитные очки», «Береги глаза, работай в очках и повязке». На одной совсем уж дряхлой фабрике красным суриком писанные, кривляются слова современного поэта-соловья: «Золотистый лен, я в тебя влюблен» — или что-то в этом роде, но чаще других над воротами таблица: «Посторонним вход запрещен».

Запрещать не надо. Побываешь на кудельной фабрике разок — и больше туда не тянет. Если случаются гости или представители из Министерства легкой промышленности, проверяющие ли из области либо писатели, изучающие жизнь на месте действия трудящихся, так их как-то так ловко водят по фабрике, что они сразу оказываются возле готовой продукции, где им дают посмотреть и даже в руках подержать чудо природы — конечный продукт, полученный из невзрачных, грязных стеблей. Расчесанную куделю хоть с девичьей косой сравнивай, хоть с кудрями херувима — все будет приблизительно и неточно. И поскольку перо бессильно перед чудесами природы, я упущу сей момент, и даже скромный банкет, следующий за показом кудели, описывать не стану.

На волю скорей, на улицу, из цеха первичной обработки! Дыхнуть воздухом, поднять глаза и убедиться, что небо еще есть, на месте оно, над головой. В цехе первичной обработки льна уверенность эта пошатнулась, и нужно время, чтоб почувствовать себя живым, что-то видящим, осязающим и дышащим обитателем земли.

Рыбаку море по колено и расстояния нипочем. Рыбак счастлив еще и тем, что ежели рыбы не поймает, а это с ним случается все чаще и чаще на наших внутренних водоемах, зато друзей приобретет, душу в воспоминаниях отведет, и жизнь в неожиданном, как нынче принято говорить, ракурсе откроет.

Вы знаете, что притягивает толпы рыбаков на территорию кудельных фабрик, хотя там повсюду написано: «Вход и въезд запрещен», «Закрой поддувало», «Берегись огня, не бросай горящую спичку», хотя туда даже вахтеры не пускают? Не знаете? Червяк! Из-за него, игровитого, выщегося шустряги, рыбаки тайно, порой под дулом дробовика, а где и боевой винтовки, проникают во дворы фабрик, попластунски ползут или перебежками берут двор, западают в кучах отбросов. Червяк тот самый. Но — «Федот, да не тот!» Он тут, в кудельных отходах, ведется круглый год. В глуби прелых куч он до того юркий, что его не вдруг и изловишь. Кроме подвижности в нем других положительных качеств много. Крепок и живуч кудельный червяк: красен, что спелая брусника, с желтым, далеко рыбе видным, ободком возле вертящейся остроносой головки. Но главное достоинство червяка состоит в том, что он имеет запах льняного семени, неповторимый, древний, смачный. Против этого запаха даже современная сверхобразованная рыба устоять не может.

Рано поутру едем мы как-то дружной артелью на водоем, греемся разговорами об ожидающем нас неслыханном клеве и правимся к кудельной фабрике — червячком разжиться. Выходим из машины и дивимся: пейзаж изменился, фабрика обнажилась, бодренькая такая, прибранная, марает дымком небо. И никаких отходов возле фабрики. Если б сгорели, тогда б и фабрике несдобровать. Не иначе как строгая тут комиссия побывала совместно с пожарным генералом. Ищем в жалких остатках отходов, по щелям и канавкам червяков. Они, насмерть перепуганные, забились кто куда, в старые колеса, под доски, иные даже в гайки, во всякие патрубки железные, в резиновые шланги позалазили. И не шевелятся! А уж пойдет крах жизни — так пойдет! Вахтер с разящей усмешкой сообщает: червяка не жди, больше червяка не будет. Негде ему стало вестись. Подкосили нас, горемышных рыбаков, буржуи. Происк против советских рыбаков начали.

— Какие буржуи? — взревели озлившиеся рыбаки.

— Бельгийские!

Шире — дале. Выясняется, что сперва заграничные туристы увидели, затем буржуазные дельцы выведали, что у нас на Руси лежат вековые запасы отходов льна и мы не знаем, что с ними делать, куда их девать. Только то и можем сообразить, что плакаты вывесить: «Не пали костры на территории фабрики!», да сторожа с дробовиком поставить, пожарную машину держать на изготовке и команду, желательно малопьющую, высокосознательную.

А буржуй, он же и без ресурсов и без сырья догнивает, он всякому сыроу, даже бросовому, радый. Пронюхали бельгийские дельцы про льняные отходы и просят — «Отдайте!» «Да ради Бога! Хоть задаром!» Но они ж дельцы и ничего даром не дают и не берут. Предприниматели мало того, что ликвидировали пожарную «напряженку» возле фабрик, еще и деньги за отходы отчислили. Но поскольку деньги у них свои и им их жалко, они на отоваривание поперли.

«Залежалые товары сбывают», — догадались знатоки. Но деревенские недотепы и таким товарам были рады, долго форсировали в них. Я и сам приобрел в сельмаге бельгийское пальто, да лег восемь его и не снимал с себя; потом сын, пришедший из армии, его донашивал; после внуку из того пальто какую-то куртку изобразили...

Товары-то и насторожили кой-кого — стукнуло в голову органам узнать: зачем все же бросовое кудельное барахло понадобилось возить в такую даль? Не вражеских ли лазутчиков хотят нам через куделю всучить, а может, то коммерческая надуваловка общего рынка, на которую капиталисты всех мастей ох как горазды?!

Недавний пример уж больно настораживал: начали предприниматели одной, почти дружественной нам страны, покупать в одном, опять же вологодском райцентре местную керамику. Обыкновенные в общем-то горшки и кринки, их и сами производители не брали из-за нетоварного вида и плохой прочности. Завалы продукции образовались на складах и во дворе. И вот зарубежные покупатели на эти бросовые горшки обзарились. С каждым годом заказы возрастают, поставки увеличиваются. Районная газета из номера в номер шумит: «Нас Европа знает!»

И только одна претензия из-за кордона последовала: ценная продукция шибко бьется в дороге, нельзя ли упорочнить упаковку? Вологодские трудящиеся рады старать-

ся — сменили дюймовую доску на плаху, в два слоя ее колотят, перегородки меж горшков ладят. Тем временем мастерская по производству керамики в соревновании кого-то победила, аж министерское переходящее знамя получила. Районные и областные власти начали подумывать насчет того, чтоб модернизировать мастерскую в фабрику широкого профиля, разнообразить и увеличить ассортимент продукции, рынок сбыта расширить, установить деловые контакты с надежными партнерами могучего капитала. И преобразовали бы, и расширили бы, да уж больно много шуму поднялось, хвастовство местных деятелей обуяло. Коммерческий представитель торговой фирмы по пьянке, не иначе, и проговорился: плевать, мол, хотели капиталисты на вологодские горшки, вовсе не они привлекли внимание моего босса, а первоклассная русская древесина, в которую укубаривается продукция. Сами же горшки — керамику так называемую — сперва выбрасывали на свалку, затем ею крепили морской берег и, чтоб совсем ничего не пропадало даром, истолченную крошку использовали для покрытия тропинок в парках. Из русских же замечательных досок делается прекрасная мебель, и хитрющие предприниматели имеют с нее огромную прибыль...

Ну, не гады, а?! Как вот с ними дружбу водить? Сотрудничать? Торговать? Соревноваться?

С кострой, правда, честно все было, не происк и не обман. Бельгийские строители прессуют из костры самый современный стеновой материал. Внутренние стенки в домах, состряпанные из льняных отходов, охотно пропускают тепло и туго — звуки. Легки они и крепки. Кроме того, стены из костры, отливающие желтой гладью и усыпанные серебром костряных искр, не требуют обоев и украшений — красивы сами по себе.

Бельгийские строители не секретничали, предложили выгодный контракт: построить ближе к сырью, стало быть, к кудельным фабрикам, экспериментальный цех по переработке льняных отходов и научить наших специалистов делать стеновой материал. Наши строители — фигу им, мол, сами с усами! — подключили два НИИ, вуз да еще три крупных объединения, создали лаборатории, полигоны, отделы и подотделы, парторганизацию, профсоюз, создали и первичную комсомольскую организацию, роту охраны паняли, плакаты и диаграммы о будущих достижениях парисовали, стенды оформили и взялись за дело.

Целый комбинат в поту трудился, осваивал новую продукцию, и будто бы даже красивые стены в новые дома вставили. Но стены скоро обвалились, рассыпались, строительный эксперимент, взявший широкий размах, был приостановлен.

Перед отъездом с Вологодчины я видел снова утопающие в грязных сугробах отходов кудельные фабрики, да закрываются и эти фабрики одна за одной. Сеять и убирать лен во глубине России больше некому. Крестьянский народ поумирал или покинул деревню; городскому населению управляться с трудоемкой сельхозкультурой накладно, успеть бы до морозов картошку выкопать и овощь хоть кой-какую кое-как выдергать.

ИТАЛЬЯНСКАЯ РУБАХА

«Наш скорбный труд не пропадет...» — давно еще сказано. И в самую точку.

Поехали вологодские знакомцы на корабле по разным морям и странам. Из Одессы ушли, в Риге пристали. За двадцать дней Европу обогнули! Круиз называется. И увидались они за этот круиз такого, что несколько воскресений приходили к нам домой и вспоминали про свое путешествие. Ну и подарочки маленькие, но приятные сердцу, преподнесли, обновы всякие показали. Мне очень понравилась рубаша на моем знакомом — черная кокетка, под нею болотного цвета квадратные пятна. Все в меру, все радует, а не угнетает глаз — руками делана легонькая рубаша, легняя, и не искрит, значит, кроме всего прочего, пошита не из искусственного материала, скорей всего из хлопка какого-нибудь заморского, может, даже арабского.

Почему-то нам хотелось утвердиться, что именно из арабского или, в крайности, из персидского хлопка эта красивая рубаша сотворена. Задрали мы рубашу на интеллигентно наливающимся пузце знакомого. Пуп на пузце, впрочем, был завязан вкось, и даже не завязан, а ровно бы завинчен на сорванную резьбу и в отличие от нынешних, по науке возделанных пупов, был слишком выразителен. «Я наши вохгогские пупы хоть в бане, хоть на пляже узнаю, — пояснил наш гость. — Долгое время в родилке у нас Ефимья Хрящева работала, спиртиком грелась и пуп как присадит человеку — не оторвешь!»

Шаримся мы по рубахе, разглядываем знаки и надписи на этикетках и ленточках, много их — надо ж как-то продукцию сбывать, вот и расписывают. Реклама!

В подол рубахи уголочком вшита белая этикетка. На этикетке когтистая птица отштампована, значки, слова «Италиано — Милано», ниже еще несколько значков и слов, в конце — «фолекда». Давай мы дальше смотреть, под нагрудным карманом, за воротом — везде когтистая птица и опять значки «Италиано — Милано», и опять «фолекда».

Сели. Выпили. Думаем. Знакомый вспотел от напряжения. Клянется — никакой подделки! Не вставлял он этикетки в рубаху, как современные стилиги — для обмана народа и приманивания девок. В годах уже, на солидной должности, лекции по атеизму читает, в свободное время «заметки натуралиста» в «Красный Север» пишет, про кротов, воробьев и о всякой живности. Он, может, в писатели выйдет и, как все вологодские ребята-писатели, за сохранение жизни и за правду станет бороться. И чтоб врал? Пусть беден, да честен, и рубаху эту, так ее и переэтак, в Италии он купил, на Апеннинском полуострове, и даже не с рук, в магазине купил, па последние туристские гроши!..

Едва мы успокоили человека. Скоро и загадка разрешилась. С трудом, но отыскали мы в Вологде человека, меречающего по-итальянски, и он растолковал нам загадочное слово — сия рубаха сделана из высокосортного вологодского льна.

Значит, наши русские бабы всю грязь съели, пылью и кострой легкие засадили, довели сырье «до кондиции», и его за границу продали! Итальянскую рубаху знакомый наш с досады подарил на день рождения родственнику в Вохтюге, но я еще долго травил его. Как увижу, так и руку вверх: «Чао, Фолекда!» А он мне: «Пош-шел ты!»

Деревушка вологодская, в которой я долго жил и работал, все еще жива. Несколько домов в ней светятся окнами, курятся дымом по утрам, в ночи лает одинокая собака. Но бригады здесь уже нет. Завалился конный двор, проломился посередке хребет крыши, опустели фермы, зияют выбитыми окнами, на дрова разобраны амбары и гумна, в которых сушились снопы, хранился лен.

Загуменные поля теснит дикоростом, но в середку их

иногда еще забежит ненадолго трактор с широкими сеялками и боронами, потрещит, побегаёт — и готово дело. Сев закончен. Под осень свернет с большой дороги опасно кренящаяся громада комбайна, смахнет низкорослицу овса или пшеницы с поля, насорит кучи соломы, оставит взъерошенную стерню и разлохмаченный осот; недокось по окраинам поля и возле межей, дико обросших бузиной, малишником, забудет. Уйдет комбайн неторопливо и важно куда-то по дорожке и исчезнет вдаль.

С сытым, базарным криком кружится с утра до ночи над неряшливо убранной плешинкой поля воронье, трещат сороки, нарядная прыгучая сойка елочной игрушкой лепится на кучи, об солому чистит крепкий клюв и от нечего делать дразнит ворон. Те шайкой налетают на сойку, гоняют ее над полем и по зарослям, крик, дрязг, драка. Выдернут вороны из надоедной птицы яркое перо, таскают его в клюве по воздуху, роняют, подхватывают и горланят радостно, возбужденно, как дети в цирке.

Вороны в Сибири кричат так же противно, как и на Вологодчине. Черные они здесь и, как всюду, хозяйски горласты. Много их развелось. Говорят, они переживут нас. Может быть, может быть. Ту, сделавшуюся мне родной, вологодскую деревушку уж точно переживут и подадутся на городскую обильную помойку.

Но пока жив человек, живы в нем и воспоминания. Закрою глаза — и вот оно, льняное поле, голубое под голубым нетленным небом, тихая зелень, тихий сон, скромный северный плат, до девичьих или вдовьих уже бровей — «что так жадно глядишь на дорогу?»...

А на пустынной российской дороге ни души, ни звука. Обмерла земля, унялось живое поле, не светится голубым и желтым. Нет пугников, нет машин, лишь изредка потрещит шальной мотоцикл браконьера да в недостижимой выси, обронив за собой гулкий звук, пролетит льняной искрящейся былкой куда-то и зачем-то заблудившийся в мироздании самолет.

ЕЛЬЧИК-БЕЛЬЧИК

Притча

Ельчик-бельчик сначала не был Ельчиком-бельчиком. Он был икринкой. Ма-а-ахонькой икринкой, с пшениное зернышко величиной и желтенькой, как пшениное зернышко. Таких зернышек-икринок, неглубоко прикопанных в донном песке и в гальке, было очень много. И в одном таком зернышке, свернувшись кружочком, спала рыбка. Потом ей тесно стало спать кружочком. Она начала распрямляться. Слабенькая, тонюсенькая пленка икринки лопнула, и у рыбки высунулся наружу хвост. А раз хвост появился, значит, надо им что-то делать. Рыбка шевельнула хвостиком, уперлась им в дно родной речки, оттолкнулась и всплыла. Но воды много было, глубоко было, и рыбки не подняться бы наверх, не осилить течение, да икринка-то зачем? Будто надутый шарик, завязанный на голову рыбки, она поднимала его выше, дальше, и рыбка почувствовала, как ей стало легко и тепло.

Рыбка еще ничего не видела, потому что голова ее, значит, и глаза ее были залеплены пленкой икринки. Не знала рыбка и того, что вместе с нею со дна реки поднялась и уплыла на прибрежную отмель, пыльно в воде клубящаяся, стайка таких же, как она, рыбок. Ничего еще не видя, не слыша, рыбки уже чувствовали страх и, похожие на серебристых мушек с одним крылышком, металась туда-сюда по отмели. Иные из них выскакивали на поверхность воды, тогда казалось, что пошел мелкий-мелкий дождик, и дождевики эти покрывали воду пугливыми кружками. Иные рыбки-мотыльки сослепу выбрасывались на камеш-

ки, на берега, на водяную траву или на застрявшую в воде коряжину и обсыхали на солнце, делались искрами, и береговые птички — трясогузки, кулики и зимородки склевывали их, питались ими.

Но вот маленькие рыбки стерли об воду остатки надоедливой икринки и, увидев в первый раз в жизни свет, солнце, родную реку, заплясали, заплескались от восторга, без конца повторяя: «Как прекрасна жизнь! Как прекрасно солнце! Как прекрасна наша река!» Ельчики — сестры и братья, никогда до того не видевшие друг друга, стали знакомиться, давать друг другу имена. «Как тебя зовут?» — спросили они маленькую веселую рыбку. «Ельчик!» — радостно ответила рыбка. «Мы все ельчики!» — ответили ему братья и сестры. «Какое твое имя, скажи?» Ельчик задумался. И тут он увидел рядом с собой в светлой воде, а ельчики живут только в светлой, прозрачной воде, беленькую-беленькую рыбку, догадался, что это его тень, и радостно закричал: «Бельчик! Бельчик!»

«Ельчик-бельчик! Ельчик-бельчик!» — радостно закричали рыбки и всей семьей поспешили на отмель, к водяной травке, где много было всякого корму, и личинок, и семечек травяных, мошки и комары там падали в воду. Ельчик-бельчик метался по воде, выпрыгивал наверх, ловил мошек, собирал с травы личинок и наверхосытку отыскивал возле берега, за камешком или в заливчике травяное семечко и долго держал его во рту, будто конфетку-леденец. Такое было сладкое семечко.

Питался Ельчик-бельчик с восхода солнца и до захода солнца. И очень быстро рос. Кто хорошо ест, тот быстрее растет и становится сильным, — понял Ельчик-бельчик.

И он старался расти быстрее и стать сильным. Поэтому часто отделился от родной стайки, не слушался маму-ельчиху и папу-ельца, которые их зорко стерегли, не позволяли удаляться в траву, в коряги и к большим камням, под которыми спал разомлевший в теплой воде налим и копался в песке речной бычок-подкаменщик. За большую голову, за неуклюжее туловище, за лохматые плавники его презрительно называли пищуженцем.

* * *

Однажды Ельчик-бельчик отбился от родной стайки, позабыл про маму-ельчиху и про папу-ельца, да и пошел путешествовать по реке. На пороге-Ревуне побывал, хо-

тел пройти меж камней дальше, но вода здесь так мчалась, пенилась, кружилась, так ревела и содрогалась, что Ельчик-бельчик побоялся всего этого, полюбовался пестрыми харюзками и парядными, как лесные красные лилии, ленками, подивился тому, как они резво тут плескались, лезли в самую струю, под водяной шум, в бой порога, шевеля, на лепестки цветов похожими, плавниками, крича друг другу: «Хорошо!» Позавидовал им, погрузил о том, что он не может здесь жить, так же вольно резвиться, да и подался вниз по реке — искать корм да чтоб побольше увидеть всяких диковин и изведать разных приключений.

Ниже порога он и заметил, как из-под большого бурого камня клубами вырывается мутная вода, кто-то под камнем пыхтит, роется, гребет плавниками и рылом дно реки.

«Ты кто?» — остановившись за камнем, спросил Ельчик-бельчик. «Проваливай!» — послышалось в ответ. Голос был скрипучий, недовольный. «Ладно уж. Жалко уж и сказать», — обиделся Ельчик-бельчик.

«Работаю. Корм добываю. Отвяжись и не мешай!» — «Хорошо-хорошо!» — согласился Ельчик-бельчик и, увидев в мутной воде плывущую личинку жучка-бокоплава, раскрыл рот и проглотил ее.

«Я работаю, как шахтер, в земле роюсь, — рассердился бычок-подкаменщик. — Личинку вот выкопал, а ты ее слопал! Воровать, молодой человек, стыдно! Так ты тунейцем сделаешься, однако». — «Ой, какой вы дяденька-пищуженец, сердитый», — сказал Ельчик-бельчик.

«Не сердитый я. Труженик я. Кормилец-поилец. У меня тоже дети есть. Хар-рошенькие такие, пучеглазенькие, пузатенькие...» — Вспомнив про детей, подкаменщик сразу подобрел, крыльями смиренно зашевелил, во рту прополоскал, всю грязь из жабер вымыл, подышал ими, отряхнулся и миролюбиво уже сказал: «А по реке больно-то не шляйся. Здесь знаешь сколько всевозможной твари? И все хотят кого-нибудь поймать и слопать. Сунься вон в протоку, там, в траве речной пират — щука-подкоряжница — так и ждет, кого бы схватить и заглотить. Под листиками кувшинок ребята-окушата дежурят. Эти бандой окрывают да так погонят, дай бог ноги. Они с хохотом, улюлюканьем охотничают, как на футболе. Да это все, брат, страхи не страхи. Тайменей видел?» — «Не-эт». — «Как же это ты не видел? Никому не говори, что не видел. Им

чтоб почтение и трепет вокруг. Огромные они, краснобокие. Будто генералы в лампасах. А хвост у них!.. Оборони и помилуй нас, водяной! — закрестился всеми плавниками подкаменщик. — Будто лопатой вдарит таймень по воде — сразу кверху брюхом всплывешь! Тайменям все нипочем: хоть ондатра, хоть белка, хоть змея по воде пльви, птица ли какая — догонит, сцапает, только па зубах хрустнешь! Да вон они! Вон они! Наелись, в затишье идут отдохнуть. Прощай, брат! Берегися...» — и подкаменщик шустро под камень стриганул, мигом закопался, мутная вода веревочкой взвилась за его хвостом, и сделалось все шито-крыто.

А мимо оробевшего Ельчика-бельчика, лениво работая землянично-алыми плавниками, проплыли две огромные, в полбревна величиной, рыбины. Были они оспаны по туловищам серебром медалей и золотом орденов, спины их могучие были темны, лишь чем-то туго набитые животы были пезными, бабьими, и они бережно несли их, боясь ушибиться, не касались дна, скользили в воде хозяйски свободно, надменно, повелевающе. Ну, а хвосты — не соврал пищуженец — всем хвостам хвосты! Будто подкрашенный руль корабля, крылатый, закругленный на концах. Чуть шевельнулся хвост — и один таймень мигом оказался рядом с Ельчиком-бельчиком. Приостановился таймень, глянул на новожителя круглым, свинцом налитым взглядом, и сказал сотоварищу по речной команде: «Мал еще. Пусть подрастает. И тогда... Хо-хо! В службу пойдет, аль скушан будет». — Генерал-таймень подмигнул Ельчику-бельчику и, чтоб припугнуть его, не иначе, хлестанул хвостом так, что Ельчика-бельчика вышибло вверх и он, кружась листочком в воздухе, летел, летел, пока обратно в воду не упал.

Генерал-таймень пошутил, конечно, да Ельчику-то-бельчику не до шуток. Никак не мог он перевернуться на живот, упереться в воду и уйти вглубь. Так и пльл на боку, беспомощный, беленький, а над рекой кружился коршун-скрипун, высматривал добычу — большую или мертвую рыбу, птенца, отбившегося от табуна или выпавшего из гнезда, мышку, обшаривающую речную траву в поисках корма. Коршун-скрипун увидел Ельчика-бельчика, спикировал вниз, притормозил над водою и схватил его когтями.

«Все! Конец! — подумал Ельчик-бельчик, — доигрался, добаловался! Мама! Папа!» — закричал он. Но мама-ельчиха и отец-елец были далеко, караулили детей своих,

кормились вместе с ними, и не слышали они Ельчика-бельчика.

На этот раз спас Ельчика-бельчика случай. Коршун-скрипун увидел, что над водой бьются, черным ворохом клубятся вороны и никак не могут схватить большую, едва шевелящуюся рыбицу. «Ха! Растяпы! Орать только, базарить!» — презрительно проскрипел коршун и, разжав когти, ринулся за большой рыбиной, подцепил ее острыми когтями и, крича воронам: «Фигу вам! Фигу вам!» — унес добычу в лес, голодным, зевастым коршунятам, дожидавшимся папу в высоком гнезде.

Ельчик-бельчик, задохнувшийся, раненный острыми когтями коршуна-скрипуна, долго падал с неба, и когда шлепнулся в воду, ни хвостом, ни плавником пошевелить не мог. Вода кружила и несла его куда-то. Он хотя и не шевелился и едва дышал, но радовался врачующей его воде, родной реке, радовался, что остался жив, и давал себе слово: никогда больше не отбиваться от родной стайки, всегда слушаться маму-ельчиху и папу-ельца, и вообще жить смирно, служить примером родному коллективу.

Обессиленного и раненного, Ельчика-бельчика принесло в тихую протоку, затянуло под круглый лист кувшинки. Ельчик-бельчик возился под листом кувшинки, пробуя со спины опрокинуться на брюшко и плавать, как полагается всем здешним рыбам.

Любопытная трясогузка села на качающийся лист, заглянула в воду и застрекотала: «Рыбка! Рыбка! Раненый ельчик. Где его папа? Где его мама? Надо помогать ельчику! Надо помогать...» — «Как ему теперь поможешь?» — сказал задумчивый зимородок, сидевший на самом кончике ивового прутика. Зеленый, всегда нарядный, на елочную игрушку похожий, он нагнул прутик до самой воды, смотрел в нее, охотился на букашек и малявок, добывал пропитание детям. Ему было не до Ельчика-бельчика. Долговязый куличок-перевозчик, бегающий по берегу, тонко причитал: «Тити-вити, тити-вити!» — что значило: «Помогите! Помогите!» Чайка-почекутиха, пролегая над протокой, покосилась и сказала: «Вот и помогите, раз вы такие добрые. Не то я его съем и тут же задом выплону — чтоб не вольничал».

Никто не мог и не хотел помочь Ельчику-бельчику. Спасайся сам, выздоравливай сам, раз не слушался маму с папой.

Вечером на протоке открылась охота. Веселые беспо-

щадные окуни бандой окружали и гоняли обезумевших малявок. Где-то в траве, меж коряжин, раз-другой плеснулась и кого-то поймала подкоряжница-щука. Проплывавая веселой, жадной компанией мимо Ельчика-бельчика, хваткие, насытившиеся окуни притормозили, в философские рассуждения пустились: «Доходит парняга! А все отчего? Веселой жизни захотел!» И как таймени-разбойники во всю пасть — хо-хо-хо да ха-ха-ха! Подрастай, говорят, мы тебе объясним, что такое се-ля-ви... «Хо-хо-хо!.. Да он еще по-французски не волокет, робя! Научим! Объясним глубокий смысл жизни»...

* * *

Уж солнце на закат ушло, уж все успокаивалось на протоке, когда из травы молча, незаметно выплыло, и не выплыло, — а возникло что-то такое похожее на сучковатую корягу. У коряги было плоское рыло, широченный рот, носище с загибом, сапогом, тупым покатым лбом, змеиные, в упор пронзающие глаза и пестрое хвостатое тело. «Щука это, подкоряжница!» — догадался Ельчик-бельчик и понял, что теперь уж ему совсем конец пришел.

Но подкоряжница была сыта, сон ее уже одолевал, дремота брала и, зевнув пастью, до горла усаженной шильями зубов, она протяжно, лениво и складно молвила: «Фи, мы, малявка, сыты! Мне и рот-то открывать ради такого октябрьенка не хотца», — и пошла было в траву, под коряги, на покой, да вспомнила, кто она такая, надо ж страху нагнать на всех обитателей протоки, чтоб не дремали попусту, чтоб дрожьмя дрожали до утра, и в такой узел воду завязала, так вдарила хвостом, что все рыбины и их детишки сыпанули в разные стороны, кто над водой, кто в воде, кто и на берег в панике выметнулся. Птицы с испугу взнялись, вороны заорали, чайка-почекутиха, пролетающая над протокой, вскрикнула: «А, чтоб ей пусто было, этой подкоряжнице!» Сделав круг над тем местом, где унялась и заснула под корягой пажравшаяся хищница, и увидев, что никакой поживы от нее не осталось, чайка-почекутиха всех пернатых обитателей берега успокоила: «Спите с миром, братья! Подкоряжница дрыхнет, таймени отдыхают», — и, опустившись на плоский камень, сама осела на подогнувшиеся лапы, замерла в чуткой дреме. И снился ей рассветный час на земле, пробуждение неба за лесом, река, усыпанная рыбой, и двое неуклюжих, на

капусту похожих чают, уснувших под кустами, па другом берегу и готовых заорать на утренней зорьке, потребовать пропитания. «Обжоры мои пенаглядные!» — умилялась чайка-почекутиха, сопно распускаясь пером и телом.

Ельчика-бельчика ударом щучьего хвоста выбило из-под листа кувшинки и легкой волной вынесло на речную струю. Здесь, в прохладной, свежей воде, ему сделалось полегче, он опрокинул себя со спины на брюшко, увидел большой рыжий камень и решил проситься на квартиру у труженика-подкаменщика.

«Можно к вам?» — спросил Ельчик-бельчик. «Кого это черти несут на ночь глядя? — слышалось из-под камня. — А, это ты? Ну, давай, устраивайся за камнем. Утром твою семью искать будем, а то пропадешь!..»

* * *

Бычок-подкаменщик нашел стайку ельцов на плесе. И какое-то время Ельчик-бельчик жил совместно с братьями и сестрами, норовил плавать ближе к маме-ельчихе и папе-ельцу, в середине стайки держался. Хватит, натерпелся страху и лишений. Но и здесь, в родной семье, заметил Ельчик-бельчик, жизнь была беспокойная, страху полная. Со всех сторон маленьких, беленьких и веселых рыбок-ельчиков караулили опасности. Сверху норовили их схватить и унести чайки, скопы, вороны, коршунье. В траве их поджидали водяные крысы, хищная щука-подкоряжница, шайка окуней. Но самый строгий контроль за жизнью ельцов осуществляли водяные генералы-таймени. Они их пасли.

Все лето генералы-таймени держались возле стаи ельцов, и тот из рыбьего племени, кто был слаб или болен, изнемогал от давящего гнета, или в поисках корма отбивался от семьи, становился их законной добычей. Всякий недисциплинированный, порядок нарушающий или желающий порезвиться, в сторону сигающий член семьи так же безвозвратно и навсегда исчезал во чреве пастухов. Генералы-таймени даже и труда особого не употребляли, чтоб догонять отщепенца, глушить хвостом негодника. Они просто открывали ненасытную пасть, делали вдох — и рыбка сама, сложив крылышки, покорно укатывалась в огненно-пылающий кратер тайменьего рта, исчезала в бездонной и пенасытной утробе. И нельзя было держать пастухов впроголодь, томить ожиданием — озверелые, они

врывались в стаю, глушили и сжирали тогда правого и виноватого, больного и здорового.

Ельчику-бельчику казалось, что мать-ельчиха с отцом-ельцом имеют тайный и давний союз с конвойной силой, они как бы нечаянно, невзначай, ненароком приносили в жертву некоторых детей своих, но чаще собратьев по речному племени. Без видимой причины папа-елец с мамой-ельчихой опрометью бросались вперед, начинали метаться по плесу, и задремавшие, слабые сердцем ельчишки с испугу стригали в сторону, в пену, в темень и оттуда уже не возвращались. Иногда мама-ельчиха и папа-елец приводили стайку на теплое мелководье, на кормную травочку, начинали прыгать, резвиться, ловить комаров, поделков, пугать стрекоз, уснувших на вершинах трав, высунувшихся из воды.

Обрадовавшись стайке, доверившись рыбьему коллективу, со всех сторон па шум и плеск спешили из укрытий малые рыбы дети: сорожки, пескаррики, гальяны, язьки и голавлики, даже тиховодные карасики и подлещики из протоки выплывали и тоже шлепались лепешками в воду, круглые пузырьки от удовольствия пускали. «Хорошо-то как! Весело всем вместе!..»

Тем временем мама-ельчиха и папа-елец все сваливались, сваливались к плесу, уводили за собой в глубину семью, обнажая отмель, кипящую от резвой рыбьей мелочи, как бы снимая с нее белое, искрящееся покрывальце. На отмели неожиданно возникали генералы-таймени. Они так страшно носились по мелкой воде, что их острые плавники торчали наружу, огненными резаками пластали воду, как сталь, лопаты хвостов ахали пушками. Вода мутилась. Волны схлестывались меж собой, все кругом кипело, брызги металлическими осколками летали словно от взрывов мин и снарядов. Рыбок било, подбрасывало, катило на отмели, засаживало в коряжник. Будто сенокос начался на реке и в протоке, только вместо скошенной травки пластами плавали оглушенные рыбы и всякая разная водяная тварь.

Генералы-таймени и вели себя словно коровы на сенокосе. Они лениво плавали по отмели, стогняли рылом и хвостом в кучи оцепеневших рыбок и горстями пожирали их. А вокруг по-шакальи действовали, шустрили невесть откуда набежавшие помощнички-стервятнички— окуни, ерши, ленки, голавли, даже язи приворовывали на стороне, и два облака: белое — из чаек, черное — из ворон,

кипели, катались под плесом, пьяно кричали, горланили, торжествовали, пируя и пользуясь дармовщиной. Даже лохматые, на капусту похожие чайта всплыли на воде и бестолково вертели головами, гакая и еще не понимая, из-за чего поднялся содом на реке. Однако рыбешку-другую ухватывали клювом и тоже возбуждались от дармового корма.

Щука-подкоряжница на что уж шакалка и захватчица, не пустившая из травы покусочничать своих шустрых щурят, сокрушенно трясла головой, на конце которой, в твердой губе болталась блесна, ввечеру оторванная ею со спиннинга паезжего рыбака. «Что деется! Что деется! Форменное изменничество... Хаптурой это при моей пробабке называлось — поминальной едой, где всякому дармоеду раздолье».

«А пинче халтура! — поддакнул выюн, высунув узкую голову из мягкого, теплого ила.— Надо кон-фэрэньцию по разоружению собирать, иначе все погибнем!..»

«Кон-фэ-рэн-цию,— передразнила выюнка боевая подкоряжница.— Это значит: я вынай зубы! Таймени, судак и жерехи свои стальные челюсти в утиль, на протезы сдавай, так? Окунь и ерши, всякие протчие добыгчики колючки состригай, мри полноценный кадр с голоду, так? Кто же в реке жить останется? Ты? Пескарье? Ельцы! Гальян! Сорожняк! Карась-шептун! Лещи косопузья! И разная сорная рыба. Кто ж вас, блевотников, гонять-то будет? Аэробикой крепить ваш мускул? Сообразилровку вашу развивать? Охранять, наконец, границы священного водоема нашего? Упреждать и спасти от нашествия нашего вечного врага — рыбака? И как, наконец, быть с хватательным инстинктом, ему ж тыщи лет. Пропагандом хотиче прожить? Боевым и божецким словом сознательность у рыбака-врага пробудить? Так? У-ух, пацыхвисты гребанья? Недое-ден-нья!»

Не дослушав речь в исступлении впавшей щуки-водительницы, выюн сконфузился и в мягкий ил шильцем всунулся. Подкоряжница же, разгорячившись, хлобыстнулась всем телом об ряску, оглушила в ней двух лягушек, кулика с кочки сшибла и в водяных зарослях скрылась.

Ельчик-бельчик, заслышав шум и громкую речь речного начальника, решил полюбопытствовать, что там в протоке происходит? Может, уму-разуму поучится у великих руководителей водоема? Поплыл через отмель на протоку Ельчик-бельчик. А там генералы-таймени заку-

сывают, облизываются: «Ну что ты сделаешь! — хлопнул один из них себя по дородному пузу плавником. — Опять этот оглоед! Ты чего тут делаешь? Подглядываешь! Фискалишь! Ты зачем нам кушать мешаешь?» — генерал-таймень торпедой метнулся за малой рыбкой, ухватил ее за хвост и, ловко, натренировавши перебирая скобами повелевающего рта, начал разворачивать Ельчика-бельчика головой на ход — так белую вареную галушку отправлял когда-то обжора, хмельной кум Грицько в свое бездонное брюхо.

Но в это время на берег реки спустилась деревенская старуха — мыть и полоскать длинные полосатые половики и одним половиком так хлестанула по воде, что таймени приняли это за грохот взрывчатки, которой тут, в подпорожье не раз баловались сплавщики и разный бродячий народ, да и драпанули в глубь вод, потому что храбры они были лишь в воде, среди рыб, которые все подряд были меньше их ростом и слабее силой.

Ельчик-бельчик, лишившийся половины изящного хвостика, помятый пастью тайменя, едва правясь на боку, приплыл к родной стайке.

— И что с тобой беспутным делать? — задумались мама-ельчиха и отец-елец. — Оставить здесь, так эти благодетели сегодня же подберут тебя и проглотят. А знаешь что, сын наш? Там вон в протоку впадает ручей, он начинается со светлого, холодного, прозрачного ключа. Ты — рыбка светловодная, нащупай струйку, ножом просекшую стоячую воду протоки, поднимись до самого ключика, постой там, подумай о своем поведении, подлечись во здравнице. Водяной бог даст и поправисси. Да смотри! — крикнули родители вслед почти на боку ковыляющему по воде Ельчику-бельчику, — не забывай, что ты маленькая беззащитная рыбка, подкоряжницы берегись, окуней стерегись, крысиные засидки стороной оплывай...

* * *

Ельчик-бельчик по холодной свежайшей струйке воды дошел до устья ручья и много дней правился вверх, по течению, питаясь в пути наплывающей мошкаррой, водяными козявками, потом настолько окреп, что и паута поймал, а слепней, мух и тлю разную, падающую в воду, брал запросто.

Один раз он увидел хлопающую крыльями по воде

бабочку, его взял азарт, и он ухватил бабочку за крыло, пытался утянуть ее в воду. Но бабочка так хотела жить, так отчаянно билась, что оторвала клочок крыла, приблизилась к берегу, выползла на него, обсохла и, неуклюже вихляя раценым крылом, улетела. «Так же вот и мне оторвали полхвоста. Одно верхнее перышко осталось. Что же это за жизнь такая? В чем ее смысл? Или везде такое се-ля-ви, как глаголят окуни».

Но Ельчик-бельчик был еще юн, дела его шли на поправку, долго думать о смысле жизни он не мог, не умел, да ему и не хотелось этого. Слишком много было кругом завлекательного, интересного. В первую голову его интересовали птицы. Каких только не было в гуще ручья птиц! Как только они ловко ни прятались и как только они ни пели! И всякая птица пела с удовольствием, всякой своя песня нравилась. Иногда они роняли с кустов белые, жидкие капли, и Ельчик-бельчик, думая, что это червячок или гусеница, бросался на них, хватал ротом и потом долго отплеывался. «Фу, какая бяка! И как не совестно мазать ручей?»

Светлый ручей ему очень нравился. Он был говорлив, дружески ласков, весь в зарослях смородины, черемушника, ивы. По берегам его росли яркие, на угли похожие цветы — жарки, гордо и празднично светились марьяны коренья — дикие пионы, и всюду голубенькие платочки незабудок, веселый ситец беленьких росянок, синие пятна колокольчиков.

И в воде было много занимательного, интересного и привлекательного.

Под перекатами, на быстрине и в шиверах кормились харюзки, мгновению исчезающие при любой опасности. И ручей-то узенький, и деваться в нем вроде бы некуда, а вот поди ж ты — научились хитрые рыбки и здесь спасать себя. «Сложна жизнь! Ох, сложна! И напряженна», — думал Ельчик-бельчик, поднимаясь все выше и выше по течению и дивясь разнообразностям природы.

Наконец он достиг истока ручья и подивился его красоте. Ручей возникал из-под скалы. Как бы выдавленная камнем вода выступала сразу же по всему его подножью, лениво тут шевелилась, ходила кругами, образуя ненаглядное озерцо с песчаным дном и промытым до блеска камешником. По округе озерца уже образовалась растительность: дивные кругом цветы, зонтичные травы, кустарник кучерявился, вербы, склоняясь, гляделись в воду, и две из

них до того загляделись, что и упали в озеро, разломившись в корне с братним стволом, но и в воде осилившись, приподнявши вершинку, они росли космато, сорили семенем.

Озеро кишело мелкотой рыбьей. Ельчик-бельчик вспомнил, что у людей-ловцов это называется детский сад. И решил, что ему, маленькой, чистой рыбке, к тому же израненной и варварски искалеченной тайменями, — самое здесь место, никто его за вторжение в здравницу не осудит и дезертиром из ельцовых рядов не посчитает.

Ельчик-бельчик стал плавать в озерке и наслаждаться жизнью. На ночь он сплывал по ручейку в тень, под размытый бережок, прятался в черных корешках черемух, где и обнаружил укрывшихся хариузов, пескарей и даже старого знакомца — подкаменщика узрел, который, впрочем, не узнал Ельчика-бельчика и на радостное приветствие его не ответил. Когда же Ельчик-бельчик напомнил ему о встрече и обо всех происшествиях, какие с ним вышли, пищуженец только буркнул: «Это был мой папа», — и тут же скрылся под камнем, не желая болтать попусту.

* * *

Минуло сколько-то дней и ночей. Ельчик-бельчик считать не умел и потому не знал никаких сроков. Жизнь шла хорошая. Ельчик-бельчик совсем поправился, сделался резвым, и хотя без нижнего крылышка хвоста прыгать и ловить мошек было трудно, жизнь заставила его много тренироваться, чтоб быть ловким, легким и добывать себе пищу. Но чем он здоровей и ретивей становился, тем чаще к нему подступало неведомое чувство. Он видел во сне и наяву родную просторную реку, а не тенистый затаенный ручеек, начинающий путь в красивом, но чужом озерке. Он вспоминал стайку ельчиков — своих братьев и сестер, папу-ельца вспоминал, маму-ельчиху. И ему хотелось броситься вниз по ручью, пройти протокою, очутиться в родной, пусть и опасной реке, соединиться с родной семьей.

«Еще маленько покормлюсь, полечусь в целительных этих водах и подамся я из санатория «домой» — хорошо здесь, а все ж чужбина», — решил Ельчик-бельчик.

Но тут появилась она — прекрасная, скромная, серебром чешуек украшенная, по серебру пояском подпоясанная, Белоглазка. Она одиноко стояла под скалой, чуть в

сторонке от резвящейся рыбьей ребятни, с наслаждением дышала целебной водой, как бы и не замечая совершенно Ельчика-бельчика.

Он неуверенно приблизился к Белоглазке, кивком всего тела в почтительном поклоне поприветствовал ее, и она ему ответила снисходительным кивком изящного хвоста, чуть повела крылышками цвета промьтого камешка, хвост у нее походил на еще не раскрывшийся с ночи подснежник-прострел.

«Что я, инвалид и калека, могу значить по сравнению с такой красавицей? — загоревал Ельчик-бельчик. — Как и всякая красавица, она к тому же недотрога и если в реку выйдет, все ельцы за нею ухаживать сплывутся, может, какой кавалер покорит ее капризное сердце, а мне уж водяной бог, видно, счастья не сулил...»

Без дальнего намека, просто так, за компанию Ельчик-бельчик предложил Белоглазке свои услуги: «Не может ли он быть ей полезен? Не ознакомить ли ее с местными условиями жизни? Не помочь ли чем?»

«Да-да! Вы можете быть мне полезны и помочь обязаны, как мужчина, как рыцарь...» — и тут прекрасная Белоглазка поведала горькую свою рыбью историю.

Весной, идя на икромет и ничего не видя в мутной воде, ее родная стая целиком и полностью угодила в сеть. И Белоглазка угодила. Быть бы ей посоленной в деревянной вонючей бочке, но чайки-вертухайки кормились возле рыбаков, выдергивали из сети рыбок, воровали, точнее сказать, какая-то чайка, скорее всего почекутиха, выкрала и ее, Белоглазку. Но кто-то или что-то обжору-воровку напугало, или она позвать хотела подругу, раскрыла рот и выронила мягкую, почти безжизненную Белоглазку в воду. Теряющую серебряную чешую, со слепленными жабрами, с открытым ртом и мягкими крылышками, Белоглазку утащило в затопленные кусты, где она и отдышалась маленько, не была найдена хищниками и по совету благородного трудяги-подкаменщика подалась на излечение в этот исцеляющий ручей. Она достаточно поправилась, восстановила здоровье, и одно только томление и забота гнетут ее постоянно: весной она не отметала икру. Это бремя невозможно дальше носить. Она, рыбка зоркая и чуткая, давно заметила одинокого, тоже нуждающегося в утешении, ельца и подумала, что вот тот мужчина, который еще способен ценить жепщину, готов на благородст-

во, на самопожертвование, на создание прочной совместной семьи.

«Всегда готов! Всегда готов! Всегда!..» — запрыгал, заплескался Ельчик-бельчик в светлом озере.

«Ах, как мы все устали от лозунгов! — поморщилась Белоглазка. — Так хочется конкретных дел!» — и стала толковать Ельчику-бельчику о том, что создание семьи — не шутка, что современные вегреные мужчины не понимают, точнее, не всегда понимают всю ответственность свою: плодят детей, бросают жен по рекам, а это способствует распространению такого бедствия, как сиротство. Безнадзорные дети мрут от голода и неустройства, становятся легкой добычей чайки-почекутихи, ворья-воронья или хотя бы той же щуки-подкоряжницы — она не постыдится, глазом не моргнет, любое дитя, в особенности беззащитного сироту, бесстыдно сожрет.

Но Ельчик-бельчик не слушал наставления своей благочестивой, к морализаторству, как и все современные эмансипированные женщины, склонной подруги. «Как прекрасен этот мир!» — пел он и прыгал. Белоглазка дополнила: «Мир прекрасен еще и тем, что в нем есть место братству и не перевелись в реках и озерах такие чуткие и благородные рыцари, как вы...»

От таких речей Ельчик-бельчик даже присмирел, строже сделался и молча последовал за Белоглазкой под скалу. Там, в тени нависшей скалы, на крупном песке Белоглазка, мучаясь, уронила и рассеяла по дну щепотку мелкой икры. Ельчик-бельчик, тоже мучаясь пикогда еще не испытанным наслаждением, покрыл эту икру двумя точками белых молок. Сделавшись мужем и женой, Белоглазка и Ельчик-бельчик долго и сосредоточенно закапывали оплодотворенную икру мелкой галькой и песком.

* * *

Опустошенные, усталые, справив назначенное им природой родительское дело, едва шевеля плавниками, они сплыли по ручью в подмытый берег, спрятались в корешках, чтоб постоять здесь, отдышаться, набраться сил и продлить совместную жизнь.

Но что-то не давало покоя Белоглазке, она тревожилась, выплывая из-под берега на струю, процеживала воду алыми жабрами, пробовала ее и, наконец, отчаянно закричала: «Это он! Это он, пегодай!..» — и отважно броси-

лась вверх по течению, муж ее, Ельчик-бельчик, — следом.

По речке вилась и размывалась серая муть, ельчики застали под скалой бычка-подкаменщика, занимающегося нехорошим, прямо сказать лихим, разбойным делом: он лопушистыми трудовыми крыльями разгребал песок и гальку, ртищем выбирал икру Белоглазки.

«Ах ты, воруго-пищуженец! Да как же тебе не стыдно?! Как не совестно?..» — закричали разом Белоглазка и Ельчик-бельчик, отважно бросаясь на подкокаменщика. Тот забился в камешную щель и оттуда бубнил оправдания: «Не вор я, не вор. Трудяга я. Бес меня попутал, дорогие мои товарищи водяные. Мне тоже захотелось вкусенького. Не все начальству икру лопать, подкоряжнице или тем же генералам-тайменям. Им все, стало быть, можно? А я работай, работай, а харч каков?!».

— У тебя голова есть? — закричала Белоглазка.

— Ну, есть.

— Зачем она тебе?

— Я ей ем.

Возле пищуженца блудили, подкармливались ершики, растопыривая от сладости свои колючки.

— А вы-то, вы-то, шпана водяная! Уж не прозеваете! Ни стыда, ни совести у вас, у бродяг! — рассердился Ельчик-бельчик.

— Ерши, значит, не рыба! И чё мы сделали? Украли? Сторожа цег. Икра бесхозна. Никто за нее никакой ответственности не несет. Приперлись, понимаешь, в закрытый водоем санаторного типа да еще и права качают! Коли обдристили чистое дно вонпочей икрой своей — караульте! Кроме того, когда полагалось икру метать? Весной! Где отметать? В реке! Не берите нас на понт, мы законы знаем и кой-чего в политике понимаем! Лямурчики развели! Пролобовались, промиловались!.. Срока исполнения своей задачи пропустили! В план не уложились!.. Мы вас, полюбовников, за нарушение кодекса природы так оттешем, что всю жизнь на лекарства работать будете! Бога водяного молитесь, чтобы сюда подкоряжница не явилась. Она тут мигом наведет порядок! Она себя абы-хысыс называет!

И пищуженец осмелел, толкаться давай, выступать:

— Во! Во! Правильно вам колючие блатяги влили! Правильно! Не лезь в привольное место, ковды спецпропуска негу...

— А у тебя есть? А у тебя есть?

— У меня тоже нету. Но я тут отхожие помещения чищу, всякую вредную тлю, червя и клеща выедаю.

— Икоркой на верхосытку не брезгуешь?!

— Говорят вам, икра бесхозная, не ко времени и не в положенном месте выметана. Дак чё теперь судить меня за это?..

— Да ты, дебил водяной, неподсуден из-за своей умственной отсталости и древнеюшей мужицкой жадности,— съязвили ерши и, не найдясь, чего им ответить, от греха, от шайки блатных подальше, залез бычок под камень, на прощание сказав паре ельчиков: — Извините. Больше не буду.

— Кончай демагогию! — растопырились еще пуще ерши.— Не вилай хвостом! Каждому по труду, от каждого по потребности! Слышал?

— Да слышал, слышал. Еще в школе на тихой протоке. Подкоряжница там учительствовала. Безграмотная, тупорылая, но имеет диплом об окончании академии общественных наук! Хилософ я, говорит, хилософ-практик. На общественных началах могу теорию сохранения жизни в протоке преподавать и за идейную чистоту рыбьих рядов бороться. Тогда ты, елец, не только икры, остатков хвоста лишишься.

* * *

Белоглазка и Ельчик-бельчик решили не покидать свое маленькое перестилище и поочередно дежурили возле него. Вот-вот должны были появиться дети из той икры, которую не успели сожрать пищуженец, куда-то скрывшийся от позора, и блатняги-ерши.

Однажды на светлом озере поднялось волнение, шум, гам, заметались бедные мульки, не зная, куда деваться. Птицы запищали жалобно, и ельчики поняли: уставшая от ленивой, сыгтой жизни в стоячей воде на протоке, по холодненькому ручью, в свежую водицу пожаловала подкоряжница. Наводя ревизию, приела она по пути потерявших бдительность харюзков, птешцов, какие из гнезда выпали, подобрала, лягуху долго во рту, как цветочек зелененький, таскала, петь пыталась: «Раз попалась, пташка, стой, не вертухайся!», мышонка — для острастки, не иначе, пришибла и даже есть его не стала.

Рыбки тучей залезли под скалу, дрожьмя дрожат, жмут-

ся друг к дружке. Подкоряжница всплыла на самый верх, перья распустила, пасть ощерила — разом две целебные ванны принимает — водяную и солнечную. Пасть у нее сплошь в ценном металле — серебре, золоте, меди, свинце, даже в вольфраме. Зимой рыбаки просверлят лунки и удят на протоке окуньков, сорожек, ершиков. Подкоряжница в засидке находится, караулит жертву, и как только рыбак поволокет на мормышке иль на блесне рыбешку вверх, она шасть из-под коряги, цап рыбешку вместе с мормышкой — и ваша не пляшет! Хохочет подкоряжница, издевается над рыбаками, зубастую пасть, изукрашенную металлом, из лунки показывает.

Рыбаки лаются от неистовства, норвят подкоряжницу пешней оглушить, по льду галошами топают, одного контуженного на войне рыбака припадок хватил. Едва откачали.

И здесь, на родниковом светлом озере, подкоряжница блаженствовала вроде бы, но одновременно и воспитывала рыбе поголовье, к справедливому порядку население приучала.

— Кто в спецводоем без путевки, без направления, из отгудова,— показывала она рылом вверх,— дикарем аль по несознательной дурости и политицкой отсталости затерся, тот дело будет иметь с органами абы-хы-сыс! — подкоряжница, регоча, хлопала себя плавником по резиново надутому брюху.

Рыбака увидит подкоряжница, дразниться начинает:

— Имай! Имай! Может, чего поймаешь! — и тут же прыгать да хриплым с похмелья голосом петь любимую песню примется: — Мы поймали два тайменя, один с хер, другой помене!...

— Водяной ты! — крестились хвостами спрятавшиеся под скалой бедные рыбки.— Никакого в ней страху. Разве можно господина-рыбака так гневить? Он же ж рассердится и нас переглушит всех, в сумке унесет, сварит и съест...

Подкоряжница особенно лото ненавидела почему-то рыбаков в шляпах, в темных очках, в иностранной снаряде, с японскими спиннингами, шведскими катушками и советскими блеснами.

— Хо-хо-хо! Интернационалист явился! Унутренний эмигранг. Рыбки ему социалистической захотелось, революционному населению принадлежащей. А этого не хочешь? — хлопала себя плавником по узкому отверстию, расположенному в конце брюха, почти в районе хвоста.

— Я тебя, скабрязницу, счас выволоку! Счас-счас! Я мокрель в Карибовском море ловил. Акулу в Персидовском заливе! Рыбу-пилу у берегов Африки! И чтоб с такой выжигой из гнилой протоки не совладать?!

— Макрель он ловил! Акулу капитализма! Ты вот акулу, выросшую в водах социализма, излови! Здесь вон нефть кругами ходит, лесом дно реки устелено, машинные колеса, банки, всякое военное железо на дне валяется, гондоны, утопшие пьяные трудящиеся плавают и совсем не морально, а натурально разлагаются. Браконьер сетки мечет, бреднем гребет, острогой целится, порошком травит, динамитом глушит! А мы живе-ом! Друг дружку жуем, повышая тем самым бдительность в водоеме, отбор происходит естественный — остаются самые выносливые, смекалистые, пропырливые. Плевать они хотели на рыбаков-краснобаев и на защитников природы. Мужество, нравственность! Способность к самопожертвованию во имя будущего идеала. Мы во вновь открытые, развивающиеся водоемы икру на размножение отправляем. Берри! Плодись! Множь рыбе поголовье, мы добрыя!

И кабы подкоряжница выступала как люди, стоя на трибуне и не брыкаясь, нет, она все время носится, вертится, вроде бы схватить блесну норовит, но все это она делает коварно, с умыслом: то под затонувшую корягу занырнет, в щелястом камне прошмыгнет, то почти на вербу выметнется, и блесну за блеспой садит рыбак, пластает лески, уродует спиннинг. Когда впавший в горячку рыбак обнаружит: все блесны потрачены, крючки обломаны, лески изорваны, удрученно глянет он на светлые воды и который заплачет, а который, матерясь, отправится домой.

Подкоряжница уж никогда не удержится, заулюлюкает вслед, запоет любимую песню: «Мы поймали два тайменя...», наставления выдаст:

— Рожка твоя безыдейная! Ты мырни, мырни в озеро-то! Там горы металлу! Блесны и крючья всех стран и континентов украшают паш спецводоем! А в протоку? А в реку? Соображай, милай!

* * *

Но дооралась и подкоряжница! Допрыгалась!
На озерце появился старичок в кирзовых сапогах, в

добела изношенном железнодорожном кителе и картузе, и тоже целится рыбки на ущицу изловить. Огляделся старичок, высморкался и ловко этак подметнул и на самодельную мушку выхватил одного глупого харюзка, другого. Подкоряжница выплыла из-под вербы, смотрела, смотрела на эту работу и, не выдержав искушения, бросилась за харюзком, волочимым дедом, оторвала его, вместе с мушкой заглотила.

— Ах ты, клятая-переклятая! Рыло твое ненасытное! — заругался дед. — Вот я тебя изловлю, тогда узнаешь, как ширмачить.

И с этими словами дед достает из мешка складной самодельный спиннинг с самодельными блеснами.

— Хо-хо! — схватилась за живот подкоряжница. — Налимов тебе ловить туполобых этаккой снастью! А я ловушки всех стран и континентов прошла, в карасине выжила, водяным академиком сделалась, сама имаю кого хочу, меня ж никто поймать не сможет!

— Ничё, ничё! — успокаивал ее старичок. — Попытка не пытка, как говорил один известный товарищ. Не изловлю, так натренируюсь. — И давай дед тренироваться, блесну забрасывать.

Подкоряжница бесится, бегаёт, прыгает, вьётся. Выдохся старичок, замертво на траву упал, глаза закрыл, больше не могу, говорит, сил нету, уработался.

— То-то! — нравоучительно молвила подкоряжница и увидела, что возле вербы, упавшей в воду, раненая рыбка бьётся. — Ну, отдыхай, стахановец, сил набирайся, а я покудова подзакушу, шибко промялась. — И с ходу, с легу цап раненую рыбку, да и в укрытие с нею, под вербу. Пока уходила в тень, поудобней устраивалась, рыбку проглотила и почувствовала, что вроде бы горло, пусть и луженое, чем-то царапнула, да и в животе, в кишках какой-то непорядок, посторонний предмет как бы беспокоит. Осмотрелась подкоряжница, видит, изо рта ее проволока свисает и дальше — леска миллиметровая.

— Живец! — ахнула подкоряжница. — На живца попалась!.. Когда и наживил, ловкач старый? Ах, мать-перемать! — задергалась, забушевала подкоряжница.

Дед к вербе торопится, колесит на кривых ногах и назидает:

— Тиха, милашка, тиха! Ковды попалась, дак дурака не валяй! — и махом на берег подкоряжницу выхватил.

— Это не по правилам! — заорала, запрыгала в траве подкоряжница. — Паровозник! Браконьер! Враг природы!

— А ты дак друх?!

— Конечно, друг. Я водоем очищала от больших и дебильных рыб, мускул имя укрепляла, умствешность развивала, в страхе их держала, от вашего брата — варваров-рыбаков остерегала...

— Ты вот чё, — снисходительно обратился дедок-рыбак к подкоряжнице, вытирая чистой тряпицей руки. — Ежели не угомонишься, орать будешь и рыпаться, получишь успокоительный наркоз, — и выпул из мешка топор с крепким стальным обухом.

— Ох, только не наркоз! — взревела подкоряжница. — Прощайте, товарищи рыбы! Закончен мой боевой путь. Завершена достойная героическая жизнь! В протоке остались мои дорогие шурята, они вам еще покажут! Будьте бдительны! — и с этими словами подкоряжница уснула навсегда, открыв широко свою богатую пасть, украшенную мормышками, блеснами, похожими на вставные золотые зубы, какие и положено иметь руководящей личности.

* * *

Ельчику-бельчику сделалось грустно. «Вот она, наша жизнь рыба!» — вздохнул он и вспомнил, как подкоряжница митинговала, когда обманула рыбака в темных очках и в шляпе. И рыбы хором славил подкоряжницу, пели ей гимны:

— Мы восхищены вашим бесстрашием в борьбе с вечными и заклятыми нашими врагами — рыболовами.

Подкоряжница распустила хвост и плавники, с удовольствием слушала похвалы в свой адрес, но фыркала тоже, водой бурлила:

— Либералишки сопливые! Они, видите ли, восхищены. А что вы сделали для защиты отечества нашего рыбного? Союза нерушимого? Червяков только жрать! Хвостом вертеть! А я борись!.. — Подкоряжница вдруг рассердилась да как начала гонять по озеру рыбий хор. Под психическую атаку незаметно сотню малявок съела, харюза под камень загнала, у Ельчика-бельчика чуть навовсе хвост не отгяпала.

И все же жалко подкоряжницу. Сварливая, прожорливая, неуважительная, а все хозяйка.

Ушел старый рыбак с родникового озерца и унес в мешке подкоряжницу. Унялось волнение. Рыбки малые выплыли из укрытий, начали кормиться. Пестренькие харюзки, как всегда, резвились и играли, делая свечки над водой, не забывая, впрочем, подобрать с воды трепещущего подёнка или другого мотылька какого, мошку, комарика. Раненый хариуз маялся под скалой, выплыть пробовал. Ласточки-береговушки стригли крыльями небо. Мир и покой царили вокруг.

Ельчик-бельчик и Белоглазка неотлучно стерегли свое маленькое нерестилище, и, покрутившись возле него, как всегда, пьяные от свежей воды, матерно выругавшись, убежали чумазые ерши по речке в протоку, где меж топляков, в мутной, засоренной воде им легче было чего-нибудь спереть да и подрататься с мирными гражданами здешних вод, похулиганить полное раздолье.

Вот и вынырнула со дна горсточка мушек-мулявок. Много икры съели пищуженец и ерши, часть пропала неоплодотворенной и по неопытности некачественно прикопанной, однако молодые родители посчитали и это удачей. Опыт жизни, как и сама жизнь, не так просты, и первая попытка создания семьи могла вовсе кончиться крахом, ныне это сплошь да рядом, да и метали они икру все же не в положенный срок, не на положенном месте.

Дождавшись, когда малявочки прозрели и начали кормиться самостоятельно, Ельчик-бельчик и Белоглазка покинули их в хорошем сохранном месте, надеясь, что здесь, в санаторных условиях, хоть сколько-то из них перезимуют и сохранятся.

Родители спустились в реку. Ельчик-бельчик и Белоглазка были совершенно уже здоровые, способные любить, спасаться и добывать еду.

* * *

Наступила осень.

Обнажился лес. Листья сносило ветром в реку, былинки сухих трав падали на воду, и кружило, кружило, несло их куда-то. Все, что жило, плодилось, цвело летом, обрело крылья, голос, умолкало теперь, осыпалось семенем, отмирало до корешков и успокаивалось в корешке. Птицы объединились в большие стаи, чтоб покинуть родные края. Рыбы тоже сбивались в стаи, чтобы совместно отжировать на обильном осеннем корму и уйти в ямы на продолжительную зимовку.

Сборище ельчиков, похожее на серую, в середине даже темную, грозовую тучу, сосредоточилось на протоке. Здесь еще сохранились опечки и обмыски, не занесенные топляком, грязью и не заросшие водяной дурниной. Почти не двигаясь, стояли, прижавшись чуткими брюшками ко дну, устеленному мелкой галькой и песком, белые серебристые рыбки. Что их гнало сюда? В это место? Зачем? Почему? Что объединяло их? Древние законы? Привычки? Тяга к братству? Все это отгадано людьми лишь частично — маленькие рыбки — ельчики, как и многие рыбы, брали на зиму немножко балласта. Они подбирали со дна мелконькие, с дробинки величиной, камешки или крупные песчинки, заглатывали их. Нагрузившись балластом, они еще несколько дней стояли на чистых отмелях, и какое-то грустное, недвижимое, может быть, и торжественное чувство владело ими. Может быть, перед тем как впасть в полуспячку, сделаться совсем беззащитными, утратившими даже инстинкт самосохранения и страха, они молились рыбьими словами своему рыбьему богу и просили его о том, чтоб он сохранил их души и тело, продлил их жизни...

Над ними настывал и застекливал реку осенний прозрачный лед. На лед ложилась белая изморозь, трещины ходили по нему, стекло льда со звоном лопалось, содрогалась вода, содрогались обитатели реки от режущего, душу пронзающего звука. Ельчики, колыхнувшись луговой, иньем прихваченной травкой, нарушали строй, готовы были броситься врассыпную, но, увидев, что родители их, мамы и папы, стоящие впереди на почтительном отдалении, никуда бежать не устремлены, тоже успокаивались, плотнее прижимались друг к другу.

Из деревни могли спуститься рыбаки, пробить пешнями и топорами тонкий лед у входа в протоку и на выходе ее в реку, да и перегородить впереди и сзади рыбной стае протоку мелкочейистыми сетями, которые и называются ельцовками. Поставив сети, насторожив гибельные ловушки, люди станут бегать по льду, хрюпать по нему колотушками, топорами, сапогами, и очувшиеся рыбки в панике засуетятся в воде, устремятся в реку из тесной протоки, засадят сети телами своими почти в каждой ячейке.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло — в деревне не осталось мужиков-добытчиков, сгнили сети на чердаках, да и сама деревня погибла, едва дышала несколькими трубами.

Эта опасность миновала. Но сколько же кругом других напастей. Вверх по реке стоят маргариновый, дрожжевой и каустиковый заводы, льнокомбинат там стоит, на окраине райгородишка межраймашремонт находится, несколько свино- и скотокомплексов, какая-то пропарка, какие-то трубопроводы и просто трубы, пускающие грязь, пар и горячую воду, школы, дома, санатории — все-все они испражняются в реку всяческой дрянью, неиссякаемой нечистью.

Ах, если бы знал человек, как он грязен, вонюч, необиходен, так, может, и постыдился бы себя, исправился бы, стал вести себя поопрятней и милосердней. Да где там?! До милосердия ли ему? Веселится, пляшет и поет человек, дожирая остатки безумного пиршества на земном столе, любясь на себя уже не в зеркале, а в лужи грязные глядя. Скоро ему не только наслаждаться нечем будет, но и напиток на земле воды не найдется, в небо за нею полетит на жутко грохочущих кораблях. Сдохли раки в родной реке, совсем почти не осталось светлюбивых гальянчиков, пескарей, харюзки и леночки в ручье спасаются. Но зимою ручей промерзает до дна, его наледью толсто покрывает — задохнешься, поневоле надо отстаиваться в гнилой и душной воде.

Меньше и меньше ельцов в реке. Теряют резвость таймени. И только подкоряжница со щурятами, окуни, сорожняк да ерши попривыкли к новой обстановке. Пахнет у них дурно изо рта, керосином из икры воняет, и сами они помойкой отдают, уже и варить их рыбаки не решаются, но ловят «просто так» — для убажания души, в утеху сердцу, наслаждаясь самим «процессом» рыбалки и отдыхом «на воде».

В мир приходит заосень. Тишина и умиротворенность на опустелых полях. Земля наряжается в белое, чистое. Прозрачно и покойно вокруг. Улетели на юг тревожные птицы. Ушли звери в темные крепи. Боровая птица в теплых ельниках и сосняках схоронилась. Медведь перестал куролесить по тайге, залег и успокоился в берлоге. Генералы-гаймени тревожно подремывали в глуби, по-за камнями. Легли на ямы крест-накрест и оцепенели до талой весенней воды кое-где сохранившиеся осетры, белуги, стерляди, большая рыба — кит скрывалась в океане, боясь китобоев с беспощадными гарпунами, акулы задумались о проблемах нынешней жизни и всеобщем разоружении, угрожающем изгнанием их из всех мирных вод.

Ушли в далекие моря молодые косяки кеты, чавычи, горбуши и всякой разной прихотливой рыбы. Аж в Саргасово море, вьась и изгибаясь, спешат угри. В неизведанной и человеку еще недоступной толще южного моря плавает задом наперед рыба с двумя сердцами и без единого глаза, и кто-то еще там, в глубине есть, невиданный и неведомый, но тоже, как и всякая тварь водяная и земная, совершив годовой круг, торопится на отдых или в тепло из северной части родной планеты и пробуждается, готовится к гону, икромету, брачным песням, дракам, к любовным делам население южной ее половины.

А в яме родной реки, названной так людьми, покинув мелкую протоку, плотным сонным косяком стояли белые, тихие рыбки — ельцы. В яме было чисто, глухо, сонное марево окутало воду под толстым покровом льда. Лишь к полудню проникало сюда пятнышко, и рыбы понимали, чувствовали в пемой глуби, что там, в миру, все в порядке, ничего никуда не сдвинулось, не развеялось и хоть самое малое тепло, малый проблеск жизни и света небесного обнадеживает всякую тварь сушую на будущее.

Едва выпутавшись из морозного тумана, не успев проморгаться и обогреть мир Божий, солнце тут же меркло, затягивалось серой мутью морозного дыма до следующего позднего пробуждения.

Покрытые кисельным слоем слизи, предохраняющей от полного остывания тельца в холодной воде, почти слипшись боками воедино, стояли в глуби ленивых сонных вод, жались друг к дружке, чешуйками чувствовали друг друга и ощущали себя роднее всех родных существ в земном пределе добрый и веселый Ельчик-бельчик, умная и ласковая Белоглазка.

Природа-мать, смилуйся над ними.

1986

УЛЫБКА ВОЛЧИЦЫ

Тимофей Копылов, работавший на метеорологическом посту, верстах в семнадцать от новопоселения Уремки, где проживал и нес егерскую службу его друг детства, однорукий Карпо Верстюк, не раз и не два говорил, что волки обладают способностью ощущать или чувствовать перспективу. Верстюк, высланный с Украины в Сибирь еще в тридцатые годы вместе с батьком, маткой и целым детским выводком, едва ли не единственный из того выводка и уцелевший, как и полагается хохлу, был упрям до остервенения, отшивал Копылова на давно здесь привычной смеси украинского и русского языка: «Я на тоби смеюсь».

Вечор Копылов вызвал по радиции Верстюка:

— Заводи свою таратайку, приезжай, тогда посмотрим, кто на кого будет смеяться.

* * *

Еще в старом, не затопленном селении под названием Уремка, Копылов и Верстюк учились в одной школе, сидели за одной партой. Копылов списывал у Верстюка по арифметике, затем по алгебре и геометрии, Верстюк у Копылова — по русскому языку, литературе и истории. И так вот, союзно действуя, подсказывая один другому, списывая друг у друга, едва они не закончили семилетку. До самой войны и работали они вместе, на сплавном участке, и «всю дорогу», выражаясь по-современному, то есть

с самого детства спорили, дрались, и никто никого победить не мог, потому как дрались они вроде бы азартно, да без остервенения: кто-то с кого-то шапку сшибет, ворот у полушубка оторвет, но чтоб голову проломить или зубы выкрошить — до этого дело не доходило.

Когда на войну сходили и один вернулся кособоким, другой без руки — драться перестали, надрались, говорят, хотим мирной жизни. Ну а спорить — чем дальше жили, тем горячее спорили. И жен себе завели таких же, зевастых, заводных, в работе хватких. Когда рукотворным морем, хламным водохранилищем затопило Уремку и развело Копылова с Верстюком, они тосковали друг по дружке, при всякой удобной okazji норовили повидаться и «покурить» вместе. Жены, те если месяц не повидаются, не поорут одна на другую, от окна не отходят, плачут, проклиная тех, кто затеял великую стройку, пустил родное село на глубокое дно, поразбросал уремцев по белу свету.

Летом друзья встречались чаще: то Верстюк, мотаясь по горам и тайге, почевать на метеорологический пост вдруг спустится, то жену на моторке по ягоды, по грибы притаргает, то сама Копылиха в сельпо снарядится за покупками.

Но как зима ляжет, всякое сообщение замирает — нет дорог по водохранилищу: тороса, хлам лесной, полыньи от изверженных известковых вод, да и безлюдье не давали организовать никакому твердому и безопасному пути по широкому полю льда.

Однако, лет с десятков уже, Верстюк обзавелся вездеходом, усовершенствовал его, довел технику до масштабов все- и вездеходимости, и работа егеря активизировалась, жизнь пошла веселее и беспокойнее.

Волки, когда-то обретавшиеся в предгорьях и по лесостепям, ближе к овечьим отарам, ко всякой доступной живности, теснимые людьми, автомашинами и вертолетами, с появлением огромного водохранилища провели перестройку в соответствии с условиями обитания, подвинулись жить и промышлять к пустынным, зверем и птицей богатым берегам.

Объединившись в стаи, волки зимней порой успешно охотились на маралов, косуль и даже случалось на лосей. Часть стаи с «бригадиром» во главе переходила водохранилище, залегала там, иногда во вмерзшие в лед тороса, в

таежный хлам, иногда и просто на чистине лежат волки, припорошенные снегом, не шевелятся, терпеливые они охотники.

Другая половина стаи в это время выслеживала зверя, тропила, поднимала его и нетерпеливо, умело вытесняла жертву из тайги на лед.

Выдравшийся из гор и леса марал на просторе чувствовал себя вольно, стремительно уходил от преследователей на другую сторону водохранилища, чтоб снова скрыться там, в горах, в привычной тайге, и вдруг перед ним из снега восставал волчий, хорошо организованный отряд. Уверенно брали волки марала в кольцо, до хрипа его загнав, пружинисто бросались под горло, на загрызок, валили на лед. Потом, голодно поскуливая, кружили звери вокруг дымящегося кровью марала, жадно хапали ртами красный снег, дожидаясь загонщиков, которые, клубя белый бус, катились во главе со старой волчицей к месту своего пиршества. С ходу, с лету, с треском рвали они кожу зверя, выхватывая горячие куски мяса, урчали, заглатывали их, захлебываясь маральей кровью и собственной слюной.

Схватив карабин, одышливо дыша раскрытым ртом, Копылов спешил к месту схватки. Волки даже уходить не торопились, кушали себе спокойненько, вскидывая морды, забрасывали в себя красные куски, хрустели хрящами, сухожилиями и костями, что по зубу, потом тяжело-ваго, рассыпью трусили по белому полю к берегу, на ходу вытирая окровавленные морды о снег.

Копылов начал догадываться: среди волков появились собаки — диким зверям до такой тонкой тактики и наглой практики своим умом пока еще не дойти.

На участке Верстюка резали волки живье, можно сказать, безнаказанно. Полезный скот люди порешили и съели сами. Уходя в города, рассеиваясь по свегу, уремцы, как и везде по Руси, кошек и собак бросали на произвол судьбы. Бороться с так хорошо сплоченной волчьей ордой было трудно, почти невозможно. От бессилия, от бессонных ночей, от напрасных погонь егерь Верстюк почернел, исхудал, выветрился, нервным сделался, а тут еще «той бродяга», Копылов со своей «перспективой»!

Ну хоть на пенсию уходи!

* * *

На сей раз Верстюк даже и не спорил с Копыловым, грустно слушал его сперва по рации, затем на метеопос-

ту, кивал головой, ронял: «Н-н-на... Ох же ж и брехать ты, Тимохвей! Тоби ж полковым комиссаром було б само раз, а ты пэтээру на горбу по усему хронту!.. Н-н-на... Ох-хо-хо-о! Шо? Шесть? Ты ж по математике усю дорогу списував, но так до дэсяти считать и не навчивсь. Шо? Зарплату считать умеешь? А та ж твоя зарплата! Ниякой школы нэ трэба, шоб ии счести. У мэни? Та тэж одно названье — зарплата...»

Копылов втолковывал Верстюку, что с вечера водохранилище перешли шесть волков. Верстюк знал, что Копылов не брешет, но суперечил ему, не соглашался; иначе бы и не был Верстюком, а каким-нибудь Сидоровым или Шендеровичем был. Спускаясь от метеопоста на лед, все ворчал и ворчал Верстюк в том роде, что Копылов доспится до того на своем посту под названием «не бей лежачего», что не шесть волков, черги ему будут казаться в неслетном количестве...

Но под холодным рыжим яром с сиротливо чернеющими дырками ласточек-береговушек отчетливо виднелись круглые следы, даже когти пропечатались на рыхлом снежку. Верстюк и тут сразу не сдался, высказывал предположения, что, мабуть, это Куська и Мохнарь — собаки Копылова, наследили — хозяин панику поднимает, «як на хронте спужався, то ще и не очухавсь»...

— Э-ге-е-е! Куська-Муська, разуй глаза, Тимохвей! С твоими тиграми собес караулить.

На глазах, настаивал Копылов, на глазах, толковал он, не стесняясь, прошли волки. Шестеро. Потоптались под берегом, поигрались, глазищами сверкали, на помещение метеопоста смотрели — пельзя ли там кем или чем подзакусить, соображали. Бесстрашный кобель Мохнарь и хитренькая его подружка Куська залезли в служебке под кровать, так по сию пору и не дышат, даже жрать не просят, хотя по этой части охотники они редкие. Баба его, Копылиха, насчет иконки памекает, мол, что с того, что муж партейный, образочек маленький в утешенье был бы, вместо картинки, за него из партии не исключают, за маленький-то.

* * *

Верстюк посерьезнел, шутковать перестал. Мозговали старые уремцы, тонкий и серьезный план разрабатывали. Один из них, то есть егерь Верстюк, в потемках на своей

таратайке — на вездеходе, значит, переедет водохранилище и заночует в охотничьей избушке, что спрятана Копыловым в Малтатском заливе. Другой, значит, метеоролог Копылов, останется дома и будет вести наблюдение; коли волки спустят зверя с гор и погонят через водохранилище, он дает ракету. Верстюк отрезает на таратайке хищников «з одной стороны», Копылов их пусть преследует «з другой».

Пока же до глухой ночи еще далеко, у хозяина дел невпроворот, так пушай балабол старый не путается под ногами, пушай занимается любимым делом — смотрит бесплатное кино.

В служебном помещении метеопоста была рация и узкопланочная киноустановка. Летом, когда на водохранилище стоял плавучий пост-баржа и народу наезжало порядочно, в особенности руководящего — за грибами, за ягодами и выпить вдали от блюстителей закона об алкоголизме, заброшено было сюда восемь кинокартин. Копылов с женой те кинокартины до того докрутили, что уж знали их наизусть.

Верстюк же с детства, с Уремки потрясенный чудом под названием — кино, мог смотреть любую кинокартину, особенно военную, когда угодно, где угодно и сколько угодно. В госпитале табак и сахар отдавал за кино. Самое подходящее место ему было смотреть кинокартины на метеопосту, у Копылова, поскольку просто так он смотреть кино не мог, вертелся, объяснял соседям, что на экране «роблится», хохотал, плакал, пегодовал, возмущался, поощрял и порицал героев. Дело кончалось чаще всего тем, что из поселкового клуба его взащей выгоняли, дома никто с ним телевизор смотреть не хотел.

Верстюк тайно мечтал пастрелять волков, сдать их шкуры за хорошие деньги и купить себе отдельный телевизор, «мабуть, даже японский», и смотреть всякое разное кино сколько его душепшке угодно. Японский телевизор, пояснял Верстюк Копылову, тем хорош, что у него «лампов нема и он роблить просто так, на унутренней энергии».

— На какой, на какой энергии? — заводил Копылов Верстюка.

— На унутренней! — смело заявлял Верстюк.

— Это только у тебя унутренняя энергия, с сала накопленная. А у японца — электроника. Полупроводники, компьютеры кругом. Отстал ты, Карпо, от прогресса на

двести лет в своей Уремке. Скоро таких, как ты, на молодых женить будут, чтоб кровь молодела и ум обновлялся.

— А шо ж, я нэ против!

— Тьфу, срамцы старые! — ругалась жена Копылова.— Всю-то жизнь они, как дворовые кобелишки, шерсть друг дружке рвут.

* * *

У Копылова от пористого носища наискось по щеке, к левому глазу, все еще синело пятно, похожее на крыло какой-то нездешней птицы. Это они, два друга, хрен да подпруга, как они себя именовали, устроили себе потеху. В той Уремке, что была сейчас подо льдом, на дне «морья», вместе с домами, сараями, банями, стайками, со старым сельсоветом, клубом, почтой, с начальной школой, с бедным, но широким погостом, дело было. Однако друзьям до сих пор казалось, что наваждение это непременно и скоро кончится, как кончается всякий тяжкий сон. Вода, покрывавшая привычный сельский мир, уйдет туда, откуда пришла, вольется в свои берега, и поплывет из крошечной глубины, приветливо светясь огнями, родная Уремка и остановится, умытая на песчаном мысу, изумленно глядясь в реку светлыми окошками домов.

Так вот в той, еще живой, незагубленной Уремке, отроки по прозвинию Карп и Тимка стянули древнюю фузею деда Копылова, с японской, а может, еще с турецкой войны им принесенную, и начали снаряжаться на охоту. Сказывали, дед Копыл из той фузеи беспощадно валил в здешних горах зверя. Любого! Хоть сохатого, хоть медведя, хоть марала, хоть рысь. Наповал!

Отмочили хлопцы в керосине сложные механизмы фузеи, подгочили в ней кое-что, припаяли курок и пошли в лес — валить медведя «на берлоге». Берлог тех в рассказах деда Копыла было больше, чем домов в Уремке, сразу же за банями, едва в лес ступишь. Но, видать, зима худая выдалась, зверь не лежал на месте.

Друзья кружились, кружились вокруг села, зверей не находили, и решено было пальнуть в цель. Набили парнишки порохом длинный патрон с зеленой трещиной по вдоль его, заложили свинцовую plombу вместо пули и потянули палочки: длинная палочка — стрелять, короткая — наблюдать.

Счастье, как всегда, выпало Тимке. Карп только вздох-

нул — он уж давно смирился с судьбой: все же пришлый он, высланный лиходец, а бог — он здешний, чалдонский, и всегда за своих стоит.

Ка-ак пальнул Тимка из древней фузеи, так обоих коreshков и смело в сугроб. От фузеи остался один, в лучицу расщепленный приклад и железная скоба. «Вынос произошел в сторону зажмуренного глаза, иначе быть бы кривым брандохлысту», — сделал приговор дед Копыл и, не удержавшись, похвалил внука:

— Весь в меня пошел! Отча-а-аянный!..

Вздыхнул украдкой Карп, вспомнив прошлое, который раз поразился мудрости природы, по справедливости все распределяющей: Тимка как был, так и остался книжечем и мыслителем. Карпушка же — человек мастеровой, умел все починить, наладить, усовершенствовать, обмороковать и хитро, как ему казалось, решить любую жизненную проблему. Вот по талонам выдают на месяц бутылку водки, а он раздобыл две! Смог бы Тимка произвести такую экономическую операцию? Да ни за что!

Согласившись в душе с закономерностями жизни и придя к выводу, что жизнь уже не переменишь и людей не переделаешь, выпили Верстюк с Копыловым по стопочке из пол-литры, привезенной с Уремки, да и отправился хозяин справлять дела, а гость смотреть переживательное кино под названием «Два Хведора».

* * *

В служебном помещении, заваленном инвентарем и матрацами, Верстюк обнаружил забившихся под кровать, в угол Мохнаря и Куську.

— Шо ж вы, хлопцы, сховались? Чи волков испугались? — спросил Карп насмешливо.

Мохнарь и Куська застыдились, отвернулись друг от дружки, извинительно помели пыль хвостами, что, дескать, поделаешь, дорогой Карпо, — всякому существу жить охота, и нам — тоже, хоть мы и собаки.

Когда зажужжал аппарат и началось кино, собаки тихонько выползли из-под кровати, обсели с двух сторон Карпа, с полным вниманием и пониманием слушали его пояснения.

— Ото бачьге, хлопцы, ото Шукшин грае, а то Семина. Вошы як ты, Мохнарь, и ты, Куська, ходют, ходют, принохиваются, потим, як пристигнэ, воны тэж поженят-

ся. А як жэ ж? Охмуры Шукшин Семину зараз, то про што тоди кино показуваты? Кино дужэ умные люди роблять — ингригой заманывають...

Скоро Карпо пустил слезу, повел тошко-тонко:

— А шо ж ты паробыв, Васю? Ты для чога так рано сторив? — Мохнарь и Куська начали подвывать.

Копылов, заглянув в служебку, послушал, послушал и вздохнул, сокрушено качая головой:

— Во, благодарные советские зрители. И кто тебя, Карпушко, в егеря принял? Это ж серьезная работа. Со зверем надо дела иметь. Съедят они тебя, либо башку свернешь об корягу... Глаза размочил! Ночью ехать. В польню ухнешь — отвечай за тебя, мокрорылого.

Карп в ответ слабо махнул рукой:

— Видчэпысь! Нэ до тэбэ!

Скоро, однако, Карпо, сморкаясь в платок, вышел на свет, начал промаргиваться. Собаки, горестно опустив хвосты и головы, тащились следом за ним.

— Ты мне и псов-то разжалобил! Они и без того нервами слабы!

— Ох, Тимка, Тимка! — протяжно, с детским всхлипом вздохнул Карп. — В тэбэ тут масло е,— постучал он себя по лбу,— а шо тут,— потряс он сзади штаны,— шо тут,— приложил он руку к груди,— ничего нэ було и нэма.— Не отнимая руку от сердца, Карпо прилепился к столу, налил стопочку, подумал и другую налил из поллитры, которую раз в месяц выдавали ему в сельпо по талону, как инвалиду Отечественной войны для лечения руки, которую он вытребовал по норме, как простой гражданин страны, твердо вставшей на путь борьбы за трезвый образ жизни. «И правильно! — выступая на собраниях, как активист и депутат поселкового совета Уремки, говорил Верстюк.— Нам бэз борьбы нэ можно. Корове бэз сена нельзя, а нам бэз борьбы, раз усе время стремились и боролись: за победу, за урожай, за дисциплину, за сохрану картошки, за рэмонт обуви, то остановись — упадешь. Борьба есть опора нашего життя!»

Выпили. В тарелку с капустой вилками потыкали.

— Ты знаешь, кто в тым кино грав? — ткнув вилкой в сторону служебки, поинтересовался Верстюк.

— Шукшин играл. Артист. Режиссер, писатель и еще кто-то...

— Ага! Ще кто-то! Ты в цым лесу на посту спышь, а люди борются. Шукшин летом вмэр?..

— Господи! На картине все живой... И век живой будет. Как и сообразить? — задумался Копылов, носом пошевелил.— Нaley еще по одной — за помин души хорошего человека.— Выпил, рукой утерся и заключение сделал: — Пил, поди, вот тебе и вся борьба.

— Ни-и! — замахал рукою Карп.— Когда-то было, а потом, ни божечки мой. Вот жениться, дужэ любыв.

— Тогда, конечно. Тогда хана. Алименты... комплименты, то, се...

Друзья-уремцы сочувственно помолчали. Мохнарь и Куська поглядели на них, поглядели, потом на ноги Карпа легли, морды друг на дружку угнездили, глаза горестно прикрыли, отдались привычной тихой дреме.

— Да-а. Я тут, как налим на дне, залег под корягу — ни газет, ни телека. Кино уж раз по десять перевертели, наизусть знаем. Радио послушаем, пожрем, позеваем и на боковую. Ночь дли-и-ни-на-а-а! На фронте, бывало, только глаза сомкнешь — уже орут отцы-командиры: «Подъем! Разобрать лопаты-ы-ы-ы!»

— Так и у нас телек утром, телек днем, телек вечером — все тоби тут развлечение. Я, однако, тоби, Тимка, антенну зрблю. Направленну. Мабудь, и до твоего поста телесигнал достигнэ? А про Шукшина, Тимка, Бурков — артист рассказував. У Ялги. У санатории имэни товарища Куйбышева. Весэ-э-элый артист, пид мухой був.

— Да как же тебя в Ялгу-то занесло?

— По льготной путевке инвалида войны.

— Ох и дока же ты, Карпушка! Ох и прохиндей! Все-все умеешь добыть, даже вот ее,— постучал Копылов ногом по бугылке.

— А шо ж, льготной попуститься? Лягты, как тому налиму, пид корягу? Тоби хоть дэсят бесплатных путевок дай и грошив мешок — ты своего места,— постучал Карп пяткою в пол,— та свою бабу, та собак будэшь стеррги, поки волки нэ съедят..

— Да-да, волки! — спохватился Копылов.— Давай-ка, брат, заткнем остатки, чтоб не выдохлись. Потом за победу над хищниками хряпнем. Да осторожно газуй, не провались. Жалко будет такого гарного охламона.

— Нэ гомони! — буркнул Верстюк, снаряжаясь и заводя свою таратайку.— Каркаешь на ночь глядя. А вин слушае.

— Кто вип-то?

— Кто-кто? Лихоман таежный.

— Ты с войны ж коммунист, Карпушка, а в нечистую силу веришь?

— Вид тэбэ ереси набравсь.

Собаки бойко мчались за вездеходом, вертелись в облаке снега, тьякали, но под горой примолкли, сбавили ход. Заработали хвостами и поздрыми, нюхая снег, воздух, после чего тихонечко вернулись в служебку, куда они наловчились открывать дверь лбами, растянулись в безопасном месте, позевали с подвывом и успокоились.

* * *

Верстюк переехал водохранилище без приключений, долго откапывал из снега избушку Копылова и, растопив печку, сидел у дверцы, грел чай, думал про кино, про войну, пытался постигнуть таинство смерти: как же так? Умер человек, но вроде бы и не умер, в кинокартине — живой, страдающий, иногда веселый, зубы свои крепкие, чалдонские скалит. Вот бы всех хлопцев на фронте засняли, чтобы они хотя бы в кино живыми остались. А то ж ни следочка, ни косточки не осталось, травой-бурьяном заросли... «Ах, хлопцы, хлопцы! Пулеметчики мои дорогие! За што ж вас таких молодежьких да гарнесеньких?..» — горевал Карп, и так с солеными слезами на губах забылся, уснул.

Поднялся Верстюк рано, прислушался. В трубе веяло, по окну шуршало, па бельмастом пятне стекла покачивалась слабая тепь — сосенка молодая покачивалась. Над Малтатским заливом прежде пашни уремские были, речушка Малтатка текла, пыпче непроглядный здесь лес молодой пошел, да все по прихоти, колониями то сосняк, то березняк, то осина — зверь войдет, не выживешь оттуда ни собаками, ни ружьем, лишь пронырливым волкам все нипочем, в густолесье этом они, как дома: охотятся, гуляют, выводки прячут.

Порошу волки любят. Того не ведают, хотя и умные бродяги, что по пороше сподручнее не только им ходить-бродить и драть всякую ротозевую живность, но и подбираться к ним.

Заварив чайку в плоском мятом котелке Копылова, неторопливо, с чувствомпил Верстюк чаек, в открытую дверь выше берега и леса, по-над косогором, глазами мир обшаривал — прошибет или не прошибет ракета земную и небесную мглу?

Прошибла! Ракета возникла неожиданно, Верстюк даже вздрогнул, как на фронте. От малинового, дрожащего света ракеты почему-то тревожно сделалось егерю, засосало под грудью, будто перед угренней атакой, когда настороженная передовая, недобро примолкнуши с двух сторон, ждет в серой муги снегов, за едва темнеющими всхолмлениями траншей начала военной работы. Уже искурена до жжения губ последняя сигарка у русского солдата, сигаретка у немца — все сделано, все приготовлено к бою. Припав к холодным прикладам, до блеска вытертым о живые человеческие плечи и щеки, стрелки-автоматчики, пулеметчики ищут упор обувью — комок земли, выбоину на дне или в стене траншеи, — когда упор есть — стрельба точнее.

Вот-вот начнется.

Одни будут отбиваться и убивать, другие будут карабкаться по отвесной стене траншеи, ссыпая обувью мерзлые крошки земли, царапаясь ногтями о стылый откос, не понимая, почему так непреодолима стена и так высок бруствер тобой долбленного обжитого окопа. Уже зачиркали вражеские пули, выбивая серый прах из земли, уже первых убитых откинуло назад, свалило обратно в траншею, так и не давши им перевалить через бруствер, вырваться во чисто поле.

Верстюк отроду был некурящий, и ему печем было заполнить ту мертвую минуточку перед атакой или перед отбитием атаки. Он придумал грызть сухарь, соломку, ветку дерева, кусочек ли сахара, в черный осколок превратившийся в кармане шинели. Была там секунда или доля ее, когда надо было человеку выплюнуть сигарку, растоптать ее решительно, а Верстюку — недорущенную крошку дохрумкать, — очень нужная секунда, очень важное время...

Однажды, в такое же вот холодное, безразличное утро, изжевав чего-то, не внемля самому себе, тем звукам, тем словам ли, чаще всего матюгам, которые сами собой возникали в каком-то от солдата отделившемся существе, перелегел Карпо через бровку окопа, стреляя из ручного пулемета в мерцающее огнями, прыскающее дымом, бухающее, трещащее, гудящее, земляное, холмистое устройство, одолел мертвое пространство, упал, провалился во вражескую кисло пахнущую траншею, по которой еще плавал желтоватый дым и таяло под отстрелянными синеватыми гильзами. С порвавшимся дыханием, с бесчувственно, на последнем пределе бухающим сердцем приходил

он в себя и вдруг услышал — где-то рядом воет волк! Страшно воет, загнанно, смертно.

Не сразу дошло до Верстюка: это он, ссыльнопоселенец Карпо из сибирской деревушки Уремки, воет от страха, от ужаса, от злости, от счастья солдатского — прошел, преодолел еще одну полосу войны, вышел живьем из еще одного смертного дела.

Через какое-то время Копылов пустил вторую ракету, на этот раз зеленую, полагая, что дружок его закадычный, элемент этот ни коллективизацией, ни ссылкой, ни войной не добитый, проплакал до утра, жалея мертвого артиста, не убитых еще волков, да и не увидит размытыми глазами сигнала.

* * *

Волки-загонщики прошли на рассвете, километрах в двух ниже метеопоста. Сранивая с деревьев и с прибрежных кустов кучку, уже загнанно всхрапывающий, вышел марал на лед, постоял, выбрасывая из ноздрей клубы пара.

Высоко, в узких расщелинах хребта выследили и взяли его в оборот волки. Упорно, по-рабочему, неторопливо вели они зверя к водохранилищу, не давая ему никуда отклониться.

Передохнув, марал поднял морду, поработал мокрыми поршнями ноздрей, учуял, должно быть, близко волков и наметом пошел по белому полю, к спасительному густому новолесью, мохнатым облаком плавающему по ту сторону водохранилища. И сразу пыльным облачком с обмытого берега ссыпалась стайка волков. Волки потоптались под берегом, опятнали желтой мочой снег, молодые покатались на спине и, азартно взвизывая снежный бус, падали ходу.

Дальше, дальше, дальше уходил марал, и деловито, даже как бы мешковато трусили в отдалении волки. Тонконогий, но ширококопытный марал и плесенно-легкие пятнышки волков уплывали в рыхло колеблющуюся наволочь неторопливого зимнего утра. Все глубже, все дальше, в сон, в серый свет пустынного, безгласного утра погружался быстрый зверь. Вот уже по колено погрузился марал во мглу, вот уж только комолая голова плывет и качается поверху, вот совсем не стало видно зверя, исчез, утонул или воспарился он, превратился в эту серую мглу, соединился с тишиной и пространством зимнего поля.

И волки, один за другим двигающиеся, растворились в этом успокоительном мгlistом сне, поглотила их немо белеющая плоскость водохранилища.

Копылов отрядил жену с двустволкой на мыс. Мыс тот врезался желтым памытым песком, серыми россыпями камней, в белую твердь льда, замыкая залив от вдаль и вширь простирающегося водохранилища. Неизвестно где начинающегося и где кончающегося.

Жена Копылова, катясь с яра на лыжах, упала, сердито взяла лыжи под мышку и, проваливаясь в снег по юбку, надежную поверх шаровар, шла к мысу, рассуждая сама с собой о волках, о муже, о проклятой жизни в этой метеорологической дыре. Она уже давно научилась разговаривать сама с собой и при этом категорически рубила рукою. Каждый взмах означал приговор: последнюю зиму она здесь мается, последнюю волю своего носопыря исполняет. Вот разгонит волков, дождется, когда отелится корова, по телу уедет на «метеоре» в город, к дочери, — и только ее и видели! Сдохни он, этот пост с мышами, с тайгой, с волками! И сам Копылов сдохни со своим дурацким постом!

Снег уже сильно спрессовало ветрами и песком, идти под берегом, если осторожно, возможно было не проваливаясь, но Копылиха не такой человек, чтоб осторожно, рутаясь, она помогала себе ногой, пробивала наст и ухалась вглубь так, что юбка делалась колоколом, и долго потом вышатывала себя баба из снега, выкарабкивалась на карачках из рыхлой ямы.

«Кабы в стволы ружья снегу не набила, блаженная».

— Стволы продуй, стволы! — сделав трубочкой руки, прокричал вслед жене Копылов.

Жена или не услышала его, или превратно поняла крик насчет стволов, вытщила руку из мохнашки и показала мужу кулак.

* * *

Проводив жену усмешливым взглядом до самой загогулины мыса, Копылов толкнулся таяком и раскоряченно покатился наискось по косогору, к тому месту, где покружились волки. На лету, мимоходом, Копылов отмечал взглядом густую заячью топанину, по ней прочерки свежего рыскачего собольего и горностаевого следа.

Сзади, в закрытом помещении метеопоста запричитала Куська, тут же подгавкнул, подпел подруге Мохнарь.

— И-я-а вот вам! — громко заругался Копылов и от потери бдительности чуть не свалился с подмытого берега в гущу плавника, ощетиленного ломаными сучьями, острыми кореньями и убийственно мерзлыми, замытыми до обмылистой глади выворотнями и бревнами. Туда сверзись, не только лыжи — ребра переломаеть.

Устроив засаду под берегом, в этих самых, волнами измытых, истасканных беспризорных деревьях, в сказочно перевитом, свинченном раскоренье, Копылов прислушался, кажется, различил далеко-далеко тонкий звон круглой пилы и порешил, что это звенит таратайка егеря.

Да, то пилил вездеход егеря Верстюка на широкой шарнирно, будто у самолета, качающейся лыже. Шла таратайка почти бесшумно — так Карпо сумел ее отрегулировать, да еще выхлоп сопла затянул сеткой, и снегом вминало звук, да и вел Верстюк свою машину, жмясь под навес берега.

Слов нет, волки звери осторожные, но человек-то хитрее. Совершенно уверенные в своей безопасности звери все же поддались беспечности, и когда налетела на них машина, бросились врассыпную, потеряв образцовую организованность. Часть стаи сразу же ушла по собственному следу на обратную сторону водохранилища, к высоким, в небе увязнувшим вершинам и перевалам.

Но четверых зверей Верстюк отсек от стаи и гнал их, прижимая к захламленному подмою, теснил к осыпи берега. Волки попробовали с ходу взять берег и уйти в густолесье, один из них, с подпалинами по хребту, распластался в прыжке, скребнул когтями бровку берега, вырвал клок мха, сорвался вниз.

И тут же стукнул карабин.

Волк по-щенячьи взвизгнул, покатился через голову, разбрызгивая кровь по камням, по снегу, по корягам. Остальные звери надали ходу, но были они тяжелы от жратвы, вывалив жаркие языки, сонно клонили костлявые головы, изредка схватывали ртами снег. Все чаще, все тревожней вскидывали они оскаленные морды, фосфорически сверкали глазами — машина, маленькая, но она не знала усталости, настигала их.

Два зверя, шедшие о бок, словно споткнулись, приосели, изогнулись дугой — отрыгивают жратву, облегчаются, — догадался Верстюк. Этих не догнать. Умные, быва-

лые звери перешли па мах, словно пловцы, саженками уходили они от вездехода. Звери клонили бег за мыс, мимо метеопоста Копылова, минуя огороженную прорубь, натоптанную к ней тропу, алый бакен, вмерзший в лед.

Куски мяса дымились па снегу, будто кучки красных углей. Верстюк направил вездеход за тем волком, который умчался в отрыв от своих собратьев. Не оглядываясь, зверь махал вдоль берега, да тяжелей, неуверенней, сбивчивей делался его ход.

«Запалился!» — опытным глазом заметил егерь.

С противоположного берега донесло три хлопка, отрывистых, четких. Следом спаренно ударили еще два выстрела. Волк, бежавший впереди вездехода, споткнулся, грудью упал на передние лапы, застуженно сипло проскулил.

«Молодой, но смерть чувствует», — успел заметить Верстюк.

Волк метнулся к спасительному берегу в хлам. Верстюк сорвал из-за спины карабин, не останавливая вездехода, навскидку и наудачу ударил. Пуля достигла берега, выбила из камней дымок и, заверещав, улетела в лесной хлам. Волк шархнулся назад, а тут она, машина. Наседает! Волк, вывалив язык, распустив хвост, безвольно трусил туда, куда немолимо направляла его машина.

* * *

За поворотом, в большую реку впадала когда-то малая, веселая речка Уремка. В устье той речки стоял недвижной громадою утес, рыжий, пасупленный, из вечного гранита, с чубчиком обветренного сосняка — этакой вьющейся гривкой на гордо выгнутой шее скакуна. Страшный, гордый утес упизило равнодушной водой, заглотило его вместе со щегинкой леса на хребтине, с белым пятнышком речного знака на лбу. Зимой, когда опадала вода, обмыленный, растрескавшийся утес возникал из пучин и устало кренился над грязным прибоем. У подножия его тлел хлам, смытый с угесов и с берегов.словно шкура древнего обитателя здешних мест — мамонта, не для дела снятая и без надобности брошенная, таскался волнами, прел тот лесной хлам.

В тот спасительный хлам и устремился волк. Влекомый жизнью, зовом звериной свободы, он прыгнул раз, другой, третий и, царапаясь, скребя когтями по оледенелой луде, соскользнул вниз. Волк отчаянно тьякнул, ко-

ротко всплакнул и прижался к омытому пронзительно-холодному камню, дрожа от страха, от заганности, сразу утратив свое звериное величие.

Волчица, а это была молодая рыжеватая волчица, видела медленно приближающегося человека с ружьем. Черным зраком глядело на зверя ружье с отожженными беслыми полосками по закруглению дула.

Давнее, почти призрачное видение озарило память Верстюка — в слишком нежной, слишком рыжей шкуре волчицы ему почудилось что-то собачье. А когда волчица родственно завилала хвостом, заискивающе оскалила зубки, он ахнул: «Божечки! Просит прощенья! Матка, а то батька цэй зверины были собакою! З нашей Уремки ма-будь?»

Да, зверь этот, помесь волка с собакой, еще не обрел дикого наития, не мог отгрыгивать пищу. Люди предали своего друга, кормильца, сторожа. Природа приютила. Она породила, она и приютила. Но когда еще собака делается волком, окончательно и бесповоротно одичает, превратится в зверя, от которого увели его когда-то люди, приучили, сделали на себя похожим!..

О-о-о, сколько крови, сколько мук породил совместный союз этого зверя и человека! Какого опустошения в мировом лесу они добились вместе.

И вот им сделалось не по пути. Разошлись они, вооруженные беспощадной техникой, оружием, от которого нет спасения, люди превратились в полудобытчиков, в полухотников, а то и просто в убийц-браконьеров, праздных, равнодушных истребителей всего живого вокруг, превратив в бродяг и попрошайек давнего союзника своего — собаку.

Дворовая, компактная челядь, как и назначено лакею природой, пошла по рукам, жрет со стола обьедки, дает лапу за сахар, и только самая свободная, самая гордая собака — лайка, брошенная человеком, возвращалась туда, откуда она тысячи лет назад пришла к человеку, чтобы помочь ему выжить и закрепиться на этой круглой, опасно вращающейся планете.

«Та хай воца живе и пасется!» — едва ли не вслух сказал Карпо Верстюк.

Но в это время на мысу, за метеопостом, гулко, раскатисто ахнуло — это из двустволки двенадцатого калибра ударила Копылиха.

Вот еще одно противоречие жизни: мышей баба боится, но на волков ходит!..

Верстюк начал поднимать карабин. Успокоившаяся было волчица вновь шевельнула хвостом, сметая из-под себя крошки камней, палую хвою и серый с песком перемешанный снег. Зубы ее снова оголились в просительном, извиняющемся оскале. И снова волной жалости омыло сердце человека. Но меж оголившихся, острых, еще молодых зубов волчицы багровела поедь. На серых волосьях вокруг хваткого рта, хищно заваливающегося в углах, смешанная с дикой пеной, желтела застывшая мокрота. Из нее, из этой пены, торчали как бы обмакнутые в красное волосья, уже чуткие, звериные. Волчица не успела обиходить себя, не вытерла мокрую морду о белый снег. Каждый острый волосок полнился от корней бесчувственным камешным налетом. И на каждом заостренном кончике волоса ягодкой алела капля крови, отчего серая морда выглядела алчно, и притворно притухшие глаза не могли ее загасить. Лукавое собачье притворство плохо давалось беспощадному зверю.

Карпо Верстюк и в самом деле был человеком чувствительным, слезливым от прожитых лет и потерь, от расслабляющего действия киноискусства. Но перед ним юлил хвостом, лицемерил враг, и он приставил карабин к плечу...

МНОЮ РОЖДЕННЫЙ

«О хитроумном Идальго Дон Кихоте Ламанском» и не только о нем рассказ этот. И Бога ради простите, что я, выражаясь по-старинному, пишу к вам. Говорили: «Велика Россия, но отступать некуда». А тут жизнь прожита и рассказать про нее некому. Но хочется. Никогда не хотелось, однако при «окончании пути» вдруг потянуло.

Одинокество доконало и меня, бабу общительную, бурную характером...

Почему я выбрала в исповедники вас? Не знаю. Не только потому, конечно, что в творческой молодости своей вы бывали у нас, хотя и нечасто пивали и не только кофей. Думаю, что доверие, которое вы вызвали последними вещами у читателей, в том числе и у меня, подтолкнуло меня к этому письму.

Так что сами виноваты — терпите.

Начинали-то вы, как и большинство ваших сверстников, не то чтобы лукаво, но как-то отстраненно от бед и нужд народных. Быстренько пристроились к сладкозвучному хору лириков. «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...» — очень проникновенно пел когда-то, даже в самые черные наши годы, Сергей Яковлевич Лемешев, он и до старости не перестал петь этот прелестный пустячок. Но одно дело петь про Лизочка в шестидесятые годы и совсем другое — в тридцатые. Всюду пели. Громко пели, помогая себе не только жить и строить, но и чтоб не слы-

шать, что делается в застенках, где люди кричали под пытками и с мученическими стонами массами погибали в краях, не всегда уж и сильно отдаленных.

Выходит, песня помогла не только строить, но и не слышать муки ближнего. Чудовищно!

Но стоп, стоп! Снова стоп! Я так никогда не начну письма к вам, а мне ведь надо еще успеть его закончить и отослать вместе с одной штуковиной.

Итак, о себе (хватит мне хлопотать за других и говорить о других. Устала). Итак, я родилась и до четырнадцати лет росла в семье московских совслужащих. Отец мой служил по экономической части в каком-то ведомстве, имеющем отношение к оборонной промышленности.

Мать моя была учителем-словесником. Обычная московская семья со средним достатком. По наследству или еще как, знать не знаю, отцу досталась обширная квартира в одном из старых домов на Рождественском бульваре и довольно хорошо подобранная библиотека.

Они-то, квартира и библиотека да старомодная шляпа мамы и пенсне отца, и сыграли, как я теперь догадываюсь, роковую роль в судьбе нашей небольшой семьи.

Кто-то хорошо знал маленькую семью, некоторую вольность в суждениях пачитанных родителей насчет текущего момента, разговорил словоохотливых совслужащих и продал по дешевке.

Я хорошо помню ту почку и потому, что такое забыть невозможно, и потому, что накануне мне исполнилось четырнадцать лет, у нас были гости, пили чай, немного вина, и мне высокоинтеллектуальные родители подарили на день рождения книгу «Дон Кихот». Подарочное издание с восхитительными иллюстрациями Доре. Они, родители, от этой книги были без ума, а я не очень — еще не пришел мой возраст и черед для литературы такого рода. Она, эта книга, как и жизнь, лишь с первого взгляда проста, потешна и всем доступна.

Словом, когда пришли они, книга «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский» забыто лежала у дверей, на подставке старого зеркала в коридоре. Я не скажу, что все произошло врасплох, но сказать, что мы — папа, мама и тем более я — к этому были готовы, тоже не возьмусь. Это, как болезнь и смерть, — всегда неожиданно, всегда не вовремя, всегда страшно. Прополка шла по всей стране. По Москве она шла особенно ударно, и, конечно, тихо по углам об этом шептались и, как курицы-несушки на

насте, сдвигаясь, заполняя опустевшее место, надеялись, что уж кого-кого, а меня-то не возьмут в отруб и в оцип — не за что — обыкновенная несушка с телом, истощившимся от старательного труда. Есть птицы покрупнее и пожирнее.

Сейчас почти все, пусть и не все, но известно, как они брали, и я повторяться не буду. Моих родителей брали, видимо, уже в ту пору, когда разгул карающего меча был широкий, размашистый, и они уже ничего не стеснялись, никого не боялись, и даже не особенно таились, понимая, что страх и время уже работают на них и честно работает на них сплоченный вокруг них передовой трудящийся народ. Обладающий повои, высокой сознательностью и моралью, он не подведет их в справедливом, очистительном деле.

И он их не подвел. Часть народа, и немалая, в сопровождении конвоя и собак брела покорным табуном на бойни, другая часть тайком вздыхала, плакала или улюлюкала на митингах, проклинала, подгакивала в спины, свистела и плевала вслед страдальцам посредством радио, газет и просто так, от избытка чувств и голодной слюны.

Вместе с деловитыми, спокойно свое дело исполняющими последователями железного Феликса в квартире нашей появилась парочка — он и она. Молодые еще, но в себе уже уверенные. Он — младший лейтенант в новенькой шинели и в нарядном картузе военного училища, этакий блеклешкий паренек с голубенькими глазами и окающим говорком. Мне еще запомнились ямочки на его пухленьких, горящих от внутреннего возбуждения щеках. Она постарше его, чернявая, вся какая-то правильно-прямая и лицом тощая. Она все чокала. «А это чо, Васечка?» — спрашивала, и Вася словоохотливо пояснял: «А это, Нюсечка, трюмо», «А это, Нюсечка, унитаз называется». — «А по чо он голубой?» — «Так ведь интеллигенция же, Нюсечка, затаившиеся буржуи, Нюсечка». — «А бильбаотека-то! Бильбаотека-то! Неужто они все книги читали, Васечка?» — «А чего ж им еще было делать, книжки читали да вредили, да контрреволюционные разговоры вели, Нюсечка».

Я как-то так поглупешно загляделась на этих, деловито по нашей квартире шныряющих людей, так их заслушалась, что и не заметила, как осталась одна. Стою, от-

тесненная в коридоре, к вешалке, и мне уж нигде нет места.

Тихо вдруг стало и пусто-пусто! Только те, двое, все шныряют, шныряют и удивляются умиленно: «Нюсечка — Васечка, Васечка — Нюсечка...»

Нюсечка и обнаружила меня в коридоре: «А ты чо тут делаешь, девочка?» Я стою и лепечу ей, жду, мол. «Чо ждешь-то?» — «Да когда вы уйдете, чтоб прибраться...» «Васечка, Васечка! — взвеселилась Нюсечка. — Ты послушай! Послушай! Вот умора! Она ждет, когда мы уйдем. Во, глупая! Во, дурная...»

Васечка, уже без шинели, в распоясанной гимнастерке со сверкающими значками «Ворошиловского стрелка», МОПра, ГТО, ПВХО и отдельно краснеющим па груди, над кармашком, комсомольским значком, больно ткнул в мою грудь коротеньким пальцем и правоучительно проокал: «Запомни, дорогая, — мы здесь навсегда селимса. Мы отсудова никуда и никогда не уйдем. А ты... Где твое пальцецо-то? Одевай-ко пальцецо-то и ступай, ступай себе...» — «Куда?» — «А это уж не наше дело, не наша забота...»

И я надела пальцецо, шапочку вязаную надела, рукавички. Нюсечка следила, чтоб я ничего лишнего не взяла. Помню, остаповилась я у дверей — страшно одной итги неизвестно куда, к кому и зачем. И вдруг увидела «Дон Кихота». Я взяла книгу, прижала к груди и спросила: «Можно мне? Можно, я возьму эту книгу?» Нюсечка выхватила у меня книгу, послонявила палец, полистала, фыркнула: «Срамотишша-то какая! — и, шевеля губами, прочла: — «Дорогой Леночке, доброй девочке в день ангела книгу о самом добром человеке!» «Ладно уж, — милостиво разрешила Нюсечка. — Мы тожа добрыя! Бери!» — и несильно, однако пастойчиво вытолкала меня за дверь.

На дворе все еще было темно, и остаток ночи я просидела на лестнице. Утром отправилась в школу. Директор школы куда-то звопил насчет меня. В тот же день меня оформили и увезли в специальный детприемник.

Дальше все не очень интересно.

Два года в детприемнике и специальная — заметьте, какая я спец! — и специально-исправительно-трудова колония для подростков. Мне восемнадцать — и специально-воспитательно-трудова колония для женщин, уже без обозначения возраста, но все же «специальная». В этой «специальной» я не выдержала и кончала жизнь са-

моубийством, но, видимо, несерьезно кончала и попала в специальный изолятор, где встретила с человеком, который во время первомайской демонстрации намеревался метнуть букет цветов с хитро заделанной вовнутрь гранатой на трибуну Мавзолея и убить товарища Молотова и товарища Кагановича. Почему Молотова? Почему Кагановича? А не всех сразу? Граната же! Сила ж!

Сколько товарищ этот ни доказывал, что дальше пятнадцати метров никогда ничего не кидал, а от демонстрантов до трибуны Мавзолея саженей сто, не меньше, тем более граната-то еще и в букете — цветы мешают полету, парусят...

Но там и не таких коварных врагов раскалывали, этому быстро доказали, что враг может все, и ничего ему не стоит даже государство взорвать, а не только букет на трибуну Мавзолея кинуть. Он тут же все осознал и признал, что да, каких только чудес на свете не бывает, теоретически возможно метнуть букет не только на Мавзолей, но аж через Кремлевскую стену.

Покуситель этот на жизнь вождей мирового пролетариата нигде не бывал, ничего делать не умел, баловался стишками, сочинял что-то и быстренько «дошел» в Комилесах до полных кондиций.

Когда я, вынутая из петли, обнаружила его в лагерной больнице, ни в нем, ни на нем уже ничего не держалось, рот от пелагры распялел...

Он был еще несчастней меня, и, как ни странно, я его выходила, ну и, вполне естественно, выхаживая его, ожила сама.

Мы полюбили друг друга. Вы, конечно, помните: «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним», ну так это про нас с Олежком — так звали моего возлюбленного. Он имел «червонец», не денег, нет, а десять лет сроку и пять — поражения в правах. У меня была «пятерка» — за принадлежность к контрреволюционной организации, стало быть, к нашей погибшей семье.

Когда моя «пятерка» завершилась, я сделалась вольнопоселенцем, отъехала маленько от тайги, поступила корректором-машинисткой в типографию и стала допытываться у возлюбленного: может ли он хотя бы прозой писать что-либо? О стихах не спрашивала — какие стихи на лагерных харчах?! Возлюбленный подумал и пообещал попробовать себя в прозе.

Посмотрела я его прозаические опыты и увидела, что

нисколько они не хуже тех творений, что печатались в нашей типографии. И подбила я своего суженого написать в свободное от работы время о стахановском труде на лесозаготовках. Поскольку здоровье у него с детства было никудышное, но как в пародии говорят, — «квельй, да башковитый», то первый роман он написал, находясь в лагерной больнице. Самые вдохновенные страницы того творения я зачитала начальнику политотдела «Ухталлага», и он рассудительно заметил, что книга нужная народу, однако сыроватая и трудового пафоса в ней недостает.

Я сказала, что насчет пафоса автор действительно того, слабоват, да и где ему было пабраться — с восемнадцати лет по лагерям и больницам. Вот он, начальник политотдела, весь из одного пафоса состоит, так и поделился бы им с автором, а он бы за это сверх своей фамилии его фамилию...

Задумался гражданин начальник, еще раз перечитал рукопись и вспомнил о совсем почти забытом русском слове ЧЕСТНОСТЬ. Гражданин начальник солидно заметил, что он там, в рукописи, кое-что подкорректировал, однако ставить свою подпись не станет — несолидно это, не по-партийному: один человек работал, старался, а другой возьмет и воспользуется плодами его труда. Но по-мочь даровитому автору обещает.

Хи-итрая я баба стала, ох хитрая! Попал мой Олежек в больничные санитары — мечта советского интеллигента со средними творческими способностями! Затем и на вольнопоселение попал, не спрашивал, чего это мне стоило и какими путями я этого результата достигла.

Насчет морально-этических норм, сами понимаете, в тех отдаленных Коми-лесах не очень-то уж строго и чопорно дело обстояло.

Н-да-а! Сдохла бы я, паверное, повесилась бы еще раз, но уже понадежнее, да дитя-го, мною созданное, можно сказать, рожденное, Олежка-то, куда же? Спасал он меня, спасал! И еще один хороший человек мне помогал всю дорогу — старый-старый дяденька — «Дон Кихот Ламанчский». Так и пронесла я ту книжку через все спец-воспитательные предприятия и организации, через все беды и расстояния. Помните, что говорит о себе старый пират Билли Бонс из бессмертной тоже книги «Остров сокровищ», умирающий от апоплексического удара в трактире «Адмирал Бен Боу» и требующий у доктора рому? А доктор, помните, очень грамотно его увещевает: «Слово ром

и слово смерть для вас означает одно и то же». А пират: «Все доктора — сухопутные крысы... Я бывал в таких странах, где жарко, как в кипящей смоле, где люди так и падали от Желтого Джека, а землетрясения качали сушу, как морскую волну... И я жил только ромом, да! Ром был для меня и мясом, и водой, и женой, и другом». Меня особенно умиляет, что ром был пирату женой и другом. Умели же люди писать!

А мне там, где люди особенно изнахраченные, растерзанные дети дохли от произвола, гнили от недоедания, морозов, вшей и всякой разной человеческой мерзости и проказы, мне помогал мой «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламанчский», которого много раз у меня изымали, но скоро возвращали. Этот тип человеческий был непонятен и чужд тем благодетелям, что окружали меня и вели политико-воспитательную работу среди провинившегося народа.

Лишь одна бандерша-зверина с довольно смазливим обликом жепщицы, вызнав мою слабость, отнимала и прятала моего «Дон Кихота». Я его выкупала за пайку. Я стала слабеть, и бандерша, как древние разумные кочевники, грабившие мирян, оставляя им половину урожая, чтоб не погибли кормильцы, милостиво отделяла мне половину пайки. Но, не глядя на всякие благодеяния, я дошла до того, что пыталась повеситься, да поясок от халата не выдержал моего хилого тела, порвался, однако, шею я себе свернула и с тех пор ношу свою головушку косо, оттого и делаю пышные прически, крашусь под алую, революционную зарю — все хочу скрыть дефекты моего недостойного прошлого.

С поселения мы съехали сразу после войны. В столицах нам жить не разрешалось, здесь же, в старом губернском городе, тетя и дядя Олежки домаивали срок свой земной. Терять им было нечего. В этой жизни они уже все потеряли. У них отняли дом, имя, гражданство, возможность ездить и ходить куда им хочется. На высылке эти кулаки потеряли детей, молодость. Им даровано было право работать только на химическом комбинате. Здесь они и добывали последнее здоровье. Они нас приютили. Мы их скоро и похоронили.

В том старом губернском городе срочно создавалась писательская организация, отовсюду собирались таланты. Мой романист тут пришелся впору и к месту. За два романа о героических делах лесорубов, о строителях-желез-

нодорожниках и за поэму в прозе о походе за сокровищами земли советских геологов был Олег Сергеевич принят в Союз писателей. Его даже на Сталинскую премию выдвигали, но не потянул молодой автор до паградных высот — сомнительное прошлое опять помешало.

По другому или по третьему, может, по десятому заходу началась облава на «бывших». Моего романиста тоже было за холку взяли, да и меня с ним заодно, однако на сей миг у нас была заготовочка в виде посвящения нового романа дорогому и любимому генералу, тому самому, что помог молодому автору в начале творческого пути делом и советом. Ныне этот чин трудится уже в Москве, в высоких сферах. О нас он и думать забыл, да все равно посвящение-то подействовало. Отлипли от нас бдительные товарищи, надо думать, уже навсегда, хотя все еще не верится, покой нам чаще все только снится.

Дурен, оравлен этот свет, напугана, сжата, боязнью пропитана душа российского человека. И это уже навсегда. И будь у нас дети, им перешел бы по наследству наш богатый душевный багаж. Но не судил нам Бог с Олейкой продолжения, и спасибо Ему — зачем нашей героической родине еще один трусливый обыватель? Она и без того задыхается от наждады, от скопища задерганных слабых людей. Спасибо высоковоспитательным колониям, где девочек пачками брюхатили высокоидейные воспитатели-марксисты, не менее гуманные советские врачи пластали их на гинекологических креслах так, чтоб больше «никаких последствий» не было.

Спасибо! Спасибо! И слава Богу, что пусть едва теплящаяся творческая потенция все-таки в человеке сохранилась, и хватило Олега Сергеевича на романы сказочно-романтического направления — они давали ему возможность сладко кушать и мягко спать. И вы напрасно его поругиваете то словесно, то печатно, совсем напрасно. У вас накопилась биография, у него ее нет. Ту жизнь, что провел он в лагерях по справедливому приговору самого гуманного, самого изысканного за всю историю человеческую суда, Олег Сергеевич помнит плохо. Он ее провел в бредовом сне, в бесчувствии и укладывается она у него в два слова: «Кошмар и ужас. Ужас и кошмар».

Я все сделала, что могла, чтоб он забыл тот кошмар и не вздумал его «отражать». Росточки его таланта так внешними, детскими и остались. Тяжелая работа не по нему, она его раздавит. «Кирпич» про балерину, сломавшую ногу,

и про старого путейского инженера, жившего с нею в одном доме, которые пежно друг по другу страдают, а на восьмисотой странице, измученные вздохами, наконец-то соединяют свои судьбы,— вот это литература! И запомните, вы с ним, Олегом Сергеевичем, начавшим восхождение в литературу, по совсем с другого конца, у него читателей было, есть и еще долго будет больше, чем у вас, у сурового, или, как Олег Сергеевич этически именует вас,— густопсового реалиста.

Наш лучший в мире, среднеобразованный читатель устал от суровой действительности, ему тоже хочется, хоть не в натуре, хоть на бумаге, сладенького, тепленького, ласковенького. Ему и доставляют продукцию на дом, по вкусу и по душе такие трудяги, как Олег Сергеевич. Умоляю,— не трогайте вы его больше — он выстрадал свою благоустроенную жизнь, ему — внимание читателей, сладкая еда и деньги. Вам — угрюмый, одинокий труд, слава, почет. Счититесь уж вы славою-то — свои же люди! Он ведь вам не переступает дорогу, не мешаег любить и ненавидеть, писать как вам хочется. Вот и творите разумное, доброе, вечное — «всякому свое» было написано на воротах одного из таежных строгих лагерей. Оказалось, что и это плагиат — списано с ворот фашистского лагеря смерти.

Так не будете больше обижать мое дитя? Обещаете? Ну вот и молодец! Вот и умничка!..

Это мне надо, понимаете? Я должна быть уверена, что дитя, мною созданное, не пропадет без матки, которую он высосал до дна и не заметил этого. Я это к тому, что дни мои сочтены. Побывала я в том заведении, которое зло именуют «Блохинвальд», и все про себя знаю.

Соцреалист мой благоустроен и пристроен. Любит-то он, как и многие современные особи мужского пола, не умеет, ненавидеть — тем более, по блудить, как и все творчески забывчивые личности, в свободное от работы время горазд. Пока я моталась по больницам, Олег Сергеевич завел себе Аллочку из детской библиотеки. Аллочка из простой семьи, не избалованная матблагами, умеет варить, стирать, содержать в чистоте квартиру, главное, печатать на машинке. Машинка-то, видать, и свела их. Раньше все печатала я и, вежливо говоря, малечко «корректировала» тексты творца, то есть незаметно правила — не любит мой романист, в отличие от вас, работать над текстом, да и когда ему это делать? Надо каждый год

выдавать по книге. Романы же его одноразового пользования — они почти не переиздаются. Вот и убирала я в рукописях хотя бы самые вопиющие нелепости.

Но Аллочка-то в рот романисту смотрит, все, что им написано, шедеврами почитает...

Да Бог с ними, как-нибудь на этом свете разберутся, главное, на надежных руках я свое дитя оставляю.

В Москве я не останусь. Туда, к ним поеду. Домучиваться. Олег Сергеевич, знаю, пышно меня похоронит и оплачет. Капнет его теплая слеза на эту холодную землюшку, может, просочится сквозь комки и хоть чуточку согреет меня. Коли на этом свете мне ни тепла, ни уюта не было, так хоть там немножко...

К концу дело идет, не пугайтесь...

Узнавши, что дела мои плохи, еще острее заболела я, еще одной неизлечимой болезнью русских людей — ностальгией. По прошлому. Коли у меня прошлого почти не было, я придумала его, и помогал мне в этом деле, хорошо помогал мой «Хитроумный Идальго». Словом, потянуло меня, как вы догадываетесь, на Рождественский бульвар. Нашла я наш дом, постояла во дворе и испытала все, что можно испытать в таких случаях, да и понагличала — смертнику же все можно! — позвонила в дверь, обшитую уже после нас багровым дерматином и означенную номером из медного или даже позолоченного металла.

И все что угодно могла я ожидать, только не это — дверь мне открыл знакомый по экрану известный киноактер, чего-то жующий. Смотрит на меня ясным, взыскующим взглядом. «Здравствуйте!» — говорю я. «Здравствуйте, здравствуйте! Вам чего? Автограф? Ручка есть?..»

А я уж и стоять не могу. Напереживалась. «Впусти-те,— говорю.— Я по важному делу». Посторонился артист, впустил. Смотрит уже пристальней: «Вам, может, валокордину накапать?» — «Накапайте», — говорю.

Выпила капли. Стою в коридоре и не могу понять, отчего в нем так тесно? Поняла наконец — библиотека в коридоре. По новой моде хрусталь в комнату, Пушкина и Толстого — в коридор, к двери. Старые книги, добрые книги — вместе с обувью. Запылились. И вообще запустение в квартире жуткое, запах тления сшибает с ног.

«Вы — один?» — спросила я киноартиста.

«Один. А кого же мне еще?»

Не сын ли уж тех хозяев, думаю, парень этот? Гово-

рок похож, волос светел, по более сродственного как будто бы ничего нет.

«Зять я, зять,— объяснил мне всеугадывающий артист, потом подумал и добавил: — С которого печего зять.— Подумал и еще добавил: — Кроме таланта».

Мне веселей стало. С талантами я управляться умею. Навыкла. «Вам,— спрашиваю,— когда-нибудь рассказывали о тех, кто здесь жил прежде?»

«До революции, что ли?»

«Да нет,— говорю,— до революции таких, как ваша теща и тесть, еще не было, не успели они еще на свет появиться».

«Верно,— говорит артист,— они моложе. Но вроде бы всегда тут жили, вечно».

«Они собирались жить вечно... Разрешите мне...» — показала я вдаль.

«Валяйте! — разрешил артист.— Да не разувайтесь,— и всхотнул: — Здесь не разуваются, здесь только раздеваются...»

«Ну я,— говорю,— нараздевалась за свой век. Не го-жущу уже по этой части...»

Одним словом, побеседовали мы по душам. Рассказала я этому артисту все и он кое-что мне поведал. Расстались друзьями. Есенина он мечтает сыграть в кино. Тренируется. На магнитофоне. С одного конца — подлинный голос Есенина записан: «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть! Что ты? Смерть? Иль исцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека...»

А с другого конца восторг артиста: «Гой ты, Русь моя родная, хаты — в ризах образа... Не видать конца и края, только синь сосет глаза...» — и почти неотлично. Ликом схож с Есениным мой артист, в профиль показался — вылитый покойный поэт. «Проведите, проведите меня к нему! — орет вслед за поэтом хозяин.— Я хочу видеть этого человека!..»

Я ему говорю: «Не надо, Валентин Иванович. Не трогайте Есенина. Нужно жизнь его выпеть и выстрадать, чтобы...»

«Ага, ага! Уж негушки, негушки! — расходился артист.— Пока выстрадаешь, и возраст есенинский пройдет. Он, голубчик, изловчился ржаную Русь в такую рань покинуть. Сколько уж нашего брата собиралось, но пока во ВГИКе да возле него колотятся, пока сниматься начнут,

пока авторитет завоюют... Семья, дети, суета, глядишь — и ку-ку!.. Не-эт, от меня Серега не уйдет! Я его осаврасю!.. «Мне приснилось рязанское небо и м-моя непугевая жизнь...» Ах, Господи!»

«Елена Денисовна, я вам пленочку по почте пришло на память, вам можно и пужно ее иметь. Вы-то выстрадали мою исповедь, а уж я как-нибудь своим умом обойдусь. До свиданья! До свиданья! Заходите, заходите... как к себе домой...»

«Да нет уж, Валентин Иванович, не могу я больше зайти... не осилю. Дайте-ка поцелую вашу буйную головушку. И уходите, уходите отсюда, если хотите сыграть светлого поэта, пропеть его ясную душу, высветлить его беспугную жизнь... За Оку, где уж, правда, не плачут глухари, деревни там пустые русские плачут, на родину его ржаную ступайте, подышите чистым воздухом, погорюйте, поплачьте...»

Вот и все. Надеюсь, не очень замучила вас? Вместе с этим письмом я посылаю вам пленку, подаренную Валентином Ивановичем. На ней не стишки, не сольные бредни Валентина Ивановича, на ней матерьяльчик, да такой, что моему разнеженному романисту умишко разжулькает. Господь уж с ним! Пускай сливочки ложечкой черпает. И все же самую большую мою ценность — «Хитроумного Идальго Дон Кихота Ламанчского» — я оставляю ему.

Вам уж, видно, судьба определила все только горькое вкушать и тащить на себе тяжкий воз гремучей правды. Да много-то не наваливайте на хребтину свою. Хоть и мужицкая спина, но сломается, ее раздавит, сомнет наша славная, емкая правда. Много ее накопилось, а таких, как вы, мало народилось.

Простите меня навечно. Храни вас Бог».

* * *

Рассказ Валентина Ивановича Кропалева, известного киноартиста, так и не сыгравшего Есенина на экране, названный им самим — «Возмездие», записанный им самим на магнитофонную пленку — в назидание потомкам:

«С чего и начать — не знаю. Начну, пожалуй, без интриги. Рожден северной деревней. Школа. Самодеятельность. Агитбригада, одержавшая на всесоюзном смотре творческую победу. С третьей попытки поступление во ВГИК, к великим педагогам — Герасимову и Макаровой.

Общежитие. Рижский вокзал. Разгрузка вагонов. Недоеды. Недосыпы. Гулянки. Веселье.

Была у Сергея Аполлинарьевича одна замечательная особенность: он всю виковскую группу забирал на съемки своих картин — кого снимать, кого плоское катать, кого круглое таскать, кого освещать, кого администрировать, чтобы удобрить и подкормить свой посев. Я долго таскал и катал. Потом освещал. Потом администрации помогал. Потом в массовку попал, потом в эпизод, а на четвертом курсе и роль получил, молодого, смертельно непримиримого и беспощадного к врагам революции чекиста. Научился кожанку носить, из нагана холостыми патронами палить, на коне скакать.

Премьеры! Аплодисменты! Творческие встречи! Автографы! Банкеты. Восторженные поклонницы.

На поклоннице я и спекся. Звали ее Викой, Викторией. Победа, значит. Сокрушение лирического полу. Я и оглянуться не успел, как оказался в постели, потом — в генеральской квартире. Увы, увы, Василий Васильевич Горошкин к периоду моего восхождения к вершинам кино и вашему возвращению из Коми-лесов взошел уже к своим вершинам. Нюсечка, Аппа Ананьевна Горошкина, к той поре тело пышное обрела, или телесную опухоль, на спецхарчах из закрытого спецраспределителя для избранных личностей.

Я сначала ничего не помнил, только ел и гулял, гулял и ел. А меня хвалили и показывали знатым гостям, как знаменитость среднего достоинства, вместе с твякающей Булькой — болонкой, умеющей ходить на задних лапах и даже плясать под святочный марш Дунаевского «Утро красит нежным светом», показывали вместе с иконами, африканскими масками, хрусталем, коврами и другими материальными ценностями.

Юга, курорты, спецдомики под названием «охотничьи», лихая стрельба в заказниках, шашлык, сырая звериная печенка. Киноведы в штатском. Официантки всех национальностей, форм и расцветок. Пьяные объятия. Поцелуи. Похлопывания по спине широченных начальственных ладоней...

Очнулся — не снимают. И не зовут сниматься. Сергей Аполлинарьевич и Тамара Макарова отворачиваются, руки не подают. Протесты. Жалобы. Истерики. Раздумья. Терзания. Зависть. Творческий застой. Первый длительный запой.

Упреки. Подозрения. Неоправдавшиеся надежды. Баба моя — Виктория — начинает кричать. Потом посуду бить. Пробует и меня бить. Однажды из-за ревности чуть нос мне не откусила. А куда же артисту без носа-то?

Стал я задумываться. Петь Николая Рубцова под гитару: «Буду поливать цветы, думать о своей судьбе...»

Раздумья были результативны. Я оглянулся окрест, и сердце мое содрогнулось: в какой же я свинарник по пьянке залез! Есть у одного, уже покойного, поэта, близкого мне по заоям, замечательное стихотворение о Мадонне Рафаэля. Это, значит, давняя уже история. Перед тем, как увезти обратно, вернуть немцам сокровища Дрезденской галереи, захваченные, — ой, простите! — спасенные нашими доблестными войсками, народу их показывали на прощанье и отдельно показывали великую Мадонну. Я ее тоже видел, но не скажу, что высоко оценил. Из деревни ж совсем недавно. Мне тогда руганый-переруганый Лактионов был ближе, чем божественный Рафаэль.

Да-а, и вот, значит, ходит и ходит один гражданин советский запущенного вида, глазает на прекрасную Мадонну. Аж подозрительно — чего он столько ходит-то? А тот ходил-ходил и: «В торжественно гудящем зале, где созерцалось божество, он плакал пьяными слезами и не стыдился никого. Он руки покаянно поднял, он сам себя казнил, крушил: «Я понял, — он кричал, — я понял, с какими стервами я жил!»

И я, как тот персонаж забытого стихотворения, тоже вдруг, о, вечное благодарствие этому вечному «вдруг», понял, где я нахожусь. Затем пытаюсь понять, что со мной? Зачем я здесь? А это уже гибель для персонажей данного сценария и жителей генеральского обиталища, — такие громады, как Василий Васильевич Горонкин, природой созданы не для того, чтобы думать, нет у них такого инструмента, которым думают, как у некоторых северных народностей не имеется элемента или железы, способствующей брожению овощей и всякой такой хмельной фактуры. Они ж мяса да рыбу едят и оттого погибают быстрее нас от алкогольных веществ.

Оглянулся я, стало быть, окрест...

Тихо на генеральской хазе, враждебно, больно и сумрачно. Генерал дома сидит — на досрочной пенсии, овсяную кашу варит. Нюсечка, теща моя, в стоптанных тапочках и в расстегнутом халате по пыльным комнатам бродит, матерится, курит, без конца звонит, новую домработ-

ищу ищет. Жизнерадостная болочка Булька сдохла от недогляда. Баба моя, енаральская дочь, тоже где-то бродит, что-то ищет.

С нее, с дочери-то, и начались качание и крен непотопляемого генеральского фрегата, без остановки першего по морям, по волнам бурной современности, напрямиком в светлое будущее.

Стали возвращаться из вами обжитых Коми- и других прочих лесов и тундр некоторые уцелевшие и не все память потерявшие репрессированные граждане. Не перевоспитанные до конца, не заломанные до основания, как ваш супруг, начали они не только романы строчить про ударные стройки в таежных даях, но жалобы строчили, петиции, требовали ясности, отмщения, справедливости.

И выяснилось, что папочка — наш Васечка — не за просто так готовое жилье со скарбом отхватил. Благородной души создание (человеком эту паду я не могу называть), Васечка усердно отработывал жилье и имущество. Выяснилось, что на Лубянке редко кому удавалось превзойти его в жестокости.

А тут бац! — моя баба, енаральская дочь, любившая крепкую еду, веселые компании и много на себе всякого барахла и блеска, была в нашем родном Доме кино остановлена одним «бывшим» режиссером и на ней опознаны были сережки жены режиссера.

Крик. Истерика. Мордобой. Расследование.

Нет жепы режиссера. И копцов нет. Зато там и сям по квартирам и дачам у лиц, неистово боровшихся за справедливость, за совесть и честь советского гражданина, обнаруживается золотишко, именнные ценности, произведения искусства, древняя утварь, книги, ружья, кинжалы, и даже паникадило из взорванного собора было наконец-то обнаружено.

Хрущев Никита. Двадцатый съезд. Доклад. Прения. Возмущения. Негодование. Встряска. Пьянка. Переустройство аппарата. Воскресение общественного сознания.

У Василия Васильевича Горошкина отнимают половину пенсии и изгоняют его из рядов капээсэс. Василь Васильевич сперва дома орал, потом по телефону: «Мало мы их, мерзавцев, стреляли!»

Телефон отключают. Дачу отбирают. Все гости и друзья сей дом покидают.

Я потихонечку, полегонечку от своей бабы и генеральских объектов делаю атанде. Шляюсь по Москве. Начи-

наю работать, соглашаясь сниматься в фильмах о неутомимых нефтеразведчиках, об азиатских кровожадных басмачах, где вдохновенно изображал большевика Василия, день и ночь рассуждающего о ленинизме, без усталости стреляющего богачей, умиротворяющего дикую азиатчину и на лихом рысаке, со знаменем в руке въезжающего в бедные кишлаки под крики «ура» и «ассалам алейкум»; играл честных и непримиримых милиционеров, даже на роль миллионера-капиталиста единожды пробовался, но мордой не вышел.

Баба моя, генеральская дочь, благодаря моей «руке» перезнакомившаяся «с кино», все чаще и чаще улетает на юг — джигитовать.

Прошу прощения! Забыл одну существенную деталь. Когда умерла Булька и в генеральском доме поднялся стон и плач по покойнице, я, в утешение дорогой теще Нюсечке, принес ей сямского котенка. Его кто-то моему, тогда еще живому, приятелю-поэту подарил. Но не кормил и не поил поэт животное — самому жрать нечего. Я и забрал котенка и принес от всей души дорогой теще в день ангела. Котенок вырос и оказался голубоглазой кошкой, которую теща моя — Нюсечка — любила больше всех людей на свете. Даже когда наступила разбухшими ножищами на детей своей любимицы, даже когда та порвала ей жилы и сухожилия на ногах, не позволила мужу уничтожить зверину.

Я что-то замотался, отвлекся от дорогой семьи, сам стал заниматься режиссурой, одну уже картину склеил, ко второй готовился, — глядишь, к старости лет и до киношедевра доберусь. Я из крестьянской землеройной семьи. Упорный.

К родственникам не хожу. Телефон у них обрезали и не ставят.

Однажды вдруг — опять вдруг! — встречаю свою нестареющую, развеселую жену в компании кавказских киноджигитов, и она мне сообщает новость: папа ее ободрился, телефон ему обещают вернуть, кричит всем, что не зря в справедливость верил и надеялся: народу и партии еще понадобятся такие ценные кадры. Может, и понадобился бы Василь Васильевич Горошкин, и пенсию ему восстановили бы, но он от скуки начал писать патристические поэмы разоблачительного направления, и однажды его увезли в спецсанаторий, «откуда возврату уж нету...».

Мама Нюсечка теперь все время с кошечкой. Ноги ее совсем не ходят. Лежит, романы про любовь да про революцию читает и просится на юг — грязями лечиться. Енаральская дочь слезно просила, чтоб кто-нибудь из киногруппы помог загрузить в вагон больную и беспомощную мать. Она хорошо заплачет. Пришел я с приятелем на Курский вокзал. Погрузил дорогую тещу с кошечкой в отдельное купе. «Есть же на свете люди, которые зла не помнят», — растрогалась теща.

Заметил, что голова тещи лежит на ультрасовременном дипломате аглицкого производства, и обе они, с дочерью, весьма заботливы к тому чемоданчику.

«Золотишко!» — допер я. Подозревал и раньше, что в родительском доме не все на выщелк, напоказ держится, есть кое-что и секретное, да не доискивался. Куда? Зачем мне это? Мы любое золото прошьем с ломпенами «Мосфильма».

За услугу мою бескорыстную пообещала мне енаральская дочь дать давно обещанный развод.

Прошел год, может, два. Я на съемках был в Тверской губернии. Телеграмма мне: «Валентин, прошу тебя появиться, это очень серьезно. Вика».

Я какой-то суеверный, дерганый сделался, бояться стал всего, что связано с семейством генерала Горошкина.

Объявился. Генеральская дочь одна в квартире и лицом что ночь темная, духом подавлена, телом растерзана.

Не стало моей тещи — Нюсечки. Исчезла теща. Испарилась. Вика по срочному вызову умчалась на юга и задержалась там. Мать осталась одна, и у нее, по-видимому, случился приступ. Телефона нет. Заходить к Горошкиным давно никто не заходил, замков на двойных дверях дюжина. Женщина и умерла возле двери. Здесь обнаружилось ее косточки родное дите, когда вернулось домой.

Генеральшу съела любимая сиамская кошка. Дотла съела. И одичала.

Увы, не жаль мне ни тещи, ни тестя, ни дочери ихней, ни даже кошки, да и себя уж как-то мало жаль.

Я незаметно испоганился, обрюзг душой и телом, во мне все истрепалось, будто в рано выложенном жеребенке. И когда генеральская дочь снова отыскала меня и попросила: «Валентин, поживи в квартире, потвори. Я съезжу кой-куда в последний раз, и развод тебе дам. На этот раз железно обещаю», — я опять сдался.

Она все еще не теряла надежды найти на югах богато-

го спутника жизни. Но южане шалить горазды, однако от семейных уз уклоняются, не то что мы, растяпы, — еще и не распробовали ладом, а нас уж в загс, под расписку!..

Вот так и оказался я там, где вы меня застали, любезная Елена Денисовна. Вот так вот, литературно выражаясь, и перекрестились наши судьбы.

Жена моя, бывшая генеральская дочь, нашла-таки чернявенького верткого торгаша, моложе ее лет на пятнадцать. Этот базарный джигит скорее всего оберет генеральскую дочь, завладеет московской квартирой и отправит ее или утопит в теплых водах родного моря.

Да мне-то что? Меня она ослобонила. Развод дала — и это главное. Но не свободен мой дух, совесть моя отяжелена воспоминаниями и на всю жизнь отравлена генеральским сдобным харчем. Хочу от этого освободиться посредством опять же всевыносливого кино. Склею фильм про семейство генерала Горошкина и сыграю в нем самого себя. Думаю, что вы согласитесь: хотя бы эта-то роль выстрадана мною и заслужена.

Великого русского поэта сыграть не достоин — реализуюсь в подонке.

Сценарий написан, план есть, и только никак не могу придумать, как научить кошку жрать покойника? Где труп взять? Может, денег накопить да за границей сторговать? Там же ж все продается и покупается. У нас за труп засудят и засадят. Покойников у нас всегда жалели и любили больше, чем живых.

Засим до свидания, Елена Денисовна! Будете в Москве, заходите. У меня есть маленькая квартира в Мосфильмовском переулке, что-то вроде жены есть, даже и киндер есть, на меня и на Есенина похожий.

Он будет расти и жить в другие времена, с другим народом, и может, удостоится роли великого поэта или сделает что-нибудь путное на ином поприще. Во всяком разе, я постараюсь воспитать его так, чтоб он прожил жизнь не так, как я, и не был бы никогда и ни у кого прихлебателем и шестеркой.

Низко и преданно Вам кланяюсь — Ваш нечаянный квартирант Валентин Кропалев».

* * *

...Лет пять тому назад я побывал в старом губернском городе, где начиналась моя послевоенная и творческая

жизнь. Среди многих дел и встреч не забыл я навестить и Олега Сергеевича. Старый, облезлый, совсем почти слепой, он по голосу узнал меня, обнял, заплакал, мелко тряся головкой, разбрызгивая слабые слезы, пытался вымолвить: «А Леночка-то... Леночка-то...»

Я попросил его сводить меня на новое кладбище, где среди многих уже могил моих товарищей по войне, по труду на заводе, в газете и в литературе, постоял и перед могилой Елены Денисовны.

Роскошно было убранство могилы. На памятнике, сделанном в виде развернутой книги, на одной странице из синевато-серого мрамора было крупно выбито: «Незабвенной Елене Денисовне — Дон Кишота наших дней».

На другой странице золотая лавровая веточка. Ниже — красивым витым почерком писана эпитафия, старательно подобранная самим безутешным вдовцом: «Я видел взгляд, исполненный огня. Уж он давно закрылся для меня. Но, как к тебе, к нему еще лечу, и хоть нельзя, смотреть его хочу». М. Ю. Лермонтов.

По бокам каменной книги стояли тяжелые мраморные амфоры, покрытые серебряной пылью — под древность. Олег Сергеевич и Аллочка садили в те вазоны цветы, но кладбищенские мародеры срывали их, и тогда они догадались втыкать летом — в землю, зимою — в снег алые розочки из пенопласта. Их еще не крали, но слышал Олег Сергеевич, что в столицах уже все с могил воруют, даже деревца выкапывают, и скорбящие люди проявили рациональную сметку: режут и рвут цветы на клочки, но он, Олег Сергеевич, этого делать ни за что не станет, и пока его ноги ходят, не устанет он каждый день носить цветы на печальную могилку и плакать по святой, нетленной душе современного Дон Кишота.

Олег Сергеевич так и не сдался, так, по-старинному, по-благородному и произносил имя всевечного чудака и бессмертного героя человечества.

ЛЮДОЧКА

Ты камнем упала.
Я умер под нм.

Вл. Соколов

Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад.

Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему-то втемяшилось в голову — звали ее Людочкой. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» И зачем я помню это? За пятнадцать лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло...

Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?

Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец — колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего, закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужских пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой.

Она росла, как вялая, придорожная трава, мало игра-

ла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо-старательная и до сплошных двоек не опускалась.

Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за семь верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах, так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, прями вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки.

Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме — и только. Когда Людочка домаяла десять классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город — устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим — мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом — налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет, — на старости лет, глядишь, и она им поможет.

Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя «мя-а-ах-канькия, пушистенькия, головенка, будто одуванчик, — от химии же волосья ломаться, сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась — ей не столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении.

Тихая, вроде бы по-деревенски скованная, но по-крестьянски сноровистая, она предложила подмести волосья на

полу, кому-то мыло развела, кому-то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тегеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы.

Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкомхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера.

Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспрохоза привезут машину дров.

— Покуль ты ученицей будешь — живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай, Бог даст, и жизнь устроишь. — И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: — Если обрюхатеешь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою.

Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала.

Жили у нее, давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашенные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки, без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта: курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет.

И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое, то пирожки с тарелки подьедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят, квартплату, пока десять раз не напомним, платит не торопятся. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать, — стали срывать чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью три первых огурца с крутой на-

возной гряды. Огурчики те, первые, Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз па которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренке, разговаривала с ними, с огурчиками-то: «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки! Потом мы вас в окро-о-ошечку-у, в окро-ошечку-у» — а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой.

— Вы зачем огурцы съели? — приступила к девкам Гавриловна.

— А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во-о-о какой купим!

— Не надо мне во-о-о какой! Это вам надо во-о-о какой!.. Для утехи. А я берегла огурчики..

— Для себя? Эгоистка вы!

— Кто-кто?

— Эгоистка!

— Ну, а вы б...! — оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела.

С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в Божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. Двоих наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе оттого, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалится — воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так как же иначе? Их, нонешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомутают и поедут на тебе, куда им захочется.

Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику — стригла машинкой наголо допризывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригала под раскольников страшных модников из поселка Вэпэвэрзэ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на

головах вертялых дискотечных девочек, как у заграничных хит-звезд, не беря за это никакой платы.

Гавриловна, почувяв слабинку в характере постоялицы, сбыва на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы на икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала «бонбенгом», еще «мамзином». Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой.

— Во-о-от она, наша работушка, а, во-от она, красотуля-то человечья, как достаетца! — поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. — Гляди, радуйся, хоть и бестолкова, но все одно каким-никаким мастером сделаешься... Чё тебя из деревни-то погнало?

Людочка терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую неприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в боласти Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножает совсем.

С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэвэрзэ, по-человечески — парк вагонно-паровозного депо, насаженный в тридцатых годах и погубленный в пятидесятых. Кому-то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.

Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно-ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнув-

шей корой, с рогаыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.

Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины — тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое-то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду — развесистая польшь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое-где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две-три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрыгнув сажень на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло — елки срубались к Новому году догадливими жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки оципывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями до такой степени, что оставались у них одна-две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят, дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак.

Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли ближней природой был парк Вэпэ-

вэрээ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей-то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рвань целлофана; иногда пронесло аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую-нибудь диковину: испутившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много-много всякого добра.

Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрээ и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно: портреты одни и те же, лозунги одни и те же; потом преобразования начались. Было: «Дело Ленина — Сталина живет и побеждает!» — стало: «Ленинизм живет и побеждает!» Было: «Партия — наш рулевой!» — стало: «Слава советскому народу, народу-победителю!» Результат местной идейной мысли тоже был: «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках» «И в ногах!» — дописал кто-то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде — так важно тут именовалась железная конструкция — не повялось.

Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынута сразу пять портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг: «Партия — ум, честь и совесть эпохи!» — примолкли даже железнодорожники.

В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского

завода с сорок второго года горят трехметровые буквы: «Наша цель — коммунизм!»?»

Ну, такая учителька долго в поселке Вэпэвэрзэ не продержится, домой ее воруют или еще куда отвезут.

В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, само собой, и «нечистые» велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу — убегла, физкультурница.

Среди вэпэвэрзэшников верховодом был Артемкамыло, со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка сколь ни пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом-паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались что липкие рожки из вокзальной столовой — сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиися, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемкамыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызенными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула вэпэвэрзэшного атамана стригущей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной патлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаманмыло всей вэпэвэрзэшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать.

Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк Вэпэвэрзэ в любой час, в любое время года, своей улыбкой отвечая на приветствия, шуточки и свист

шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы.

Один раз атаман-мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосьями как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким-то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та песуразная особа что-то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи. Любофь. А то...»

В загоне-зверинце и люди вели себя по-звериному. Какая-то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала среди площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Чё делат! Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?!» «Негу у него терпежу! — прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парень.— Спали ее, детушко! Принародно лиши невинности!»

Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла.

Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана-мыло — если нападут, чтоб заступился. Но Мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молоденький милиционер в нарядном каргузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милици-

онер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок тут же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врываются в загон, начинали гоить и ловить безластой курицей летающую, бьющуюся в решетки особь, может, девку, может, парня — ввечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, крови сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась: «Х-х-ха-ады-ы! Фашисты-ы! Сиксо-о-оты-ы! Педера-асты-ы!..»

«Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов и педерастов... Се-э-эча-ас...» — торжествуя или сострадавая, со злорадной тоской бросало вслед жертве чуть присмирившее стадо.

Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман-мыло выскользнет из тьмы и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении, дотащится до дома. Но какой-то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробьиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем-то тверденьким. Людочка — не гимназистка, не мучелка-крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое-что знала. Она сильно толкнула хлыща-танцора, но он тренированный, видать, не отпустился, зуб кривой скалил. Один почему-то зуб у него и виделся. «Ну, чё ты? Чё ты? Давай дружить, кроха!»

Людочка все-таки вырвалась из объятий кавалера и надала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла:

— Ужас! Ужас!..

— Во-от, будешь знать, как шляться где попало! — запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения.

Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня — не одна же шпана живет на свете, или пугного вдовца —

есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года — не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года-то к рассуждению, опыту и разумению, жёнская же молодость и ладность — к жизнеутешению и радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и ху-дому в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельный сгодится, и поселит их у себя — на кого ей, бобылке, дом спокладать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги-то, вон они, совсем ходить перестают.

— А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение: пошоркаются мушшына об женшину, женшына об мушшыну, разгорячатся и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталась, все мои танцы — в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были...

Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло, — иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии-то, сказывают, вон чего делается — содом, разврат и условия плохие: воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди; захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают...

Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие, — зато, если замуж, Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет.

Недосыпала, правда, Людочка, голову иногда кружило, и кровь носом шла, но она ваткой нос заткнет, по-лежит на спине — и все в порядке, не цаца какая, чтоб по больницам шлаться, да и посик у нее маленький, аккурат-енький, из него и крови-то вытекает всего ничего.

Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый

человек по прозвищу Стрекач. Более о нем сообщить нечего, Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в эспэвэрзэшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец-усов у этого под носом была какая-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные.

Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем: в школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шанцевый инструмент вроде резинок, шариковых ручек, значков, особенно настойчиво добывал жвачку, лобую, но в блескучей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотащили сердобольные учителя железнодорожной школы, Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было — малое население поселка приносило ему, как хану, дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление: в драке на трамвайной остановке подколол кого-то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок — три года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растаптывал скарб, рвал постели, мочился в банки с крупой и мукой, если была охота — оправлялся среди избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара!» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записочку ласковую: «Миленький гость! Пей, ешь, отдыхай — только, ради Бога, ничего не поджигай».

В благословенных, добычливых местах Стрекач прожировав почти всю зиму, но в конце концов его все же

взяли — и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных.

С тех пор и обретался герой поселка Вэпэвэрзэ в исправительно-трудовых лагерях, время от времени прибывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск.

Здесьняя шпаша гужом тогда ходила за Стрекачом, набиралась ума-разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по-мелкому ошпиывал свою команду, то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя.

Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка Вэпэвэрзэ.

В тот летний вечер Стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине-плахе. Рукава красной, со ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки, модерновые электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях; в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото; нежно-васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии — одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, — где-то недавно «занятый», то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали «фрак» из бурьяна и, ошипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом-Мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет, изречение: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайко».

Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток-другой и передавал ее услужливым корешкам.

— Ба-бу-бы-ы-ы-ы! Бабу хочу! — тоскливо баловался словами Стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченые зубы у него из-под усов торчали, а был полон рот камешника, и, сжигаемый неумемной страстью, он крошил камень — «аж дым из рота!».

Парни тарасились на такого редкостного человека и успокаивали его:

— Будет тебе баба, будет! Не психуй. Вот массы с тан-

цев повалят, мы тебе цыпушек наймаем. Сколько захочешь... Только вино все не выпивай...

— Ш-шыто вино-о? Ш-шыто гроши? Ш-шыто жизнь? — Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатавал голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он, и понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время.

— А-а, вот и хорошим девочкам идет, он чего-то нам несет,— встряхнулся Стрекач.

— Это Людка. Ее трогать не надо,— потупился Артемка-мыло.

— А шту, он балной или селка?

— Больной, больной...

— А нам су равна, а нам су равна... хоть балной, хоть какой, нам хоть ишачку...— Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясок плаща Людочку.— Куда спэшишь, дарагая? Подожди, нэ спэши, познакомится разреши...

Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее.

— Харр-раш-шо-о-о, что сопротивляешься, дарагая! Это дядя любит... От этого дядя звереет. Не вертись! Сядь, фря!

Людочка не садилась.

— Какая я вам фря? Я Люда. Да отпустите вы меня!

— Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем.

— Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой сине блю-удечко,— будто не слыша корешей, пропел Стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы.— Ты понимаешь, дя-адя хочет? Дя-адя! Хочет! И чему тебя в школе учили?

— Ничего я... ничего...

— Ты скажи! — хохотнул Стрекач. — Она брезговат!.. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто? — Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку.— Пах-хади! Пах-хади! Нэ спэши, дарагая!.. Н-нэ спэши!..— Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю.— Н-не кудахтай, курица! — С треском рванул на ней платье.

Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее

вырывалось только: «Усу... усу... усу...». И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей казалось — взвизгнула на весь белый свет.

— Во, любовь! — качнул Артемка-мыло кудлатой головой за скамью.— С песнопением...

Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули:

— Мы поглядим?

— Смотрите. Мне что? — пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.

— Да не вертись ты, паскуда! — раздалось из бурьяна.— Ну, куда ты? Куда? Там же ж горячая вода... Ты уймешься? — Стрекач бил куда-то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян.

Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнуло дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось.

Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с «фрака», с нарядной рубашки что-то и иступленно лаялся:

— А-а, кур-р-рва! Облевала, весь фрак вокзальным винегретом завесила.— Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал: — И шшш-ка-ар-ры! Шкары! — Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.

— Не-е, мы наших ждем. С танцев... мы...— залепетали парни.

Стрекач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные.

— Ы-ышшшш-те, фраера! Запачкаться боитесь? — свистел он в дырчатые зубы.— Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет! Не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде? — Стрекач затолкал парней за скамейку, в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил: — И не киксовать!

Людочка слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, пагыкалась на кусты, между приступами рвоты чихала и все чего-то искала, искала, собирала рванье на груди.

Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку-атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее, скомканную, изорванную, Артемка-мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она:

— М-мыло! Мыло! Мыло!..— Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом, через объединенный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить: — Мыло! Мыло!..

Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание.

Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что-то холодное, скользкое, сунула под себя руку — клеенка. Гавриловна — бережливая хозяйка.

— Очнулась? Вот и хорошо. Вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое... Попей, попей и не дрожи, не дрожи-ы,— миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна.

Людочка сперва жадно, с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую-то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой.

— Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее износу не знает... И родится баба не под нож, а под совсем другое... Ну сорвали плонбу, подумашь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало беруг, тьфу нонче на эти дела... А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу! Ох, накручу!.. И ты тоже хороша! Скоко я те говорила: не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лахудры да шпанята табунятся! Так нет, не слушаешься старших-то...

— Я к маме хочу.

— К маме? Да и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующей доложу и уберусь за тебя в парикмахерской-то, ты ж убираешься... Во-он у нас, что в твоей светлице!.. Уберу-усь, хоть на раскоряку, да ползаю ишшо.

В родной деревне Вычугаи осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то, давно еще, пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем».

Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, с едва натоптанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще, деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку раторопную жалицу. Яблонька на всполье что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась?

В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки крупные да румяные налились на нагом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру...» — поддакивали ей.

А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый, плоский ствол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньке. Еще одной. «Эдак вот, — пророчила Вычуганиха, — одинава середь России кол вобьют, и помянуть ее, печистой силой изведенную, некому будет...»

Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, немело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, запова учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить.

«Недостойны, поди-ко, — лепетали они, — материмся,

выпиваем, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загнувших мужиков...». «Все мы — грязные твари, веры в Него недостойны. Но надо стремитца», — наставляла строгая Вычуганиха.

Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называющейся по-нездешнему — «шпроты», на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, — туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и затрепину схлопотала.

Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать-и-мачехи и следом солнечно зацветшей купавой, курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена — корова на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Олена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Олену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала.

Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепления и оплота деревеньки Вычуган — самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, посидели, выпили, поговорили, — поди-ко Вычуганиха была последней из рода вычуган, основательницей села.

Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за

поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу.

— О, Господи! Вот кто у нас пожаловал! Вон кого кот навораживал... — Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, петоропливо наслаждаясь печальной минутой отдыха, продолжала: — Я еще утресь обратила внимание — валяются и валяются на шесток головни — гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут эвон что! Чё притолоку-то подпиралась? Проходи. Чай не в чужой дом явилась.

Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но пронизательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои сорок пять лет, мать с ходу уяснила — с Людочкой стряслась беда: бледная, лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличие. По тому, как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, — ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед-то, напастей, впереди, ох-хо-хо-хо-нюшки...

Поскольку со всеми своими бедами-напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано — терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, — пусть сама со своей ношей, со своей долей управляет, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой или Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком-пьяницей, худо-бедно подняла, вырастила дитя, падо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в пей, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить.

— Ты на выходной или как?

— Что? Да-да...

— Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц... Яйца наши не то что ваши, городские, желток у них будто солнушко... А сам меду накачал. — Мать качнула головой, рассмеялась: — Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флагу подготовили... Мы ведь переезжаем в лес-промхоз. Как рожу... — Она убрала улыбку с губ, сморщила отекшее, сипшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато: — Надумала вот на исходе четвертого-то десятка... тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит... а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем...

Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но скорее всего в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски — если бросит мужик, так меньше плакать.

— Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так...

— Ну так дак так, па так и спросу нет. А пам деньги нужны. Может, хоть сот пять дадут на шифер, па стекла. Да кто даст? Кому он, этот дом, пужен? Деревня эта Богда кому пужна? — По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темпеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом среди зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клипышек — накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничий с центральной усадьбы.

— Ох-хо-хо, что-то с нами будет? Кому от этого разора польза? — спросила мать пространство и, не дождав-шись отклика, промокнула лицо сырм чинешым фартуком. — Ну, я достираю, а ты Олену подои, дров принеси. Сам-то после смены па доме кологится; поздно приедет, голодехонький работник. — В голосе матери проскользило что-то даже похожее па ласку. — Похлебку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана — от помочи осталось маленько, может, и выпьете с устатку...

— Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь.

— Вот и хорошо. Вот и хорошо... — напевно начала мать, думая о чем-то своем. — Чё же ты стричь-то? — спохватилась она. — Да ладно. Научишься когда-нито. Не боги, как говорится, горшки обжигают, — все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. — А что пить не научилась — ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и развращенье. Это она нашу деревню надсаженную доконала, пагуба эта. — И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже: добавила: — Так, видно, Богу было угодно...

— Все теперь о Боге вспомнили! Все с упованием, с жалобами к нему, как в сельсовет... — начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены — мать не слушала и не слышала ее.

И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжают там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому.

Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку.

Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчине — как он трудно, однако азартно врастал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пиллой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощь друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком — воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо, имал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали стог, управлялись наверху, отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему.

Дометывали они последний стог на берегу реки вдвоем — мать убежала управляться по дому, варить еду. Ког-

да закончили метать стог и, как умели, обвязали его верх сплетенными прутьями — от ветра, — отчим махнул рукой на обмысок: «Ступай туда, а я очешу стог».

Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сенную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям, хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметававшим добротного, едового сена. Корм корове — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму.

Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.

Мужик с бритой, седеющей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забежал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сторевшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека, — Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло или настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.

Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была душой, она в уединенности своей ого-го-го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди — и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особо же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но пужна-то не Америка, а дата — и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове

гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!..»

Людочка упяtilась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.

— Да где же ему было купанью-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь-то ох-хо-хо...— Спohватившись, мать построжела и, словно кому-то доказывая, продолжала: — Но человек он порядочный, может, и добрый.

С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет...

— Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?

Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:

— Ну что ж... коли надо, дак...

— Х-ха, быстро-то как! — удивилась Гавриловна.— Что у родителей-то, тесно?

— Они к поезду готовятся.

— К поезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь... Чем родители порадовали?

— Да вот.— Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревки на всю деревню понаделали. Крепких. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, прядла, починяла и зыбала ногой

люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю-баюшки, баю, не ложися на краю... А ты все ревешь... Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того...»

— Чего плачешь-то?

— Маму жалко.

— А-а, маму? Меня вот и пожалеть некому...— Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: — Ты вот чё, девонька... хым... хым... стало быть. Артемку — банное мыло-то забрали... Исцарапала ты его шибко... примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое... от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят...

Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко где-то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.

— У меня ведь и всех благ — свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым — вшей обирать... Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить — одеколон разбавляла... Я ведь и по тюрмам стригла. На легкую-то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели...

— Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду.— тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то.

— Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет... утомлятца он на воле быстро... Он засядет, а я тебя и созову обратно...— Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: — Господи! Да отчего же это добрым людям покоя-счастья нету? Зачем оне вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..

Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с централь-

ной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, она не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах-сквозняках с воспалением-то легких.

Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.

Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру.

Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за два года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, этакое угомленно-капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» — и брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирей и чирей. Лезуг со всякими пустьками!» — последовало заключение.

Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там в непригодном для сложных операций месте вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно — от гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый че-

ловек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть.

Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты, по просьбе больных, переместили в коридор, за печку.

Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук «псих, псих, псих...», будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом.

Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческого, она приложила ладошку к лицу парня — голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие — различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «усу... усу... усу...».

Издревле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали: мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку, иль недокурив последнюю папироску, или что-то в этом роде — уходили парни в бой, а тут вот — на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к «рано ушедшим на кровавый бой».

Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных-то у него нету...

Людочка принесла что-то похожее на табуретку, с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от

жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы, так, с пятого на десятое что-то похватала от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих: «Боже праведный! Боже преславный... Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные... огневицу угаси, врачebную Твою силу с небеси пошли...»

Парень слабо шевельнул пальцами — он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца»: «Отговорила роща золотая... любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе... И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил... а еще скажи слово прощальное: передай кольцо обручальное... чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить...»

Чего Людочка только ни говорила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти.

Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала.

Встряхнулась она от слабого стога, похожего на щечьяе поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце и подумала: может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе — не для того он плачет, чтоб было облегчение, плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас вот, умирая на больничной койке, за облупившейся, грязной печкой, — совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему.

Отчего так суетно милостивы, лгтивно сочувствующие люди возле покидающего мир человека? Да оттого, что

они-то, живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого, точнее они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаянием, выражающим горе, не скрыться им от самого пронизательного взора — взора умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной.

Предают его живые! И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыханье, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему.

Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся — он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению.

Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да-а, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином...

Рука парня свесилась с кровати, рот, жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно, медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья.

Людочка, ровно бы уличенная в нехорошем, тайном поступке, постояла, одернула халатик и крадучись пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила: «Отмучился, горюн»; как

выносили мертвого па носилках, как складывали и убирали матрац и койку...

С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испытать чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия — пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда, зачем?

Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Ну даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам.

О-о, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание...

Да хотя бы те же барыньки-декабристки.

Но по делу если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку иль обиду глаза друг дружке выцарапывают, мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что...

Людочка неожиданно подумала об отчине: вот он небось из таких, из сильных? Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время, их, деревенских школьничмакодявок, подвыпившие парни молодецко-весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего...

Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб «саранопалы» не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать Стрекачом, незаметно подгалкивали за скамейку.

— Вы чего?

— Да ничего! Насчет картошки-дров поджарить соображаем.

— Ишь какие! Разохотились!

— А чё? Теперь все равно, плонба сорвана, как Гавриловна бает, мышеловка наготове, знай имай мыша...— выпившие молодцы ээпэвэрзэшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство Стрекача под самый корень! «Чем тебя породил я, тем тебя и убью»,— вспомнила она хохму из чьего-то школьного сочинения.

О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла, хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула: мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский тебе это стройотряд, не бардак под названием «десант на колесах», пусть, мол, «мохом грех ейный хоть маленько обрасстет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам Его страдальческим будут они, богохулки».

— Жаль, нету вашего вождя — такой видный кав-

лер!.. Жаль! — повторила она вслух и погромче сказала в темноту: — А ну отвалите, мальчики! Хватит! Одно платье порвали! Плащик спортили! Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь.

— Душ! Да смотри: любовь и измена — вещи несовместимые, как геций и злодейство.

— Ишь ты, грамотный какой! Отличник небось?

— Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача, испытываешь мои способности, похвалишь.

— А ты мои.

Людочка и переоделась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврикe возле дивана, придвинула было листик бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку, нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне: «Пока!» — вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошики, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обо-его пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль да тут же и другая мысль перебила первую: там, в лесу-то, стрекач на стрекаче, и все с усами.

В парке она отыскала давно уж ею замеченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец — все-таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое: варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и skutать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла — в ее деревне лег уж десять лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубить петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, не научилась материться...

Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы.

Людочка взобралась на клык торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее

голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный... Ну не достойна же... — и перескочила на тех, кто ближе: — Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите! И ты Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли Ты?.. Если есть, прости, все равно я значок комсомольский потеряла, никто и не спрашивал про значок. Никто и ни про что не спрашивал — никому до меня нет дела...»

Она была, как и все замкнутые люди, решительна в себе, способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный.

Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь — такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло, давай свертываться, стихать, уменьшаться и, когда сделалось всего с орешек величиной, покатилося, покатилося вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту.

И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа?

— Ну, чё она, сучка, туфтит, динаму крутит, что ли? Я ей за эти штучки...

Один из парней, томившийся в парке Вэпэвэрзэ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами ряду тополей.

— Когти рвем! Ко-огти! Она...— разведчик мчался прыжками от тополей, от света.

Через час, может, и через два, сидя в привокзальном зашлеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык во-о-о какой вывалился, и с ног что-то капало.

— Ну дает! — ахали кореши.— Ну сделала козла... О-ох, падла! Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться... я бы показал...

— Это ж надо! В петлю! Из-за чего!

— Надо Стрекача предупредить. Грозился же...

— Ага, обязательно. Когтистый зверь, задерет. По последней, братва, по последней. Вы-ы-ыпьем, бра-ат-цы-ы, удалую за поми-и-ин ее души-ы-ы.

— Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали...

— Э-эх, идиотина! Жить так замечательно в на-ашей юной, чудесной стране-э...

Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились, там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет — чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить.

На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями — шел дождь, она береглась, но забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносило вой ночного зверя или потайной, лешачьей птицы выпь: «Уу-у-у-удочка-а-а-а...»

Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались, и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки.

После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка и завопила: «У-у-удочка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со

школьной фотографии. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку.

— За дочку, за дочку держала, — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. — Все пополам, каждую крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать... Да голубонька ты моя сизокрылая... Да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..

Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, паплакавшаяся и вроде бы неживая.

Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» — и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», — просила она.

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю», — и, накинув на себя болоньевую куртку с вязанным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпвэрзэ и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека — Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развываясь на скамье, парень

не парень, мужик не мужик в малиновой рубаше, с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

— Чё те, мужик?

— Поглядеть вот на тебя пришел.

— Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

— Так, значит, ты и есть пахан Стрекач?

— Допустим! Штаны спустим...

— Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! — Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. — Эт-то хоть не погань, обсосок! Бога-то хоть не лапайте, людям оставьте!

— Ты... ты... Фраер!.. Да я те... Я те обрезанье сделаю. По-арапски! — Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вождедением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.

— Э-э, да ты еще и пожиком балуешься! — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо-молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубашой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами — не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдерживались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж

на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов.

Из зелено-черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не слышать.

Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпэвэрээ прыгнули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза.

Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь.

Вэпэвэрээшное кодро — шестерки Стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни-вэпэвэрээшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его в том месте, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клочкотало всеокрушающее, жалости не знающее бешенство.

У-у-уы-ы-ых! У-у-у-уы-ы-ых! — доносилось из угробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не выдающими.

Пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колушающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рискованные предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хилыми извилинками в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище,—

житуха ох какая нефартовая, ох какая суровая и, пожалуй что, пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому дело движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда «здрасьте!», тогда под крыло такого вот пахана...

Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто-то к трамвайной остановке ринулся — вызвать «скорую», кто-то — в старые бараки с двумя-тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном «художестве» сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно-трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и возвращенного.

Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропой, обрезок пестренькой веревочки, почему-то не отвязанной милиционерами. Какая-то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему-то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя молвил:

— Что же ты не обломился, когда надо? — и с внезапным неистовством, со все еще неостывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое-то время, исподлобья паблюдая, как по исковерканному кочковатому парку, ковыляясь, ошупью пробиралась к канаве машина «скорой помощи». Он закурил. В белую машину закатывали комком что-то замьтое, мятое — текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны,

где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бугылки, переборол себя — заметно это было — и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке.

В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена, — шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, дождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взяться на высокую железную ступеньку, место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница?

Мать Людочки всегда чуяла в «самом» затаенную, ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней, да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка, оно скрепит нас, на плаву жизни удержит... А за твою доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь... Я зла никому не делала и ее погубила не со зла... Прости, прости, прости...»

Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами, но «сам» вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она несмело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему, и показалось ей, или на самом деле так было, он припустил плечо, чтоб ловчее и покойней ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел.

У местного отделения УВД так и не достало сил и возможностей расколоть Артемку-мыло. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка-мыло в училище связи, не в то, где пэтэушники работают с мудренными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же, не иначе, Артемка-мыло скоро женился, и у него по-стахановски, быстрее всех в поселке через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дите, улыбочливое и веселое. На крестинах отец Артемки-мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папино мозговать не сумеет, с какого конца на столб влезть — не сообразит.

На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, сто пять квартирных краж, пятнадцать налетов на прохожих с целью снятия одежды, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего восемь, угонов транспорта — тридцать два, налетов на дачи одиннадцать. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на один и семь сотых процента.

Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря — садуру, наложивших на себя руки.

БЕЗ ПОСЛЕДНЕГО*

Зимней порою пятьдесят четвертого года в качестве корреспондента газеты «Чусовской рабочий», прозванной ее бойкоязыкими сотрудниками «Очусовелый рабочий», я прибыл на лесоучасток Мыс, чтобы описать передовой опыт обрубки сучьев. За бытность мою в газете я описал и обобщил уже не один передовой опыт, мог бы сотворить и этот, не выходя из редакции, но все же «на месте виднее», и потому я мотался по лесопромхозам, в ботах, называемых «прощай молодость», черпал ими снег, глазел, как валят и пилят лес, превращая его в «кубики», грелся у костра, слушал жалобы, анекдоты военных лет, хлебал вместе с лесорубами переболтанную теплую похлебку, заедавая ее мерзлой рябиной, ясно уродившейся в тот год.

Если бегло пролистать историю человечества, то сразу же обнаружится скачкообразность его пути. Все вроде бы налаживается, набирает ход, вот уже и путь означен и цель ясна, вот уже идет к светлым далям дружными рядами, сплоченное верами и идеями радостное человечество,

* Рассказ "Без последнего", как видим, написан В. Астафьевым в 1968 г., "в стол", ибо не нашлось желающих его тогда напечатать, но, как гласит мудрость народная, шила в мешке не уганшь: писателя продолжали терзать бесчисленные и страшные страдания народные, прорвавшиеся в произведениях 80-х годов и тогда же напечатанных. Рассказ "Без последнего" по своей тематике, стилистике настолько близок к ним, что коллектив, участвующий в подготовке собрания сочинений писателя, счел целесообразным поместить его именно в этот том.

вот уже на рысь переходит, но хоп — преграда! Порой совсем пустышная — какой-нибудь пень, какая-нибудь колода, но человечество повалилось, давит само себя, копошится, ползает, озлясь, рвет друг друга зубами и руками.

Ну что такое сучок на могучем земном дереве? Заколючка, подставка для пташек, проросток для хвои да листьев. Ан уперлось в сучок человечество, не знает, что и как с ним делать! Дерево валит запросто — сучок одолеть не может. А все оттого, что сучков на дереве очень много и все их надо аннулировать, чтоб из дерева сделать голое бревно, годное на бумагу, брусья, шпалы, доски, рудостойку. Уперлось человечество в сучок и никак не может двинуться дальше, чтоб подчистую оболванить землю, сгубить леса и поскорее без них сдохнуть.

Уже к середине пятидесятых годов нашего века существовали сотни, если не тысячи методов борьбы с сучком, и все методы передовые, экономически выгодные, сулящие быстрое продвижение по линии прогресса, а значит, и благосостояния человека. Но сучок! Сучок проклятый торчит, не сдается и все еще спасает нас и землю нашу от гибели.

На сей раз передовой опыт заключался в том, что сучки не обрубали, не спиливали, их обдирали петлей стального троса. Перекидавший всевозможные сучкорезки, ножницы, топоры, пилы, я должен был в мысовских лесах обозреть петлю, изобретенную якобы техноруком лесоучастка. На самом же деле оказию эту выдумал какой-нибудь московский хитроумный кандидат наук, скорее всего дальше Марьиной рощи ни в каких лесах не бывавший.

Описание «чуда технической мысли» появилось в журналах, технорук, углядев новшество, не поленился изложить его на бумаге «своими словами» и предложил внедрить, как свое, нисколь при этом ничем не рискуя. На лесоучастках никто ничего не читал, в том числе и мои страстные статьи, тем более технические журналы. Сучки, как в каменном веке, обрубались тупыми топорами, только топоры уже были железные, плохо насаженные на березовые обрубки, отдаленно напоминающие топорыща. На обрубку сучьев сплошь ставились молодые бабы и девки, как правило, завербованные из безлесных краев. Рубили они чаще не по сучку, а по коленке и потому в ряд лежали на нарах в рабочих бараках, будто раненные бой-

цы в палатках фронтовых медсанбатов во время наступления.

Вместе с мужиками, но большей частью бабьем, толсто и неловко для работы в лесу одетыми, я забрался в крытые тракторные сани, посреди которых в ящике, засыпанном землей, стояла бочка с трубой. Дверь дощаной избушки на полозьях примотали проволокой, технорук спросил: «Все ли сели?», обозвал кого-то, не вышедшего на работу, гадом или филоном, сильно постучал в переднюю стенку фургона кулаком, впереди зарычал трактор, сани дернулись, и мы поехали по льду через речку Усьву. Сани задрало, из проруба бочки посыпались угли, вокруг нее задымились окурки, вспыхнули бумажки, трактор, грозно рокоча, волок нас на крутой берег, но скоро напряжение спало — мы ехали по дороге, пробитой по руслу речки Талицы.

Лес вокруг Мысовского участка вырубали передовыми и иными, большей частью варварскими способами, лесосеки были от участка далеко, доставали древесину по таким вот горным жилам, в прах растерзывая чудные рыбные, ягодные речки. Древесина влетала в такую копеечку, что сама себя дороже выходила, но все равно ее упрямо валили, прибывая к месту работы в полдень, возвращаясь с работы к полуночи.

Словом, ехать нам предстояло далеко. Женщины раскочегарили печку. И хотя в щели избушки сквозило, задувало снег, от красно налитых боков бочки так пекло, что разморило недоспавших людей, и они задремали сплошь, навалившись по-братски друг на дружку.

Не спал лишь технорук, молодой, вертлявый, до мерзости распущенный, совершенно технически безграмотный парень. Однако он быстро смекнул, что в темном лесу, в дремучем заготовительном певежестве можно командовать и ему, как он хочет, карьере можно какую-никакую слепить и деньгу подзашибить.

Совсем было скис технорук, когда учуял, что лесозаготовительное дело я знаю не только по газетным статьям. Но я дал ему понять, что «петлю» ни сном, ни духом не видал, что поражен простотой открытия и смелостью мысли новатора. Мне остается лишь пройти, увидеть, обобщить...

Рассказавши два-три полуприличных анекдота, которые в изложении этого парня получились гаже самых поганых, молодой начальник, спавший в кабинете с вер-

бованными сучкорубками и приписывавший им за это в нарядах кубометры, к радости моей, тоже унялся, запахнул полушубок, упрягал лицо в поднятый воротник и, похозяйски навалившись на деваху-соседку, сонно расквасил губы.

Сани качало, подбрасывало на ухабах, в щели все больше струило снегу, труба дребезжала, в дверцу бочки негнет да выпадали угли, по все уже вокруг бочки выгорело, лишь чадила земля и шипя пузырились на ней плевки. Поверху, по стенам фургона все чаще царапало ветками, все сильнее дергало сани — трактор-трудяга бил путь в нанесенных за ночь сугробах.

Я подбросил в печку дров. Они сразу же разгорелись, по отемнелой коробке метнулись отсветы. В дальнем конце фургона, среди бабенок, сомлело навалившихся на него, сидел человек неопределенных лет. Был он тесно прижат в угол и в то же время как-то обособленно сидел, тупо глядя на вновь заалевший бок печки. Лицо его было обнаженно-костляво, глаза тусклы, отдаленны, сухо сжат был морщинистый рот. Одег он был не очень тепло, зато многообразно — в казенную шапку, слежавшуюся на затылке от носки и времени, с завязанными тесемками — чтоб шапка не спадывала, вместо шарфа обернуто казенное рубчатое полотенце, серое от пота и грязи, руки глубоко засунуты в рукава бушлата, многожды прожженного, драного, пестро покрытого заплатами.

Я видел этого человека в столовой лесоучастка. Технорук небрежно, как о чем-то досадном, сказал, что тип этот выслан в отдаленный район Урала на лесозаготовки после освобождения. Я много встречал разного народа в леспромхозах, не удивлялся уже ничему, даже когда один лесоруб назвался сыном писателя Свирского и попросил за это поставить ему двести граммов. Между прочим, «сын» не знал, что папа его написал «Рыжика», и шибко обрадовался, когда ему об этом сообщили.

Я стал закуривать и, перехватив взгляд из угла, протянул туда сигарету. «Бывший» прикурил от уголька, коротко буркнул: «Благодарю!» и снова прикрыл глаза, погрузился в свои думы.

Он не хотел никаких разговоров.

В какое-то время меня укачало. Стараясь не наваливаться на близсидящих женщин, я задремал и вдруг очнулся от тишины.

В будке все зашевелились, зазевали потягиваясь, завя-

зывали платки, надевали рукавицы. По-волжски окая, — вербованные женщины в Мысу были сплошь почти из Ульяновской области, они удивлялись:

— Как скоро приехали-то!

Технорук, отвернув рукав полушубка, взглянув на часы и, отмотав проволоку от двери, выскочил наружу:

— Чё у тебя опять?

Издали что-то прогавкал тракторист. Технорук выругался и, бойко строча струею по доскам фургона, что-то продолжал говорить, приказывать.

— Офурился начальник! — прыснули бабенки.

Застегивая на ходу ширилку, технорук выпрыгнул в фургон, передернулся и мрачно пошутил:

— Закуривай, народ! — он добавил в рифму матерщины. Никто и никак на это не отозвался, лишь тот, с полотенцем на шее, потер переносицу, будто снимая с лица плевок.

В стену фургона постучали кулаком.

— Магнето загнулось. Чё делать-то?

— Опять магнето? — встревожился технорук и спросил, не открывая дверцы: — А запасное?

Тракторист не отвечал. В мать-перемать заругался технорук и долго крыл тракториста, работу свою и все на свете. В фургоне притихли. Народ думал, что технорук погонит всех до лесосеки пешком. Но начальник неожиданно прервался, вытащил пачку папирос, порвал ее не с той стороны, чертыхнулся:

— Я вас научу! — ковыряя пачку с другого конца, грозился он. — Я вас научу родину любить. Сейчас же! Бегом на базу!

— Да я ж в мазутной телогрейке, мороз под сорок... Околею!

— Мороз! Околею! — передразнил технорук. — И околевай! Башкой думать надо! План срываешь! — Технорук значительно глянул на меня и, рывком скинув с себя полушубок, выбросил его за дверь: — Мотай, мотай!

Тракторист за стеною фургона проклинал работу, бабу какую-то и нас, сидящих возле печки, во благостном заветрии, в раю — с его точки зрения. Бухнув пинком в дверь фургона так, что проволока заскулила на скобе, он, отводя душу, напоследок высказался до конца:

— Пла-ан! Все план! Все люди — бра-атья, понимаеш?! — и ушел в снег, в тайгу.

Мы остались в теплом фургоне, молчаливые, виновато

примолкшие. И меня попиливал пустяшный вопросик: «Чего это он про братьев-то? Зачем? К чему?» И не одного меня, оказалось, зацепило едкое слово, сдуру бухнутое трактористом.

— Братья! — раздалось из угла глухо и усмешливо. И все вскинулись, пораженные тем, что человек в полотенежном кашше подал звук, случилось это, видать, не часто.

Печка притухла, в фургоне было почти темно, и только ветер завывал за неплотно пригнанными досками, позвякивала труба, стучалась дверца на проволоке, шуршало, охало в лесу.

— А хотите, я вам притчу расскажу о братьях? — неожиданно предложил «бывший», и в голосе его просквозило злорадство.

— Рассказывай. Все равно делать нечего. Загорать долго...

— Дрова поэкономней! — спохватился технорук. — Олух этот черт-те сколько проходит, возьмет да еще и заблудится. А ты травы, травы...

Человек в углу помолчал, погрел руки, ненадолго вынув их из рукавов, и начал распевно, в расчете на долгое время — так прежде рассказывали сказки деревенскими вечерами, в деревенских теплых избах.

— Было это в некотором царстве, в некотором государстве, в каком — значения не имеет, факт, что было... Придумали братья для братьев барак без последнего. Изобретение сие просто, как и всякое гениальное изобретение: кто последним из братьев выходил на работы — того убивали. А в остальном барак как барак, с трехъярусными нарами, с подстилкой из опилок, со светом в первобытных площадях, с необмазанными угарными печами. В бараке том люди толпились уже с полночи у выхода, чтобы не оказаться последним. Тронувшиеся умом хохотали и пели: «Наверх вы, товарищи! Все по местам, последний парад наступает...»

И в других бараках, слушая те песни, люди тряслись, верующие и неверующие молили Господа о том, чтоб судьба смилостивилась над ними, чтоб никогда им не бывать в бараке «без последнего».

Самое главное, самое страшное начиналось утром, когда отпиралась дверь барака, одна из двух — заметьте! и раздавалась команда: «Выходи!»

Братья топтали друг друга, рвали один на другом одеж-

ды, выцарапывали глаза, ломали руки, ноги, рыдали от счастья, когда выбивались на улицу не последними...

На улице по обе стороны двери стояли и покуривали братья северного, светловолосого лика, с голубыми иль серыми глазами, поджидали последнего, чтоб застрелить его или, как опи, посмеивались, говорили — «пришить»...

Система первых и последних, подобная лошадиным скачкам, когда переднюю лошадь кормят сахаром, а последнюю бьют кнутом, испытывалась на шкурах ее же создателей. По закону мироздания день сменяется ночью, ночь днем, зима летом, лето зимою, но зло не изменяется и рождает только зло. Творца небесного братья отменили, сами сделались творцами и теперь дивились на дело рук своих.

— Представьте себе: однажды в тот барак попали два брата, нет, не те, которых побратал барак, а истинные, единокровные братья-близнецы. Они были еще молодые, ражие, как говорят в народе. Оба брата были одинакового роста, одного лика, русы, светлоглазы, в плечах — сажень. Как они, деревенские, почти неграмотные парни попали в барак, куда согнаны были «сливки» общества, никто братьям не объяснил.

Единокровные братья чувствовали себя в бараке «без последнего» как дома: спали спокойно, при выходе на работу не нервничали. Они, как котят, разбрасывали всю эту вопящую, суетную, мелкотелую интеллигенцию и, словно по замусоренной луже, вплавь выхлестывались наружу. На что уж комбриги, комкоры и генералы-молодцы сильны были, и те перед братьями не стояли. Выплывут братья из барака, отряхнутся да еще и стрелкам подмигнут, вместе с ними улюлюкать возьмутся, потешаясь над барахтающей в подвальной темноте человеческой червью.

Шли дни, месяцы шли и хотя последнего каждый раз убивали, населения в бараке не убавлялось, его все время пополняли, что войско на ходу, потому как в царстве том, превеликом государстве народу было еще много.

Единокровные братья выходили и выходили на работу первыми, сминая слабосильную, пронумерованную толпу, стаптывая себе подобных особей.

Однако харчишки в бараке давали такие, чтобы работать человек еще мог, но чтоб к женщине его не тянуло. Братья же привыкли к еде деревенской, ядерной, обильной, съедали, как они сами бахвалились, в один прихват

по две кришки молока, по караваю хлеба, по чугуны картошки, по миске каши. Братья начали слабеть от барачных харчей. Вот на работу они уже вторыми выходят, третьими, не улюлюкают больше, не потешаются над безумной толпой, тревожно по-песью заискивающе поглядывают на стрелков. Те свойски подмигивают им, ничего, дескать, ребята, мы — люди — терпеливые.

Стали ворочаться на нарах ночами братья, будить друг друга раньше времени, и шариться начали по чужим котомкам, затем по помойкам.

А это уже близко ко краю. Один из братьев заболел прилипчивой лагерной болезнью — дизентерией. Штука эта и на воле гибельна для человека, но в бараке «без последнего» если ее приобрел...

Но братья еще шли и шли на яростный утренний штурм смело, дружно. Здоровый брат бил дорогу больному, рвал руками и зубами все, что подвергивалось на пути, да заразился дизентерией и он — болезнь-то переходчива.

Однажды утром заметили братья, какой-то профессорско, весь заросший жидкой бороденкой, обошел их; другой раз академик узким плечишком оттер; картавый очкастенький поэт, отроду чахоточный, пробился вперед; генералы-молодцы просто мнут барачную тлю и братьев вместе с нею.

Все ближе, ближе братья к последнему делаются. Пали они духом, кричат друг на дружку взялись: «Васька, не отставай!», «Ванька, круши кашкаду!» Да уж не крушится. Рот раззявлен, глаза наружу, все напряжено, но сил нет.

Долго ли, коротко ли шло это соревнование, долго ли, коротко ли боролись братья, но пришел их черед — Васька остался последним. «Ванька — братан, не бросай!» — завопил он. И Ванька вернул к Ваське, подхватил его, выволок из рокового барака, а ему в грудь дуло автомата.

Закричали Ванька с Васькой: «Граждане пачальники! Граждане... Мы всегда... мы всегда были первые! Мы еще можем...»

Но нет пощады последнему, от веку нет, в любой жизни нет, в лагерной и по-прежнему. Оттянул стрелок затвор, деловито, неторопливо поднял автомат. И тогда Ванька схватил вовсе ослабевшего Ваську и загородился им. Но автомат был повой системы, хорошо смазанный, — очередь прошла обоим братьев...

...Все так же был ветер, все так же гудела тайга над

фургоном. Печка притухла, люди не шевелились. Я протянул рассказчику сигарету.

— Проклятые фашисты! Немчура черная! — прошептала рядом со мной женщина.

Я подумал, человек из угла скажет: «При чем тут фашисты? При чем немчура?» Но он ничего не сказал. Ломая одну за другой спички, наконец добыл огня, начал жадно затягиваться, захрипел, задержался, закашлялся. Почти всех кашель всгряхнул, все стали озираться, роняя какие-то, ничего не значащие звуки и слова вроде: «Нна», «Чё деется...», «Боже мой, боже мой...»

Технорук передернулся, встал на одно колено, начал подбрасывать поленья в печь и, дождавшись, чтоб разгорелось, с усилием молвил:

— Ты вот что, дядя! Ты эти разговорчики брось.— Голос технорука напрягся.— Тут рабочий парод, корреспондент газеты...— Технорук замерз в свитеришке, распахнул дверцу печки, плюнул на пальцы, поленом колотил чающую голову. Лицо его было сурово, негодующе, но вдруг насторожилось и в нем все и тут же отмякло — послышался кашель и говор на дороге — тракторист возвращался и разговаривал с тем, должно быть, человеком, который проспал на работе.

— Живы будем — не помрем! — потер руки технорук и словно спичкой чиркнул взглядом по углу, где курил и тянулся к печке выговорившийся человек.

Все в фургоне закашляли, облегченно зашевелились, радуясь тому, что скоро поедут на работу. Технорук начал цапать девок за что попало, и они не шибко упорно оборонялись, повизгивали, шлепали его по рукам. Всем сделалось снова не то чтобы тепло и легко, по привычно. Как бы винась за что-то или подаживаясь под момент, одна из бабенок пихнула локтем под бок рассказчика: — «сорок оставь»,— свойски ему сказала. Затянувшись от недокурка, бабенка беспричинно захохотала и продекларировала ни к селу, ни к городу: «Мертвый у гроби сладко спи, жизней пользуйся живушний...» и снова захохотала, как всем казалось, слишком громко, неуместно и снова совершенно беспричинно.

Но каково же было мое и всех спутников удивление, когда, наконец, прибыв на лесосеку, выгружаясь из фургона, мы обнаружили в углу дружно, в обнимку почивающих рассказчика и хохотавшую бабенку. Проявляя трогательную заботу, бабенка вколотила шапку на голову сосе-

да, увязала, заправила его и сама, снаряжаясь, спрашивала, что ее спутник видел во сне. «Вот у меня завсегда тоже так, — вышпима из-под лавки топор и пилу, сетовала она: — Увижу — сто рублей пашла. Мац-мац — нету! Но как увижу блядство, что в штаны напрудила, проснусь — мокро-о-о...»

Я увидел, как забились шапка на голове мужика, как заподпрыгивал горбом вздувшийся бушлат на его спине — он хохотал и топал по едва протоптанной тропинке в глубь леса. Новая серебристая пила качалась крылато, как у ангела за плечом, чуть позвякивая на морозе. Баба с топором на плече, поспешая за ним, колоколила: «А ишшо, не дай бог, свеклу парену увидеть. Н-ну, хуже, чем живого попку на вышке...»

Скоро в том месте, куда ушли мужик с бабенкой, размашисто, размеренно, без суеты и сбоев заширкала пила. И среди всего заснеженного леса вдруг вздрогнула, скрипнула, качнулась островерхая ель. Ломая себя, круша встречные преграды, гопя перед собою вихрь, отемняясь на ходу, ель черным облаком ахнулась в снег.

Долго-долго не было видно ни вальщиков, ни поверженного дерева из-за взрывом взнявшегося перемерзлого снега.

КОММЕНТАРИИ

Стон, исторгнутый могучей грудью Великого писателя и не менее Великого мученика Льва Толстого «Не могу молчать!», достигнув наших советских берегов, обрел совсем уж трагический смысл. Народ наш русский доказал, что может молчать и терпеть очень долго и трусливо, и подлости от трусости творить, и издевательства, и унижения, и поругания, и кровь, и смерть переносить так, как ни ему, русскому народу, прежде не удавалось это делать, а другим народам и подавно. Разве что неграм, проданным в рабство и везомым в цепи закованными за океан, выпало столько же страданий и мук, и муки мученические научили их покорности и терпению такому же, как и у белых, северных людей, под названием — русские.

Разумеется, любой народ, даже самый основательный и крепкий, при такой санобработке, чистке, кровопускании издевательских, видоизменяется, становится жалким приспособленцем и хамом одновременно. Любой народ, а уж что говорить о русской нации, еще сырой, не сложившейся. Ей ото дня крещения-то всего тысяча лет, и за эту тысячу лет кто только и как ни терзал Россию и русских, начиная от татар и кончая собственной выпечки отродьем человеческим — коммунистами.

Будучи на греческом острове Патмос на праздновании 900-летия здешнего монастыря (смотрите «затесь» — «Божий промысел»), я обратил внимание, какие печальные глаза у представителей древних народов — испанцев, итальянцев, греков, евреев, и какие по-детски ясные глаза, от бездумья и пустоты, то сияющие восторгом, то наливающиеся свинцовой злобой у американцев, братьев-славян. И именно этим, незрелым еще, в детстве пребывающим нациям попало в руки самое смертоносное оружие, и по этой причине ими присвоено право править миром. Вот они, как дети, занесли коробок со спичками над миром

и, когда хихикая, а когда и по-щенячьи рыкая, куражатся над человечеством: «Захочу и спалю!»

Пало же мне на сердце, ударило в голову написать повесть о «ранешнем» и «нонешнем» человеке, сопоставить, так сказать, их моральные качества. Отправной гаванью, как и в «Пастухе и пастушке» — послужила старая-старая книга француза Гийерага, «Португальские письма», и решил я, значит, одну главу из V века написать о любви тогдашней, и одну главу наворочать из века нынешнего. Бойко у меня дело пошло, резво действие покапилось. Гляжу, уж за триста страниц перекатил — перемахнул, а ни конца, ни краю литературному действию не видно. И вдруг что-то меня отвлекло от рукописи, да надолго, потому что я начал отвыкать от нее и отвык. А иначе и быть не могло, все, что я написал раньше, обязательно складывалось в голове и, прежде всего, я знал начало и конец повести или рассказа, я мог их рассказать и рассказывал, и не одну вещь таким образом выболтал, утратил к ней интерес и она усохла, засохла, сдохла.

И Бог с пей. Значит, она была «не моя» и замысел сей уйдет обратно туда, откуда возник, или через века, а может, и сегодня же прилипнет к сердцу, возникнет в башке другого сочинителя. Ну а в рукописи-то, претенциозно и красиво названной «Печальный детектив» и одинокая монашка», ни начала определенного, ни конца ясного не видно было.

И лежит себе рукопись в столе, хлеба не просит, а жизнь идет, как колхозная кляча, вперед и вперед, уже и колокольчика не слышать — «звени дуга, как хочешь сам...» — как пел один знакомый мне татарин русскую народную песню на свой лад. Много я тогда ездил, от Мурманска до Владивостока путь мой простерся, и всюду на встречах народ задает среди прочих вопросов, один неизбежный: «Как дальше жить?». Иногда и с советом: — «Так дальше жить невозможно».

Да. Согласен — невозможно, и смотреть на окружающую действительность невыносимо, и носить в себе то, что накопилось, уже непосильно. Гнетет, задавливает, жить не дает «материал», давящий сердце, ломающий разум и кости дробящий. Писателю не обязательно от безысходности и тяжести в петлю лезть или травиться по-бабьи. У него есть испытанный в веках способ спасти себя — разгрузиться от непосильных тяжестей, переложить их на читателя. И я прибег к этой нехитрой уловке — вытаскил рукопись из стола, сократил ее наполовину, в том числе и название. От «монашки» осталось в произведении всего лишь несколько, на мой взгляд, все еще восхитительных отрывков из писем Гийерага.

Я не скажу, что роман давался мне легко. Я «пополнял» рукопись, бывая в вытрезвителях, милициях, лагерях, побывал и в том, где Василий Макарович Шукшин вскорости начнет снимать свою «Калину красную». Какое, душу разрывающее горе, какие беды, какие страдания открылись мне, и это все уже добавкой к

тому, чего повидал я уже, сам испытал! Какое отчаяние порой овладевало мной! Какая наваливалась безысходность!..

Когда роман увидел свет и хлынул поток писем и критических статей, — наши вечные чистоплюи, настолько далеки от бед и страданий народа, что их ничья боль не трогала и не трогает, писали мне, пытались топтать ногами: «Где, на каких помойках вы рылись? Где откопали этот материал? Клевета на русский народ! Поклеп на дорожную советскую действительность!» и т. д. и т. п.

Ох, если б знали эти, «лучшие в мире читатели», сколько материала, который и бумага не выдерживает, оставил я «за бортом» «Печального детектива». Сколько грязи разгреб в нашей общей советской помойке, чтоб отыскать живую душу, да еще и чистую к тому же, как у Сошнина — главного героя романа.

С романом произошли неведомые мне чудеса: из «Октября», куда я его и отправил, телеграфируют, чтоб я летел в Москву — редактировать: «Срочно! Сдаем в номер! Время не терпит!» Я, опытный, битый автор, — и не чешусь, знаю, чем все это кончится — обсуждениями, уговорами, разговорами, обращениями в верха.

Пришло приглашение ехать в Польшу, на Конгресс сторонников мира, и я попутно заглянул в «Октябрь». А там аж все дымится, там почти революция: номер журнала сдан, мой текст дают досылком, вдогонку и никакая доплата им за типографские расходы не страшна, и ничего-то им не страшно: «Я положу, положу этот роман на сиденья делегатам двадцать седьмого съезда партии вместе с газетой «Правда» и другими органами, прославляющими нашу жизнь!» — горячился главный редактор «Октября», Анатолий Апаньев.

И ведь положил.

Возвращаюсь из Польши через несколько дней — верстка готова. Прилетаю домой, мне вдогонку сигнальный экземпляр журнала!

Вот какие чудеса в литературе бывают! Во, как она, милая: то тебя кипятком обварит, то льдом обдаст. Так же, как и сама наша жизнь — очень разнообразная, причудливая, иногда даже веселая.

Все остальное о романе «Печальный детектив», так много наделавшем шуму и гаму у нас в стране и за рубежом, много переводившемся, читатель найдет в томе публицистики.

Стоит, пожалуй, подзадержаться вниманием на последних рассказах и в первую голову на «Людочке».

Наша дорогая действительность и прежде всего война так приучили дорогих соотечественников к крови и смертям, что многие из них перестали почитать кровь и бояться смерти, выучились не реагировать на них, точнее, не отзываться сердцем на чужую беду, на чужую кровь, — и читают в газетах, и рас-

сказывают об убийствах, зверствах, как о чем-то обыденном, привычном. Странная и страшная привычка, последствия которой нетрудно предугадать.

Среди всего этого повседневного ужаса и смертоубийства обыкновенное известие об обыкновенной смерти производит иногда куда большее воздействие на человека. Вот недавно в краевой газете прочел некролог о том, что в одном городском СПТУ умерла, скоропостижно скончалась ученица — и сердце сдвинулось на сторону, притихло в углу груди, когда я представил девочку-фэзэушницу, наряженную в форму ученицы, в гробу, холодную, бледную, украшенную купленными в складчину на базаре цветами, в казенном, скорее всего, в спортивном зале училища выставленную — для прощания с подружками, одноклассниками и однокурсниками, неумело, значит, и неуклюже исполняющими непривычный похоронный обряд, да и «значение трупа» не понимающих, холода смерти не ведающих. И так тошно мне и больно сделалось, как тошно и больно мне стало, когда в газете «Вологодский комсомолец» я прочел когда-то заметку о том, что приехавшая из угасающей деревни в город девушка учиться на парикмахера, была изнасилована в парке и в этом же парке повесилась.

Проходили годы. Я читал, слышал бесконечное множество историй про изнасилования, в том числе почти грудных детей, про кровавых мапьяков, про убийц — мясников, людоедов, но сделавшаяся в нашей жизни банальной и обыденной история девушки, отчаянный поступок которой я понял, и до сих пор считаю, как протест против такой вот привычной обыденности, не покидала моей памяти и сердца.

Однажды сила, и по сей день мною не объяснимая, все более вызверивающаяся ли жизнь заставила меня сесть за стол, взять ручку и присоединиться к протесту неведомой, но по земному родству близкой мне девушки.

Очень большую почту вызвал этот рассказ. Признанный лучшим рассказом года, он был напечатан в «Роман-газете» и во многих других сборниках, переведен за рубежом, по нему пытались ставить и, слава Богу, не поставили фильм. Приходили письма и от тех, кто никаких насилий у нас не видел, никогда не слышал о них и не читал; считая, что все это в рассказе я выдумал — чтоб очернить такую кристально-чистую, лепорочную жизнь советских людей. Ныне, правда, поток писем насчет очернительства поиссяк, видно, на старости лет, оглянувшись окрест, прозрели даже те защитники передовой морали, что носили светонепроницаемые очки или очки с розовыми стеклами. Но до конца они, конечно же, не вывелись и делают вид, что, проживя и прослужив в бардаке семьдесят с лишним лет, остались целками. С позиций вечного, неукротимого целомудрия они и судят все и обо всех. Прежде это называлось ханжеством, но сейчас это слово звучит слабо и осторожно. Я знаю, как это явление и люди,

его породившие, называются, но не скажу, не хочу так гладко идущий комментарий портить непечатным словом.

Явления, происходящие в нашей жизни, очень болезненно, часто губительно отзываются на окружающей нас бессловесной природе и, в первую голову, на животных, прирученных человеком — для помощи себе и облегчения существования своего на земле. Особенно сильно страдала и страдает одомашненная тварь в нашей, вечно беспокойной жизни, всеми ветрами продуваемой России. Тут и суровый российский климат виноват, и среда обитания, но прежде всего российская безответственность, слепая страсть к насилию, лень, бесшабашность, азарт власти, пересекающий грани злобы, и многое, многое, что заложено в смутном, часто диком и безжалостном русском характере.

Все отвратительное, все зверское, все необузданное, что с помощью веры и кнута удалось за века загнать глубоко вовнутрь русского человека, пробудилось в нем в смутные времена, поднялось из глубин темного чрева и ладно бы только оборотилось беспощадностью друг к другу, чего уж тут — сами ж творцы своей судьбы, но годы революции, коллективизации, строительства социализма, годы поворотов и переворотов в нашем злополучном и несчастном сельском хозяйстве — какими же бедствиями, какими муками, каким смертным смерчем прошли они по нашим безропотным «братьям меньшим?!»

Неужели никому не пришло в голову задуматься над этим? Неужели ж человека, прежде всего русского, не коснулся тягчайший грех и вина перед теми, кто поднимал наших предков с четверенек, кто был более чем другом в этой вихревой, снеговой, засушливой, огневой, многоводной и многотрудной жизни?!

Миллиарды павших лошадей под пулями и снарядами, тучи коров, овец, коз, верблюдов, уморенных и вечно вопящих от бескормицы в наших доблестных колхозах. Я видел кошары, где бараны и овцы, не могущие от голода разродиться, уже под толчком толклись на спрессованных, смерзшихся трупах собратьев и сестер своих, и, травоядные существа, драли зубами их мертвое мясо.

А кони и колхозные коровы, подвешенные под брюхо в стойлах и коровниках, грызущие стены загоронок, ревушие до самого неба и никак не понимающие, за что это их, кормильцев и спасителей, не кормят, где и не поят, не ведая, что передовые строители социализма и творцы колхозной нивы сами режут некормленные, но зато напоенные до одури.

Особый суд нам будет от Творца за ручных, дворовых наших животных — кошек и собак. Брошенные по деревьям кошки одичали, ушли в леса, и ох какое это опустошительное дело для всего живого лесного населения — кошки-то, выедающие все, что дается их зубам, в первую голову мелкую пташу. Но особенно опасными оказались одичавшие собаки — «шатохи» — так на-

зывают их в пароде. Слабые, малосообразительные собаки вымирают в покинутых деревнях. Сильные, сообразительные, так же, как и кошки, уходят в леса и беспощадно опустошают их.

Отмечены случаи пропикновения собак в волчьи стаи. Спарившиеся с волками, они особенно страшны, когда возглавляют стаю. Наученная человеком хитрить, подличать и предавать брата своего, волко-собака в капканы и ловушки не идет, к отравленной приваде не притронется и щенят не подпустит. Один из красноярских заповедников терроризировала огромная волчья стая, во главу которой взошла сука из лаек, еще недавно бывшая охотница и домашний сторож. Здесь отмечены были и нападения на человека.

Случай же, который лег в основу рассказа «Улыбка волчицы», поведал мне егерем с Красноярского водохранилища. Странный и страшный случай, не случайно произошедший на ужасном и тоже страшном, гибельностью и болезнями века, водохранилище. Рукотворное море, оно, может, и должно рожать все только уродливое, паскудное, ибо порождено уродливой, безответственной и беспощадной мыслью изуродованного прогрессом человека.

«Мною рожденный» — рассказ, в основу которого положена подлинная история, — я услышал ее от ныне уже знаменитого актера и кинорежиссера, и она лишней раз доказывает, что все в подлунном мире, как и под краснорозовым советским небом, отнюдь не однозначно. Пережившие падломы люди, с искорверканными коммунистическим раем жизнями, совсем не одинаковы и, опять же, неординары в своем отношении к происшедшему с ними. Солженицын, Померанец, Тимофеев даже склопны считать, что в сталинских концентрационных лагерях они были не просто так, а по велению Божию и, не испытав великие страдания и муки несомненно, были бы другими людьми, с другими судьбами и не смогли бы постичь всю глубину человеческой подлости и доброты, значит, не смогли бы и отвечать на добро добром, проповедовать спасительность человека в вере и доброте, защищать добро-го, ниспровергая зло этой самой защитой.

По моим наблюдениям, люди, сделавшиеся сильными в борьбе со смертной ордой и отравленным климатом Гулага, в последующей «свободной жизни», как правило, очень крепкие духовно и физически, живут долго, трудятся плодотворно. Примеры тому не только Великий писатель и гражданин Солженицын, но и близкие мои знакомцы, которых начали садить и ломать в юношеском еще возрасте. Это известный артист Георгий Жженов, который до сих пор свежо и активно играет на сцене театра, да еще и пишет недурные рассказы; мой великолепный, увы, уже покойный, друг — сибиряк Николай Николаевич Яновский, садимый и давимый карательной силой трижды, но не утративший ни ума, ни силы, ни интеллигентности, ни красоты мужской.

Только вот, заметил я, седел он уже по второму, если не по третьему разу. Какой-то фиолетовый налет исходил от корней волос на его красивую, всегда изящно и модно стриженную голову, и этот налет, как бы стирая слой устаревшей, блеклой седины, вытягивал седину ковыльно-яркую, шелковистую. А какой это был неутомимый, неистовый, можно сказать, работник. Это он сотворил творческий подвиг, увы, мало кем оцененный в Сибири, тем более в отупелой нашей стране, — собрав, составив для нас десять томов «Сибирского литературного наследия». Восемь томов бесценной и такой необходимой энциклопедии — «Литературного наследия» и истории сибирской земли изданы, два подготовленных тома пылятся — не находится в это шатучее, мутное время умный, бескорыстный издатель-патриот на явно неприбыльные книги.

Земля стояла и стоит не на китах, а на разуме, на плечах и спинах сильных людей. Слава им! Поклон наш низкий! Но как-то уж так получилось, что воспоминания клиентов Гулага как бы зациклились на своей персоне или на несломленных духом и телом людях. Но ведь были и те, что, согнутые карательной ордой, так согнутыми и дожили свою жизнь, бессловесную, тихую, с пронзающей душу невысказанной печалью в глазах. Дожили некоторые творцы, в том числе и литературные, не всегда бедно, кого-то используя, высасывая соки из ближних и любимых своих, чаще женщин, жен и подруг, иной раз открыто и пагло пользуясь услугами и возможностями соцреализма. Зернышки поклевывая с этого обширного, всяким словесным сорняком и бурьяном заросшего поля, репрессант добывал на жалости и спекуляции горькой судьбиной сладкий прокорм и покой, потому как много страдал, терпел и, если не заработал, то муками своими и погубленной молодостью заслужил себе избранную долю святого отшельника — таков вот и есть герой моего рассказа — Олег Сергеевич. Он-то хорошо усвоил, что молния во время бури бьет прежде всего в высокие вершины и часто валит их в бурелом. Ему же лучше подале от бурь, в тени вершин пребывать, он тише воды и ниже травы будет ради того, чтобы зеленеть и цвести в свое удовольствие — натерпелся, хватит, пусть теперь терпят другие, пусть бунтуют те, кому это не надоело.

Из крупных рассказов, почти переступающих рамки повести, может быть стоит упомянуть «Жизнь прожить». Это мой самый первый отклик — впечатление по прибытии на родину с Вологодчины.

Я навидался к этой поре всяческих преобразований и великих строек, исказивших лик святой Руси, превративших ее в промышленную, угрюмую морду, покрытую паршой всяческих отходов, блевотиной грязной плесени и ядовитыми лишаями. Достаточно глянуть на Великую русскую реку Волгу, превращенную в порченую лужу, или знаменитый канал Волго-Балт —

эту мутную, пустынную кишку, ради которой залито, проквашено и сгноено тысячи километров Среднерусской равнины, миллионы гектаров леса, окончательно испорчен и без того гнилой климат северо-западной стороны России. Мне не раз приходилось летать над каналом, проплывать по нему — редко-редко пройдет по каналу самоходка с грузом, еще реже — пассажирский пароход или «ракета». Сейчас движение на этих губительных артериях и вовсе замерло.

Кому, спрашивается, зачем все это нужно было? А-а, военно-промышленному комплексу! Как было-то? Начал кто-либо возражать, выступать публично и печатно против новостройки, ему в ответ: «Стратегический объект» — и заткнулся оратор, умолк борец за сохранение природы. Постепенно перешло в эти засекреченные объекты всякое производство, и не только говорить и писать, но даже смотреть на них запрещено было, иначе ослепнешь. Большая часть отечественной промышленности, восемьдесят процентов населения тянуло лямку на новостройках и большая их часть под кофром. Такой же огромный процент государственного бюджета, хитро упрятанный в разного рода расходно-приходные статьи, уходил на возведение сплошь секретных промышленных гигантов, часто занимающихся выпуском продукции устарелых конструкций, которая по выходе тут же списывалась в утиль или загромождала военные полигоны. Там, на северах, служивые люди, живущие в невероятно-тяжелых условиях, вместо того, чтобы испытывать и осваивать технику, изучали историю партии, зубрили учебники по основам «марксизма-ленинизма», устаревая вместе с боевой техникой и морально, и профессионально.

Одна из причин погубления России и прежде всего Сибири — отсутствие контроля за действиями советских военных воротил и их вдохновителей и руководителей в Политбюро, которые с восторгом аплодировали и в воздух картузы бросали, любясь достижениями на море, в небе и, прежде всего, в космосе, как бы и не замечая, что ради этих достижений в военную печь брошена и сожжена Великая страна — Россия с прилегающими к ней окрестностями, то есть «братскими республиками». Теперь эти прожигатели жизни Великой страны и поджигатели холодной войны изворачиваются, тычут пальцами в так называемых демократов — они, мол, они разрушили нашу державу, они ее распродали. Нет, такую огромную землю и Великий народ в одночасье не загадишь, не пададишь, не погубишь — на это потребовалось бы шестьдесят лет разбойного, безответственного и преступного правления.

Но все, что видишь, все, чему сострадаешь там, вдали от «дома своего», — все же не так больно ранит сердце, как «твое, родное».

Переехал я на родину, в Сибирь, и в родной деревне обнаружил не только разные, переехавшие в Сибирь не по своей воле народы, более всего немцев Поволжья, но и тех, кто был вынуж-

ден сняться с родных, верхнеенисейских земель из-за затопления их повым рукотворным морем.

Побывал я, и не раз, на этом море и убедился, что так обращаться со своими реками, землями и прочими богатствами могут только завоеватели-чужеземцы. А у строителей гидростанций, покорителей небес, рек и морей, и лозунги были завоевательские — «Покорим!», «Завоюем!», «Проникнем!», «Освоим!», «Ударная стройка», «Вперед!», «Партия велела!».

Партия, она, конечно же, велела, а повелев, не очень утруждала себя думами о том, что из этого веления получится. Вот и прокручивает Великую реку железом сквозь бетон одно из самых вредных сооружений на земле — Красноярская ГЭС, энергией питая промышленный ад ВЭПЭКа в правобережной части Красноярска, насыщая электро мощностью подземные города и прочие вреднейшие хитрушки, надежно, как их хозяевам и распорядителям кажется, попряганные в тайге и тундре. Город же наш освещен еще хуже, чем до революции, и пользы человеку от гигантского, прекрасный край погубившего гидросооружения нет никакой, и электрокиловатт у нас стоит нисколько не дешевле, чем во всяком другом месте, несчастливенном никаким гигантом энергетики.

Но меня больше занимало все же не само сооружение, а пагубные последствия его на жизнь и души людей. «Верховские» переселенцы в нашем селе хоть и прижились, даже породнились с коренными жителями, не перестали тосковать о родных селах и пажитях, потому как они не просто родные, но и очень богатые пашенными угодьями, растительностью, цветами, лугами наши верхнеенисейские-то земли.

Вот уже и на тот свет ушли, под бугорки здешние залегли многие переселенцы с тоскою в сердце, не веря, что навечно такая вот неразумность — спрашивали: «Когда ее скопают, разрушат гидру-то эту?..»

Тоска по незабвенному, родному приволью породила у переселенцев какую-то совсем новую форму ностальгии, сделавшую их почти сплошь пьяницами, праздными, не знающими куда себя девать, людьми. И еще превратила их в повествователей, превосходных рассказчиков и мечтателей.

Наслушавшись историй и воспоминаний моих односельчан столько, что уж перегруз ощущался, я и написал историю жизни переселенческой семьи — моих соседей. Рассказ «Жизнь прожить» был одним из первых моих «откликов» на события и современную жизнь моих земляков, которые и в старости не перестают ощущать тягу в какую-то даль и тоску по той стороне, которой для них лучше нет и уже не будет.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. Роман	5
РАССКАЗЫ	
Медвежья кровь	129
Тельняшка с Тихого океана	150
Вимба	188
Светопреставление	206
Слепой рыбак	225
Ловля пескаррей в Грузии	244
Жизнь прожить	274
Голубое поле под голубыми небесами	317
Ельчик-бельчик	330
Улыбка волчицы	360
Мною рожденный	371
Людочка	390
Без последнего	429
Комментарии	439

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том девятый

Художественное оформление А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы А. Ф. Гремицкая, Г. И. Сысоева

Художественный редактор Е. В. Корнеева

Технический редактор Н. Н. Шабли

Корректоры

А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко, Н. В. Ключина, Е. М. Гаврилина

Оператор компьютерной верстки Н. А. Боброва

ЛР N 010162 от 03.06.97

Подписано в печать 15.07.97. Формат 84x108 1/32. Бум. офс. N 1. Гаршгугра Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 24,01.

Тираж 10000. С-017. Заказ 68.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате "ОФСЕТ".
660049, Красноярск, ул. Республики, 51.